

ВАДИМ
ФАДИН

ХОР МАЛЬЧИКОВ

ВАДИМ ФАДИН

ХОР

МАЛЬЧИКОВ



РОМАН

вадим фадин

серия
«время» —
читать!



Вадим Фадин

Хор мальчиков

Роман

МОСКВА 2021



СЕРИЙНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Валерий Калныньш

Фото на обложке – *Виктория Юриздницкая*

- Фадин, В. И.**
Ф15 Хор мальчиков : роман / Вадим Иванович Фадин. — М. : Время, 2021. — 468 с. — (Время читать!).

ISBN 978-5-9691-2115-7

В романе «Хор мальчиков» рассказывается о судьбе русского эмигранта, попавшего в небольшой город бывшей ГДР. Всякая эмиграция связана с ломкой психики — в новой среде рядом с героем романа случаются настоящие трагедии. Сам он, выпав теперь из привычного круга, чувствует себя одиноким и лишь тщетно пытается найти хотя бы какое-нибудь занятие. Заподозрив, что может стать жертвой вымогателей, он, чтобы разобраться в деле, едет на несколько дней в Москву — и там находит поддержку бывших одноклассников.

ББК 84(2=411.2)6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЕСОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

*...законы бытия непостижимы
для бесхитростных людей.*

Х. Л. Борхес

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Песочный, по словарю, — к песку относящийся. Песочные часы относятся всё же ко времени, причём со строгостью: перевернутся — и станет видно, как оно утекает, останутся как были — и не заметишь свойственной им минуты. Чтобы постоянно вертеть склянку, надобен особый работник — не ванька-встанька, упаси Боже, но хорошо, если бы солдат караульной службы, и без того привыкший стоять на часах, — такому, собственно, безразлично, как мерить свой срок, однако имеет значение — чем, и дай ему волю, так он ухватит себе инструмент, каким, хотя бы и в ущерб делу, можно пользоваться пореже — хотя бы ежечасно для начала. Стеклодувы у своих печей сгоряча способны наобещать и большего: изготовить, например, аппарат даже и с суточной мерой, даже и с недельной — опрометчиво, потому что заказчик, войдя в раж, может не остановиться и на этом, справедливо рассудив, что всякую крупную вещь можно сделать ещё крупнее, а потом и ту, новую, — ещё чуточку и так далее, и работе не будет предела. Не нужно большого ума,

чтобы потребовать от часов показывать делянки не суток, а недель, а там и месяцев, а там и сами месяцы, годы, столетия. Нам выпала доля наблюдать истечение двадцатого века: кончилось тысячелетие, иссяк песок, и тот, кто захочет, чтобы время шло дальше, должен поставить ближних с ног на голову; со многими это уже проделали, и они сходят с ума, наблюдая за жизнью себе подобных и не прощая очевидной разницы во времени: перевёрнутое всё-таки не чета прошедшему; одни из них затевают нечестные драки, другие — разрозненной толпою отправляются бродить по свету, ища, где лучше: никакой другой известный нам век не знал столь великого исхода. Бредут они будто наугад, кто куда, между тем как любой школьник знает, где сейчас лучше: там, где нас нет. Отчего-то нас почти всегда нет — впереди, и только за спиною собственное отсутствие обычно мнится неполным; в действительности же лучше, чем сейчас, там, позади, не бывало, иначе кто бы пустился в бега из благополучного дома? Застигнутые вопросом на полпути, беглецы утверждают, что их нет лишь в том месте, где и не было, а в оставленных жилищах, если угодно, слишком бросаются в глаза и собственные их следы, и следы их печалей; иными словами, там стало ещё хуже, чем раньше. Это подтвердят, усугубляя, даже вездесущие оптимисты, резонно напомнив о долетающих вдогонку вестях, поверив которым, можно ужаснуться: мол, при мне такого не случилось.

Случалось ли, нет ли, а человеческая память устроена так, что чего не хочешь сохранить в ней, того и не упомнишь, и лишь зловредные воздействия отвне, особенно — опознанные не вовремя, способны не только помешать уборке из неё лишнего, но и, напротив, засорить неожиданным мусором. При всякого рода переменах — мест ли, государственного строя или гражданского состояния — бывает непросто заметить момент и точку на карте, миновав которые, человек вдруг обзаводится новыми возможностями, а чаще — узами; добрые старые привычки по-прежнему руководят его поступками, но делают это настолько уже неловко, что он теперь то и дело попадает

впросак, а то и вовсе — в гибельные положения, и так может длиться либо и вправду вплоть до настоящей катастрофы, либо, если повезёт, до тех пор, пока доброжелатели не разъяснят происшедших в мире перемен. Он потом ещё и порадуется, что всё прошло так гладко и безболезненно: заснул в одном времени или месте, а проснулся — в другом, или даже заснул — и не проснулся.

Герой предстоящего повествования, Дмитрий Алексеевич Свешников, в солидные уже лета неожиданно открыл для себя, что ему совсем не трудно просыпаться утрами всё в новых государствах (вместе с прочим нынешним народом накопив в этом деле нечаянный опыт). Первой пробой оказался неудавшийся путч девяносто первого года. Тогда само по себе пробуждение не принесло ничего особенного, но стоило, завтракая, включить на кухне телевизор, как Дмитрий Алексеевич почувствовал себя неважно: из спокойного сообщения явствовало, что возвращаются худшие времена. Вовсе не думая, что гэбисты в первые же часы поедут по домам взламывать помеченные меловыми крестами двери, он только понял, что жить в стране станет противнее, чем сейчас или чем прежде. Что нужно и что возможно предпринимать в подобных случаях, он не знал и, как во всякий обыкновенный день, отправился на работу, наивно надеясь немедленно поделиться там хотя бы с кем-нибудь своими тревожными мыслями. В институте, однако, стояла необычная тишина: сотрудники осторожно помалкивали. Запершись в кабинете, Свешников просидел там в мрачном оцепенении до одиннадцати — времени открытия винных отделов и питейных заведений, а там уже и поспешил в ближайшем таком месте залпом выпить полстакана коньяка. Этого хватило, чтобы прогнать страх (он только тогда и понял, что испугался), а погода, прослышав, где и что происходит, даже принять посильное участие в событиях.

В следующий раз, при действительной перемене строя, Дмитрию Алексеевичу пришлось, поверив на слово дикторам телевидения, убеждать себя, что вот, дождались — и на дворе больше нет никакой диктатуры пролетариата:

ему самому ощутить это было невозможно, как невозможно ощущать наступление нового года — да хотя бы, как мы теперь знаем, и нового тысячелетия. Между тем после двух суток перестрелки бойцы противной стороны, отпоров с рукавов свастики, разошлись по домам, и всё снова пошло обычным чередом, и сам он точно так же, как и всегда, ездил в свой институт, встречая там те же давно знакомые фигуры, расставленные в давно знакомом порядке. Понадобились по меньшей мере две смены сезонов, прежде чем Свешников наконец почувствовал, что живёт в новой среде и при новой власти; теперь ему даже не верилось, что те власть и среда не так давно (или вообще когда-то) были другими.

Ещё в одном, последнем по времени случае он подготовил событие сам: купил билет и, улётшись спать незнамо где, проснулся посреди Польши, впервые — на запредельной стороне; в Германию он потом въехал уже безо всякого сна: пересёк границу вечером и всю ночь, не сомкнув глаз, просидел на вокзале в ожидании местного поезда, так что в конце концов не проснулся в новой стране, а заснул в ней.

Странно, что он больше не задумывался, не мог принудить себя задуматься о последствиях своего вымученного решения: мысль, словно игла на треснутой грампластинке, вдруг соскакивала, не закончив оборота. Раньше ему было удобно как раз обратное, он любил и умел раскладывать по полочкам обстоятельства всякого задуманного дела, просчитывать ходы вперёд и придумывать самые фантастические варианты, потому что и они, как выстрел из незаряжённого ружья, имеют право случиться раз в жизни, — но теперь, когда он то ли резко переламывал судьбу, то ли, напротив, спасал её от насильственного перелома, теперь сколько-нибудь долгие соображения о прикладном будущем не шли в голову. Необходимые

для отъезда действия он выполнял, не размышляя, словно по просьбе нечаянного человека, — не только потому, что так было легче, но и затем, быть может, чтобы вскорости нарочно выпустить из памяти претившие ему в настоящем времени вещи вроде выпрашивания справок, препирательств с милицейскими чинами, к нему заведомо не расположенными, или прозябания в очередях в убогих коридорах контор, — и непосвященным легко было предполагать, будто Дмитрий Алексеевич собирается в отпуск в хорошо знакомые места вроде Паланги или Рижского взморья, а не уезжает из дому навсегда.

Прошло уже несколько лет после того, как он впервые испытал страх — получил знак, которому стоило внять. Случилось это, как уже знает читатель, в утро путча; от дурной вести стало мутрно на душе, словно он чувствовал, не смея обернуться, как кто-то чужой подкрадывается на мягких подошвах. В тот раз обошлось, и развитие событий с участием незадачливого президента даже позабавило Дмитрия Алексеевича. История, однако, требовала продолжения. За беспорядками, случившимися спустя два года, он, теперь уже подготовленный зритель, наблюдал спокойно, хотя, в отличие от большинства, ему для этого даже не пришлось включать телевизор, а всего лишь подойти к окну; оказавшись как раз в самый нехороший день у старой знакомой, жившей на Новом Арбате, он уже не смел вернуться на улицу: автоматные очереди пролетали совсем рядом, вдоль дома, где он находился, радио пугало снайперами на крышах, а вечером что-то грохнуло в переулке, и он вместе с хозяевами квартиры потом долго выковыривал из потолка и рам какие-то металлические штучки — пульки не пульки, но нечто столь же неприятное. Стрелки, впрочем, постреляли и разошлись, но тревога осталась — не напрасная, оттого что довольно скоро оказалось, что коммунисты вполне могут победить на выборах, и Дмитрий Алексеевич забеспокоился не на шутку: приход к власти красных ли, коричневых ли (эти цвета он злобно не различал да и другим не советовал) сулил немедленные неприятности не одним

политикам, но и ему самому, слишком в последние дни неосторожному в речах. Со временем, однако, его жене пришло разрешение на выезд, и с такой бумагой на руках следить за политической борьбой стало намного легче. Когда коммунисты проиграли, Дмитрию Алексеевичу даже удалось пошутить: «Наша взяла — так зачем же мы едем?» Доля правды оказалась в шутке невелика, оттого что страстей в России хватало, и если кое-какая, незнакомая прежде свобода была налицо, то расстаться на улице с жизнью при новой, любезной душе власти стало куда проще, нежели при старом проклятом режиме, оттого что государство было далеко, а невесть как расплодившиеся бандиты — рядом и повсюду.

Тем не менее из приходивших на ум напастей более близкою, чем арест вернувшимися после очередного переворота чекистами и даже чем убийство прохожими грабителями, была самая пошлая нищета, уже и сейчас стоявшая у дверей. Никакой багаж — из того, чему Дмитрий Алексеевич научился и что умел до сих пор, не годился в изменившейся жизни. Он словно растерял сознание о былом, и теперь, пожалуй, проще было бы принять чужой уклад, нежели в собственном доме биться за сохранение — своего.

Память способна подвести каждого, то припрятав срочно понадобившееся чьё-то имя, то утаив назначенный для важного дела час, и чем дольше мы живём вместе с нею, тем чаще, как уже своим людям, устраивает она каверзы, испытывая нашу способность прощать и не давая задуматься о более серьёзных последствиях её будущих провалов; не всякий сознаёт, что потерявший память вмиг станет идиотом. Наш герой — сознавал, и легко представить себе, как переполошился, обнаружив пропажу — нет, не памяти всё же, но знания внутри оной: то, прежде, которым так привычно было гордиться и пользоваться, пошло прахом, а иного, пригодного для применения в грядущей среде, взять было неоткуда; не удавалось и заменить его игрой воображения. Чтобы представить себе, не говоря уж о самом простом, даже самое невероятное, как раз

и надобно знать и помнить великое множество насущных вещей: один лишь Господь Бог сумел в своё время увидеть будущий мир в подробностях и оттенках, не основываясь, в сущности, ни на чём.

Из Москвы устройство на новом месте виделось несложным, вернее, не виделось никак, словно могло без трудностей сделаться само собою как всего только продолжение прошлого бытия, и размышления о будущем пока сводились лишь к выбору — переступить или не переступить порог. Тайный советник — тот, что прячется со своими советами внутри каждого из нас, — нашёптывал глупости насчёт верного или неверного пути, но именно эти слова, «верный путь», претили Свешникову как списанные с лозунгов его молодых (и не очень) лет, звавших во тьму самых разных, но непременно ведущих то в голубую, то в красную даль путей — светлый путь, путь Ильича, путь к коммунизму (и пресловутое «мы пойдём своим путём»). Дмитрий Алексеевич помнил ещё и вошедшее в анекдоты: «Верной дорогой идёте, товарищи!» Но этого ядовитого одобрения он и бежал.

Впрочем, он и сам не удержался от ядовитой, хотя и ребяческой шутки, решив отбыть из советской страны ровно в день годовщины революции. Поезда, однако, седьмого ноября не было, и пришлось согласиться на следующий, всё-таки тоже праздничный, день.

Сейчас, кажется, не имело значения, каким — правильным, праведным, ложным ли оказался начатый под старость путь; пришлось решать, не в какую сторону пойти, а — пойти ли: соблазн остаться у родного корыта был велик. Решение выглядело твёрдым, пока уехать из страны было невозможно ни под каким видом; колебания начались одновременно с получением разрешения. Серьёзные доводы в пользу того или другого приходили в голову реже, чем возражения против них, и кончилось тем, что Свешников уехал не потому, что сделал выбор, а поддавшись обстоятельствам: вещи собраны, документы подписаны — и куда же теперь деться? Он продолжал сопоставлять в уме варианты и в поезде, когда, устроившись

наконец вместе с женою в нелепом трёхместном купе, наблюдал в окне исчезающий пейзаж. Даже после всех прощальных объятий, поцелуев, тостов и наказов он ещё не осознал непоправимости своего поступка, не в силах выйти из безопасной роли туриста. Да и то сказать, он получал право назваться эмигрантом, лишь миновав Брест.

Этого рубежа Свешников ждал с брезгливостью. Наслушавшись рассказов, он готовился (и не был готов) оправдываться там в несделанном, просить о таком, о чём порядочные люди (вернее — у порядочных людей) не просят, а в итоге всё равно подвергнуться унижительному обыску и допросу в казённом доме, куда придётся перетаскать свои тяжеленные чемоданы и коробки. Недозволенного в багаже, кажется, не было, но Свешникова беспокоили не изъятия и штраф, а то, каково будет смотреть, как в его чемоданах и в карманах роется недоброжелательный человек.

Дел с представителями власти он прежде не имел никаких, кроме объяснений с регулировщиками на улицах, — и о тех остались самые неприятные воспоминания. Водил он машину чрезвычайно грамотно, за тридцать с лишним лет вождения ухитрившись не получить ни одной штрафной отметки в правах. Взглянув на выданные давным-давно, однако девственно чистые его документы, ни один автоинспектор не решался испортить их компостером, и всё же после каждой проверки на дороге Дмитрию Алексеевичу, пусть и не понёсшему потерь (утешительный рубль, отданный, конечно, без квитанции, бывал не в счёт), но расстроенному то ли хамством милиционеров, наглых из-за собственной неправоты, то ли своим бессилием, долго потом казалось, будто он перепачкался в навозе. Чего-то подобного он ждал и от досмотра на границе.

На сей раз его научили некоторым приёмам.

Зазвав проводника в купе, Дмитрий Алексеевич принялся расспрашивать того о предстоящей процедуре:

— В такой тесноте и чемодана не раскрыть...

— Есть места попросторнее, — ухмыльнувшись, заверил проводник. — Пройдёте в таможенный зал, там расположитесь, как хотите.

— Со всем этим барахлом? Страшно подумать: в Москве я взвесил — сто сорок шесть килограммов. Но там-то мне помогали, вы сами видели, сколько пришло провожающих. Мы с женой — люди немолодые... Неужто и впрямь заставят?..

— Это уж какая бригада попадётся. Есть которые и во все не смотрят, а то, бывает, перелопачивают всё. Впрочем, как сумеете договориться.

— Вот именно! Только для этого нужно опыт иметь, а мне — где было его набраться? Еду в первый и в последний раз — так откуда мне знать, как и с кем обойтись? Нельзя же взять и предложить незнакомому человеку... договор! Тоже ведь, вы правы, на кого попадёшь: иной возьмёт да обидится. С другой стороны, вы-то их всех знаете... Кстати, вот мысль: вы не могли бы нам помочь в этом? А то ведь, если сам возьмусь — как бы не испортить дело.

Проводник вполне мог бы поломаться для порядка или же прикрикнуть с оскорблённым видом, но не счёл нужным и согласился неприлично, на вкус Свешникова, легко. Приготовленные для операции деньги — семьдесят долларов, по уже известной таксе, он взял, однако не тотчас, а перед самой остановкой в Бресте. Там, расплатившись, Дмитрий Алексеевич ещё поволновался в ожидании известно чего, но проводник не обманул, и таможенный чиновник (правда, не подмигнув и не подав иного знака) даже не взглянул на чемоданы, а только, листая поданные ему документы, скороговоркой поинтересовался:

— Что в багаже? Одни личные вещи?

— Личные, личные, — быстро повторил за ним Свешников — и немедленно сплеховал: хотя в вопросе таможенника уже содержался нужный ответ и хотя тот уже складывал, собираясь вернуть, бумаги, он вдруг выпалил, спохватившись: — Чуть не забыл, вот же ещё разрешение на книги.

— На книги? — недоверчиво переспросил чиновник, озадаченный непредвиденным ходом; цепко ухватив протянутый лист, он прочёл вслух: — Двадцать четыре названия, сорок один том... Что ж, верно. Тут и пошлина указана: пятьдесят пять тысяч рубликов.

Именно столько — невеликие в том году деньги — было загодя приготовлено Свешниковым, и он торопливо полез в карман.

— Погодите, погодите, — недобро улыбнувшись, остановил его таможенник, — эти дела так не делаются. Пройдите в кассу, заплатите, получите ордер...

— Да зачем же? — в испуге вскричал Дмитрий Алексеевич, посчитав, что поезд и так уже стоит слишком долго и вот-вот тронется.

Ответа не последовало, и пришлось поспешить к выходу; на перроне у него тотчас образовался провожатый в форменной куртке — таможенник или пограничник, он в темноте не разобрал, да и не до того было, чтобы приглядываться к петлицам и кантам, — который, не задавая вопросов и не отвечая сам, привёл его в здание. Свешников очутился в большом зале, где возле длиннющих пустых столов, освещённых низко спущенными лампами, стояли несколько человек в разнообразных униформах: досмотр, видимо, уже закончился. Дмитрий Алексеевич, оглядываясь в нерешительности, замедлил было шаг, но его повели дальше, в небольшую комнату где-то в дальнем углу, где и оставили дожидаться кассира.

— Но поезд... — с тревогою воскликнул он, зная, что не получит ответа, — и не докончил фразы, заметив стеной циферблат, сообщавший здесь настолько неправдоподобный час, что впору было усомниться во времени суток: не пролетела ли за разговорами ночь?

Но поезд стоял где-то в другом мире, охраняемый вооружёнными людьми и отделённый от нашего никому не нужного путешественника непроходимым залом с тёмным потолком. Свой паспорт Дмитрий Алексеевич в последний раз видел в купе, в чужих руках, и отстань он сейчас от поезда, догнать тот не было бы никакой

возможности; пришлось бы ждать возвращения в Брест жены, тоже маловероятного, потому что все деньги были как раз у него и ещё потому, что ей, в действительности давно переставшей быть женою, совсем не нужны были такие приключения. Деньги же были небольшие, с какими никто не посмел — не сумел бы двинуться дальше, а только — купить обратный билет, то есть то, что всегда надобно иметь страннику во избежание пагубных колебаний в пути. Быть может, такой билет следует покупать даже прежде прямого, чтобы заранее знать, что не пропадёшь там, вдалеке, за горизонтом, а рано или поздно вернёшься в свой обжитой дом. Давно прошли времена, когда сама посадка в поезд оказывалась событием — неважно, в какой вагон, хоть в теплушку, лишь бы уехать, сбежать от невыносимого бытия к такому же; теперь каждый волен выбрать себе и сорт, и цвет вагона, и скорость поезда, и много чего другого, и даже обратные билеты обещают не просто пересадку во встречный состав, но и разные конечные пункты возвращения, оттого что можно вернуться в оставленное место, а можно — и в оставленное (и остановленное) время.

Свешников потому и решил на отъезд, что не сойдись он с чужой землёй характерами, возвратная дорога с некоторых пор была, он прослышал, открыта; иной же возможности повидать свет не имелось, и он казнил-ся бы, упустив эту. При новых законах эмиграция выглядела невинно — как временное, лишь бы перезимовать, поселение в тёплых краях, столь недалёких от дома, что из них ничего не стоило бы наведываться в стоячее время, в котором прозябают близкие люди. Ещё недавно дело обстояло иначе: отъезжающих провожали — навеки, словно хоронили, и потом, зная безбожные правила, не ждали с того света ни звонков, ни писем — ничего, что могло бы навести гэбистов на тех, кто поддерживал связь. По той же причине иной раз даже и лучшие друзья манкировали прощанием, чтобы с кладбища, с вокзала ли за ними не увязались агенты. Тогда Дмитрий Алексеевич, как ни тяготился обстановкой в стране, и подумать не мог

о переселении за границу, будучи, во-первых, русским (выпускали одних евреев, и многие, будто шутя, вопрошали, за что тем привалило такое счастье), а во-вторых — «невъездным», то есть человеком, посвящённым в некие тайны и потому оберегаемым от соприкосновений с иностранцами, о которых никогда не знаешь, какое случайно выпавшее слово те наматывают на ус. Эти «во-первых» и «во-вторых» можно было менять местами без ущерба для результата — даже определённо следовало поменять, оттого что знание Свешниковым кое-каких секретов было неустраимо, зато его русскость тотчас перестала бы служить помехой, женись он на еврейке — что и произошло давно уже и безо всякой, впрочем, корысти, которой, в смысле путешествия в иные страны, у него тогда ещё не могло появиться. Супруги так ни разу и не завели между собою пустых разговоров о переселении хотя бы куда, предпочитая обсуждать более доступные материи и поначалу, очевидно собираясь прокуковать свой век в уже свитом гнезде; только и этим скромным намерениям не суждено было осуществиться. Их совместная жизнь не заладилась с первых же месяцев — так рано, что они не успели обменять свои две квартиры на одну побольше, а потерпев немного, снова зажили порознь. Развода они, правда, не оформили — то было некогда, то лень, что и определило судьбу Дмитрия Алексеевича, в конце концов забросив его в неряшливую комнату брестской таможни, в которой даже часы утаивали что-то, и этот пустяк с часами почему-то нельзя было преодолеть, отворив дверь и задав какому-нибудь мало в чём понимающему служаке глупый вопрос о времени отправления (быть может — другого поезда, а не ушедшего, родного).

Дверь распахнулась, и Свешников обрадованно вскоčil со стула. Но это оказался всего-навсего пограничник.

— Где кассир? — возопил Дмитрий Алексеевич, солдат же безадресно выругался и исчез.

Дмитрий Алексеевич к месту вспомнил (и лучше бы не вспоминал), что его въездная немецкая виза действительна только вместе с визой жены — и в присутствии

жены, конечно: русский, он ехал с нею в качестве чуть ли не багажа. «Господи, о чём я? Какая виза? — хлопнул он себя по лбу. — Ведь паспорт остался в вагоне, хорошо, если — у Раисы. Неужели ей и в самом деле придётся возвращаться? Забавно будет, если кассирша вообще ушла домой. Собственно, с чего-то похожего всегда и начиналось». Между тем на железных дорогах с ним не случалось ещё ничего страшнее безнадёжных ожиданий опаздывающих поездов на ничтожных станциях в глуши, когда начинало казаться, что расписание не просто нарушено, а отменено и никакого движения по рельсам не будет уже никогда, а тоскующая на платформе толпа не рассыпается по домам просто из собственного невежества; поезд, однако, всё-таки приходил.

«В конце концов это не более чем добавочные трудности, — попытался он успокоить себя. — Раиса, конечно, намучается».

Намучается — даже в том случае, если вся история окончится счастливо. Но пока что жена одна ехала по ночной Польше, где, как он слышал, нередки стали ограбления в поездах. Разбойники будто бы пользовались наводками проводников или таможенников, так что, значит, и сейчас точно знали, в каком купе едет с изрядным багажом одинокая женщина (да, может статься, и сами подстроили так, чтобы её спутник отстал), и оставалось лишь молиться, чтобы они вовремя сообразили, что вся указанная в декларации валюта осталась в кармане у мужа, на советской стороне.

Он не оговорился: эта сторона (страна, которую он так и не отвык ощущать единой, а если бы и нет, то тем более: не Россия, в которой ещё можно было на что-то надеяться, а быстро краснеющая Белоруссия) оставалась для него, едущего на Запад, советской. Он и не представлял, какой иной способна она стать — так же, как не представлял и степени её отличия от чужих стран, — не верил, что почувствует разницу сразу же за порогом, восприняв не зрением и слухом, а осязанием или же тем неизвестным наугад чувствительным, которое заведует нашими надеждами.

Всё тот же солдат заглянул в комнату и всё так же выругался, так что напрасно Свешников снова рванулся ему навстречу (а что если вся сценка была не такой же, а именно тою же, и времени не прошло нисколько?), но на сей раз ему пришлось вскакивать дважды, потому что вслед за пограничником появилась неторопливая женщина.

— Не ушёл поезд?

Откуда ей было знать, если она не выходила на улицу? Её рабочий день ещё не истёк, и она не спешила: внимательно читала список книг, возилась с сейфом...

Вырвавшись наконец в зал, показавшийся теперь совсем тёмным, Свешников не сразу понял, куда надо бежать. Двери были закрыты, окна занавешены, и служащие разошлись... Нет, один стоял у противоположной стены, в тени, и не сразу можно было разглядеть, что он машет рукой, подзывая; здесь, видимо, не разрешалось расхаживать без присмотра, и они так и пошли: один чуть впереди, будто выбирая дорогу, другой, конвоируя, — чуть сзади. В дверях, с опаской глянув на безлюдный перрон, Дмитрий Алексеевич узнал неподалёку свой состав — и побежал бы, если б пограничник не удержал его за локоть, другой рукой протягивая документы.

— Мой — паспорт — у — вас?! — с трудом выдохнул Дмитрий Алексеевич. — Боже мой, да так можно инфаркт заработать!

— Где ты пропал? — воскликнула через минуту Раиса. — Так можно инфаркт заработать!

Она стояла одна в пустом коридоре вагона, выглядевшем так, словно пассажиры давно сошли на конечной станции.

— Не было кассира, я не мог уйти без документов, я не мог передвигаться без конвоя, я даже не знал, на чьей земле нахожусь!

— Он не отдал мне твой паспорт!

— Совершенно другой человек выдал мне его полминуты назад. А — твой?

— У меня. Представь себе моё состояние...

— Я пытался представить твои действия в случае...
— Лучше бы представил — свои.
— Простой советский человек — и спасовал перед транспортным стрессом! У нас же выработан приличный иммунитет... Смотри, мы едем! Ещё бы чуть-чуть...
— Неужели они всё-таки ждали тебя?..
— Вот чего мы никогда не узнаем.
— Фантастика.
— Знаешь, за такой хеппи-энд надо выпить. И ещё — за пересечение границы: оно же происходит сию секунду! Да что там говорить: надо же попросту прийти в себя.
Поспешно достав из пакета коробку с бутербродами и фляжку, он разлил по стаканам водку (почти всю, по настоянию жены, себе) и, неоригинально подумав: «Прощай, немытая Россия!» — и застеснявшись этих слов, сказал только:
— Наконец-то можно произнести вслух: вот мы и стали эмигрантами.
— Довольно буднично, хотя и со встряской. Но выпей же. Кстати, на чьей мы земле?
— Лучше бы узнать, на каком мы свете, — усмехнулся он и не к месту признался: — Знаешь, я ни с того ни с сего вдруг смертельно захотел спать.
— Приляг.
Он воспротивился было — но потом даже не мог вспомнить, успел ли всё-таки выпить.

Больше всего его поразило такси, въехавшее прямо на перрон.

Платформа, укрытая чёрной выпуклой крышей на старорежимных чугунных столбах, отделялась от длинного, как такса, здания вокзала несколькими рядами рельсов на ржавой щебёнке. Вид был вполне российский, да и с самого пробуждения Свешников ещё не увидел за окном ничего, кроме надписей, такого, что говорило б о пересечении границы:

по его представлениям, Западу следовало выглядеть кра-сочнее и новее. Пришлось напомнить себе, что это ника-кой не Запад, а бывшая ГДР — немецкая версия советской Прибалтики, — и что в этом ему на редкость не повезло. Те, кто уезжал в Германию раньше его (а Раиса отыска-ла несколько примеров), получили вызовы из западных земель и поселялись в замечательных, на вкус Дмитрия Алексеевича, городах — от Хамельна с его крысоловом и, наверно, с колокольным звоном, гулким на тесных мо-щёных улочках, до сверхсовременного Франкфурта с ред-кими, но всё же небоскрёбами, — сам же он отправлялся в городок, едва нашедшийся в правой, неаппетитной ча-сти карты, и это казалось непоправимым. Попытки ещё до отъезда изменить место назначения успеха не имели да и не могли иметь хотя бы из-за невозможности обосно-вать притязания. Бывалые люди советовали не тратить нервы попусту, а заняться этим делом уже на месте, осмо-трившись.

Нелепость эмиграции в часть страны, ещё вчера управ-лявшуюся коммунистами, отравила всё время после по-лучения вызова, весь законный год отсрочки, но едва поезд покатился по неправдоподобно плоской, словно бильярдный стол, Польше (было непонятно, как по та-кой стране текут реки), Свешников воспрянул духом, по-тому что худо ли бедно ли, но свершилось, он вырвался за пределы, доселе бывшие непреодолимыми, и ощутил себя вольным путешественником, словно и впрямь ехал только ради наблюдения дивных пейзажей. Ради чего он ехал на самом деле, сказать толком вслух было трудно, ещё многое не было додумано до конца, и точные слова не приходили на ум, так что и ответов могло получить-ся несколько, твёрдо же он знал только одно — от чего бежал. Жена его и подавно не давала себе труда опреде-лить какие-нибудь цели, а ехала, как и многие, просто за лучшей жизнью.

Впервые они с Раисой ступили на землю иного госу-дарства, когда их отцепленный вагон остался выстаивать напрасные часы на горке в виду варшавского вокзала.

Наняв за десять долларов такси, они поехали осматривать город; покладистый водитель щедро покатал их по лучшим, на свой взгляд, кварталам и даже терпеливо прождал полчаса, пока они гуляли по Старо-Мясту, с радостью узнавая там любимые черты прибалтийских столиц, навсегда в сознании обоих связанных только с отпускными и праздничными днями. Вот и нынешний день оказался началом каникул.

На следующее утро Дмитрий Алексеевич с подобною же радостью увидел в сумерках нестрогие горы с огоньками у подножий и с церквами на склонах, подобные тем, что полюбились ему когда-то в Закарпатье. С рассветом местность сгладилась, и поезд остановился у непрезентабельной крытой платформы.

Никто больше не сошёл на этой станции.

Выход в город был устроен через туннель, и Дмитрий Алексеевич со своей тележкой, нагруженной дюжиной мест багажа — сумками, сумочками, коробками и двумя чемоданами, с тоской застыл перед лестницей. Снимать с неё вещи, перетаскивать вниз и потом повторять то же самое при подъёме отчаянно не хотелось, и, не будучи уверен в необходимости вообще куда-нибудь двигаться (отчего-то не верилось, что они сошли на нужной станции), он послал на разведку жену.

— Шофёр, — сказала она, вернувшись, — полюбился издали на твою тележку, которую тебе не пришлось в голову хотя бы завезти за угол, сказал, что его машина мала, и поехал за какой-то другой. Тебе велено стоять на месте — вот и жди до утра.

— Но почему бы самим не перебраться на тот берег?

— Какая разница? — махнула рукой Раиса. — А вдрут он вернётся с бригадой грузчиков и нам не придётся зря таскать тяжести самим? Стой, где сказали.

Водитель вернулся всё-таки один: проехал на микроавтобусе по не замеченным Свешниковым мосткам за дальним торцом перрона и подкатил прямо к ногам.

— А, в хайм, — едва глянув на протянутую бумажку с адресом, понял водитель.

Именно с этого слова, Heim, и начался для Свешникова немецкий язык: оно отпечталось в уме ещё дома, ещё написанное кириллицей. Старый словарь толковал его как домашний очаг или приют, но теперь такой перевод стал недостаточен, и нам лучше подарить хайм русской речи в его перевозданном звучании. Так и в дальнейшем, читая иной раз сетования на превращение эмигрантами родного языка в кощунственную мешанину, Дмитрий Алексеевич в сомнении качал головой, наконец открыв для себя, что переводу поддаются слова, но не понятия, и что «арбайтзамт» не совпадает с «биржей труда», «социал», в обоих его значениях, — с «собесом» или с «пособием» и что доктор здесь — не совсем то, что доктор там.

Московские бывалые люди, легко дававшие советы, говорили вперемешку то «хайм», то «лагерь», словно это были синонимы, и только постепенно выяснилось, что названные институты отличаются один от другого, по крайней мере, неодновременностью использования и что сначала каждый эмигрант должен пройти лагерь (трудо-вой, исправительный, концентрационный — советскому человеку в первую очередь приходили в голову определения именно такого сорта), а уж хайм — это потом, для тех, кто выдержал. Дмитрий Алексеевич успел до отъезда свыкнуться с мыслью о том, что их с Раисой поселят в палатке, за колючей проволокой и что это придётся терпеть до окончания какого-нибудь карантина либо испытательного, а то и иного, свойственного лагерю срока.

Шофёр, тем не менее, вёз в хайм, и Свешников решил, что — синонимы.

Одолев уже за чертой города с десятков километров — мимо каких-то редких, похожих на гигантские обувные коробки строений без окон, дверей и труб, мимо пасущихся поодиночке баранов, вдоль тротуаров попавшего под колёса игрушечного городка и наконец на его дальней окраине, мимо жёлтого, но ещё кудрявого парка, в гору, — машина остановилась на крошечной площадке между низенькими заборами, которой едва хватило бы для разворота и с которой можно было попасть в коттедж

с цветущими розами за оградой, или в телефонную будку, или в примитивное, обшитое чем-то вроде шифера здание, со стороны площадки одноэтажное, но по мере продвижения посетителя по двору, под уклон, постепенно приобретающее под этим, верхним, новые ярусы, один или три — отсюда было не видно. Подъезд, во всяком случае, находился ниже уровня ворот, и Дмитрий Алексеевич бодро подумал, что теперь, под горочку, легко донесёт вещи и без тележки и что раз жить придётся не в палатке, то и вообще всё будет легко. Тут он обнаружил, что на него смотрят: возле калитки, прислонившись к столбу, стоял высокий пожилой мужчина в джинсовой куртке. Встретив взгляд и в ответ неопределённо взмахнув рукой, тот двинулся навстречу. Поздравив с прибытием и подсобив вынуть из машины багаж, местный житель полюбопытствовал со смешком:

— И это все ваши пожитки? На оставшуюся жизнь?

Дмитрий Алексеевич развёл руками. Этот вопрос он слышал не впервые: и на московском вокзале, и в поезде ему давали понять, что на ПМЖ — постоянное место жительства — с таким скромным скарбом не уезжают; для него же многовато было и этого: вокзальные весы намерили почти полтораста килограммов.

— Поглядели бы вы, с чем приезжают другие! Впрочем, я сам вёз ещё меньше вашего — но, заметьте, на одного. Жена отправила меня вперёд: если не сгину, то она догонит. Кстати, позвольте представиться: Альберт.

— Просто Альберт — и всё? — переспросил Дмитрий Алексеевич, всё ещё находивший особый вкус в старомодном величании даже близких знакомых по имени и отчеству и так именно через минуту и представившийся.

— Просто Альберт, — подтвердил его собеседник, чуть ли не подмигивая, что было бы даже естественно при его легкомысленной внешности — длинной, как мяч для американского футбола, голове с одинаково острыми подбородком и макушкой и мясистым, повторяющим те же футбольные кривые, носом. — Мы с вами, видимо, почти ровесники. А отчества тут, говорят, не в моде.

— Даны-то они не здесь, в других краях.

— Если настаиваете... — посмеиваясь, Альберт выудил из кармана куртки помявшуюся визитку, из которой явствовало, что её владельцем является проживающий в Львове невропатолог высшей категории, биоэнерготерапевт международной категории Альберт Михайлович Бецалин.

— Совсем другое дело, — удовлетворенно проговорил Дмитрий Алексеевич, поленившись спросить, что за категории появились нынче у врачей.

— Честно говоря, не знаю, что легче: подражать во всём местным или упорствовать в старых привычках, чего-то требовать. Во всяком случае, персонал должен бы помочь оглядеться. А вас, вижу, даже не встретили: всего одна семья, да ещё в выходной день...

— Первый контакт? — наконец подойдя, нервно спросила Раиса.

Галантно раскланявшись, Бецалин подхватил тему:

— К счастью, мы представители одной цивилизации. Честно говоря, на контакт с инопланетянами я и раньше не рассчитывал, а тут вовсе стало не до них. В первое же утро мне пришлось пережить потрясение совсем иного рода: выглянул в окно, и вдруг — немцы в городе!

Вежливо улыбнувшись, Дмитрий Алексеевич подумал, что эта недорогая шутка здесь, наверно, переходит из уст в уста — и будет переходить впредь, пока не вымрут все, кому она ещё понятна.

Бецалин вызвался сходить за управляющей, жившей через дорогу, и не прошло четверти часа, как приезжими были получены ключи и деньги на первый день и можно было устраиваться в своём германском жилище — просторной комнате с окном во всю ширину стены, с двухспальной кроватью, холодильником, кое-какой посудой на полке и с раковиной в нише. Окно выходило на двор коттеджей, где цвели розы, странные об эту пору, и на поднимающийся на заднем плане лесистый холм парка; найдя в этом что-то прибалтийское (больше ему не с чем было сравнить), Дмитрий Алексеевич представил, как год

назад был бы счастлив, сумев снять на месяц отпуска подобное жильё где-нибудь на Рижском взморье.

Раисе между тем не терпелось осмотреть прочие достопримечательности — расположенные в коридоре кухню с четырьмя плитами, душ и туалет. В последний они заглянули с опаской, зная, как могли бы выглядеть подобные помещения в России, — и остолбенели от белизны всех видимых поверхностей, подчёркнутой алыми крючками дверных ручек.

— Вот это чистота! — восхитилась Раиса.

— Как в морге, — брякнул он, тоже восхищённый, но видя, что шутка пришлась не по вкусу (в первую очередь ему самому), поспешил перевести разговор: — Впереди ещё много сюрпризов, надеюсь — такого же рода, и давай пойдём осмотрим окрестности.

— Может быть, сначала всё-таки перекусим? — недовольно возразила она.

— Опять всухомятку?.. А не совместить ли нам прогулку с обедом? Уже хочется чего-нибудь горячего. И горячительного. Нынешний день стоит тоста, не так ли?

Идя тою же дорогой, по которой привезла их машина, они не узнавали пейзажа, предъявленного теперь в обратном порядке (и не обратной ли стороною?), кроме парка, только слегка изменившего выражение, — он будто бы поредел, ещё более пожелтел, но и оживился: в предварающей его низинке резвились две собаки, золотистые ретриверы. Дорожка, по которой те носились, приводила к ресторанчику у пруда, и этот домик с террасой и лежащая за ним улица показались совсем уже незнакомыми. Дмитрий Алексеевич даже усомнился вслух, туда ли, к центру ли они свернули. В такси он, турист в новых местах, проглядел глаза, стараясь не упустить никакой мелочи, но растерянный эмигрант, заброшенный в немецкую провинцию и не представляющий себе ни что будет с ним завтра, ни кто он теперь есть, этот беженец не запомнил ничего. Привыкший всегда владеть положением (а в нём — собою), он впервые безвольно подчинился внешним силам, послушно передвигаясь, выполняя

какие-то навязанные посторонними людьми действия и даже не задумываясь о том, существует ли впереди точка, достигнув которой, можно будет наконец осознать себя.

День был воскресный, и городок замер в безлюдье. За всё время прогулки мимо нашей пары прожужжали по брусчатке три или четыре случайные, словно заблудившиеся, машины да попались навстречу с десяток прохожих. Окна почти везде были закрыты наглухо, как полагалось по сезону, хотя было тепло, градусов десять, и по московским меркам календарю следовало бы вернуться намного назад. Свешников с Раисой то и дело останавливались полюбоваться розами в палисадниках, и лишь ближе к центру почти всякая зелень иссякла: улицы стали так тесны, что на них оказался бы помехою не только газон или одинокий куст, но и цветочный горшок у порога, и дома прислонились друг к другу так плотно, как если бы их в своё время втискивали силой в пределы крепости — так оно, видимо, и было, только от городской стены ни сейчас, ни в последующие дни не удалось найти и следа.

Продавец зонтиков, еле удерживающий над головой целую гроздь раскрытых их, рвущихся в небо, тот самый добряк, что нередко мерещился в последние оставшиеся до сна секунды, мог бы воспарять от неожиданно порыва ветра лишь над такими, как здесь, черепичными крышами, над окошками мансард, над бесконечным шпилем кирпичи (и скромным — ратуши), над засмотревшимся на чужой полёт трубочистом в цилиндре. Несмотря на серую неверную погоду, как раз парасолек и не замечалось в руках беспечных жителей: то ли городок был мал настолько, что они даже в случае внезапного ливня надеялись откуда угодно добежать до дому сухими, то ли просто тут наступила такая не-мода, подобную которой наш путешественник знал по своим молодым временам, когда советские мужчины с презрением отвергали зонтики, эти унаследованные от старого строя, присущие буржуйам атрибуты, предпочитая им целые наборы из галош,

душных прорезиненных плащей и кепок — с непременными струями за воротник (такая же не-мода, как обратила внимание его спутница, была среди местных женщин на юбки в том смысле, что и в этот день, и потом, за все три недели пребывания в городке, перед глазами не мелькнуло ни одной женской ножки в чулке, а только штаны, штаны), то ли местность не знала настоящих дождей — одну морось. Дмитрий Алексеевич чуть ли не готов был вызвать на свою голову ливень, лишь бы посмотреть, как поведут себя туземцы. Впрочем, те, конечно, привычно справились бы с ненастьем, так и не предъявив свежему зрителю картину, какая когда-нибудь позабавит его в иных итальянских городах, где застигнутые врасплох непогодой тысячи туристов, не успев проклясть свою беспечность, обнаруживают на каждом углу предприимчивых африканцев, разложивших на сухих местечках, под стенами и карнизами, груды разноцветных зонтиков.

Свешников и Раиса выделялись среди местных жителей уже тем, что Раиса надела пальто, купленное перед отъездом специально для заграницы. Дмитрий Алексеевич был в куртке, и все, кто попадались им навстречу, мужчины и женщины, были в куртках, словно тут вовсе не носили длинных одежд; особенно удивляла одинаковость облика пожилых дам — с голыми глазами, постриженных по-мужски и одетых в брюки, кроссовки и прямые, как у пожарных, куртки. Немедленно обсудив и одобрив практичность здешней манеры одеваться, наши иностранцы решили, каждый для себя, её не перенимать.

Пообедали они в маленьком, на четыре стола, кафе, судя по витрине — кондитерской, где их, тем не менее, угостили пивом и зразами на огромных тарелках.

— Выходит, жизнь прекрасна, — заключил Дмитрий Алексеевич, всё ж — с почти вопросительной интонацией.

Вернувшись в хайм (нельзя же было сказать «домой»), они нашли в вестибюле целую компанию, расположившуюся на диване и нескольких стульях вокруг пустого стола. Привстав навстречу, Бецалин немедленно поинтересовался:

— Как впечатление, господа отдыхающие?

— До чего же приятный городок, — с воодушевлением ответил Дмитрий Алексеевич, у которого и впрямь было ощущение, будто он приехал по профсоюзной путёвке в прибалтийский пансионат. — Но позвольте представиться уважаемому обществу...

Опуская подробности, он сказал о себе — научный работник (что было правдой) и о жене — патентовед (что могло ввести в заблуждение, зато, как он знал, избавляло от расспросов). Бецалин, на правах знакомого, назвал собравшихся: учёный из российского Черноземья, ехидно подчеркнул: из «красного пояса», прокоммунистических о ту пору мест, сразу два главных инженера — харьковский и орловский, их жёны, чьи достижения остались до времени за скобками, и киевлянка Анжела с двенадцатилетним сыном. Их фамилии, как часто случается при поспешных знакомствах, забылись Свешниковым мгновенно.

— Насколько я догадываюсь, — поведя плечом, проговорила Раиса, — этот диван — нечто вроде постоянного клуба?

— Диван — это совет мудрейших, — заметил Бецалин.

«Единственное место, куда вечером можно выйти из номера, — решил Свешников. — Не станешь же бродить в темноте по всем этим горкам».

— Место наших встреч, как известно, изменить нельзя, — ответил Раисе тот, кого поименовали учёным, и Дмитрий Алексеевич, вдруг вспомнив, что тот назвался Литвиновым, заодно вспомнил ещё одного встреченного в жизни Литвинова — бывшего сталинского наркома иностранных дел, к тому времени разжалованного.

Тогда мать сказала маленькому Мите: «Смотри, Литвинов!» — так, словно сын наверняка уже знал, кто это, как в те времена знали всех своих вождей, и он увидел очень толстого человека в сером костюме, неловко, головой вперёд влезающего в чёрный лимузин (мальчик рванулся помочь бедняге, но мать вовремя схватила его за руку). Потом в течение многих лет этот человек казался ему непревзойдённым образцом полноты.

Пожилой чернозёмный Литвинов был высок и рыхл, грузен, но не толст, носил очки в металлической оправе, обильные седые усы и даже кое-какую причёску, и выражение его лица было таково, что, присмотревшись, можно было с полною уверенностью сказать: нет, не нарком, не фигура.

— Нельзя изменить и состав клуба, — продолжил он, — в том смысле, что чужие в дом не заходят, а обитатели не минуют диван безнаказанно. Как же можно допустить, чтобы люди маялись в своих кельях, пока мы тут развлекаем друг друга беседой. Это тот самый случай, когда индивидуум пропадает без коллектива. Сию минуту здесь не хватает ещё двух семейств, но и они обязательно появятся попозже: всем хочется поговорить со своими. А говорим-то мы, собственно, всегда примерно об одном и том же: гадаем, кого, когда и с кем, а самое важное — куда повезут на курсы языка, а то и на постоянное жительство.

— Так — куда же, куда конкретно? — оживилась Раиса.

Люди уезжали отсюда в самые разные места, но только не в крупные города; хорошо ли это было — то, что не в крупные, — этого толком не знали, но каждый имел свои соображения и планы.

Жена украинского инженера заявила:

— Город можно выбрать и самим. В назначенной нам области.

— Здесь говорят: в федеральной земле, — поправил муж.

— Лучше бы звучало: в пределах Земли, — заметил Бецалин. — Вообще — Земли. Федеральной ли — это уже несущественно. В пределах федерального земного шара — каково?

— Можно выбрать, — продолжала она. — У нас с мужем такая концепция: маленький город вблизи большого. Знаете, эти маленькие немецкие городки... Черепичные крыши, небольшие дома, ратуша с часами — как на картинке — и тишина. А с другой стороны, сел на электричку — и через полчаса ты на проспекте. А там — театр, магазины, одетая публика.

— Ещё добавьте заведение в соседнем доме, — продолжил Свешников, — где каждый вечер за кружкой пива, а то и за картишками, собираются одни и те же господин аптекарь, господин почтмейстер, господин доктор и господин учитель. Очень старомодно и в меру уютно. Зато и роли распределены, и... и, кстати, не боитесь ли вы трудностей с работой?

— Мы ведь будем получать социал!

— Ах, ну разве что... — стушевался Дмитрий Алексеевич.

— Кстати, о социале, — поднял палец Бецалин. — Завтра надо съездить за получкой.

Продолжение он адресовал одному Свешникову:

— К вашему сведению, мы с господином учителем... ах, простите, вот я уже размечтался о вашей пивной, а хотел сказать — мы с господином учёным здесь не старожилы, а почти такие же новенькие, как вы, прибыли всего на двое суток раньше. Нам всем надобно, по-русски говоря, встать на учёт и на денежное довольствие. И получить вид на жительство. Думаю, что удобнее поехать вместе. Мало ли что...

Речь шла о поездке в тот самый город, в котором чета Свешниковых сошла с поезда.

— Мало ли — что? — захотел уточнить Дмитрий Алексеевич.

— Чужой город, чужие порядки — и разве вы знаете немецкий в совершенстве?

— Совсем нет. Дома я пытался самостоятельно освоить какие-то азы — и знаете, на чём запнулся? Не поверил, что «студент» и «спорт» надо смешно произносить как «штудент» и «шпорт», а спросить было не у кого. На том и остановился.

— Дома — бесполезное занятие, — перебила Раиса. — Я тоже начала, да бросила. То, на что там нужен год, в немецкой среде усвоишь, наверно, за месяц. А если что-то понадобится позарез — можно обойтись английским. Вот вчера ночью, когда мы делали пересадку: пустой перрон, поезд ушёл дальше, а мы стоим с гружёной тележкой,

не зная, куда податься, да что там — не зная, как попасть в здание вокзала, потому что надо спускаться в туннель, а тележку по лестнице не снесёшь, — и представьте, какая-то простая железнодорожница всё нам объяснила по-английски и даже проводила — лифты, туннели — до справочного бюро.

— Простая ли, ещё неизвестно, — улыбнулся Дмитрий Алексеевич, — но объяснила толково: ведь мы хотели не просто уйти с платформы, а ещё и вообще перебраться на другой вокзал, ни больше ни меньше. И вот добрались, не пропали.

— Собственно, мы, господа, для того сюда и приехали, — заметил Бецалин, — чтобы не пропасть. Считайте, что унесли ноги.

— Ещё весной мы действительно думали, что не унесём, — согласилась Раиса. — А потом, когда коммунаки сникли, мы даже позволяли себе шутить: мол, если наша взяла, зачем же ехать?

— И зачем же вы уехали? — зычно, с напором поинтересовался Литвинов.

На похожие вопросы часто приходилось отвечать в последние дни в Москве, но там они были естественны, потому что спрашивали — остающиеся. Отвечать на то же самое, уже переехав границу, Свешникову было бы скучно: но и спрашивали не его. Здесь все, даже держа в уме разные ответы, но связавшись общей судьбою, должны были бы понимать друг друга вовсе без слов — и те, кто бежал от коммунистической болезни со всеми её метастазами, и те, кто искал сытой жизни. По его преждевременному мнению вторых могло оказаться большинство. «Похоже, что нынешняя волна эмиграции никогда не была политической», — снова подумал Свешников, тотчас, правда, поправился, заменив «никогда не была» на «так и не стала», но не повредив этим мысли: иные даже из предыдущей волны, из тех, кого он провожал или о чьём бегстве слышал двадцать лет назад, тоже уезжали не от коммунистов и советской власти, а просто — из Советского Союза; теперь он понимал разницу, а тогда искренне

мнил, что все они суть одинаковые противники режима. Да и позже, дожив до седин, он всё ещё долго заблуждался насчёт единомыслия и единодушия хотя бы в своём кругу, пока ему не открыла глаза случайно грянувшая в стране обманчивая свобода — не его личное освобождение от каких-то пут, а перемены в мире, принесённые перестройкой и неожиданные и для этого мира, и даже для самого её, перестройки, сочинителя, явно добивавшегося противоположного итога. Свешникова тогда, помнится, поразила метаморфоза, происшедшая с теми, кого называли инакомыслящими, то есть буквально, по тогдашним представлениям, мыслящими иначе, нежели это предписано властью, а значит — антисоветчиками, а значит, по совсем уже грубому, зато наглядному делению, не красными, а белыми: едва тем дозволили заговорить вслух, как вдруг иные из них на глазах, прямо на экранах телевизоров начали набухать розовым, как вишенный цвет, и он изумился необъяснимому феномену существования в российской природе наряду с белыми ещё и красных диссидентов.

Литвинов повторил свой вопрос.

— Зачем? — отозвалась Раиса. — Затем же, что все. Чтобы жить, а не выживать.

— Не зачем и не за чем, — поправил жену Дмитрий Алексеевич, — а от чего. После путча наступил же девяносто третий год, а после него может наступить и ещё какой-нибудь...

— Сами же сказали: наша взяла, — пожал плечами Литвинов. — Причём без усилий: расстрелял парламент — и спи спокойно.

— И вы туда же! Тут я, знаете, возражу, но только сначала, как во всяком серьёзном споре, договорившись о терминах. Расстрел, как помнится, это высшая мера наказания, приведение в исполнение смертного приговора. И начнём с того, что у нас ничего подобного не случилось: никто из депутатов не получил и царапины.

— Дерутся-то обычно солдаты — с солдатами, — уверенно поддержал Бецалин.

— В солдат и стреляли: в тех, что сперва напали на милиционеров и на безоружных солдатиков, потом захватили мэрию, а потом засели в Белом доме, где очень к месту собрался Верховный совет в полном составе. Нынче кому-то стало удобно говорить, что это воинство будто бы охраняло депутатов, а в действительности те фактически оказались заложниками. Если вы смотрели телевизор — а вы смотрели, как и все, — то могли заметить, что у этих молодых на куртках нашита свастика. Они и до того вполне буднично попадались на улицах. Вот в них и стреляли танки — в фашистов.

— Удар ниже пояса, — поднял руки Литвинов, — но нельзя же сказать...

— Кто бы там ни выиграл, сил на выживание не оставалось, — вернулась к своему Раиса.

— Вы правы, сил на всё не наберёшься. Я вот потерял здоровье на защите диссертации, получил инфаркт, но ладно, думал, зато поднялся же на ступень — на ступень! — вверх, где и достаток, и положение отныне обеспечены. И вдруг всё это практически потеряло значение. Зарплату, представьте, перестали платить.

— А «пятый пункт»? — напомнила Раиса.

— Ну, ректорство мне не светило, это правда...

— Не светит и здесь, — усмехнулся Бецалин.

— Э, нет! Ректором не стану, конечно, но работать я тут намерен строго по специальности. Буду читать лекции коллегам: немцам наш подход интересен. Надо изучить язык, подтвердить диплом — и вперёд!

— Простите, — перебил Свешников, — а в какой области вы...

— В педагогике.

— Подход, говорите, интересен? — переспросил Бецалин. — Мне бы вашу веру в светлое будущее. У нас, вспомните, некто Макаренко со своим подходом появился только потому, что стал необходим власти. Нет потребности — нет человека. Ну откуда она возьмётся в этой благополучной стране? Возможно, у вас есть основания надеяться, а я для себя исхожу из того, что раз

меня не звали, а я сам напросился, то и нужды во мне нету.

— Да как же, есть основания. У меня колоссальный опыт.

— Желаю вам удачи, — серьёзно сказал Дмитрий Алексеевич, сочтя неудобным обнаруживать свой скепсис, покуда тот вместо знания основывается лишь на здравом смысле — субстанции неощутимой и оттого не годящейся в доводы при спорах.

Впрочем, он и не собирался убеждать незнакомых людей ни в чём. О себе же он твёрдо знал, что простился не только с карьерой, но и вообще с серьёзными занятиями, из всех инструментов сохранив для них только авторучку. Начать что-либо на новом месте, сохраняя прежний уровень, он мог бы, лишь имея здесь надёжные деловые связи, но о каких связях, о каком партнёрстве могла идти речь после сопутствовавшей ему всю жизнь секретности? Его работы, даже и не содержавшие закрытых данных, хранились на полках «первых отделов», а имя было известно разве что коллегам из смежного института да высокому начальству, но там, дома, возможны были хотя бы намёки, хотя бы упоминания символов, понятных посвящённым, а в Германии он стал словно бы новичком, если не самозванцем, — простым инженером с дипломом сорокалетней давности, который ещё требовалось неведомым образом подтверждать. Нет, насчёт собственного будущего у него не оставалось сомнений: его удел — получая пособие, пописывать итоговые статейки, излагая для потомства свою философию, буде удастся выразить её словами, — и читать наконец-то, сколько влезет, романы. Из новых знакомых он в отношении одного лишь Бецалина (едва взглянув на визитку с замечательно придуманными категориями) решил, что тот преуспеет: даже если бы в беспокойном эмигрантском обществе и не был, по закону природы неминуемо высок спрос на экстрасенсов, гадалок и консультантов, даже и тогда не пропал бы столь изобретательный человек.

— Ну что ж, делитесь, делитесь советским опытом, — пожелал Бецалин. — Но вам, надеюсь, известна обычная судьба благих намерений?

— Ну, у меня слова с делом не расходятся. Как-никак, больше полувека прожил при плановом хозяйстве.

— О, редчайший опыт.

— Какие планы можно строить, — вмешалась Раиса, — если мы попали в чужие руки и не знаем, что нам дозволено, что — нет? Разве нам дома хотя бы что-нибудь рассказывали об этой эмиграции, которой всего-то отроду неделя? Мы уехали вслепую и сейчас способны разве что мечтать попусту. До Москвы, конечно, начали доходить слухи, но ещё слабые, и по одним из них получалось, что здесь хорошо только старикам, которым уже не нужно искать работу, по другим — что молодым все дороги... Мой мальчик не захотел рисковать.

— Моя дочь давно в Израиле, — сообщил Бецалин.

Все разом заговорили о детях, и лишь тут Дмитрий Алексеевич понял, какую особенность здешней компании он никак не мог уловить: да, конечно, они и впрямь были «господа отдыхающие», угодившие в пансионат в мёртвый сезон, когда на дворе ненастье и некуда податься, шахматы и домино надоели, выпить не с кем, а кино сегодня не привезли и потому приходится коротать вечера в гостиной за скучными байками... Только кто же покупает путёвки в такое время — неудачники и пенсионеры? Почти так оно и было: тут явно преобладали пожилые пары, непонятно как решившиеся пуститься в непростой путь, где-то за чертою растеряв взрослых детей — согласившись на одиночество в старости. С другой стороны, как ему было думать о них всех, если он не умел объяснить даже собственный случай, так и не выведав у Раисы, что у неё было на уме, когда, оставив в Москве единственного сына, она отправилась искать стариковского счастья незнамо куда, пусть даже только на разведку, только осмотреться, с человеком, давно ей чужим и ещё дольше нелюбимым. Не настолько ж её Алик был связан своими обязанностями или пристрастиями, чтобы

не иметь возможности последовать за матерью — здесь Дмитрию Алексеевичу мерещился подвох, о котором не хотелось думать.

Не думать на посиделках — значило внимать историям остальных.

Поначалу он слушал, принимая всё за чистую монету, и вдруг, сложив вместе, едва не рассмеялся, найдя в историях замечательную общую черту: ни одна не показалась ни исповедью, упаси Бог, ни просто искренним рассказом, а только — легендой, как у нелегалов. Так рассказчики и проверяли других, и на всякий случай набивали себе цену, словно невзначай ошибаясь в собственных чинах и званиях, отчего доверчивому человеку собравшаяся в гостиную группа могла показаться весьма солидной, человек же осторожный непременно стал бы отнимать в уме по нескольку червонцев от всякой названной суммы, и Дмитрий Алексеевич, подумав, что, пожалуй, открой он, что руководил лабораторией в крупном институте, как его тотчас, вычтя поправку, навсегда определили бы в лаборанты, постарался не говорить о себе ничего, сопроводив бормотание о «кое-каких забавных исследованиях» небрежным взмахом руки.

Сами рассказы были хрониками разлучённых семей. Иные родители уехали из бывшего Союза позже детей и теперь должны были прилагать какие-то усилия, чтобы поселиться в одном городе с теми (и никто не знал, возможно ли это, все они ещё сомневались в своей свободе); у других младшие только собирались в дорогу, и вопрос о скорой встрече пока не имел ответа; у третьего — Бецалина — дочь и подавно укатила в далёкую от Европы страну, и жене, непонятно задержавшейся дома, приходилось одной выбирать, за кем последовать. С четвёртым сюжетом Дмитрий Алексеевич и Раиса познакомились, выйдя под вечер к телефону, чтобы позвонить домой (домой? — Свешников засмеялся: этому слову пора было изменить содержание).

— Там сейчас звонит Роза, — крикнул им вдогонку Бецалин. — Это надолго.

В освещённой будке стояла рыженькая девушка в тёплой куртке и мини-юбке; на улице её было слышно так хорошо, что пришлось отойти к дальнему краю небольшой площадки — но бесполезно, потому что и туда доносилось каждое слово, произносимое то сквозь слёзы, то с раздражением, то умоляюще. Так им легко стала известна история девушки, опрометчиво вышедшей замуж перед самым отъездом, опрометчиво — потому что свежеиспеченному супругу, да ещё и не еврею, германские власти отказали в разрешении на въезд; по закону — или по его толкованию — этой паре предстояло жить врозь до тех пор, пока жена не станет зарабатывать столько, чтобы хватало на двоих.

— Да за это время он найдёт себе новую! — повесив трубку, в сердцах выкрикнула она подвернувшимся соплеменникам.

— Как всех вдруг раскидало по свету, — поразился Свешников. — Словно в войну.

Ему вспомнилась сцена в московском аэропорту, когда он провожал друга, врача, улетавшего чартерным рейсом в Израиль, сопровождая группу детей, пострадавших при чернобыльской аварии. Их везли будто бы только на лечение, но всё же с расчётом, чтобы те при желании могли остаться и чтобы впоследствии к ним присоединились родители. Никто пока не мог сказать точно, так ли это будет или всех вскорости вернут назад. Дети были самого разного возраста, от малышей, прижимающих к груди плюшевых зайцев, до школьников средних классов; ни те ни другие не понимали, что будет с ними завтра, и их растерянность передавалась взрослым. Всё это походило на эвакуацию сорок первого года (Свешников сам едва не пережил такое: мать уже спешно метила его одежду, чтобы отправить сынишку в тыл на каком-то мифическом пароходе для детей, но в последний день отъезд отменили без объяснений). «Массовку» для этой сцены, правда, следовало бы одеть иначе — в коричневое и серое, найти чемоданы поплотнее, убрать из толпы чёрные шляпы раввинов и переписать звук, наложив его на какие-нибудь

чужие рыдания: здесь пусть не веселились, но и не плакали, оттого что за всю эту детскую компанию, улетающую из своих сочащихся зловредными лучами мест в чистую страну, можно было только радоваться. Никто не знал, что благая затея обернётся эвакуацией наоборот — что через месяц Израиль будет ввергнут в войну, в печально знаменитую «Бурю в пустыне».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Замечено, что наше почтение к изречениям древних иной раз бывает чрезмерным: найдя среди них ещё неизвестное, мы восклицаем и взмахиваем ручонками, искренне веря, что раз древняя, раз восточная, то и мудрость, чем древнее — тем и мудрее, и даже наоборот: что раз мудрость, то непременно — древняя, как будто сами сейчас и на Западе уже ни на что не способны. В действительности же дойди до нас все без исключения записи давних веков, мы, подивившись, сколько там словесного сору, в оном немедленно и погрязли бы. К счастью, те суждения, что в своё время показались или оказались ложными либо вздорными, как-то разоблачены и похоронены в веках, а выжили — только верные, как аксиомы, и в их мудрости сомневаться не приходится.

Узнав как-то от своих учеников одну из таких формул — «Прежде чем войти, подумай, как выйти», — Захар Ильич Орочко, незаметный пожилой человек, решил, что этим советом надобно руководствоваться везде и во всём, а всякое намечаемое дело непременно рассматривать с конца. На то, что при этом хорошо было бы как самое малое представлять этот самый конец, он пока не обращал внимания, тем паче что следовать новому правилу ему удавалось нечасто, а говоря честно — почти ни разу и не удалось. Когда, например, он задумал уехать за границу, его поначалу смущала необратимость такого шага, но после того, как бывалые люди поведали, будто теперь

можно не жечь за собою мосты и при неудаче, раскаявшись, разочаровавшись, не прижившись в чужой стране, вернуться в свою, он, пусть и поверив им на слово, так и не сумел представить себе это обратное движение — даже не в разорённое гнездо, а на пустое место, нечто вроде остывшего пожарища. Орочко решительно не знал, как, ошибившись дверью, отступить чуть назад, чтобы потом всё же открыть — нужную, да и вообще во всей затее нашлось столько неизвестных, что воображение отказывалось нарисовать хотя бы какую-нибудь картину новой жизни. Лишь в самой дороге в одну сторону, отсюда — туда, он мог бы предусмотреть, кажется, многие мелочи.

Уезжать будто бы не было особой нужды. Не питая нежных чувств к советской власти, он ухитрился не иметь с нею отношений, то есть не требовать лишнего и терпеть что терпится: не понимал унижений, резко не двигался и был уверен, что никто никогда не подпортит ему карьеру — притом что никакой такой карьеры и не могло наметиться у преподавателя игры на фортепьяно. Отсутствия в стране свобод он при его ремесле на себе не чувствовал, хотя и любил порассуждать об оном — в гневном, конечно, ключе — в кругу старых друзей, и никакая сила не могла бы подвигнуть его даже на ничтожнейшие протесты на публике. Случись в стране какие-нибудь потрясения, это обернулось бы для него всего лишь необходимостью смотреть по телевизору иные, нежели теперь, программы; именно так в конце концов и произошло, и он — смотрел.

Между тем и до и после потрясений кое-кто из тех, кого он знал или встречал, и даже из друзей оказывались одни в Америке, другие — в Израиле; в последнее время заговорили и о совсем уже близкой, европейской стране — о Германии. Захар Ильич до поры смотрел на это равнодушно, однако вода камень точит, и в один прекрасный день — именно в один, вдруг, так что он потом не понял, отчего именно теперь, — ему и самому отчаянно захотелось (или только стало ясно, что хотелось всегда) новой, цветной и сытой, жизни.

Судя по газетам, рядом с ним творились удивительные перемены — с таким размахом, что это не могло кончиться добром для маленьких людей, — и он решил, что лучше всего будет исчезнуть. События девяносто первого года лишь укрепили его в этом: стало ясно, что мира теперь не будет ещё много лет, дай Бог дожить, да ещё и неизвестно, под каким знаком — звездой, свастикой или орлом — тот наконец установится. Захар Ильич, правда, подозревал, что покойная жена не одобрила б его намерений. Но будь она жива, он, быть может, и не помышлял бы о бегстве — одному же стало невмоготу.

Из осторожности и суеверия Орочко ни с кем не делился планами, открывшись по необходимости лишь одному человеку, оркестранту Левину, который и сам уезжал и, уже пройдя многие инстанции, мог бы помочь дельным советом. Держать язык за зубами было непросто, делиться же мечтами и сомнениями хотелось безмерно, и Захар Ильич рано или поздно проговорился бы напрасно, когда б у него не было замечательного выхода: обо всех надеждах и угрызениях он подробно, без утайки, рассказывал самому близкому ему существу — английскому бульдогу Фреду, тем более что тот одним лишь своим наличием уже склонял хозяина к принятию решения. Когда в конце лета вокруг заговорили о плохом урожае и голодной зиме, Захар Ильич, легко поверив слухам, оттого что прилавки были пусты уже теперь, запаниковал не на шутку: сам он протянул бы до весны и на крупе, но собаке нужно было давать мясо. В конце концов всё обошлось, его научили, как покупать отходы мясокотбината, однако он понимал, что такое счастье не вечно, и мечты о новой жизни стали определённые: каждому — своё, и если Левин стремился за границу, чтобы спасти от военной службы сына, то Орочко готов был пуститься следом, лишь бы не ломать голову над тем, как накормить пса.

И всё же он колебался.

Скорее всего, раньше Захар Ильич заблуждался, считая себя хозяином собственных желаний, — теперь ему

мнилось, что они попросту давно уже завяли: после утраты жены существование стало настолько однообразным, что он отвык задумываться над переменами и, получая даже незначительные предложения, неизменно оказывался в глухом тупике, не смея выбрать всего лишь одно из двух — из чёрного и белого, из сладкого и горького, просто из «да» и «нет», — желая вкусить и того и другого, а заодно и такого, чего пока не предлагали. Тогда уже не удавалось выйти из положения старым способом, то есть сесть и подумав, а приходилось ждать происшествий, надеясь, что когда случится — любое, в уме непременно промелькнёт какая-нибудь совершенно посторонняя на вид мыслишка, которая, если ухватить её хотя бы за пёрышко, вдруг обернётся нужным решением; такое бывало с ним в юности, что он попадал в какой-нибудь безнадежный тупик, отчаивался, но когда потом вдруг обнаруживал подсказку, то непременно оказывалось, что та давно уже вертелась на языке, оставаясь всё ж неразличимой в толпе подобных и равных, и лишь благодаря чрезвычайному случаю, неважно, счастливому или несчастному, вдруг представляла ему одна, без спутниц, во всей красе.

Тем не менее в дни, когда возникла возможность переломить жизнь, никакой подсказки что-то не появлялось, и Захар Ильич растерялся, не только не умея, но и не смея определить, достоин ли, законен ли предложенный шаг — не понимая, чего хочет и чем может поступиться, — но спорил с теми, кто говорил, что он, в общем, ничем и не поступается.

— Один ты, Фред, похоже, никогда не сомневаешься, — с грустью сказал он приятелю.

Конечно, так было бы легче и ему самому, и всякому — с детства, как Фред, следовать одному-единственному своду непреложных правил, не отступая от них ни на шаг, ни на градус, несмотря ни на что.

— Вот откуда ваше собачье благородство, — продолжал он, огорчаясь двусмысленности своих слов. — Вы не понимаете, как можно преступить устав и какая в этом прелесть.

Потом он решил, что колебания суть уже повод для отъезда, вспомнив известное мнение о том, что всегда бывает лучше рискнуть, чем, оставив всё как есть, потом до конца дней казнить, жалея об упущенном шансе. «Однако в моём возрасте, — вовремя оговорился Захар Ильич, — какие могут быть шансы? Только сыграть в ящик». Но, попытавшись уверить себя, что оставшийся небольшой земной срок можно протянуть в каких угодно условиях, он внезапно понял, что именно теперь угодно — в человеческих: на ум ему пришла больница, которой когда-нибудь, рано или поздно, а почти точно — рано, всё должно кончиться. Это даже не пугало, а навевало смертельную (глупый каламбур) тоску. Совсем недавно ему пришлось отвозить в клинику близкого человека, и его так потрясло, что тому велели прибыть со своими постельным бельём, бинтами и медикаментами по списку, что он едва не брякнул при враче: «А кровать или гамак — вы обеспечите?» Койка нашлась, но на второй день после сделанной операции случилось осложнение, срочно понадобилось лекарство, какое не предусмотрели в списке и какого не нашлось во всей клинике, — и работа хирурга пошла насмарку.

Думая, что такого не увидишь больше нигде, Захар Ильич счёл упомянутую нами тоску весомым доводом в пользу отъезда. Противным же доводом стал страх перед одиночеством среди чужих — при скверном знании нужного языка: немецкий он учил только в школе. Оба эти соображения уравнивали друг друга, и он говорил себе, что при таком раскладе стараться не стоит, даже определённо решил, что не будет стараться для себя одного: иное дело, если б его усилия пошли на пользу доброму человеку.

Тут его и поймали на слове.

Оно вылетело за чайным столом в доме, где он давно не был и куда не собирался заходить в ближайшие дни; под эту крышу его загнала непогода. Ливень хлынул неожиданно, и Захар Ильич едва успел укрыться в первой попавшейся подворотне (дом был из тех, что называют

лежащими небоскрёбами, то есть тянулся и тянулся вдоль проезда, будучи лишь изредка проткнут проёмами — надо надеяться, нарочно для того, чтобы нерасчётливый путник мог переждать непогоду). Лишь простояв несколько минут на сквозняке, он сообразил, что здесь живут Левины и чтобы добраться до их парадного, нужно лишь пробежать сколько-то по улице. Он так и сделал, но то ли дождь был чересчур силён, то ли бегун слишком стар, а дистанция велика, но только на нём почти не осталось сухой нитки.

— Не найдётся ль у вас водички попить, — сказал он отворившему дверь хозяину, — а то я так продрог и проголодался, что переночевать негде?

— Можете и переночевать, — невозмутимо согласился Левин, не принимая шутки. — Да и переодеться найдётся во что. Вот как получается: не будь в природе стихийных бедствий, вы так бы и не зашли никогда.

— Мы с вами и без того видимся частенько — зачем же излишне обременять? А сегодня, видите — не вовремя.

— Не опоздали ничуть: мы, представьте, садимся попить чаю. Как раз вам и согреться, и обсохнуть. А хотите — есть и горилка: очень советую. Пройдите-ка в ванную: я принесу, что вам надеть.

За столом кроме самого Левина (жена, он предупредил, могла прийти поздно) Захар Ильич увидел виолончелиста Черняка рядом с незнакомой женщиной лет, пожалуй, сорока пяти, и, завёрнутый в огромный хозяйский халат, отчаянно застеснялся своего облачения. Разговор, как поневоле повелось в иных еврейских компаниях, шёл об эмиграции: о тех, кто уехал, кто собирается и кто «сидит в отказе». Для Черняка и Левина отъезд был вопросом времени, они подали бумаги и ждали ответа, гостя же, москвичка, потерпела неудачу уже на этой ступени из-за неладов с пятым пунктом анкеты, определявшим национальность: за границу отпускали одних чистокровных евреев, её же мать была украинкой, а отец — евреем лишь наполовину, по мужской линии, то есть — будто бы и не настоящим; у неё самой в паспорте и подавно значилось: русская.

— В точности, как в том анекдоте, — заметил Левин.

— Каких только анекдотов не выдумывают про евреев, — посетовал виолончелист невпопад, и Левин живо возразил:

— При чём тут это? В оригинале звучало так: он хохол, она узбечка, а сын — русский.

— Интересно, сохранится ли пятый пункт до конца света?

— Его отмена и будет концом света.

— Вообще-то конец света — это ночная авария на электростанции.

— После Чернобыля это больше не смешно.

При упоминании о Чернобыле Захар Ильич сжался, вспомнив о покойной жене, но тему не стали развивать, и он, пока не вступая в разговор, вернулся к прежней мысли о том, как часто что-то важное сводится в беседе к банальностям или вышучивается.

Нынешний сюжет был не нов и в нескольких словах звучал так: один рвётся прочь, но не может уйти, другой — может, но не рвётся. Второй случай он принимал на свой счёт, оттого что, решив уехать, стал неожиданно для самого себя выдумывать всё новые отсрочки, жалея бросать свой класс: без учеников он оставался один на свете. Это было больное место Захара Ильича, и его неприятно изумила решимость нынешней москвички, готовой пуститься в дорогу в одиночку — незнамо куда и зачем.

— Кстати, об анкете, — сказал он ей. — Вряд ли вы, с таким славянским паспортом, страдали от общих наших ограничений.

— Вы очень верно оговорились, — кисло улыбнулась она. — Действительно — общих. Я не очень верю во все эти пресловутые перемены: ещё неизвестно, чем они обернутся. Для некоторых — трагедией.

Ему и самому, как, впрочем, многим, казалось, что обернётся чем-нибудь знакомым, только — в искажённом, страшном виде.

— Я стараюсь об этом не думать, — проговорил он. — Мне, к счастью, поздно ждать результатов. И хороших,

и всяких. Ну да, пятый пункт всегда останется при мне, но и он не навредит: не стану же я, пенсионер, устраиваться на другую работу, заполнять анкету, не представлю же перед кадровиком. Нет, мне уже не навредят.

— Ещё как навредят! — вскричал Черняк. — При первом же сокращении начнут, конечно, с вас: и еврей, и пенсионер-переросток.

Захар Ильич молча махнул рукой, но после долгой паузы встрепенулся, вспомнив:

— Недавно я пережил предчувствие...

На сей раз он не оговорился: свежий опыт открыл ему, что кроме тех предчувствий, к которым стоит прислушаться, и тех, которыми лучше пренебречь, встречаются и те, что приходится переживать как потрясение.

Однажды среди бела дня, войдя в автобус, Орочко внезапно почувствовал, что там вот-вот случится нечто страшное — быть может, в салоне взорвётся бомба. Растолкав пассажиров, он выскочил на тротуар, и автобус благополучно скрылся из виду; потом напрасно было сидеть весь вечер у телевизора, да ещё и с развёрнутой вечерней газетой, — сообщений о теракте там не появилось. Между тем ощущение верного несчастья не только не прошло ни тотчас, ни с ночным, на удивление крепким для таких обстоятельств сном, но и усугубилось наутро: Захар Ильич проснулся со знанием, что произошло что-то непоправимое: началась война, чума, на лестнице затаились чекисты с ордером на несправедный арест, снова запретили джаз — словом, жизнь кончилась. Собака, однако, была спокойна. Он бросился к окну — там было всё как прежде, включил телевизор — но и там вместо маленьких лебедей или диктора с траурным лицом объяснялись в любви смуглые пижоны с такими слащавыми физиономиями, что он задохнулся от ярости: как они смеют, когда кругом — такое горе?..

— Чем же это, наконец, разрешилось? — нетерпеливо спросил Черняк.

— Абсолютно ничем. Я испытал настоящий ужас, а очнулся — где-то птички поют.

В наступившей паузе ему почудилось желание каждого отослать его к врачу; он уже собрался смиренно сказать, что понимает их, но Черняк опередил:

— Так вы едете или не едете?

— Вы как будто выпроваживаете.

— Чисто спортивный интерес. С другой стороны, начните дело, а там видно будет: пока вам ответят, пока что... Тогда и откажетесь. Невозможно ведь годами стоять на пороге.

— Согласен. Англичане так и говорят: уходя — уходи. В том смысле, что «бойся гостя стоячего...». Однако и гостя надо понять, потому что если развить вашу аллегорию, то нельзя же выгнать человека в позднюю ночь: а ну как не найдёт дороги домой?

— Короче: вы едете или как?

— Если вы настаиваете, то «или как». От памяти не убежишь, мои горести останутся при мне даже на краю земли, а вот сам отъезд может оказаться просто не по силам. Да и вряд ли стоит стараться ради одного себя. Если бы это кому-нибудь помогло...

— Вывезите какого-нибудь родственника, — предложил Левин. — Доброе дело сделаете.

Подходящих родственников у Захара Ильича не было, и Левин придумал другое:

— Женитесь ненадолго.

Захар Ильич воспринял это как хорошую шутку:

— Забавно звучит. Но и обидно: а вдруг мне захочется побыть на этом свете подольше?

— Напрасно вы смеётесь: в таком деле фиктивные браки не редкость.

— Какой тут смех: сосчитайте-ка мои годы.

— Вам же ещё и заплатят за беспокойство, — заметил Черняк.

— Мне! — возмутился Захар Ильич, подумав, что всякий, даже фиктивный, брак накладывает обязательства и крадёт свободу и что при этом отъезд теряет если не смысл, то привлекательность. — Для этого ищут, знаете ли, юных мальчиков.

— Как вы забавно испугались! — сказала ему московская гостья. — Словно здесь и вправду решают вашу судьбу.

— А вы бы, девушка... — заулыбался Левин и вдруг, сообразив что-то, вскочил с места. — Пойдите-ка, пойдите! Куда же мы смотрели? Вот вас двоих и надо отправить вместе.

— Как образцовую советскую семью, — подхватил Черняк.

Увидев, как расширились глаза предполагаемого жениха, ради такого случая наряженного в купальный халат с чужого плеча, Левин поспешил успокоить:

— В конце концов, нужно лишь пересечь границу — ну не напрасно же у вас птички-то пели, — а там, на месте, разберётесь: разводиться ли, сохранить ли своё положение или...

— Извините, Юрий Маркович, — перебила его женщина, — что за фарс вы задумали?

— Да не задумал нисколько, это импровизация, просто вырвалось, но теперь уж посудите сами: у вас обоих сразу решаются все проблемы.

— Удваиваются, — робко возразил Захар Ильич, думая, что только так, уклончиво, и можно сейчас выразить своё мнение: скажи он твёрдое «нет» — и женщина оскорбится тем, что её отвергают, согласись — посчитает его жалким старикашкой, падким на сладкое.

— Не обижайтесь, Юрий, но ваш экспромт абсурден, — сказала она.

— Именно! — обрадованно вскричал Левин. — Неужели вы, живя в стране абсурда, от всех ждёте разумных речей? Вот это и есть самый настоящий абсурд.

— Хотите сказать, что, с другой стороны, для совков нет ничего неразумного? — неуверенно проговорил Черняк.

— Ах, не умничайте, — поморщилась она. — Весь мир неразумен. Вы не знаете, где вас подстерегает несчастье. Я бегу от одного, но не ждёт ли меня за углом другое?

— Дорогая, в какую веру вы обратились?

— Как видите, я обращаюсь в бегство.

Захару Ильичу как раз на руку было, чтобы они сейчас позанимались умственной гимнастикой — лишь бы позабыли о разыгранной сцене сводничества. «Как вы забавно испугались!» — услышал он и едва не запротестовал, но осёкся, оттого что предложенное будущее и в самом деле испугало его, он больше не мог представить себе жизнь вместе — в одной комнате, квартире ли — с женщиной; давешнее намерение постараться не для себя одного, а ради какого-то тогда ещё неизвестного доброго человека, совершенно вылетело из головы. Верный своему правилу, он постарался заглянуть в дальний конец — чего? — своего существования? Нет, хотя бы отъезда за границу — и не увидел там ничего определённого. Правда, и одиночество тоже потеряло там трезвую ясность, и он сумел вообразить себя в гробу, над которым склонилась женщина с букетиком цветов; ему каким-то образом удалось узнать, что картинка отнесится к близким дням.

Дождь перестал, но темнело, а чужая женщина всё ещё сушила утюгом его одежду, и Захар Ильич нервничал, оттого что Фред заждался.

Выйдя наконец наружу, он увидел, что народу на улице и в метро будто бы прибавилось против обычного — из-за того, быть может, что ненастье у всех отобрало добрый кусок дня и они теперь восполняли потерю. Между тем достигнутая до ливня точка была недостижима: и календарь не досчитался поспешно, не вовремя оторванного листка, и очередная клетка изнасилась в теле, и сама Земля неотвратимо продвинулась, вертясь, от утра к ночи и от лета к зиме — но мало кто мог задуматься над этим. Не задумался и Орочко, не имел обыкновения — как и большинство из нас, его не интересовала суть времени, достаточно было сознавать, что оно проходит.

На его веку повторялось многое, и лишь того, к чему сейчас, видимо, шло дело, не случилось ещё никогда; до сего дня он и не верил, что случится, и лишь за странными разговорами у Левина, понял, что никуда не деться, он уедет, и что в новых обстоятельствах бытия никогда не повторится ничего из прежнего. Впереди его ждали странные порядки, чужой язык и пейзажи, непохожие на те, что сейчас мелькали за окном. Он даже привстал, чтобы взглянуть, приложил ко лбу руку, оттого что отсвечивало стекло, — и рассмеялся: он ехал в метро, в трубе.

«С такими фантазиями я в Германии прямым ходом попаду в психушку, — подумал он, — и, наверно, тамошние безумцы покажутся вполне нормальными людьми, оттого что я не пойму их бреда».

Дорога к дому вела вдоль пустыря, куда обыкновенно выводили собак из окрестных кварталов; здесь сложилось изрядное собачье общество со своими законами, привычками и антипатиями и, как копия, — пёстрое общество собачеев. Земля после дождя раскисла, и Захар Ильич не увидел тут ни души. Это значило, что ему предстояло вести Фреда по людным тротуарам, и сегодня это было кстати, оттого что ему хотелось не болтать с соседями о пустом, а думать.

— Извини, старик, — сказал он через несколько минут, — придётся взять тебя на поводок, иначе ты вывозишься по уши. Зато я расскажу тебе кое-что забавное. — Ему нужно было выговориться: давешнее чаепитие немало озадачило его. — С другой стороны, — продолжал он, — я, наверно, несправедлив: Левин старается помочь сразу всем. Да и я ляпнул, что готов к тому же. Короче: не хочешь ли ты завести себе новую хозяйку?

Задай кто-нибудь тот же вопрос самому Захару Ильичу, он затруднился бы ответить, ему и в самом деле было бы проще положиться на мнение Фреда: собаки лучше людей разбираются в людях, причём — с первого взгляда.

— Не подумай плохого, я не предаю Риточку, да только и она сама, умирая, сказала: «Женись. Один — пропадёшь». Не пропал, как видишь, и всё же холостяком

хорошо быть в молодости, а сейчас, когда, как говорят, случись что — и некому стакан воды подать... Кто — кому?.. Вдобавок слышен ещё и такой мотив: не знаю, едем мы с тобою или нет, но знаю, что могу кого-то выручить. И скажи, нам это нужно?

Всегда было заведено, что кто-то появлялся, кто-то уходил, и он, не находя удивительного в таком порядке, писанном для других, долго оставался рассеянным наблюдателем, сродни пешеходу на людной улице, не задумывающемуся, куда и отчего навеки пропадают встречи, а потом умерла жена, и мир предстал ненадёжным и зыбким. Ему стало трудно разговаривать с прежними знакомыми — никого в эти дни не потерявшими, — и те постепенно переменили свои положения в пространстве: одни исчезли, другие хотя и приблизились, но двигались перед глазами равнодушно, как мимо пьяного оборванца, расположившегося на тротуаре. Зато неожиданно приблизился, словно проявившись из тумана, Левин, раньше не слышавший не только другом, но и близким приятелем, просто старый знакомый, с которым у Орочко теперь вдруг нашлось нечто общее: оба, оказывается, уезжали, хотя и в разные страны; из-за этого Левин стал ближе прочих — и уже вызывал на откровенность, вмешивался в судьбу, а согласись Захар Ильич сегодня на его предложение, и подавно стал бы другом семьи.

«Чушь, — остановил он себя. — Друг семьи, друг дома, а между домами — океан?»

— Нам это нужно? — повторил он вслух, одновременно додумывая чуть-чуть другое: не насмешка, не розыгрыш ли предложение Левина — с того могло стать. Впрочем, даже если тот и не шутил, Захар Ильич, согласившись, всё равно проигрывал, оттого что проку, в смысле женской заботы, от фальшивого брака ждать не приходилось, а развода в чужом государстве он мог и не добиться. «Ах нет, — спохватился он, — какой развод? Зачем?»

Он решительно не хотел ничего временного, но и всё другое, постоянное, пугало непоправимостью: он мог увязнуть — и пропасть.

— Представь, — продолжал он, — у неё должны быть и дети, и, пожалуй, внуки, и муж (но где же муж?), пусть и бывший, — а она говорит о себе в единственном числе. Как это понимать? Ждать, что она вдруг начнёт вписывать в заявление об отъезде одного за другим всю родню? Тебе, наверно, тоже не понравилось бы жить в таборе. Но и с другой стороны: не стыдно ли будет мне, старику, идти под венец? Не говоря уж о том, что все сразу разоблачат сделку, но — что они скажут о невесте? Нет, на нас с тобой, Фред, и без того свалилось слишком много. Может свалиться. К тому же не исключено, что я рехнулся... И всё-таки: втроём нам было бы легче в дороге.

Положительно, у него не нашлось в этот день иной темы для обсуждения с собакой.

Не будь собаки, Орочко ни с кем не познакомился бы в поезде, безвылазно просидев в купе в напрасных стараниях понять, что же с ним произошло и как далеко могут завести условности фиктивного брака. На остановках, когда он ухитрялся выводить Фреда, с ним (с псом, скорее) заговаривали по-русски — один человек, другой, такие понятные среди иностранной публики на перроне, — и ему захотелось, чтобы эти один, два, три человека остались его попутчиками до конца дороги. Истинных размеров своей компании он не представлял и поразился, когда на назначенной станции вместе с ним из поезда высадились, загромоздив платформу множеством чемоданов, сумок и картонных коробок, добрых два десятка его соотечественников. Началась неразбериха из-за тележек, на которые можно было бы погрузить скарб, зато вопроса, куда теперь двигаться, уже не возникло, оттого что совсем рядом с группой, на виду стояла крупная блондинка, державшая на древке табличку с надписью кириллицей: «Евреи».

— Вот когда вы пожалеете, что уехали, — сказал Захар Ильич своей спутнице. — Подгонят теплушку и — в Бабий Яр.

— Она и вправду походит на надзирательницу.

Та представилась иначе: комендант (комендант чего — никто не разобрал, но не концлагеря же) фрау Фогель, и была приятно возбуждена — пока не подошла к Орочко.

— Мой Бог! — воскликнула она, обнаружив Фреда. — Что это?

Захар Ильич молча развёл руками.

— Но это невозможно, — развела руками и Фогель.

— Переведите кто-нибудь, — попросил он, и, когда начали переводить, твёрдо заявил, позабыв о стоящей рядом молодой супруге: — У меня больше никого нет.

— Прелестное животное. Сожалею, но я не могу его принять.

— Назад я не уеду.

— Естественно. Но я не знаю, как поступить: это — первый случай... Придётся позвонить руководителю, проконсультироваться: возможно, он разрешит отправить вас в деревню. Идите в автобус.

Что ж, его, по крайней мере, не оставляли на вокзале до отхода обратного поезда.

На улице прибывших ждал автобус с прицепом для клади.

— Видите, — повторил он свою мрачную шутку, — наше добро увезут себе, а нас — прямиком в овраг.

Только сейчас Орочко заметил, как жалко выглядит его багаж: собранные по продуктовым магазинам картонные коробки, в которые оба упаковали посуду и бельё, были у него и у его женщины, разумеется, одинаковыми, но за свои чемоданы, выставленные напоказ посреди перрона, ему впервые стало стыдно: он уложился в два старых фибровых, с железными уголками, оставшихся чуть ли не с военных лет, и сейчас их соседство с другой парой — щегольским кожаным и вторым, мягким, обтянутым нарядной шотландкой, — выглядело странно. «Неправдоподобно, для одной-то семьи», — признал он, тотчас успокоив

себя предположением, что замечать подобные несоответствия здесь решительно некому, вернее, незачем, — ошибался, конечно.

Его попутчики были оживлённы, а сам он — подавлен; его не оставили на вокзале, но, не придумав, как обойтись с собакой, могли вернуть туда в любую минуту, лишь бы успеть к обратному поезду. Он лишний раз пожалел о том, что не предусмотрел подарка для тех, от кого зависело его устройство, — не то чтобы забыл или не подумал (живя в бывшем Союзе, где, куда ни глянь, брали взятки либо воровали, о таком нельзя было не подумать), но — не выбрал. Не так давно, он знал, уезжавшие за границу непременно везли с собою фотоаппараты «Зенит» — для взятки или перепродажи с солидной прибылью, — и сам хотел захватить такой же, но ему вовремя открыли, что сегодня эта техника годится на Западе только для музея. Что ещё могло бы послужить хорошим подарком, он не мог себе представить, справедливо считая, что на Западе никого ничем не удивишь. Русской водкой? — но это выглядело бы не очень красиво. Матрёшкой? Он вёз их несколько штук, но считал слишком дешёвыми для его случая сувенирами. Как ни посмотри, он оказывался просителем с пустыми руками.

Когда машина тронулась и Захару Ильичу предстал невероятный до сих пор городской пейзаж с крутыми красными крышами и не поддающимися прочтению вывесками, он подумал, что должен бы ощутить себя отпусником, туристом — но в действительности не мог отделаться от ощущения сделанной ошибки, чреватой то ли тоской, то ли казённым домом. Чуть погода живописная старинная застройка сменилась кварталами современных зданий, и он понял, что если всё кончится хорошо, ему придётся жить в одной из таких коробок с низкорослыми комнатами. Прикидывая на глаз, Захар Ильич вывел, что, пожалуй, и в хрущёбе, где он прожил последние три десятка лет, даже и там потолки были, пожалуй, чуть повыше; для сравнения годилась, наверно, только музыкальная школа, в которой он когда-то учился, а потом учительствовал. Заведение помещалось в износившемся

особняке, в котором фортепьянным классам был отведён надстроенный, а потому — неполноценный этаж; впервые поднявшемуся туда ученику показалось, что любой взрослый мог бы не просто достать до потолка кончиками пальцев, но и приложить плашмя ладонь; вышедший из этого мальчика учитель не сумел дотянуться — ни так ни этак. «Иначе я прожил бы свой век, пригнувшись, — подумал он, не печальсь. — А вот моей даме придётся привыкать. Но никакие старые привычки, — продолжал он про себя, не сохранятся в новой жизни, как только поймёшь, что изменившиеся обстоятельства будут сопровождать тебя до конца не воскресной поездки, а — отпущенных на земле дней; предсказать их свойства не взялся бы никто, всё зависело от того, от каких напастей человек бежал и что мечтал приобрести». О нём самом кто-то сказал, вспомнив старую формулу, что он, мол, выбрал свободу, — и оказался неправ, потому что при всех сказанных красивых словах уезжал Орочко вовсе не из высоких соображений, а всего лишь за лучшей жизнью. После пересечения границы он как раз ощущения обрётённой свободы или хотя бы непривычной лёгкости немедленно и не испытал, напротив, здесь его что-то угнетало, быть может — неопределённость положения: как-никак, он был ответствен перед чужой женщиной — своей нынешней женой.

— Что это было там насчёт деревни? — наконец поинтересовался Орочко.

— Что Фреда если и примут, то лишь там. Остальное можно домыслить: я буду свиаркой, вы — пастухом. Да не огорчайтесь так: кто знает, где проиграешь, а где — выиграешь?

— Но это же выход! — горячо зашептал он, распаяясь от случайной мысли. — Смотрите, Муся, только и впрямь не попроситесь в свиарки: наоборот, ни за какие коврижки не соглашайтесь ехать со мной. Нам же надо разделиться, и это — шанс.

Идея оказалась на редкость удачной, но оба они узнали об этом не теперь. Отправлять его спутницу прочь из

города не было резона, её легко оставили со всей группой, отчего и первые немецкие бумаги выправили ей и Захару Ильичу не как членам одной семьи, а каждому отдельно, и вышло, что они больше не зависели друг от друга.

Для начала следовало осмотреться, и Орочко, свалив свои вещи в углу комнаты и на саму комнату глянув только мельком, — поспешил выйти с Фредом наружу. Двухэтажное неказистое здание, куда их привезли, стояло на самой окраине... окраине — чего? На деревню это походило мало — впрочем, он плохо представлял её себе в немецкой версии — притом что толком не видел и советских. Известно, было ль это упущением, но приходилось признать, что там, в Союзе, он не бывал в деревнях — не просто не пожил, но даже и не переночевал ни в одной, и всё знакомство с ними сводилось к наблюдениям из окна вагона, когда взору праздного пассажира представляли рубленые избы в три окошка, огороды, куры да непроезжие после дождей дороги — в российских областях, и белые мазанки, обсаженные невысокой зеленью, в скучном, без колоколенок, выцветшем на солнце пространстве — на Украине. Теперь он рассматривал окрестность с недоумением: тротуары из плиток, оштукатуренные дома под черепицей, цветы на террасах и цветы на клумбах, газоны вместо грядок; скорее, он назвал бы это дачным посёлком — из лучших. Через три или четыре двора, перед близким лесом он разглядел загон с парой лошадей и подумал, что надо бы подойти поближе, показать их Фреду, который, пожалуй, никогда не видел зверя крупнее кошки. Тут Захар Ильич рассмеялся: а он сам? Наблюдать животных на воле ему, городскому жителю, не довелось, а в зоопарке он был в последний раз лет тридцать назад, с сыном, будучи тогда уверен, что так и будет ходить сюда, старея, — с внуками, потом, Бог даст, и с правнуками. Бог не дал, а взял:

сын, ещё неженатый, погиб на афганской войне, не оставив после себя никого.

Вряд ли сын уехал бы вместе с ним за границу.

Захар Ильич с изумлением слушал голоса невидимых птиц, вдыхал свежий воздух и думал, что с этой минуты и начать бы жить сначала, — нет же, спокойное существование только неясно маячило где-то впереди. Фогель объяснила, что даже и здесь для него с собакой, приютив, делают исключение и что ему необходимо поскорее найти себе квартиру. С искренним недоумением он вскричал: где? Ответ был прост до наивности: в любом городе, где захотите, но — в нашей федеральной земле. Он не сумел сказать ей, что в Союзе его очередь на жильё шла много лет.

Что ж, он привёз с собой настенную карту Германии.

— Это была чистейшая авантюра, — признался он Фреду. — Ты вот-вот станешь пенсионером, я — стал давно уже, к тому ж и говорим мы каждый на своём языке. Представь себе, как мы будем объясняться в каком-нибудь домоуправлении.

— Вот так псина! — воскликнул встречный подросток по-русски. — Можно погладить?

Совсем недавно, однако, в прошлой жизни, Захар Ильич слышал от учеников анекдот:

«— Скажите, это правда? Ваша лошадь говорит, что училась в Оксфорде!

— Не верьте ей: обычная говорящая лошадь».

— Можно, — ответил он, — если пёс услышит, что вы поздоровались. Для него это важно.

— Здравствуйте. Только, знаете, лучше говорите со мной на «ты», как все, а то я сбиваюсь.

— Здравствуй. Вот теперь можно погладить: Фред понял, что ты — свой.

— Фред? Как-то не по-нашему... Не по-собачьи.

— Он — английский бульдог. А как мы все недавно узнали, национальность обязывает.

Мальчику нечего было ответить. Он ласкал собаку и лишь после долгой паузы сообщил, почему-то вполголоса:

— Я здесь с бабушкой.

— А что... — начал было Орочко, но вовремя сообразил, что спрашивать о родителях, видимо, не стоит. — А что, ты давно здесь?

— Тут «давно» не бывает: подолгу не держат. Это, по нашему говору, пересылка.

— Откуда тебе знать, что такое «пересылка»? — усмехнулся Захар Ильич, поворачиваясь, чтобы идти дальше.

— Я к вам ещё подойду, можно? Увидимся?

— Увидимся, — повторил он, когда мальчик уже не мог его слышать.

Его занимало, увидится ли он снова с Мусей — если только сейчас же не нагрянет к ней с ненужным визитом. «В странное положение я её поставил, — думал он. — Надо бы написать ей, пока ещё известен адрес. Жаль, я не мастак в этом». И в самом деле, первое письмо далось бы ему с великим трудом, даже — первые строки: Захар Ильич не знал, ни какой следует задать тон, ни как обратиться; он словно бы опасался, что невинная переписка с законной супругой может превратиться в почтовый роман.

«Нет, я никогда не сумею написать что-нибудь складно, — сказал он сам себе. — Да и о чём? У меня нет столько мыслей. Удивительно, как это люди сочиняют книги».

Он медлил — и получил весточку первым, в первое же утро; получил — и порадовался своей нерасторопности. «Старик, а приятно», — проговорил Захар Ильич, перечитывая недлинную записку. Муся только о том и написала, что устроилась хорошо: обрисовала свою комнату с видом на чей-то цветник. Теперь она ждала ответа, а Захару Ильичу что-то не хотелось вторить ей, извещая, что тоже нашёл угол и доволен им: это было бы неправдой из-за данного комендантше обещания немедленно приняться за поиски постоянного жилья. Лучше было бы описать деревню, да он не умел, и, пожалуй, лишь рассказ о здешнем эмигрантском обществе не доставил бы затруднений, оттого что всё оно состояло из вчерашнего мальчика с бабушкой.

Он увидел их, возвращаясь с Фредом с вечерней прогулки: невысокая грузная женщина сидела, подстелив

одеяло, на бетонном парапете, отделявшем палисадник, а внук выдвигал перед нею странные пассы — быть может, рассказывал о футболе.

— Так вот он, — сказал Саша бабушке. — Я же тебе говорил.

Она вздрогнула при виде Фреда.

— Наши, как водится, собираются вместе лишь к ночи, — представившись, пробормотал Орочко, только бы что-то сказать.

— Разве с вами приехал кто-то ещё?

Ему не понравилось, что во всём доме их оказалось всего трое: о них могли забыть, что-то для них не сделать, куда-то не отвезти, обрекая на вечную жизнь в глуши.

— Но и с вами, я вижу — нет, — отозвался он. — Что же вы, с самого начала — так, вдвоём?

— Еле увезла парня, — пожаловалась Фаина. — Поверьте, шла настоящая война.

— Неужели до такой степени?

С ним редко делились семейными дрызгами, но Захар Ильич, тем не менее, сразу представил себе историю, какую предстояло выслушать — таких немало попадалось в газетах: пьющая, гуляющая мать-одиночка, заброшенный ребёнок с целым букетом пороков...

— Отца нет, в доме всё какие-то мужики шастают, один за другим... — зло сказала Фаина, когда мальчик отошёл в сторону, — Сашку, чуть что — на улицу, а на улице — сами знаете кто. Он мальчик тихий, к тем вроде бы не пристал, вот его и били чуть ли не каждый вечер. Теперь же ему, не успеешь оглянуться — в армию, а там и вовсе забьют. Сдачи он давать не умеет, вот что.

— Значит, всё же семья... До призыва ещё несколько лет.

— Для вас — несколько, а для меня — завтра. Нет, ему туда нельзя.

— Теперь уже неважно.

Неважно — потому что мальчик надолго оставался одиноким. До тех пор, пока не встретит свою женщину.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Игра слов строится, известно, на двусмысленностях или на схожести звучаний, вот и воображение в своих играх, ещё не пользуясь языком, а рисуя приблизительные картинки, приписывает будущим либо нынешним, но скрытым до поры событиям какой-нибудь свой смысл: примеряет их одно к другому в разных положениях, выбирая итог по вкусу, отчего и оказывается в неприменном выигрыше. Своего хозяина оно при этом увлекает как угодно далеко, в отличие от языка, смелого лишь в родной земле и оттого в нашем случае способного даже по дороге, ведущей, естественно, в Рим, проводить всего лишь до Киева. Свешников в юности, при всей его любознательности, в украинскую столицу не стремился (забегая вперёд, скажем, что, всё-таки попав туда в зрелом возрасте, он тотчас влюбился в неё со всеми присущими ей церквями и горками); в те годы мысли о туризме из-за бедности населения, а не будь оной, так из-за стеснения всяческими строгостями, не приходили в голову, и люди вместо мечтаний о новых пейзажах лишь иногда тихо предполагали существование на свете какой-нибудь иной, нежели у них, жизни, при этом вовсе не надеясь пожить ею хотя бы денёк, что было бы совершенно невероятно, а только — когда-нибудь занести в дом напоминающую о ней вещичку, хоть что-нибудь — перочинный ножичек с пылинкой на лезвии, ластик или заколку. Воспитатели оградили душу и ум юного Мити Свешникова от вредных помыслов, и в том возрасте, когда в другое время другие мальчишки играли в индейцев, в лапту и в казаков-разбойников, он играл со сверстниками в войну, крича, в зависимости от доставшейся роли, то «За Родину, за Сталина!», то «За Родину, за Геббельса!». Дети в те времена если вдруг и сбегали из дому, то не в Америку, а на фронт. И Америка, и Англия, и Африка были землями, которые воочию не видал никто из окружающих, казалось, вообще — из живых людей, и вполне можно было допустить, что их выдумали писатели, как Конан Дойл — свой

затерянный мир; поверить в иные страны пришлось лишь в старших классах школы, вдруг охваченных увлечением всем американским, но и тогда Митя мечтал не о странах по тридевятым царствам (что было бы в те годы бредом), а о самом существовании этих стран: лишь бы они жили на свете, пусть даже со всеми их пресловутыми бедами — с вяло загнивающим капитализмом, с бездомными, спящими на уличных скамейках, с забастовками несчастных рабочих. В детстве образ чужих краёв сводился в его воображении не к непомерным коробкам небоскрёбов, а к прилавку писчебумажного магазина где-нибудь на Бродвее: однажды мальчик увидел у кого-то привезённый из Нью-Йорка блокнотик, поля на невозможно белых страницах которого были отчёркнуты голубыми и розовыми линиями, — и возмечтал о таком же, отчего потом при всяком разговоре о загранице ему мерещились стеклянные прилавки, заваленные сказочными вкусно пахнущими вещицами — красками (подумать только, было же время, когда он считал, что умеет рисовать!), фаберовскими карандашами, точилками и, наверно, ещё какими-то замечательно яркими штучками, каких он никогда в глаза не видел и даже не мог бы догадаться об их назначении. Эта мечта была, наверно, самой чистой среди других из-за полнейшей своей несбыточности: становиться дипломатом или моряком Митя не собирался, уделом же избравших профессии попроще было пожизненное томление в отдельно взятой Советской стране, им самим пока неизведанное.

Никто из Митиных однокашников не обмолвился в стенах школы, не посмел бы обмолвиться о своей мечте хотя бы одним глазом взглянуть на заветное Зазеркалье, на Штаты, — нет, казалось, что они всего-навсего хотели быть американцами у себя дома. Их выходки выглядели невинным озорством: подумаешь, кто-то запел на перемене частушку «Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу» (но неведомая кока-кола в глазах наставников была символом глубочайшего разложения, зверем страшнее кошки), им было невдомёк, что людей сажали

и за меньшие шалости, — это были годы борьбы с космополитизмом, в ходе которой у зрячих летели головы, а слепые и глухие охотно соглашались и с глупыми переименованиями вроде превращения «французских» булок в «городские», и с тем, что Можайский на своём паровом самолёте чудесным образом обогнал братьев Райт, и с объявлением ложными наук, расцветших на Западе, но не понятых советским вождём. В противовес всему этому будто бы сама собою родилась ехидная формула «Россия — родина слонов», и вот за неё-то и можно было поплатиться.

Трудно сказать, чем притягивала школьников именно Америка, о которой они знали немногим больше чеховских мальчиков: американская литература была недоступна, кроме Драйзера да, пожалуй, свежееизданных Эптона Синклера и Синклера Льюиса, которых одни считали однофамильцами, а другие путали, не понимая, куда отнести навязчивый «синклер». Европейские книги издавались скудно. Но существовало ещё и кино — ленты, взятые в качестве трофеев в Германии; ах, с каким упоением мальчики смотрели и пересматривали гангстерский боевик «Судьба солдата в Америке»! Любая сработанная в Штатах — «штатская», как они говорили, — безделка ценилась у них на вес золота, будь то хоть канцелярская скрепка; впрочем, крупнее скрепки ничего и не могло попасть в детские руки. Американская же свобода... — о ней не говорили, как вообще не говорили о политике, как не говорили о своей несвободе, ещё не понимая её. Просто в той волшебной стране они инстинктивно подозревали нечто противоположное убожеству, в котором топили их комсомол, школа и верноподданная толпа.

Ловя в воздухе каждую каплю заокеанских субстанций, школьники бегали то в театр Вахтангова на «Миссурийский вальс», в котором действовали гангстеры, то слушать джаз — это была единственная возможность — в кукольном спектакле у Образцова. Запрещение джаза только подстёгивало их; они боготворили эту музыку, её исполнителей и страну, в которой та родилась.

И всё же они мечтали о том, во что, пожалуй, не верили. Америка была в их глазах скорее не запретным, а несуществующим миром.

По прошествии лет пристрастия остались пристрастиями, а разговоры не только не привели к действиям, но и сами иссякли — просто потому, что старая компания распалась, а в новых и люди собрались — новые. Бывшие одноклассники и соседи разбрелись учиться по разным институтам, а потом и подавно разъехались из своих коммуналок кто куда, из центра — на бывшие окраины и даже в ближние пригороды, становящиеся спальными районами; теперь они встречались все вместе только раз в году на традиционных школьных сборах — и уж сюда-то приходили аккуратно, на удивление другим, старшим и младшим, почти всем классом, кроме трёх или четырёх человек, например — Лёши Zubовича, уже через несколько лет после выпуска ставшего едва ли не лучшим из лучших саксофонистов. Развернуться в Союзе ему не дали: приходилось играть по случайным клубам, почти тайком, но ни выступать в больших залах, ни тем более записывать пластинки нельзя было и мечтать. Вот он-то один и уехал за границу, причём именно в заветные Штаты — исчез вдруг, не сказавшись, но прошло немного времени — и вести о нём донесли из Лос-Анджелеса. Что ж, на очередной сходке друзья выпили за его удачу, сказав: «Эка повезло чуваку!» — но привычно не огорчившись невозможностью последовать чужому примеру; кстати, и способ Лёшиного передвижения на Запад был исключительным. Откуда-то стало известно, что он женился на американке; между тем все одноклассники были давно и прочно женаты на москвичках — кроме Свешникова, успевшего развестись. Приятели делали ударение именно на «успевшего», подчёркивая своё отставание с шутивным одобрением (вот изловчился же, а мы всё мешкаем), отчего история приобретала легкомысленную окраску, между тем как у него и амуры не успели вмешаться в сюжет, и не получилось даже обо-удно вежливого неторопливого прощания, пусть бы

и со слезою, а только — скупая сцена, о каких в простоте говорят «жена ушла».

«Как пришла, так и ушла», — потом убеждал он себя в течение многих лет, не сумев скоро разлюбить эту девочку, героиню своего курортного романа, в подробности которого не посвятил никого.

Отдыхая как-то в Паланге, в свои довольно ещё молодые годы, Свешников с другом ранним утром набрали на маявшихся на крылечке квартирному бюро двух премиленьких девушек. Трудности тех были обыкновенны — чужой город, напрасные поиски ночлега, предложения мифических комнат, будто бы освобождающихся через сутки, неизбежность ночёвки в парке, а тогда уж, скорее всего, и на погранзаставе, — и молодым людям, хотя и постеснявшимся поинтересоваться перипетиями уже прошедшей ночи, после некоторых стараний удалось будто бы невероятное: уговорить подружек на сей раз переночевать у них. Бросили жребий, и Дмитрию досталось принимать у себя меньшую — как раз ту, которую он и сам пригласил бы, доведись выбрать.

Когда на следующее утро обе пары сошлись в столовой, Свешников нашёл друга мрачным после ночи, проведённой в уговорах и борьбе, и постарался унять ликование в голосе, объявляя, что вторая девушка может больше не искать себе койку.

Нечаянный медовый месяц Дмитрия и Юлии пролетел слишком быстро, словно в нём потерялись кое-какие дни, и так не хотелось потом разъезжаться, что Свешников и тут предложил свой кров, а заодно — с рукою и сердцем. Девушка не возразила и теперь и, едва оставив тесную курортную комнатку, оказалась под этим самым кровом. С формальностями можно было не спешить, и Юлия хотела, тщательно подготовившись, соблюсти их все, от флёрдоранжа до пира, исключая, понятно, венчание в церкви, чреватое погибелью карьеры, — однако посторонние силы внесли свои поправки, сперва устроив Свешникову долгую командировку, а затем уложив на больничную койку его завтрашнюю тещу. Юлия уехала в свой город

к больной маме, да так потом и металась туда и обратно, и сама же решила отложить свадьбу, на которой желала бы непременно видеть обоих своих родителей. Болезнь же, при самых добрых прогнозах, затягивалась, и наши влюблённые легко решили отложить торжества на год, до следующей осени.

Дмитрий Алексеевич, не посвятив знакомых, даже самых близких, в подробности, везде представлял Юлию своей женою; будем и мы называть их супругами, тем более что и они сами считали так совершенно искренне. Как водится, они пока не наблюдали часов — но не только из-за особенной своей влюблённости, а оттого ещё, что этому мешали всё те же посторонние силы, нагружая безалаберными хлопотами. Время теперь текло не быстрее и не медленнее обычного — ему попросту был потерян счёт. Немногие месяцы их совместной жизни позже, при возвратном взгляде, виделись Свешникову сжатыми в плотный, сырой комок; немногими ж они стали из-за разницы молодых людей в возрасте, совсем небольшой, как в другой половине жизни, уже старея, с каждым годом всё уверенней утверждал Дмитрий Алексеевич, однако тогда оказавшейся чрезмерной и сыгравшей дурную роль; такую и в самом деле можно попросту не заметить, если одному из пары шестьдесят, а другой — ровно полвека, но такая же разница вопиет о расхождениях во всём, когда им двадцать восемь и восемнадцать.

Молодому учёному, увлечённому работой и своей диссертацией и оттого считавшему, что жизнь этим и хороша, было невдомёк, что подруге может хотеться чего-то иного; ей же хотелось вечеринок, танцев нарасхват или, на худой конец, хотя бы песен под гитару у костра. Но Свешников к танцам в студенческих клубах, куда прежде рвался ради новых знакомств, теперь стал относиться с понятным равнодушием. «Да что там, на танцуйках? — искренне удивлялся он, кивая при этом на шкаф, в котором хранилась отменная коллекция джазовых записей. — Слушать лабухов-самоучек?» На этот же шкаф указывала и Юлия, если муж звал её в консерваторию.

Конечно, он старался как мог, и кто знает, быть может, всё и наладилось бы через несколько лет, если бы именно начальная тщетность стараний не наводила на неотвязные грустные мысли, а те, в свою очередь, болезненно не тяготели бы лишь к тёмным сторонам предметов. Так ему постепенно открылись некоторые обстоятельства, которые он вполне мог бы предвидеть, да оплошал, пребывая в известном ослеплении.

Друзей Свешникова Юлия находила тусклыми и заносчивыми, а если в доме собиралась образовавшаяся удивительно скоро компания её сверстников (реже — сверстниц), тогда уже он сам томился и чувствовал себя неловко, положительно не зная, как с теми обращаться; жена его, однако, знала, и ему всё меньше нравилась непринуждённость её отношений с юношами, становившимися завсегдатаями (тут он строил самые разные предположения). Лучше всего, считал Свешников, молодожёнам было бы всегда оставаться вдвоём, и не видел (а если видел, то словно бы — близорукими глазами, различающими лишь прекрасно размытые контуры да пушистые огоньки), что Юлия больше не радуется его обществу, всё чаще скучая и раздражаясь и любовью мужа к чтению, и его работой, требовавшей не одних урочных, но и ночных, принадлежащих семье часов; увидев же наконец кое-что, он долго не понимал, что такая раздражительность вызвана не его собственными промахами, а какой-то её, Юлии, скрытой виною перед ним. Гости между тем раз от разу нагтели, и кое-кому приходилось даже и напоминать о существовании определённых правил, но до скандалов не доходило, а последующие, наедине, мимолётные вспышки Юлии относились непременно к чему-то другому и оказывались вполне объяснимы, так что Дмитрий, почти обманутый этой достаточно обыкновенною жизнью, не переставал ждать, что они, не просто влюблённая, а наконец — супружеская пара — когда-нибудь притерпят друг к другу; впереди были десятилетия. В действительности у них не оказалось и года: вернувшись однажды поздней весной из командировки, он обнаружил записку на столе и пустые полки — в шкафу.

«Как пришла, так и ушла», — долго потом сокрушался Дмитрий, как будто предпочёл бы разоблачения, баталии, а следом — и мелкую месть неизвестно за что.

Потянувшиеся затем холостяцкие годы Свешников не назвал бы пропавшими зря: вернув себе право распоряжаться временем (если только им вообще можно распоряжаться), он теперь мог не спешить всякий вечер домой, а засиживался, сколько заблагорассудится, в лаборатории, да и дома тоже либо работал в своё удовольствие, либо читал допоздна. Станным образом у него стало даже больше свободного времени, чем до женитьбы. Вместе с тем холостяцкой жизни пристало быть холостяцкой во всём, и хотя уход Юлии казался Свешникову настоящей утратой (а может быть, именно поэтому), он, поддаваясь уговорам друзей, скоро перестал чураться их простых развлечений. Поводов для добрых пирушек искать не приходилось; не секрет, однако, что как раз в отсутствие женщин и заводятся, распаяя участников, разговоры о них, начинаясь с воспоминаний о былых победах и доходя до сетований по поводу этого самого отсутствия. В их случае сетования бывали столь искренними и пылкими и повторялись так верно, что с течением времени за столом стали неизвестно откуда появляться и незнакомые дамы, приятные в нужных отношениях и, что важно, не обременённые излишним интеллектом. Дмитрий поначалу малодушничал, считая долгом хранить верность сбежавшей жене, но по прошествии месяцев всё ж убедил себя в том, что одна из глав его жизни давно дочитана до точки и пора обратить внимание на новые сюжеты — как годящиеся лишь для вставных эпизодов, так и способные протянуться через многотомную, он надеялся, эпопею. Именно потому, что никто в его глазах не выдерживал сравнения с Юлией, Свешников и захотел завязки долгого романа — только не с одной из попадающихся сейчас однодневок, а с женщиной, обременённой — читатель уже знает чем. Найти, что нужно, казалось не просто — особенно если не искать; искать же было некогда и негде, оттого что с возрастом те места, где вероятны были какие-то свежие встречи, стали ему недоступны

(кроме Бауманского училища, где он читал лекции, — но не заводит же было интригу со студенткой), некогда многочисленные подруги жён его друзей как-то незаметно сами оказались чьими-то жёнами, а коллеги женского пола были как на подбор некрасивы, отпугивая к тому же причастностью к точным наукам: он всегда помнил замечание Ницше о том, что у женщины, обладающей математическими способностями, обыкновенно бывает что-нибудь не в порядке в половом отношении.

«Выходит, это и в самом деле счастье, что мы разошлись так скоро», — соглашаясь с друзьями, говорил себе Свешников, тоскуя вместе с тем по Юлии. Счастье было, однако, не в скорости, а в том, что его супруга упорхнула так же легко, как и появилась, не разорив гнезда. Школьные приятели на традиционном мальчишнике в один голос зашумели: «Тебе, старик, повезло. Не то секли бы тебя сейчас, как Васисуалия, на кухне в какой-нибудь замызганной коммуналке», — сойдясь на том, что в нашу бессовестную пору настоящий исход дела объясняется либо чрезвычайным легкомыслием Юлии, либо чрезвычайным же её благородством. За благородство и выпили, а коль скоро разговор зашёл о браках, удачных и нет, то следующий тост провозгласили за отсутствующих членов общества, в первую очередь — за саксофониста Зубовича, женившегося удачнее всех прочих; прочих — кроме Свешникова, у которого теперь появился шанс догнать и перегнать: мол, побаловался — и хватит («ах, девушки из предместья, лучший плод, высокий класс»), и коли первая жена преподавала добрый урок, то уж во второй раз следовало не оплошать и расписаться с толком. Выпили и за это, но либо без особого чувства, либо недостаточно, оттого что Свешников и во второй раз женился было безо всякого проку, так что даже долгое время прожил с супругой врозь (к обоюдному, впрочем, удовольствию), и лишь к старости этот бестолковый брак вдруг нечаянно обернулся как раз тем, для чего не заключался, но о чём, дурачась, толковали нетрезвые бывшие одноклассники — небывалой возможностью перемещения в пространстве.

Первая жена обидно упрекала Свешникова в домоседстве, но он не возражал вслух, оттого что обнаружить обратное всё равно не выпадало случая: слишком мало нашлось мест, которые они могли бы посещать вместе и с обоюдным удовольствием, а коли так, то и выходить из дому было нечего. У неё были основания вообразить, что после развода бывший муж вообще не будет покидать свою лабораторию, в действительности же получилось так, что он, удивляясь сам себе, как изголодавшийся, набросился на запретные плоды: пропадал у друзей, которых Юлия не терпела, ходил и на концерты, и на модные спектакли (хотя к театру относился прохладно), и в кино, которого был большой любитель — при всей трудности отвечать этому званию в постные времена, когда скольконибудь заметные фильмы почти не попадали в прокат. Единственное, что оставалось простому, не имеющему связей люду, это ждать фестивалей, случавшихся раз в два года, да редких недель заграничного кино — и тогда уже рваться на любую картину — без разбору, наугад, не ведая, кто в мире что и зачем снял, написал, нарисовал. Однажды, на итальянской неделе, Свешников, купив билет с рук буквально на ходу, продираясь через толпу перед дверьми, даже не успел узнать, что за фильм ему покажут. В зал он попал, когда титры уже прошли, и теперь только и оставалось, что справиться у молодого человека в соседнем кресле. Тот бросил, с досадою на помеху: «Феллини», чем было сказано всё, — было бы, когда б начавшаяся картина так резко не отличалась от тех трёх феллиниевских, которые Дмитрию Алексеевичу когда-то повезло видеть, — он не поверил соседу и чем дольше смотрел, тем меньше верил. Потрясённый в своё время историей одержимой Джульетты, он тогда же придумал, что она непоправимо, но счастливо изменила его психику (возможно, так и случилось), и потом не раз повторял это эффектное утверждение, которое нельзя было ни проверить, ни доказать. Того ж он ждал и от других, сделанных

той же рукою, вещей — и будто бы не ошибался, однако нынешняя притча явно выпадала из начатого было ряда.

Потом ему долго ещё вспоминались оркестровый галоп и хриплый голос дирижёра, будто списанный с немецких хроник предвоенных лет. Сюжет вскоре уложился в уме в несколько фраз, и Дмитрий Алексеевич только так, немногими словами, и пересказывал картину своим знакомым; это выходило неубедительно, но не мог же он сказать: «Иди и посмотри», — потому что идти было решительно некуда.

Изъяны, однако, находятся во всяком порядке, и однажды Свешников не поверил своим глазам, найдя название этого фильма на афишах очередного фестиваля. Теперь он не успокоился бы, не посмотрев ещё раз — нет, не на дирижёра оркестра, а на флейтистку, так до сих пор и не угадав, какую черту самого автора отражает её образ.

К флейтисткам он всегда питал слабость, на симфонических концертах непременно выискивая взглядом девушку с дудочкой и тогда, вопреки воле композитора, слыша её лучше прочих. Он справедливо полагал, что выбор инструмента редко бывает случайным, а обыкновенно зависит от черт самого выбирающего, более того — потом исподволь эти же черты и усугубляет, и девочка, обучающаяся в скрипичном классе, станет в конце концов иною, нежели её сверстница и подруга, выбравшая, допустим, кларнет. Его собственный выбор бывал таков, что женщинам, какие ему нравились, подходила именно флейта — неважно, умели ль они играть.

Показа фильма пришлось ждать почти до закрытия фестиваля, а пока Свешников ходил на все просмотры, на какие мог достать билеты, — предпочитая дневные часы, на которые был меньший спрос; тут кстати пришёлся крохотный остаток прошлогоднего отпуска. Он радовался своим каникулам, хотя они обернулись трудной работой: был день, когда ему предстояло отсидеть два сеанса, то есть четыре картины кряду; это было уже слишком, он устал, разные кадры мешались в голове, и с последней ленты, заведомо слабой, решил уйти. В перерыве Дмитрий Алексеевич ещё

колебался и даже вернулся было вместе со всеми в зал, но всё ж одумался и уже при погашенном свете пробрался к выходу. В фойе не было ни души, и он остановился, прильнув к колонне. Спешить было некуда.

Этажом выше послышался неторопливый стук каблучков. Свешников поднял голову — по лестнице спускалась молодая женщина в синем брючном костюме, с бантом в русых волосах. «Не флейтистка, — подумал он, усмехаясь. — Куда ей, с такими холодными губами». Они встретились взглядами, и оттого что больше никого не было в просторном помещении, Дмитрию Алексеевичу стало неловко промолчать.

— Может быть, мы делаем неверно... — проронил он, словно думая вслух.

— Да мы почти ничего и не делаем, — улыбнулась женщина, останавливаясь на половине марша.

— Решили уйти, а это уже кое-что.

— Надеюсь, не пожалеет, тут всё ясно. Впрочем, вижу, вы довольно долго колебались.

— После трёх лент подряд сообразительность явно притупилась. Хотя вы правы в этом-то случае, но в других — как бы не попасть впросак. Всякий раз я покупаю какого-то кота в мешке: наслушался, что говорили в очередях перед кассами, а до сих пор не посмотрел ничего путного. Вы, кстати, не слыхали, какие шедевры тут расхваливают?

— Знаете, о путном обычно молчат, чтобы не плодить конкурентов, не то как раз нужные вам билеты и расхватают. Пока могу сказать одно: нужно попасть на «Апокалипсис».

— Да, да, — согласился он, — я тоже прослышал, что это, кажется, гвоздь сезона... У меня тоже найдётся, что вам посоветовать: «Репетиция оркестра». Я ухитрился посмотреть её раньше и очень хочу повторить сейчас. Есть же книги, которые, даже зная наизусть, перечитываешь снова.

— Пересматривать кино — это уже роскошь. Разве что сразу не во всём разберёшься...

— «Репетиция»-то понятна, это будто бы прозрачная сатира, но дело совсем в другом...

Она недоверчиво повела плечами, и Свешников поспешил переменить тему:

— Конечно, после нынешних трёх картин подряд трудно представить себе, будто что-то можно смотреть по второму разу. Я, честно говоря, устал.

— Мало же вам нужно. Не боитесь признаваться женщине в слабости?

— Тороплюсь, пока вы не узнали о ней от посторонних, — отшутился он. — И раз уж я признался, давайте, если вы не против, зайдём куда-нибудь выпить — хотя бы кофе.

Что ж, Раиса была не против, и он, перебрав в памяти немногие подходящие места, предложил: тут всего пара остановок на троллейбусе... Погода была хорошая, и они пошли пешком. Свешников уже забыл, когда в последний раз вот так, не спеша, прогуливался с женщиной; ему пришло в голову, что прохожие принимают их за супружескую пару — во всяком случае, не подозревают в нём в его-то сорок три года донжуана. Сам же он чувствовал себя юношей, способным на озорство, — и ходи по этой улице, как и было когда-то, трамваи с открытыми площадками, непременно побежал бы догонять и вскочил на ходу. Раиса, скорее всего, сочла б его сумасшедшим, и неизвестно, стал ли бы он, не имеющий на этот счёт определённого мнения, спорить.

Дорога до кафе показалась ему пристойно долгой, и потом, когда они, сидя лицом к лицу, ждали заказ, у Дмитрия Алексеевича тоже нашлось довольно времени, чтобы без суеты и спешки разглядеть свою новую знакомую, решая для себя: привлекательна ли она или всё же дурна, что оказалось не совсем просто, потому что красавицей он её никак не назвал бы, но ведь обратил же внимание, остановил зачем-то на лестнице (теперь допуская, впрочем, что сделал это не потому, что она как-то особенно ему приглянулась, а совершенно машинально, с той лёгкостью, с какою холостяки заводят разговоры

с встречными незнакомками) — и не успел решить. Как-то так получилось, что вскоре, — он не запомнил перехода, — время неожиданно пустилось вскачь, кое-где, быть может, даже и нечестно перепрыгивая через часок-другой, что, кстати, допускалось об эту же пору в старину: Пётр и Павел час убавил... Дмитрий Алексеевич вдруг обнаружил, что и кафе давно оставлено ими и прогулка закончилась: темнело, и дорога завела в тупик, вернее, во двор в одном из Кисловских переулков (он всегда их путал, Малый со Средним, Средний — с Нижним), где, оказывается, жила его спутница — в одиноко стоящем в глубине этого провинциального дворика старом двухэтажном доме.

— Экий особняк, — неловко проговорил Свешников, и Раиса уточнила: коммунальный.

Она присела на что-то, показавшееся Свешникову поленицей, и он напрягся, приготовившись услышать грохот рассыпающихся дров. Ничего подобного, однако, не произошло, и коли традиционного приглашения на чашку чая ждать, видимо, не приходилось, Свешников, осторожно (не рухнет ли?) примостившись рядом, обнял женщину за плечи. «Не станем же мы, как подростки, целоваться на этой чёртовой кладке», — подумал он, хотя ничего другого, видимо, и не оставалось. Придумывая способ достойно завершить начавшуюся возню, Дмитрий Алексеевич суетливо прикидывал, не стоит ли зазвать Раису сейчас к себе, — и выходило, что нет, не в его правилах было впускать в дом попавшихся на улице девиц, пусть и способных здраво судить о прелестях синема; по его мнению, куда проще было бы пойти сейчас к ней, благо до дверей оставалось всего ничего, пара шагов. Ему не приходило в голову, что у неё могут иметься точно такие же правила в отношении незнакомых мужчин. В итоге он не произнёс ни слова, и оттого что пришлось ещё какое-то время провести во дворе, на сей раз дальше целования коленок дело не пошло. Дмитрий Алексеевич, натурально, не был доволен сопротивлением, но, распрощавшись, по мере приближения к своему дому испытывал

всё большее удовольствие от того, что не связался с женщиной, готовой отдаться в первый же день. «Собственно, всё сорвалось из-за этих дурацких ящиков — какая приключилась бы пошлость! И хорош бы я был, если б меня как мальчишку застукали на этом штабеле», — думал он, радостно ухватываясь за свою оговорку: конечно, на ящиках, — какие теперь могут быть дрова?

Тем не менее номер её телефона всё же был у него аккуратно (насколько позволила темнота) записан на использованном сегодня билете в кино. Дома, в древней развалюхе, у неё аппарата, разумеется, не было, и она велела звонить на службу:

— Не вызывай по имени, у меня там есть тёзки — и не одна. Моя фамилия Кулагина.

Записав, он задумчиво повторил: «Раиса Кулагина», — найдя в таком сочетании непозволительную эклектику. Она объяснила, смеясь:

— Девичья фамилия от первого брака.

— А до него?

— До него я носила менее благородную, но звучную: Сацкая. В школе меня дразнили...

— Царица Сацкая? — перебивая, предположил он в утешение.

— Считаешь, не стоило менять?

— Ни в коем случае. Представь, ты познакомилась бы с художником: какой шанс для него — написать «Автопортрет с Сацкой на коленях»!

— Ты рисуешь?

— Медведь на кисточку наступил. Черчу, если угодно.

— За какие грехи мне такое наказание? Один инвалид за другим.

«Давненько я так не загуливал», — войдя в метро, подумал Свешников с некоторым неудовольствием из-за того, что пробездельничал весь день, чего обыкновенно себе не позволял даже и на каникулах; тем более остался он недоволен и новым знакомством. «Неловко вспоминать. Дурацкое мальчишество», — пронеслась мысль, столь сейчас важная, что он повторил её несколько раз

как заклинание. Вдруг спохватившись — не вырвалось ли это вслух, — он поднял голову, но вагон был пуст, лишь рядом с ним сидел глухонемой и, глядя на своё отражение в тёмном стекле, разговаривал жестами сам с собою.

Чего можно ждать от родившегося в понедельник? Дмитрий Алексеевич ответил бы: неудач. Между тем его самого оные вовсе не преследовали, напротив, на работе дела шли как нельзя лучше, так что до известных событий в стране он, по советскому меркам, преуспевал, и лишь то, что скучно называют личной жизнью, у него не складывалось: первый брак не выдержал и года, да и второй оказался не намного счастливее, хотя продлился, если судить по бумагам, полтора десятилетия. Но, к слову, о бумагах: написанному в них бывалые люди советуют верить с оглядкой или даже не верить вовсе, особенно в нынешней России, где любой, хотя бы и одобренный гербовой печатью и высокой подписью бланк можно запросто купить в переходах метро у молодых людей с честными глазами, а затем и вписать туда всё что угодно душе. Свешников таких бланков не покупал, и если всё ж его документы не соответствовали истинному положению вещей, то лишь потому, что как-то недосуг было, да он и ленился при каждом повороте судьбы переделывать их подобающим образом. Поэтому-то в его паспорте и значилось, что он женат на гражданке Кулагиной Раисе Ильиничне, с которой в действительности не жил уже много лет. Разошлись они так, что не только не получилось скандала, но и отношения не прервались окончательно, и если каждый зажил теперь отдельно, а видеться не было особой нужды, то ведь существовал телефон; на расстоянии выносить друг друга оказалось легче, делить стало нечего, и то ли поэтому, то ли из-за вечной занятости обоих, заставлявшей откладывать и откладывать неприятную процедуру развода, дело до неё так и не дошло.

Это-то в конце концов и перевернуло жизнь Дмитрия Алексеевича; как он надеялся — в лучшую сторону.

Между тем, соблазнившись удовольствием известить об этой перемене, мы забежали вперёд, тогда как иному читателю, возможно, понадобится выяснить две противоположно заряжённые вещи: отчего это Дмитрий Алексеевич, человек, как известно автору, самодостаточный и в только что описанный нами день ещё не переставший скучать по своей первой жене (что заставляет усомниться в новой любви с одного, утомлённого кинематографом взгляда), отчего это он решился на второй брак и отчего потом в этом браке разочаровался. Что же, скорое его решение жениться многие объяснят тем, что занятому человеку быстро надоедает неустроенный быт, ответ же на другой вопрос, как теперь, подражая инженерам, говорят даже и гуманитарии, неоднозначен, и нам пока довольно будет, не сравнивая версий, упомянуть, что для Дмитрия Алексеевича разочарование началось ещё до заключения брака, а именно в день, когда, пережив пристойное время ухаживания, он наконец зазвал Раису в гости.

Надо признать, что начало положил всё-таки не он: провожая однажды свою подругу, он вдруг удостоился как бы вскользь брошенного приглашения на ту самую чашку чаю, которую уже перестал ждать. Видимо, подразумевалось, что он вежливо откажется, но Дмитрий Алексеевич, напротив, согласился с неприличной поспешностью. Раиса, мимолётно пожав плечами, предупредила с усмешкою, чтобы он не пугался, но Свешников, давно подготовленный внешностью постройки, воспринял и темноту на лестнице, и затхлый запах, и торчащие углы невидимой рухляди как должное.

Знакомый с московскими коммуналками, он ожидал и дальнейшего убожества, однако само жильё приятно его удивило, оказавшись двумя вовсе не бедными комнатами; одна из них — просторная, но густо обставленная, а вторая — сушая каморка, скорее всего, переделанная из чулана, — выглядели они ничуть не хуже комнат в любых других московских домах: современная

мебель, хрустальные, великоватые для таких помещений (особенно — для каморки) люстры, телевизор с большим экраном; чуть позже обнаружился хрустальный светильник и в ванной. Сервант и горка были набиты посудой — так плотно, что та, не уместаясь внутри, выползала и на открытые плоскости; изобилие сервизов снаружи и сдержало на какое-то время развитие отношений нашей пары. Когда Свешников на ходу обнял Раису, она не воспротивилась, но стоило ему проявить чуть больше интереса, отбежала за стол, призывая таким образом и его побегать по кругу. Первым делом он подумал, что подобные игры со-рокалетней пары по меньшей мере смешны, если не мерзки, а через секунду сообразил и то, что без ущерба для сервизов здесь была бы невозможна никакая беготня. «Ну не последняя тарелка разбилась бы, тут на два поколения хватит», — сказал он себе, попутно отмечая, что фарфор выставлен не из дешёвых, хотя и аляповат, и что помещение вообще изобилует дорогими импортными вещами, и, выводя, что только этими двумя признаками — высокой ценой и заграничным происхождением, будто бы способными гарантировать качество, — тут и руководствовались при покупках. («Но как в наше время возможно вообще что-нибудь купить? — с недоумением подумал он. — Даже если некуда девать деньги».) Впрочем, все эти размышления занимали его уже по дороге домой, когда он силился понять, как с выставленными в комнатах добротными, что ни говори, предметами сочетается висящая в красном углу дикая фотография из тех, что делают на рынках в глухомани, заставляя наивного клиента так просовывать голову в овальную дырку в центре намалёванной декорации, чтобы его лицо оказывалось принадлежащим то срисованному с коробки папирос всаднику в бурке на фоне снежной горы, то лётчику в истребителе, то балерине на пуантах в обнимку с тигром; на этой — детская физиономия оживляла фигуру охотника, глядящего косулю («В таком контексте наверняка — дикую лань, — поправился Дмитрий Алексеевич. — О вкусах, согласен, не спорят, да только вкусов много, а безвкусица — одна»).

Заодно припомнил он и удачно втиснутые в простенок подле кухни книжные полки с многотомными собраниями, за какими четверть века назад охотились ради престижа даже и нечитающие люди и какие доставались лишь по большому знакомству.

В этот раз всё так и ограничилось чаем, на который Дмитрий Алексеевич, собственно, и был зван; обижаться не приходилось, но на случай ответного визита он заготовил иную программу, согласно которой события и стали развиваться, начиная от той минуты, когда Раиса наконец переступила порог, и кончая той, когда ей пришлось, поднявшись с ложа, пойти в ванную. С интересом посмотрев вослед, Свешников неприятно удивился неаппетитности её обнажённого тела — отсутствию талии и плоскому заду, — так от этого заскучав, что потом все попытки женщины снова расшевелить его оказались напрасными; утром он, конечно, взял своё, но это было уже не то, не так, да и некий червячок завёлся в душе.

Свой легко объяснимый конфуз Дмитрий Алексеевич простил себе тотчас, но его оскорблённая подруга — лишь месяца через два; во всяком случае, именно столько они не виделись: женщина под изящными предложениями отказывала в свиданиях, а он не упорствовал, только радуясь освобождавшимся вечерам. Её поведение объяснялось им легко и верно, зато сама Раиса не догадывалась о настоящей причине неудачи: узнай она — и продолжения романа не последовало бы никогда. В действительности ж её разочарование мало-помалу забылось, а он со своим — смирился, так что когда они встретились снова, наш кавалер оказался уже на высоте. Взаимопонимание таким простейшим образом было восстановлено, и ночёвки Раисы у Дмитрия Алексеевича стали настолько частыми, что однажды будто сама собою зашла речь о переезде.

В тот зимний вечер Раиса пришла в шаровидной меховой шапке. Дмитрий Алексеевич, поразившись, какою она вдруг стала красавицей, горячо воскликнул, что убор чудо как идёт ей, — и был озадачен, когда женщина, воспротивившись комплименту, принялась шапку почти

так же горячо хулить: мол, стара, бледнит её да и фасон не в моде. Не сообразив, куда клонит Раиса, он продолжал доказывать своё, пока та не сдалась, поняв, что он искренен и безнадёжен. Только тогда Дмитрий Алексеевич занялся наконец делом: приготовил даме глинтвейн, чтобы поскорее согреть с мороза, потом подал ужин, а за столом как раз и спросил, почему бы ей не переехать к нему. Тут выяснились подробности её бытия, которыми он прежде не догадался поинтересоваться.

В известном ему никудышном, зато удобно расположенном доме Раиса жила вместе с отцом, до поры пренебрегая своей кооперативной квартиркой в Конькове-Деревлёве — районе столь отдалённом, что даже Свешников, и сам обитавший примерно за такими же окраинами старой Москвы, считал его пределом географии. На московской карте имелась и другая точка, в которой сходились частые пути Раисы, — эта затерялась на другом конце города, у Речного вокзала; туда, к своей немолодой тётке, Раиса отвозила на рабочие дни ребёнка (о существовании которого Свешников не подозревал, невзирая даже на подсказку — охотника с косулей). О том, чтобы всем для удобства съехаться поближе, никто из действующих лиц не хотел слышать, тем более — отец Раисы, увлечённый идеей бегства в Землю обетованную и оттого не понимавший хлопотных перемещений — по этой.

На предложение Дмитрия Алексеевича Раиса ответила вопросом:

— Почему, ты думаешь, я не живу в Конькове?

— У меня метро в ста шагах, да ещё и машина стоит под окном, — напомнил он.

— Лучше давай разберёмся, кто чего хочет. Я навеваю тебя так часто, что боюсь надоесть. Другое дело, если ты хочешь жениться.

— Оригинально: похоже, что не я тебе, а ты делаешь мне предложение, — неловко засмеялся Дмитрий Алексеевич, смущённый тем, что Раиса, недоговорив, угадала его желание: он не столько хотел её, сколько хотел

жениться всё равно на ком. — Неужели ты всегда будешь успевать высказаться первой?

— Если начнём думать одинаково.

Одинаково думать они так никогда и не стали, и расписались в загсе не потому, что не могли жить друг без друга, а увидев в браке определённое удобство, каждый — своё.

Понятно, чем были бы вещи без нас; иное дело — мы без вещей. Столь странное своё состояние вообразить не просто, ведь за века и сочинители книг как-то обошлись, кажется, без подобных фантазий, и всякое действующее в романах лицо наделено хотя бы какою-то утварью и одеждой; даже Робинзону автор, облегчая себе задачу, позволил перетаскать на остров целый корабль скарба. Настоящие писатели всегда находили особый вкус в изображении обстановки, и только литераторы попроще да газетчики с давних пор твердят, что все мы, люди, суть рабы вещей — не призывая, однако ж, от последних отказаться и потому, что сами себе такого не пожелали б, и потому, что им было бы совершенно невозможно рассказать о последствиях подобного переворота в своих газетах, а единственно — опять-таки в романах — отдавшись во власть вымысла и только тогда и выговорив: а что это нам даст? Или иначе: когда бы, лишившись пожитков, мы, нагие, вышли из рабства — сумели бы воспользоваться свободой? Впрочем, тут не стоит дожидаться ответа: такая свобода равнялась бы жизни не в пустыне — в пустоте.

Можно не замечать отсутствия рядом с собою произведений природы — горожане и не замечают, во всяком случае, до тех пор, пока не подумают о них нарочно, книжным умом, зато пропажа вдобавок ещё и рукотворных предметов обнаружится тотчас, и можно себе представить, какая тогда поднимется тревога из-за неведения, как теперь жить. Не стоит верить модным признаниям в равнодушии, а то и презрении к вещам: гордящиеся этим как раз

и бывают привязаны к ним пуще других смертных, оттого что и в самом деле, не привередничая, обходятся тем, что имеют, но при условии, что имеют — всё. Истинно равнодушных или просто спокойных почти и не сыскать: они об этих своих качествах невольно умалчивают, как и о том, что даже имея многое, способны обойтись безо всего. Дмитрий Алексеевич не склонен был, но всё же мог бы отнести себя к этим последним, хотя его безразличие выглядело далеко не совершенным: не воодушевляясь приобретением предметов (кроме книг), то есть — умножением многого, он, тем не менее, не любил расставаться с малым, если при этом рвались пусть даже ничтожные ниточки, соединявшие с кем-то или с чем-то в прошедшем времени, во времени вообще, — если история этого малого была и его собственной. Любя старые вещи, он любил свои память и родство: как пылинка на карманном ноже напоминает о дальних странах или давних странствиях, так и сам этот ножик, переходящий от отца к сыну, затем — к внуку и правнуку, не даст забыть ни о ком из цепочки — об отце, деде, прадеде, о которых, особенно если они были видными людьми, могло в силу особенных свойств нашего государства и не остаться другой памяти: обнаружение иных родословных в смутные годы могло довести и до сумы, и до тюрьмы. Одни лишь старинные вещи словно бы проговаривались о каких-то сторонах прежнего бытия: вот из этого самовара пивали чай в доме деда (сохранился и снимок, наклеенный на замечательный картон: семья за накрытым столом в саду), а эту трость с серебряным набалдашником купил на водах другой дед. О таком обычно не говорилось в семье (однажды сорвалось с языка, да разговор забылся), а сами вещи, как и положено, безмолвствовали до поры, и только при их утрате вдруг всплывало что-то с ними связанное; тогда невозможно было не сокрушаться: не уберёг, память — не уберёг.

Утрата (только ли вещей), увы, как была, так и осталась верным поводом к началу воспоминаний. Нигде о человеке не говорят между собою так много и тепло, как на его поминках, из чего можно даже вывести, что

задуматься о смысле жизни только после неё и удобно, и если желающим это проверить технические трудности покажутся чрезмерными, то ведь можно для начала остановиться и на предыдущей ступени, на мыслях о смысле смерти (всё-таки — до оной), оказывающейся довольно незначительным событием на веку любого покойного из-за его неспособности повлиять больше ни на что: в том и дело, что собственную кончину утратой не назовёшь. «Удивительно, — подумал однажды Дмитрий Алексеевич, вспомнив похороны отца, — удивительно, что папа сейчас не считает свою смерть катастрофой. Тот, — думал он, — наверняка даже и в последнюю секунду, даже и в последний ничтожный миг (но не после этих секунды или мига) именно вселенским катаклизмом и считал её, как считает большинство людей на свете, впервые осознавших неизбежность потери себя». Сам Дмитрий Алексеевич — не осознал ещё, а только, надеясь на годы впереди, понимал умом. Его страшило то лишь, что, не зная отпущенного срока, он может оплошать, чего-то не успев, не доделав.

— Наверно, пора собирать, — забывшись, произнёс он вслух.

— Что собирать? — не поняла Раиса.

— Время собирать камни.

Ужиная на тесной кухоньке крохотной, хотя и состоящей из двух комнат квартиры Свешникова — ныне их общего жилища, — они толковали о переезде сюда новой хозяйки.

— Всё, чего нам не хватает, — вздохнув, отозвалась она, — это натащить сюда валунов. Верно говорят, что два переезда равны пожару.

— Мы-то задумали всего один. Равный лёгкому возгоранию. Вдобавок можно считать, что полдела уже сделано: не повезёшь же ты мебель.

— Да, здесь не повернёшься и с чемоданом. Однако надо же где-то разместить и Алика.

— Ты собиралась пока оставить его у тётки, — неуверенно напомнил Свешников, не привыкший соотносить свои намерения с существованием мальчика.

— Пока. Но всё равно же надо брать его на выходные.

Дмитрий Алексеевич подумал, что на месте Раисы жил бы вместе с сыном, вообще не обращаясь за помощью к родственникам.

— В хорошую погоду, — уточнила она. — А представь: снег, дождь, буран... Ребёнку, не высунув носа на улицу, двое суток в такой клетке не высидеть. Стоит ему повернуться — и он обязательно наткнётся на что-нибудь. Чего стоит один этот самовар...

...Тот самый, который, жестикулируя, она то и дело задевала рукою, так что Дмитрий Алексеевич всё порывался или незаметно его передвинуть, хотя и было некуда, или предложить Раисе место поудобнее, хотя настоящее, видимо, и оказалось лучшим, коли жена сразу выбрала его раз и навсегда.

— Чего стоит! — засмеялся он. — Что он может стоить: подумаешь, антиквариат, музейная редкость, штучка вдвое старше советской власти? Смотри, вот марка: «Братья Шмариновы в Туле». Он — стоит! Собственно, это лишь память. Это — память! Ещё дед чаёк попивал. Да ты видела фото.

— Ну как же: под яблоней, в собственном саду. Шикарно. Пригласить фотографа тоже, наверно, стоило не дёшево.

— Дед не последний человек был в университете. А позже — и отец.

— И мы обязаны свято хранить их скарб.

— Не так уж у меня много семейных реликвий. Куда больше сохранилось в отцовской квартире, у мачехи.

— Ты не жалеешь, что поспешил отделиться и оказался в этом курятнике?

— Мне ведь нужно где-то работать... Да и кто бы на моём месте упустил такую возможность — получить квартиру? Мы, все трое, мешали друг дружке, потому что у каждого был свой оригинальный распорядок умственных занятий, а мне вдобавок ещё и не хотелось бы предъявлять домашним всех моих подруг. Извини. После же переезда у меня неожиданно появилось много свободного

времени, и я стал хоть как-то им распоряжаться — к общему удовольствию. Приходить к родным в гости (или принимать их) оказалось приятнее, чем жить вместе. А теперь... у нас с Людмилой прекрасные отношения.

Дмитрий Алексеевич запнулся, потому что «теперь» не означало «и тогда», но ему не хотелось в первые же дни открывать молодой жене все домашние секреты.

— Что у вас общего?

— Ты не знаешь, что общего может быть у членов одной семьи? Нет, конечно, у Людмилы — своя жизнь, она ведь энергичная особа, хотя и постарше пасынка, но не настолько, чтобы годиться ему в матери. Вся в трудах, в делах — её, пожалуй, знает вся художественная Москва. Я многому от неё научился.

— Завидую таким женщинам... Я часто мечтала о собственной красоте, а заодно об уме или мудрости.

— Тут важно соблюсти правильную последовательность, — серьёзно заметил он.

— Эта твоя Людмила неплохо выглядит — в её-то возрасте!

— В каком — её? Пока что она считает, будто неподобающе молода. А вкус и желание хорошо выглядеть у неё есть, быть может, и с избытком. Другого и не требуется... Она всегда была эффектной женщиной.

— Не с её ли подачи ты стараешься сохранить профессорский дух в доме?

— Отец не хотел бы видеть меня Иваном, не помнящим родства. Я, надеюсь, не стал.

Но и Раиса не причисляла себя к таким:

— Довольно неуютное чувство: в этой квартире одни экспонаты и нет ничего моего.

— Есть ты сама, — возразил Свешников, удивляясь собственному сообщению: здесь всегда пребывал один он, со своими книгами и своей памятью; те гости, которым случалось приходить сюда, не заботились о сохранении ни долгих следов, ни просто воспоминаний о себе, и теперь присутствие женщины, пожелавшей оставить и то и другое, казалось всего лишь плодом воображения.

Раиса между тем продолжала — то ли грустно, то ли — с непонятным ему неудовольствием:

— Всё равно что поселиться в музее: повсюду таблички с пояснениями, а в углу, на стуле сидит тётка, о которой ничего не хочется знать.

— Разве мы не говорим как раз о том, чтобы перевезти сюда твои вещи?

— Которым, кроме зубной щётки, тут не место: у них же, по твоим словам, нет истории. Щётка уже со мной.

— Собственно, история есть у всего, — неуверенно произнёс Свешников, вдруг сообразив, что же показалось ему странным в комнатах в Кисловском: вещи, выставленные там напоказ, выглядели бесхозными. — Если вовремя начать её записывать.

— Или начать выдумывать, — бросила она с азартом.

«Да полно, мы слишком увлеклись аллегориями», — сказал он, тут же про себя, себе и возразив, в том смысле, что и не аллегориями, и не увлеклись: нельзя развить в целую пьесу невзначай пророненные слова о камнях, пусть и не собственные, а цитату, мало еще понятную в стране, где с Екклесиастом знакомились по Хемингуэю.

Тема камней — он бы её развил, уже отойдя мыслью от библейских иносказаний, а имея в виду нечто осязаемое — старые камни дворцов и храмов, сохраняя которые, кто-то сохраняет себя. Это пришлось бы к месту, но он не сказал ничего подобного, боясь показаться смешным со своею дидактикой, — напрасно, хотя и говорить, видимо, было бы напрасно, оттого что Раиса, выбрав направление, решила держаться его до последнего. Предположив слабость мужа и заметно раздражаясь его ссылками на близких предков, она настаивала на простейшем: у тех, мол, была своя жизнь, а у молодых людей настала — своя, которую преступно портить оглядками на ветхие устои; молодой жене было не понять, что эта своя могла подпортиться в ближайшее время и сама собою — именно разгаданным направлением — и что всего на третий её день не стоило бы предлагать столь простые шарады.

Расстроившись её непониманием, Свешников невольно приготовился к тому, что вот-вот — не завтра, не вскоре, а именно сию секунду, вдруг, должны открыться какие-нибудь ещё таимые до сих пор черты Раисы — нет, не те и не такие, как обнаруженные в первую ночь, с этой стороны он не только больше не ждал сюрпризов, но его теперь, можно сказать, даже устраивало некоторое несовершенство; просто он давно согласился с тем, что свойства человека никогда не распознаются все сразу, а открываются постепенно, одно за другим, и в час, когда сложится наконец полное представление, бывает уже поздно сбежать, порвать, забыть.

Их прервал звонок в дверь, и Раиса спохватилась:

— Забыла тебе сказать: обещала заглянуть Кирюшина.

Ближайшую свою подругу она всегда звала по фамилии, и это выходило так естественно, что и Дмитрий Алексеевич следовал её примеру. Он познакомился с Кирюшиной в одно из первых своих посещений дома в Кисловском переулке — столкнулся в передней с нею, уходящей, — крепко сбитой бабёнкой с неумеренным макияжем и вытравленными перекисью волосами. Закрыв за нею дверь, Раиса поторопилась спросить: «Как, стильная у меня подружка?» — на что он, на минуту восхитившись словом из своей ранней молодости, тогда означавшим высшую оценку чего бы то ни было — «стильная», — непроизвольно кивнул, хотя в его глазах бабёнка была сама вульгарность. Потом Свешников видел Кирюшину всякий раз в новом облике — то одетую вызывающе, словно пожилая проститутка, то вполне способную сойти за бедную лифтёршу. Когда наша пара подавала заявление в загс, она, приглашённая сопроводить, пришла в немыслимой кацавейке, спортивном трико и с кошёлкой, с какими ходят разве что на рынок за овощами, и этот день был у Дмитрия Алексеевича испорчен.

Сегодня она выглядела довольно прилично — как служащая из многолюдной конторы, — и Дмитрий Алексеевич, вспомнив «стильную подружку», подумал, что если в её манере одеваться и есть что-то постоянное, так это как раз отсутствие стиля.

— Да у вас пир! — воскликнула она, увидев на столе бутылку. — И музыка хороша.

— Чёрствая свадьба, — объяснил Дмитрий Алексеевич. — Осталось столько питья, что непременно что-нибудь случится.

— Так не пейте, вылейте, пожертвуйте детскому дому.

— Наша беда в том, что мы знаем меру.

Чтобы гостя села, ему пришлось встать. Чуть погодя он принёс складную табуретку.

— Первые неудобства, — заметила Кирюшина, — из многих. Придётся, хозяин, потерпеть.

— И не одно это, — согласился он, невольно возвращаясь в уме к своему холостяцкому прошлому. — Жизнь вообще чертовски неудобна.

Всё-таки кое-что ушло, он думал, навсегда; а что-то он сумел изменить, быть может, даже и к большему неудобству, кто знает, а если и к меньшему, то всё равно он бы не взял слов и дел обратно, сочтя такой удачный поворот всего лишь частным случаем, исключением, ничего не подтверждающим. Заговори он об этом вслух, кто-нибудь непременно срифмовал бы: частный — несчастный; но несчастный случай — не к ночи и не к столу, при молодой жене, будь сказано, — несчастный случай не обладает замедленным действием, уже в момент свершения не давая усомниться в творимой беде, случай же его, Свешникова, был именно частным, хотя так и не говорят в простом народе, но ведь он, один, и не был — народ. Случай уже произошёл, вмешиваться и исправлять было поздно, да и очевидцы разбрелись кто куда, не предвидя последствий, отчего виновникам и потерпевшим оставалось лишь ждать и надеяться, как ждут и надеются во всех остальных, вовсе не частных, а даже и самых общих случаях, оттого что никакой брак не раскрывает в первые минуты своих отложенных на время секретов, особенно такой брак, как этот, — не по любви и не по расчёту, а — по расчёту на любовь.

Раиса не упустила подсказку.

— Удобный момент переменить всё, — заявила она, многозначительно посмотрев на подругу, — тот самый

понедельник, с которого хорошо начать новую жизнь. Новую и в новых декорациях, чтобы ничто не тянуло назад: переменить — всё.

— Многое, — осторожно поправил он.

— Ну да, семь раз отмерь, да резать-то всё равно нужно, — на всякий случай, ещё не зная предмета, поддержала Раису Кирюшина. — Полумеры всё только портят.

— Обычно выручают компромиссы, — нашёлся Дмитрий Алексеевич, и ему пришлось заново повторять уже сказанное жене: что дом полон вещей, оставшихся от родителей и от родителей родителей и так далее, и что они дороги уже тем, что создали здесь особенную атмосферу, как в читальных залах или галереях.

Перестановки, он согласился, были неизбежны, но мнения разошлись и тут, оттого что одна предлагала полное обновление, а другой — покупку лишь недостающего, тоже связанную с великими трудностями: никто бы не мог, едва захотев, пойти и купить что-нибудь в пустом магазине.

— Какие трудности? Ведь остались мамины связи, — сказала Раиса, и он тотчас вспомнил склад хрусталя и фарфора в комнатах её отца — ненужную посуду, какую тоже нельзя было пойти и купить в магазине, а только «достать» по знакомству, случаю или через спекулянтов, но как раз такая возможность и была у её матери, работавшей товароведом в большом универмаге.

Да, связи, он понимал, могли остаться, но главное было в другом, и он продолжил о своём, о том, что прожил в этих стенах полжизни, и это была половина его жизни, свидетелями чему (и свидетелями жизни предков, в иных, конечно, стенах) оказались оставшиеся вещи и вещички, и о том, что все эти добрые предметы, даже и безделушки, всегда — память, и что, потеряв память, человек перестаёт быть собой. Он же, Свешников, терять себя совсем не хотел...

Здесь он словно не поставил точку, и по интонации можно было бы понять, что его оборвали на полуслове, в действительности же — задумался над пришедшим вдруг на ум вопросом, возможно ли вообще сохранить

себя в счастливом браке (насчёт несчастливого он-то знал точно, что — да), и ответ, казалось, напрашивался один: нельзя.

— На каком, однако, уровне вы, ребята, говорите о самом простом! — изумилась Кирюшина. — Знаете, дорогие мои, такие диспуты мне не по зубам. Ну купите то, не покупайте это — какая, в общем, разница? Хотя, конечно, Дима, я бы уступила женщине.

— Митя, — машинально поправил Свешников, и когда Кирюшина поинтересовалась, почему он всегда на этом настаивает, в то время как все Дмитриии в Москве, не обижаясь, отзываются на Диму, он, поначалу бросив было: «Это всё — советские штучки», — через секунду, словно спохватившись, что едва не упустил возможность оставить хотя бы на время прежнюю неуютную тему, принялся доказывать, немного даже горячась, что в старой России уменьшительным от имени Дмитрий было только одно — Митя, в литературе, во всяком случае, иного не встречалось, а были и Митя Карамазов, и Митя у Бунина... — Дима — это, скорее уж, Никодим, — заключил он, наконец сникая.

— А скажи, Никодим, — не унималась Кирюшина, — вот ты очень убедительно рассказал, как важно помнить предков, и прочее, и тому подобное, но представляешь ли ты, чем кончатся твои личные об этом заботы? Извини, но найдётся ли кому помнить о тебе?

— Такие вопросы назавтра после свадьбы не задают, — негромко отозвался Свешников.

— Ловко ты выкрутился! — восхитилась Раиса.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Перезимовав в полупустом деревенском хайме, Орочко наконец перебрался в город и поселился в небольшой квартире не слишком далеко от центра, но, приведя её своими руками в порядок и после этого оставшись не у дел, затосковал — не по оставленному дому, а по живым разговорам,

оттого что не мог найти, с кем знаться. О своём положении ему хотелось говорить так: завезли незнамо куда — и бросили, бедного. И пока он не разобрался, на каком живёт свете, подлинные границы, приметы и горизонт не имели значения. Важно было лишь то, что его оставили без помощи, одинокого и немного, вежливо разъяснив невозможность побега — да он и сам видел, что шаг вправо, шаг влево никуда не приведут, и потому внял совету, как петух — меловую, не преступать чернильную черту: так и остался стоять в некоем квадрате — нет, не в загоне, не во дворе, а внутри прямоугольника, начерченного чёрным по белому, по ватману, — и тем не менее взаправдашнего, не выпускающего человека прочь. Представляя себя со стороны, Захар Ильич видел не человеческую фигурку с непременной за нею тенью, а всего лишь точку, оставленную иглой циркуля, и не мог объяснить окружающей белизны, столь навязчивой, что при ней и цвет неба за окном был несуществен. Туда, в вышину, он мог глядываться, только лёжа в постели (чтобы читатель не заблуждался, следует поскорее заметить, что спал Захар Ильич на брошенном на пол толстом матраце), но стоило встать и подойти к окну, как глаза видели уже одну только светло-коричневую с блёстками крошку, которой были покрыты или из которой состояли панели супротивного здания; собственно, и все дома в квартале были слеплены из того же материала, походя один на другой, словно в каких-нибудь советских Черёмушках, уезжая из коих он не мог предположить, что за границей поселится в коричневом городе, пусть и более живом, чем родные, белые, а мечтал о виде из окна на готические шпили, мансарды и черепичные крыши.

В этих четырёх стенах ему не сиделось.

— Не отправиться ли нам на большую прогулку? — как бы между прочим спросил Захар Ильич, и Фред глянул на дверь, не тронувшись, однако, с места, потому что хозяин ещё не одевался. — Тебе повезло: незнакомые люди в хайме предлагали мне билет выходного дня, но тогда я поехал бы в компании — и без тебя. А теперь — что нам остаётся? Давай осваивать город в одиночку.

Повезло, он считал, и ему самому: компанией в пригородном поезде были бы не просто случайные люди, но коли такие билеты продавались на пятерых, то непременно (его предупреждали) — две пары, при которых он оказывался пятым лишним.

Раньше Орочко сходилась с людьми легко и охотно, а теперь с этим что-то не заладилось, знакомства застредали после первых же разговоров, так что, зная многих — и никого, он только постепенно понял, что всё дело в его жизни особняком. Обитателям эмигрантских приютов не приходилось искать общества — напротив, некуда было деться друг от друга: днём никто не запирает дверей, все заходили ко всем без спросу, и общежитие становилось одной большой коммуналкой; он же счастливо миновал эту стадию, перезимовав в деревне в компании с собакой, и потом, не привередничая, согласился на первую попавшуюся квартиру, боясь, что если откажется, то последующие предложения будут всё скромнее и скромнее — то с печным отоплением (а таких было немало), то с кухней без окна (таких — побольше), — и в итоге оказался ещё одиноче, нежели был. Любое из трёх городских общежитий жило словно бы одной семьёй, а он во всякой такой семье мог появиться всего лишь гостем. В его же новом доме никто не говорил по-русски.

Он поспешил согласиться ещё и потому, что и его мнимая супруга пока жила неподалёку: мало ли что могло случиться с пожилым человеком, а тут под боком обитала как-никак родная душа. О большей близости Захар Ильич и не мечтал — тем более что вообразил, будто Муся успела найти себе пару, чем он, видимо, не должен был огорчаться. В его возрасте не следовало думать о женщинах: полтора десятка лет, разделявшие его с фиктивной женою, виделись не просто арифметической разницей; их двоих словно ставили на клетки разного цвета на игровой доске, чтобы, раз уж ход конём исключался, неповадно было сойтись — на одной. Между тем на разных клетках и дувалось по-разному: жена, например, держала себя так, словно только сейчас и начинала жить, а Захар Ильич всё

чаще подсчитывал оставшиеся годы, недоумевая, отчего подобные мысли оказываются сложнее прочих. «В действительности, — думал он, — часто случается просто: бросил учеников — и ушёл. А тут бросил — и пропала всякая действительность... Но о чём это я?»

— Не бойся, Фред, — начал Захар Ильич, едва выйдя из дома, — если я умру раньше, ты не пропадёшь, я уже многим внушил, какая это радость — держать собаку, и какая, в свою очередь, беда для тебя — попасть в приют. Да, да, в замечательный немецкий приют, где животные ухожены и сыты и где ты не выживешь, оттого что не понимаешь по-немецки. Впрочем, я уже говорил об этом. Тебя возьмёт кто-нибудь из наших, я даже предполагаю кто, но если первым уйдёшь ты, меня взять будет уже некому. В сущности, я приехал сюда умирать.

Говоря так, Орочко кривил душою: оставить старую собаку ему было решительно некому. Постаравшись отогнать мрачные мысли, он принялся описывать Фреду предстоящую сегодня дорогу — о которой и сам не знал ничего. Так они дошли до трамвайной линии — успев, однако, пережить неприятный момент, когда, обходя остановившуюся на тротуаре группку девочек, Захар Ильич едва не ступил на мостовую, и мимо него, не дальше чем в полуметре от кромки, промчался, обдав ветром, огромный грузовик.

— Э, Фред, — озадаченно сказал хозяин своей собаке, — нам придётся забыть свои деревенские привычки и отныне ходить по струнке. Не то костей не соберёшь.

Между тем вести себя так, как пристало горожанину, оказалось непросто — не потому, что он одичал в деревне, в своей, как иной раз хотелось ему сказать, ссылке, а потому, что город казался ненастоящим, хотя бы из-за скромности размеров: тут, где ни остановись, в конце перспективы непременно виделись приподнятые на холмах леса. Их-то сегодня он и собирался достичь.

Рельсы закончились размашистой петлёй сразу за последним домом. Дальше безо всякого перехода начиналась дикая местность: кусты, несколько молодых деревьев, пока

не составивших рошу, а за ними — ещё какая-то растительность, уже до самого горизонта: до холмов и предгорий. Город не имел окраины, единственным признаком её могло служить лишь трамвайное кольцо, да и оно наполовину скрывалось от глаз вечнозелёными кустами; с одной стороны сюда доходила улица со всеми её атрибутами, такими же, как и в центре, с другой — не нашлось ни лачуг, ни свалки, ни вытоптанного пустыря, а немедленно предъявлял себя загородный чистый пейзаж. Улица же, не став тупиком, отворачивала вбок, оставив своё направление пешеходной асфальтовой дорожке, уводящей — не видно было куда; по ней-то и двинулся Захар Ильич, собираясь наконец спустить собаку.

— Я понимаю, что тебе тяжело бегать, — сказал он, — но посмотри, как ты разжирел. И деревня не помогла. Давай иди, не ленись, только не вздумай нападать на встречную живность (не представляю, кто тут может возникнуть — белка, ёжик?), не опускайся до погони: ты её проиграешь. Надеюсь на твою британскую сдержанность.

Он улыбнулся, представив себе фантастическую картину — своего бульдога, догоняющего лохматого неведомого зверька. Пёс же, послушно перевалившись с асфальта на траву, так и не отошёл далеко от хозяина.

— Говорят, собаки плохо видят, — продолжал Захар Ильич, — но тогда уж слушай. Не меня. Твой старый город считался зелёным, даже писали — «город-сад», так скажи, когда ты в последний раз слышал там птиц. А тут — обрати внимание, какое многоголосие. И всё — новые песенки. Весна, дружище. Так что не тоскуй по недолгому сельскому счастью.

Едва произнеся «песенки», он сообразил, что на здешних улицах до слуха ещё ни разу не донеслось ни пения, ни живой игры на инструменте — хотя бы случайной нотки из раскрытого окна, — да не видел и самих раскрытых окон, разве что в общежитии. «Ну пусть бы не Скрябин, куда там, — подумал он, — а гаммы или даже «Чижик-пыжик»». Своим ученикам он обыкновенно выговаривал — да и теперь не дал бы спуску — и за «Чижика»,

и за всякое музыкальное баловство, по которому теперь неожиданно заскучал. По самой же работе он всё ещё не испытывал никакой тоски, и от этого ему было неловко перед самим собою; в первые недели такое было прости-тельно, даже естественно — у него словно бы просто-на-просто начались каникулы, но время шло, а его всё не тянуло к работе — то ли полюбилось бездельничать, то ли больше не находилось сил. «Пора, дедушка, на покой, — оправдываясь, говорил он себе, — на заслуженный от-дых». Он, однако, и отдых представлял себе состоящим из расположенных кем-то по порядку звуков, но един-ственной музыкой, с какой он встретился тут вне дома, были старинные вальсы, которые наигрывал в подзем-ном переходе русский баянист.

Тот, казалось Захару Ильичу, никогда не поднялся бы из своего подземелья на улицу, живущую в ином, нежели пешеходный туннель, ритме и довольную собственными, присущими проходим, грузовикам и трамваям, звуками. Место, куда попали сейчас хозяин со своей собакой, види-мо, не терпело ни музыкантов, ни слушателей, странных там, где уже не строили жилья — где не только централь-ная, но и остальные улицы вдруг разом иссякли, словно захлебнувшись на полуслове, кроме одной, на последнем повороте родившей скупое продолжение — бесконечную дорожку, на которой человек с бульдогом оказались со-всем одни.

— Ну, дружок, — сказал Захар Ильич, — наслаждай-ся волей. Дыши, это хоть и не любезная тебе деревня, но и не такой город, в каком ты прожил почти весь свой век, вдыхая бензиновый перегар, а то и кое-что похуже. Ри-точка заболела, скорее всего, из-за Чернобыля. Странно, что не я... Если нам с тобой так уж повезло, давай делать такие вылазки почаще, давай наслаждаться жизнью — я расскажу как, — а сейчас помолчим, пока не пройдут эти ребята: им совсем не нужно знать наши секреты.

Навстречу шли три подростка. Они заранее стали пере-страиваться гуськом, чтобы разойтись на узкой дорожке со стариком, выгуливающим бульдога. Каждый произнёс

своё «Guten Tag», — на что Захар Ильич, смешавшись, ответил по-русски, а Фред, уловив интонацию, вильнул задом (впрочем, он знал, что здесь не заговаривают с чужими собаками).

Местность мало-помалу менялась: дорожка шла вверх, и по мере подъёма кусты отступали дальше, скудный бурьян и вовсе пропал и скоро, ничем не затенённая, открылась обширная долина, замыкаемая вдали синими холмами.

— Для первого раза достаточно, — решил Захар Ильич. — Как-никак, добрый час пешего ходу. Дальше не пойдём, тем более что кто-то позаботился о нас: видишь скамейку?

Он пожалел, что с языка сорвалось «дальше не пойдём»: побоялся, как бы не накликать беду. Во всяком случае, произнося это, он не понимал не только, как сможет пойти дальше, но и как одолеет оставшийся до места привала десяток шагов. Давно он не чувствовал себя так плохо: задыхался, его мутило, и окружающие предметы казались освещёнными ярчайшим лучом золотого прожектора. Пройти до скамейки по прямой, так, чтобы не ступить на обочину, оказалось трудной задачей. Упав наконец на жёсткое сиденье, он несколько минут лежал ничком с закрытыми глазами. Когда его немного отпустило, он достал из наплечной сумки бутылку с водой, сделал жадный глоток сам и наполнил миску для Фреда.

— Тут мы и перекусим, — после долгой паузы объявил он, с удивлением обнаружив, что дурнота странным образом обернулась острым чувством голода. — Не всё, однако, так радужно, как кажется или как я говорю. Я надеялся, что страдаю одним только фредизмом, а тут, как видишь, подкралась и другая хвороба. Видно, впредь нам с тобой придётся гулять только по ровной местности, как бы ни были живописны холмы, утёсы и провалы в тартарары. Как видишь, старик, жизнь полна неожиданностей. Вот и моя поездка к Баху на могилу теперь под сомнением. Теперь? Что кривить душой — я знал это и раньше.

Распаковав бутерброды, он предъявил их собаке: один — мне, другой — тебе. Фред привычно согласился с де-лёжкой.

«У нас один выход — умереть одновременно», — неожиданно решил Захар Ильич, не представляя, как может случиться такая удача.

Перекусив, он долго не мог решиться встать. Обманывая себя, он несколько раз повторил, что пришёл сюда любоваться ландшафтом.

— Знал бы ты, как хорош вид отсюда! — произнёс он вполголоса. — Жаль, что не с кем поделиться этой красотой. Интересно, ты, Фред, — вы, собаки, — чувствуете ли красоту? Так, чтобы один пейзаж предпочесть другому? Или — сочетания цветов? Или хотя бы — красоту запахов? Чтобы не только узнавать их, а восхищаться: тут, мол, такая гамма ароматов, такой букет? Притом что никто не умеет описывать словами запахи, как и я — музыку. Ты, наверно, заметил, что многие, услышав, чем я занимался, заговаривают о ней, а я молчу, потому что словами не расскажешь даже о гамме: музыку нужно либо исполнять, либо слушать, и — не петь же мне с ними дуэты.

Почтальон, подкатив на велосипеде, положил на ступеньку подъезда, придавив камнем, пачку газет. Потом протянул одну прохожему — пожилому человеку с собакой.

— Придётся отдохнуть, — согласился тот, увидев рядом скамейку.

Захар Ильич напрасно понадеялся на простоту газетного языка — не тут-то было, он не сумел прочесть даже заголовков. Оставалось лишь рассматривать картинки да рекламу, в которой одной только и было что-то понятно, а вернее, нечего было понимать: йогурты, супы из пакетиков, пылесосы, бюро путешествий, концерт. На последней афишке он, преодолев скопление непроизносимых согласных, с изумлением узнал знакомую

фамилию: альтиста Бориса Гедича он знал давно, со своих студенческих, а его — школьных лет. Приятелями они не были, но у них то и дело случались нечаянные встречи, тем более неожиданные, что один разъезжал где-то с оркестром, а другой — не покидал школы.

Захар Ильич, раньше считавший Гедича посредственным музыкантом, вдруг загорелся желанием послушать: не так уж часто удаётся встречать старых знакомых в иностранной провинции (честно говоря, ему ещё и не удавалось). Он к тому же истосковался по музыке. В городе был свой симфонический оркестр, дававший подряд два одинаковых концерта в месяц, но Захару Ильичу не повезло, он переехал в город как раз в последний из таких двух дней. Теперь он напрасно следил за афишами — на гастролы никто не приезжал, — и нынешнее скромное объявление в газете показалось ему настоящим подарком.

Музыку — альт и фортепьяно — приглашали слушать вовсе не в городской концертный зал, а в неведомый дворец, отчего Орочко поначалу решил было, что вечер устраивают для избранных, но, с трудом углядев потом внизу мелкую строчку, назначавшую входную плату в несколько марок, успокоился: и концерт был, видимо, обычный, открытый, и цена такова, что он не разорился бы.

На следующий день Захар Ильич узнал, что ехать придётся далеко, в предместье, и новое словосочетание «загородный дворец» заворожило его. Он немедленно навоображал себе особенную, изысканную публику, среди которой выглядел бы не белой даже, а голой вороной, и едва не отказался от затеи из-за того, что не имел смокинга. Ему невдомёк было, что в немецкой речи словом «дворец» обозначаются не одни лишь королевские да княжеские палаты, а почти всякие господские дома в усадьбах; он был озадачен, увидев перед собою в вечернем парке скромный особняк. Соответственно и публика — не блистала: женщины, словно сговорившись, все до единой демократично предпочли вечерним

платьям кофточки и жакеты, а их спутники обошлись простыми пиджаками, так что Захар Ильич понял, что может, не стесняясь, занять место в первом ряду — слева, чтобы видеть руки пианиста, немецкого профессора. Многие пришли без галстуков (и хорошо, подумал он: его мутило от аляповатых тряпок нового сезона), сам же он был единственный в зале при бабочке. Дома, в Союзе, он не посмел бы надеть такое украшение: пусть последние годы и называли (робко, боясь сглазить) вегетарианскими, но Захар Ильич не мог забыть, как одного из его хороших знакомых когда-то разбирали на парткоме за появление на службе в рябеньком твидовом пиджаке; приверженные синему бостону большевики сочли это вызовом. Вдобавок, купить бантик там было негде, а здесь, теперь, Захар Ильич взял его бесплатно в Красном Кресте — вишнёвый в голубую крапинку. Публика пока не могла оценить его наряда — но и он не видел со своего места зрителей и поэтому сидел смирно, тупо уставившись на рояль. Зато его сразу заметил, выходя, Гедич и, сделав круглые глаза, поднял в приветствии руки.

Музыка привела Захара Ильича в замешательство. «Боря поднаторел, — сказал он себе о смелой игре Гедича. — Однако не мастер, нет...» Пианист же был, на его вкус, ужасен: плохо слушая партнёра, продирался сквозь текст напролом, и там, где альт пел, рояль — барабанил. За такую игру Орочко в своей школе ставил двойки.

Школьников Захар Ильич учил так же, как некогда учили его самого. Он до сих пор помнил своё детское недоумение, когда от него, первоклашки, преподаватель, веля нажимать одну какую-нибудь клавишу, добивался, чтобы «этот пальчик пел»; ребёнок всё не понимал, как может быть певучим единственный звук, а не мелодия — из нескольких. Но когда он и сам начал преподавать, для него совершенно естественным стало требовать от детей, чтобы «пел каждый пальчик», — и те тоже смотрели непонимающе.

В перерыве Захар Ильич попытался подойти к Гедичу, но тот, окружённый седыми меломанами, только и сумел, что скороговоркой назначить после всего встречу в буфете.

Там гости сидели за двумя круглыми столами: профессор — в немецком окружении, за столом же Гедича говорили по-русски.

— Теперь расскажи наконец, как ты сюда попал, — попросил Борис, наполняя бокалы.

— Расскажи и ты. Был такой анекдот. Вылезает из пруда человек, весь в тине, в ряске, лягушка застряла за пазухой, вода капает. Прохожие тревожатся: «Что с вами? Как вас угораздило?» А он уже устал отвечать и с досадой отмахивается: «Да живу я тут!»

— И всё же? Надо понимать, ты приехал, как говорится, по еврейской линии. Как все. Мне, правда, повезло избежать пруда — но не воды: первое время мы жили на пароходе. А теперь я житель Гамбурга.

— Где ты взял этого профессора? Он, кажется, только и умеет нажимать нужные клавиши в нужное время. Настоящее механическое пианино.

— Западная школа, — пожал плечами Гедич. — Представь, такая манера считается интеллектуальной.

— Как же ты уживаешься? Когда-то нам прививали другие вкусы.

Он уже знал ответ наперёд:

— Деться некуда: знаешь, в чужой монастырь...

Что-то здесь было не так — возможно, сам Захар Ильич оказался старомоден со своими необъяснимыми требованиями. Немного собравшись с мыслями, он заподозрил неприятное для себя: попади его питомец в консерватории в класс к такому профессору — и ученику придётся нелегко. «Только испорчу ему карьеру, — подумал он. — Нет, пусть этим занимается кто-нибудь другой».

Он не продолжил эту тему с Гедичем, но, придя к себе, долго не мог заснуть, думая, как будет жить дальше — теперь, когда в одночасье потерял вкус к своей работе.

Однажды Захар Ильич набрёл на крохотный скверик посреди перекрёстка узких улиц; в центр его так и просился старинный фонтан, источник, под тоненькой струйкой которого девы наполняли бы свои кувшины, однако на этом месте не было украшений, хотя бы клумбы, вообще ничего, а только стояли одна супротив другой две садовые скамейки. Тут он и устроился отдохнуть. Ближайшее здание было обращено к нему углом, на обеих стенах которого висели невзрачные вывески небольших магазинчиков, принадлежавших русским, а точнее — выходцам из бывших союзных республик. Торговали во всех примерно одним и тем же, так что бесполезно было сравнивать, — кастрюлями, скобяными изделиями, чайниками, электрической мелочью. И всё же в витрине одного Захар Ильич с изумлением разглядел среди ножниц и зажигалок нечто отличное: пистолеты (боевые, газовые или во все пугачи — он, конечно, не имел понятия: подобные инструменты он раньше видел только в кино). «Неужели их покупают? Находят же применение!» — сказал он про себя и, оставив Фреда на улице, зашёл внутрь. Там он, постеснявшись сразу приникнуть к оружейному прилавку, для начала стал разглядывать утюги.

Не прошло и полминуты, как в помещение весело ввалилась ватага молодых мужчин, переговаривавшихся на смеси русского и другого, явно тоже славянского, языков. Продавец приветствовал их, словно знакомых.

— Что, хозяин, продашь сегодня ствол? — услышал Захар Ильич зычный вопрос.

— Отчего же не продать? — с готовностью ответил тот.

— А знаешь ты, что нам нужно?

— Как не знать, когда я здесь торгую.

Посетители, видимо, смущённые такой логикой, замолчали, а Захар Ильич, стараясь не суетиться, вышел прочь, тотчас пожалев, что остался в неведении относительно того, какой товар нагрязнули купить славяне: его

смущало, что продавец не спросил первым делом, есть ли у них разрешение на оружие. Захару Ильичу тоже захотелось иметь пистолет.

«Скорее всего, они не покупатели вовсе, — подумал он. — Это у них баловство, шутка старых знакомых».

Вот и ему следовало бы познакомиться с продавцом, чтобы получить право, зайдя в лавку, с порога поинтересоваться при посторонних, не продаст ли тот «ствол», а потом уже объяснить пространно: «Хотелось бы соорудить какую-нибудь самозащиту: живу на первом этаже — не знаю, как у вас, а в Союзе это было рискованным делом». Как это осуществить, он пока не знал, тут пригодилась бы женщина, только не мог же он вовлекать в стариковские забавы свою спутницу («но нет — жену...»). Ему невольно пришлось придумать собственный план. Будущее приключение захватило его, словно мальчика.

Игру Захар Ильич начал с понедельника — и неудачно. Вечером он сел на скамейку в знакомом уже скверике и, дождавшись, пока хозяин магазина закроет запоры, пошёл за ним следом, как думал — до пивной. («Куда ж ещё, — решил он, — податься порядочному немецкому бургеру после работы, тем более если он — русский?») Тот, однако, напрямик отправился домой. Захар Ильич, обследовав окрестности, вообще не обнаружил пивных заведений и расстроился, но всё-таки повторил свой опыт на следующий день — и увидел, как продавец завернул в крохотную закусную — такую тесную, что там и присесть сколько-нибудь надолго было нельзя, а только — стоять у прибитой к стене полки. Тут, впрочем, и не пили — нет, пили, конечно, только не так, как мог видеть в прежней жизни Захар Ильич: не усевшись за липким столом, а стоя, отхлёбывая из горлышка невеликой бутылки. Продавец утюгов и пистолетов купил бумажную тарелочку с жареной картошкой и пиво, а Захар Ильич — тоже бутылочку, но с водой, и, подходя к полке, будто бы оступился и толкнул торговца:

— Ах, простите!

На русское «ах» тот и ответил, машинально, на том же языке:

— Да ничего, что вы — в такой тесноте!

— О, да вы — русский? — удивился Захар Ильич. — И, постойте, я вас где-то встречал...

— Скорее всего, в магазине. Я торгую на соседней улице. Чайники, радио — заходите, у меня дешевле, чем у немцев.

— А я поспешил, уже купил музыку и наверняка переплатил. Жаль. Меня, правда, умные люди учили не торопиться на первых порах, когда глаза разбегаются. Впрочем, в хозяйстве много ещё чего понадобится — зайду, спасибо. Да и просто так загляну — посмотреть что и как: интересно, как устраиваются наши люди.

«И устроиться самому, — продолжил он про себя. — Не волноваться больше, так пойдёт или этак, а твёрдо знать выход».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Актовый зал («Почему — актовый? — поправился мальчик. — Это не школа, и всё тут называют по-своему... Да что за глупости лезут в голову!») — итак, зал был переполнен, и, безуспешно поискав глазами отца, Митя отступил к дверям, за портьеру: стоять на виду школьнику перед множеством учёных мужей было неловко. Пока же следовало отдышаться после бега по улицам и лестницам, чтобы слушать, не мешая другим, и смотреть. Оглядывая публику, Митя вдруг увидел знакомого человека, которого знал почти столько же, сколько и себя: тот жил на одной лестничной площадке со Свешниковыми. Звали его Богдан Васильевич Богданов, что в Митином исполнении сократилось до Богданьча.

Когда-то соседи дружили семьями, но прошло время — и семьи истаяли: сначала Богданова оставила жена, потом овдовел Алексей Дмитриевич, и прежние отношения

мужчинам пришлось поддерживать совсем на другом, нежели раньше, уровне: от пирушек с разносолами, с домашними пирогами, печь которые обе женщины были мастерицы, с настоянной на лимонных корочках водкой они перешли к нечастым вечерам вдвоём в свешниковском кабинете всего лишь с долгими стаканами коньяка. Митя по понятным причинам в их беседах не участвовал, но в другое время ему и самому случалось разговориться с немолодым соседом о том о сём — о кино, о путешествиях, а в последние месяцы всё чаще — о предстоящем выборе специальности, когда оба они, словно в игре, называли и отвергали — самые разные варианты, под конец непременно сводившиеся к романтической профессии геолога, которой как раз владел и привержен был сам Богданыч, и мальчик, помня о своей непроверенной любви к бродяжничеству, легко соглашался с доводами в её пользу, хотя и не совсем понимал, как удастся примирить такой выбор с очевидной склонностью к математике.

Богданов женился во второй раз, а Свешников — нет, и в том, как они проводили свой редкий досуг, стало мало общего, но мужчины, раз уж так завелось однажды, сжились всё в том же кабинете, и Митя послушно не встречал в беседы.

Нынешней встречи с Богданом Васильевичем Митя не ожидал: по его понятиям, тому в рабочее время следовало бы не дремать на скучных собраниях, а пробираться в одиночку по безлюдным речным берегам с непременно геологическим молотком в руке. Обратив наконец внимание на то, что говорилось с трибуны (до сих пор он старался не вникать), Митя неожиданно услышал вовсе не высокоумные суждения о тайнах мироздания, а бормотанье о членских взносах, о праздничной демонстрации, о путёвках в пансионат и снова перестал слушать, задумавшись о том, как могли отец и Богданов, совсем не коллеги, оказаться на одном сборище. Алексей Дмитриевич не посвятил сына в программу, а тот из-за спешки даже не прочёл объявления у входа; он и вообще не должен был бы здесь присутствовать, если б отцу, проведшему вчерашний день

в Ленинграде и не успевшему заехать с вокзала домой, не понадобилась какая-то папка с документами. Сын вызвался привезти, но отец не позволил пропустить школу; Митя огрызнулся было — так-то, мол, срочно тебе нужны твои бумаги, — и тут кто-то высший вдруг распорядился как надо: из-за болезни исторички отменили последний урок, а предыдущим была физкультура, которой Митя легко позволил себе пренебречь. Теперь он будто бы успевал, благо отец на всякий случай подробно описал, где, что и как.

«Как бы предок не потребовал, чтоб я из уважения к Богданычу поступал в геолого-разведочный, — не раз отогнанная, всё-таки проявилась мысль. — Но это глупость, надо же, какая глупость! Как раз его уважение я и потерю, так легко сдавшись».

В зале было душно, но когда Митя в перерыве вышел в фойе, роль которого играл тупик коридора, то и там оказалось нечем дышать; он направился было к лестнице, как его тронули сзади за локоть.

— Ты всё же пришёл... Спасибо, — сказал ему отец.

— Стечение обстоятельств...

Алексей Дмитриевич был не один, рядом стояла невысокая, ему по плечо, молодая женщина с вызывающе крупными серьгами в ушах; Митя решил — студентка.

— Людмила Родионовна, — представил отец.

Митя едва удержался от вопроса о сестрѐнке Арине.

Кто, что она такая, осталось пока неизвестным, потому что Алексей Дмитриевич, довольный, как ехидно подумал Митя, тем, что сбыл её с рук, поспешил удалиться, не объяснив причин и адреса, а лишь выразительно помахав привезѐнной сыном папкой. Впрочем, оставил он свою спутницу не на одного растерявшегося было мальчика, а дождался, пока к ним не подошёл Богданов. Тот сразу завёл с дамой неспешную беседу (Митя всегда удивлялся тому, как иные умеют легко болтать с незнакомыми женщинами совсем ни о чём), а Людмила Родионовна попыталась разговаривать и Митю, но неудачно, начав с частой ошибки взрослых — с расспросов о школьных уроках и оценках, а не о тех простых вещах, которые могли бы

занимать подростков; Митя, оценивший это как сюсюканье, отвечал с заметной неохотой.

— Вы, Митя, кажется, оканчиваете школу?

Ему хотелось едко осведомиться, как она угадала, не ясновидящая ли она, а если нет, то откуда знает такие тонкие, скрываемые от мира вещи, и тогда уж не погадает ли ему по руке, однако вместо всего он смиренно пробормотал, что нет, впереди ещё год.

— И прощаетесь с отрочеством...

— Вот уж не беда: как все... гм... отроки, я тороплюсь взрослеть.

— Стоит ли? Это непоправимо.

— Нет, не стоит, — неожиданно согласился Митя, сбив её с мысли.

— Как всем отрокам, — объяснил Богданов, — парню хочется поскорее приобщиться к делу. Неважно к какому, но — в настоящей жизни взрослых. А я, грешен, путаю ему карты: предлагаю многие, самые разные версии. Пусть себе критикует и отвергает.

— И всё-таки, — снова обратилась она к Мите, — наверно, приходится как-то готовиться? Много ль? Не представляю, как это должно происходить теперь.

— Я готовлюсь, — ответил Митя, думая, что годы, когда готовилась она, ушли не так уж далеко. — Я читаю.

— То есть всё-таки знаете, какие книги, по каким дисциплинам...

— Да любые. Романы, повести...

Он не мог бы объяснить вслух, да более того, и сам ещё не догадывался, что и он, и всякий, читая, способен одновременно размышлять вовсе не о том, что видит на странице.

— Смотри, завалишь экзамены, — предупредил Богданов.

«Как бы не накаркал», — мелькнуло в мыслях Мити, человека нисколько не суеверного. Сегодня читатели могут не обращать внимания на эту немую реплику, оттого что уже и всем доподлинно известно: не завалил. Самому же Мите и подавно не полагалось знать такие вещи наперёд

и уж тем более — гадать о них с женщиной, которую видел в первый и, очевидно, в последний раз в жизни.

Между тем спустя несколько месяцев они встретились снова.

Было это в выходной день. Алексей Дмитриевич ушёл почитать в библиотеку, а Митя, оказавшись по своим невеликим делам в том же районе, раздумывал на ходу, не вызволить ли его оттуда, чтобы вернуться домой вместе. Он замешкался на углу нужного переулка, так и не решив, свернуть ли, и его сразу затолкали, пришлось даже отступить к стене, и неожиданно среди множества чужих лиц он разглядел одно знакомое — веснушчатое, с прямым носиком, обрамлённое рыжеватыми прядками. Не такая уж яркая, женщина, тем не менее, выделялась из толпы. Мите понадобилось время, чтобы вспомнить: Людмила Родионовна... Поклонившись, он двинулся было своим путём, но она — остановилась.

— А говорят, что Москва — большой город, — сказала она, и Митя подхватил:

— Напрасно мы считаем, будто случайные встречи — редкость. Один наш знакомый — что это я, вы его знаете, это Богданыч — так вот, он утверждает, на спор, что если после работы, в час пик постоять у схода с эскалатора на большой пересадочной станции метро, то за полчаса наверняка удастся встретить не одного, а нескольких знакомых, с которыми не виделись уже годы.

— С вами-то я уж точно ожидала встретиться не на улице.

— Где ж ещё?.. А я и вовсе не ждал... Тем более что нас познакомили в унылом месте, на унылой сходке...

— На чуждом собрании, — уточнила она, и это было новостью: Митя считал, что она там — своя. — Разве я похожа на доктора наук? Или на академика?

— На профессорскую дочку.

— Да и профессия не позволит. Помните, в прошлый раз мы уже говорили о призвании? О том, что вам грозит скорый выбор: впервые — и на всю жизнь, и посмертно.

— Готов поспорить, что почти каждый потом сожалеет... вспоминает, какие варианты отбросил, и всё думает: вдруг я ошибся? Но выбор-то давно сделан, и никто не позволит изменить.

— Изменять — грех. Никто никому не позволяет, — заметила она, смеясь. — Хотя если без шуток, то это уж — как жизнь повернётся...

— Вот — тема, над которой я не задумывался, — серьёзно сказал мальчик. — Нет, нет, нам на уроках говорили о верности Родине, об измене Родине... И вот неожиданная неверность — в чём может выразиться?

— Видно, вам так ничего и не объяснили толком, иначе вы сейчас, с первого слова, не затрагивали бы высокие материи. Родина?.. То, что одни называют изменой, для других — честное ей служение. Только, знаете, дорогой юноша, — не здесь, не здесь об этом толковать... Вот в следующий раз встретимся в чьём-нибудь доме (нет, не в том), усядемся в кресла, тогда и продолжим, не наспех... О!.. Как же я сразу не сообразила: ведь вы, наверно, в библиотеку шли? Я угадала?

Она заторопилась, и Митя решил: спугнул.

Не поняв, почему им предстоит увидеться ещё раз, он постеснялся переспросить, а скоро и вовсе забыл о будто бы случайно оброненной фразе, но только они и в самом деле встретились, уже не важно, в какой обстановке, а важно, что эта женщина появилась опять с его отцом и что Митя, наконец догадавшись, что к чему, не знал, как себя вести. Сразу подумав о покойной матери, он огорчился не за неё, он уже плохо помнил мать, а — за отца, который не то что должен был бы помнить лучше, а просто — не забыть никогда. Митя только постарался уверить себя, что всякая симпатия есть вещь преходящая, и, когда вечером остался наедине с отцом и уже никак нельзя было бы промолчать, небрежно бросил шутивным тоном, едва пришлось к слову:

— Смотри, пап, не заведи романа.

Алексей Дмитриевич вполне серьёзно и пространно ответил, что почему бы и нет и что, впрочем, уже завёл.

— И ты можешь мне это говорить? — спокойно поинтересовался Митя.

— Будь это пустяковый эпизод — не мог бы.

— Она, папа, кажется, слишком молода.

— Для меня определённо нет. Но ты прав: так же определённо я для неё слишком стар.

Подумав, что разница в четверть века должна бы одинаково смущать обе стороны, Митя присмотрелся и к своему месту между ними: мать умерла, когда ему было одиннадцать, и на столько же лет была старше него предполагаемая мачеха. Он едва не сказал отцу: «А не закадрить ли мне какую-нибудь её подружку?»

— Что она умеет делать? — задал он свой обычный, о всяком новом человеке, вопрос.

— Люда — художница.

— Ты что, возвращаешься в этих кругах? В богеме? Новость для меня.

Алексей Дмитриевич развёл руками: мир, ответил он, полон случайностей, а потом всё-таки объяснил, словно в оправдание, что это не совсем тот случай, что Людмила Родионовна работает в промышленности.

— Как это? Художница — и... не понимаю... Но картины-то она пишет? — с надеждой спросил Митя, сообразив, что у него появляется шанс впервые в жизни попасть в настоящую мастерскую живописца.

Школа была в двух шагах от дома, и Митя после уроков всегда шёл в какой-нибудь гурьбе, которой только ещё предстояло истаять в следующих кварталах, теряя от подъезда к подъезду по человечку. Но в этот день из-за нечаянной заминки в раздевалке у него образовался лишь единственный попутчик, Толя Распопов; того мало кто из одноклассников звал по имени (в классе к тому же было ещё два Анатолия), а лишь по прозвищу: Раз Попов, два Попов или покороче — Распоп.

Оттого что сейчас они шли только вдвоём, Мите стало неудобно, едва дойдя до своей двери, исчезнуть, махнув на прощанье рукою, и он предложил:

— Зайдёшь?

Толя замотал головой:

— Что ты, у меня игра, — и поспешил дальше на свою тренировку, играть в какой-то мяч: в футбол, в баскетбол ли — Митя не вникал.

В передней стоял полумрак: дверь в Митину комнату была закрыта, и это значило, что мачеха дома и работает. Она не стала устраивать себе ни студию, ни просто особый угол для рисования, а с утра, когда пасынок уходил в школу, занимала его комнату, благо та выходила на светлую сторону и там стояли и обширный письменный стол, и даже кульман, приобретённый Митей за бесценок в рассуждении будущего поступления в технический вуз (смелая покупка, если быть суеверным: «Вот обзавёлся — и не поступишь», — подтрунивала она). Обычно ей удавалось справиться со своим рисованием к его возвращению и сразу уйти в город — по заказчикам, по инстанциям, по магазинам, но сегодня её задержало, видимо, редкое в этом сезоне освещение: моросивший накануне мерзкий дождик неожиданно уступил пронзительно яркой погоде; работать в мрачные дни она не любила, а то и вовсе не могла, говорила, что тогда не видит верного цвета.

Работа Людмилы состояла в сочинении узоров для тканей и галстуков, что поначалу разочаровало (если не оскорбило) Митю, представлявшего себе художников вечно стоящими у мольбертов, переводя холст и краски на неузнаваемые портреты, но, уж конечно, никак не плетущими пустые узоры. Он всё допытывался, не рисует ли она что-нибудь и для себя, и Людмила, хотя и отшучивалась или отвечала невнятно, наконец повесила в столовой и в спальне свои рисунок тушью и акварели — не вызвавшие у него восторга. Впрочем, он понимал в этом искусстве мало или ничего и не постыдился признаться в этом; тогда мачеха стала водить его по галереям и выставкам, ещё редким в те годы, а чаще — по мастерским, рассказывая, что, а главное — как.

Чтобы не помешать ей, Митя, бросив портфель под вешалкой, сразу прошёл на кухню. На плите стоял горячий

обед: то ли хозяйка только что поела, собираясь уходить, то ли позаботилась о пасынке. Пока он размышлял, позвать ли её к столу тотчас или погодить, пока она не освободится, Людмила пришла сама.

Он стоял спиной к двери, один на кухне, и вздрогнул, услышав: «Ой!»

Быстро обернувшись, он остолбенел: не то чтобы потерял дар речи, но понял, что и никогда не найдёт слов: мачеха стояла перед ним нагая, босая. Растерявшись не меньше него, она не прикрылась, а напротив — всплеснула руками:

— Как же я не слышала, что ты вошёл!

Позже он говорил себе, что в первый момент был поражён даже не самой её наготою, а россыпью веснушек по телу.

— Я, когда одна, часто работаю так, безо всего, — оправдалась она. — Легче помыться самой, чем отстирывать от красок халат.

Решив, видимо, что не потеряет больше того, что уже потеряно, Людмила не пыталась отступить, а мальчику просто некуда было деться; они так и стояли лицом к лицу. Ему захотелось успокоить её, растерянную больше, чем он, тронуть плечо или прижать к себе, скрывая то, чему всё-таки не следовало быть открытым, но самая сильная мысль была — о другом: до женщины своего отца он не смел дотрагиваться, даже утешая.

— Мне трудно не смотреть туда, — признался он.

— Ты не увидишь ничего нового.

Митя не видывал и старого — но промолчал.

«Хорошо, что Толька не поднялся, — вдруг сообразил он и поёжился. — Я чуть не влип».

— В следующий раз так не пугайся, — сказала она и, помолчав немного, рассмеялась: — Нам остаётся одно — стать друзьями.

Мите оставалось тоже одно — согласиться. Часто потом об этом думая, он не мог не признаться, что в других обстоятельствах не упустил бы случая.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Даже тем, кто слишком уверен в себе, даже им когда-нибудь да приходилось сомневаться в собственных убеждениях, даже они — многие из них — признавались, что перед серьёзными делами не избегали колебаний, а кто избегал, тот эти дела и губил. Тем не менее на свете есть затей и другого толка, не терпящие излишних раздумий — это, например, сочетание браком, при котором если уж не знаешь, что тебе нужно, то скоро поймёшь, что нужно — нечто иное. К счастью или нет, а перед упомянутым действием мало кто способен рассуждать трезво: одни, влюблённые не на шутку, напрочь теряют способность критически оценивать хотя бы что-нибудь, другие же, пусть ещё и не забыли, что такое хорошо, а что такое плохо, вредят себе, торопясь разделаться с постылой неопределённостью; есть и третьи, но эти-то поступают строго по необходимости, и потому — не о них речь. Дмитрия Алексеевича хотелось бы отнести к первой группе, однако обстоятельства сложились так неудачно, что теперь его, кроме как во вторую, оказалось решительно некуда пристроить. Он женился, сознавая, что мечтал совсем не о такой паре, то есть хотя у него оставалось предостаточно сомнений, ему как-то разом опостылел окружающий малолюдный мир; разборчивому жениху, Дмитрию Алексеевичу пришлось внушить себе, что поиски идеала не могут длиться вечно: в его возрасте они становились смешными. Теперь, вывел он, пристало руководствоваться правилами попроще — например, таким: не стоит искать женщину с какими-то особенными достоинствами, у всех они примерно одинаковы, зато разнообразны пороки, и надо выбрать ту, с чьими пороками смириться легче. Признав при таком подходе, что совершенство недостижимо в принципе, он всё-таки оставил себе в качестве лазейки спорное убеждение, что поиски того даже и отцами семейств — занятие настолько само по себе благородное, что никак не может нарушить добрых супружеских отношений, точно так же, как и всякое искусство не вредит и не мешает

размеренному бытию. Они и впрямь не помешали: Раиса не замечала или неверно толковала интерес в его невольных взглядах на встречных красавиц; но и в самом деле, с этой стороны их семье ничего не грозило, как, впрочем, и с другой, со стороны чужого Свешникову ребёнка — не грозило бы, когда б стараниями Раисы, тоже, он надеялся, невольными, в этом месте не появилась безболезненная поначалу, мягонькая опухоль, с разрастанием которой семья, ещё не успев стать крепким целым, обнаружила склонность не то чтобы к распаду, а к некоторому, скажем так, разрыхлению из-за мальчика, живущего то здесь, то там, на два дома: в северном — с тёткой, а в юго-западном — хотя и с матерью, но в присутствии постороннего человека, дяди Мити, от которого глупо ждать проку и которому можно безнаказанно делать пакости.

Вдобавок тень Аликова отца пусть и не являлась ночами из-за штор, но призывалась Раисой при малейшей надобности, а часто и вовсе без оной. Погружённый в свои материи, Дмитрий Алексеевич не обращал на это внимания, и только определённо огорчался, когда ему при пасынке пеняли за сделанные, а часто и померещившиеся оговорки или промахи. С этим ещё можно было бы жить да жить вместе, но при условии, что Свешников подладился бы к жене, не просто потакая прихотям, а изменив свои устоявшиеся с годами представления о нравственных ценностях — чего он никак не мог себе позволить.

Ему давно следовало бы облегчить душу, поделившись с кем-нибудь — с другом, Денисом Вечесловым, от которого прежде, кажется, ничего не держал в секрете, или с мачехой, которая о многом догадывалась и сама, — да было неловко; не сделав этого сразу, Дмитрий Алексеевич теперь нарочно медлил, понимая, что запоздалый рассказ выйдет сумбурным и он непременно упустит что-нибудь важное: иные из обид, даже серьёзные, он старался поскорее забывать, так что теперь, доведись ему пожаловаться на семейную жизнь, в памяти не хватило бы примеров. Наверно, их стоило бы вовремя записывать — для себя, чтобы позже, разложив истории по разным полочкам,

лучше понять суть. Он задумал такое письмо самому себе после одной из ссор, но (известно, как отходчив русский человек) к нему так и не приступил, отчего и наше повествование до поры обойдётся без пересказа его домашних неприятностей, по крайней мере в настоящем месте, — пока же достаточно знать, что они, какие бы ни были, собранные вместе или поодиночке, пусти их в ход как доводы обвинения, могли бы подействовать лишь единственным образом: разбить нашу пару. Они и подействовали, хотя до законного развода дело всё же не дошло: то ли в те дни супругам было особенно некогда, то ли один из них ленился, да только дело сделалось без лишних эффектов — и световых, и звуковых. Мирно, словно жена собиралась лишь в командировку, Свешников помог ей сложить вещи, усадил после троекратного поцелуя в такси — и потом не позвонил узнать, как она добралась, вообще не хотел бы звонить, подозревая, что по служебному телефону Раисе уже докучает кто-то другой, и не желая служить мишенью для насмешек её сотрудниц. Она и сама объявилась уже через неделю, после чего ввела в обыкновение как ни в чём не бывало болтать с ним о том о сём, но непременно — о постороннем; теперь, когда им нечего стало делить, Дмитрий Алексеевич не возражал. Правда, постепенно, незаметно иссякли и эти звонки — видимо, как раз потому, что делить было нечего. Теперь они почти ничего уже не знали друг о друге. Почти — потому что до обоих всё же доходили кое-какие слухи: до неё — раньше и больше, до Свешникова — с изрядным опозданием и скуднее; он всё-таки прознал, что Раиса скоро завела себе кавалера, причём без надежды на развитие сюжета, — тот был не то полковником, не то генералом, при деньгах, но и с твёрдым нежеланием портить карьеру амурными скандалами: о втором браке не могло быть и речи. Последнее, видимо, и заставляло Раису медлить с разводом.

Минули уже не месяцы, а годы, и Раиса больше не давала о себе знать — до тех пор, пока времена на дворе не переменились настолько, что никто, включая генералов,

уже не был уверен в завтрашнем дне, а о нынешнем не приходилось и говорить: многие бедствовали, и когда Дмитрий Алексеевич однажды снова услышал в трубке голос Раисы, он не удивился, а решил, что ей понадобится помощь.

— Не то, что ты думаешь, — возразила она.

— Трудности с Аликом? — принялся строить догадки Дмитрий Алексеевич, не сосчитав прошедших лет, и ахнул, узнав, что мальчик уже учится в институте.

Раиса поначалу отделалась столь кратким ответом, что ему пришлось переспрашивать: она звонила не для того, чтобы рассказывать о себе, а явно — выведывать, прежде всего — с кем живёт её муж; ей понравилось, что он сказал: ни с кем.

— Не знаю, радоваться за тебя или сочувствовать, — пренебрежительно и, разумеется, без тени участия в голосе бросила она.

— Радуйся на всякий случай — что ещё остаётся?

— Тебе не мешает статус женатого мужчины?

— Способствует, — сухо ответил он и не удержался от встречного вопроса.

— Как видишь, я тебя не тревожила. Хотя наше положение и противоестественно.

— Э, да не собралась ли ты замуж? И решила наконец затеять процесс?

— Напротив.

— Такое трудно вообразить.

— Это не телефонный разговор.

— Так серьёзно? Ну что ж, — вздохнул он. — Давай встретимся, посидим где-нибудь за бокалом вина.

— О, ты всё ещё богатенький Буратино?

— Как сказать... Зарплату, по крайней мере, не получал уже полгода. Зато мне пока немного перепадает из других источников. Пока.

— Кстати, спасибо за все те деньги, — торопливо вставила она, имея в виду суммы, которые Свешников аккуратно переводил на её счёт. — Без них я пропала бы. Хотя и ты не обязан, и я не заслужила...

Такая скромность прежде была ей несвойственна.

— Как мы договоримся? — нетерпеливо, не желая затягивать разговор, спросил он.

— Не хотелось бы на людях. У тебя — это удобно?

— Если это вас, мадам, не скомпрометирует... — церемонно начал Свешников и, не выдержав, рассмеялся: — Забавно слышать такой вопрос от законной жены. Так когда?

— Собственно, я тут близко.

— Я собирался уходить, — неуверенно пробормотал он, впрочем — неправду.

Ей пришлось заверить, что речь пойдёт о важном. Ему, заподозрившему неладное, что-нибудь вроде нового сблужения, и даже почувствовавшему из-за этого дурноту, хотелось отказать, перенести свидание хотя бы на завтра, но Раиса уже повесила трубку.

Дмитрий Алексеевич попытался сосчитать, сколько лет прошло после разрыва, но так был растерян, что никак не мог примирить между собой даты: самая нужная вылетела из головы, а прочие смешались, и он помнил точно лишь то, что искомой осенью Алик впервые пошёл в школу — Алик, который, подумать только, стал студентом. При случайной встрече Свешников, наверняка не узнал бы пасынка, Раису же... Трудно было представить её постаревшей, но он, кажется, и вообще подзабыл её внешность, вспоминая сейчас только частности, никак не желающие соединяться вместе, в особенности — тонкогубый рот, столь широкий в улыбке, что из верхних зубов открывались не обычные восемь или десять, а полновесная дюжина — это он когда-то сосчитал по фотографии, сначала посмеявшись над открытием, а потом и усомнившись в нём, но уже не имея возможности уточнить, потому что жена, верившая в приметы, забрала все свои снимки.

«Двенадцать», — определил Дмитрий Алексеевич, отворив ей дверь.

Раиса чмокнула его в щёку, а чуть помедлив — и в губы.

— У тебя такое лицо, — заметила она, — что можно подумать, будто я ошиблась дверью.

— Поразительно: ты не вела себя так даже в медовый месяц. Давай пристрою куда-нибудь твою сумку — можно в угол?

— Далеко не убирай: там наш ужин. У тебя же, наверно, шаром покати.

— Вроде этого. Например, если ты спешишь, я просто поджарю по антрекоту, а если нет, то готов придумать и что-нибудь повыразительнее... Но вот в чём ты права: особого дамского угощения — сластей или фруктов — предложить не смогу, а из питья найдётся одна водка, зато не с рынка, а настоящая.

— Не спешу, но — жарь мясо, — распорядилась Раиса, вынимая из сумки как раз недостающее: какие-то свёртки и бутылку «Напареули».

— За вино не ручаюсь, — предупредила она. — Это именно с рынка.

— Что за праздник у нас сегодня? Какая-то дата? — озабоченно спросил Свешников, тщетно перебирая в уме возможные семейные события: день знакомства и день свадьбы, дни рождения.

— Можно мне раз в десять лет кирнуть со своим законным мужем? И хорошо бы начать поскорее, не то я замёрзла, как кукла. Видишь, как я одета? По календарю, а не по погоде.

С утра лил дождь, и так похолодало, что всякий мог с лёгкостью вообразить собственную завтрашнюю простуду.

— Тогда за столом выпьем водки, а пока я сделаю глинтвейн. Согреешься.

— Всё ещё — твой знаменитый глинтвейн... Есть о чём вспомнить.

— И о чём забыть.

— Забудем — в другой раз. Кстати, знаешь, я сегодня написала стихотворение.

«Час от часу не легче», — ужаснулся он про себя, вслух же сказав, что не то нынче время (имея в виду не только сезон и ненастье), чтобы воспевать прелести природы или прелести вообще.

— Не дерзи. Хотя не спорю: и вправду не тот случай. Знаешь, напрасно люди берут отпуск летом. Из Москвы надо убегать вот в такую погоду, в чёрную слякоть.

— Боюсь, теперь не ездят и летом: у кого водятся такие деньги?

— Ты-то, вижу, не голодаешь.

— Приспособился, — безразлично ответил Дмитрий Алексеевич, на самом деле уже собиравшийся продавать машину. — Да и потребности невелики.

— Ну не хочешь, не говори, — вдруг обиделась она. — Совсе не собираюсь выведывать коммерческие тайны. Просто интересно, что после такого перерыва стало с человеком. Другие сейчас просто погибают.

— А ты сама — держисься?

Раиса сделала неопределённый жест, и он спохватился:

— Прости, мы начали не с того. Других учу, а сам оплошал. Прежде чем заводить серьёзные речи, надо бы поступить по обычаю отсталых народов: накормить гостью, отогреть у очага и только тогда расспрашивать: кто она, что она и какое у неё дело к хозяину дома.

Дело оказалось общим, и это выяснилось до того, как они сели за стол.

— Кругом бардак, мир переменялся, а ты — ты на старом месте и по-прежнему засекречен на все пуговицы? — как бы между прочим любопытствовала Раиса.

— Представь, наша бессмертная конструкция приказала долго жить, — удивляясь собственным словам, какие ещё не привык произносить, сообщил Свешников. — Как только институт сдал свой основной проект, где-то наверху решили этим козырнуть: сначала поместили в «Правде» заметку, в которой, не называя фамилий, только намекнули на тематику. Это озадачило, но в меру. А потом шефа вдруг отправили на одну конференцию, на другую (слыханное ли дело — во Францию, в Штаты!). Он делал доклады и давал по несколько интервью в день — короче, разболтал все мыслимые секреты. Но это я так говорю — разболтал, а в действительности, конечно же, дело сделалось даже не просто с ведома Кремля и Лубянки, а именно

по их указанию. Короче, миру неожиданно стало известно всё. Господи, да год назад за один намёк, за одно слово о нашей теме упекли бы на Колыму! А сегодня все мы, наоборот, стали вольными людьми. Наверно, можно и в отпуск съездить за границу. Странно это.

Многим странно было привыкать к тому, что из-за разоружения, легкомыслия власти, оскудения казны и кто знает из-за чего ещё в стране то и дело рассекретивались то отдельные проекты, то целые предприятия. Дошла очередь и до лаборатории Свешникова. Она ещё продолжала работать, но уже безо всякого смысла: обеспечивала разработки института, которые, потеряв секретность, потеряли и своё военное значение, то есть — значение вообще. Денежный ручей, лившийся в лучшие дни из Министерства обороны, теперь пересох, и закрытие лаборатории было не за горами. Дмитрию Алексеевичу, со всеми его званиями и степенями, за три года до ухода на пенсию грозила безработица.

Подобных перемен у Раисы, при её неважной службе, случиться не могло, и Дмитрий Алексеевич не понял оживления, с каким она выслушала его скупые слова. Он даже отпустил по этому поводу шуточку, но Раиса в ответ заговорила о том, как трудно теперь жить, и о том, что зато многое, очень многое — и благое, и дурное — стало дозволено, и о том (резко, без перехода), что решила наконец получить заграничный паспорт — на всякий случай.

— Какой может быть случай? — вздохнул он, но спохватился: — Правда, сегодня это просто вопрос денег. И что, ты решила куда-нибудь съездить? И я, невыездной, для тебя — тяжёлый якорь?

— Не съездить, — уехать.

— Вот как, — не сразу ответил он. — Это сюрприз. Что ж, я рад за тебя.

Раиса почему-то развеселилась.

— А за себя? Станешь свободным — тогда только и начнётся настоящая жизнь.

— Идёт к тому, что начинать будет уже не по средствам. Закон сохранения материи никто пока не отменил:

если приходит одно, то уходит другое. Есть много таких разрозненных пар: свобода и деньги, женщины и здоровье...

— У тебя трудности?

— Не жалею, спасибо. Но вот одно ушло, а другому я пока не рад. Перемены пришлось не в мою пользу. Во-первых, пропала работа, и я мгновенно стал никому не нужен. А во-вторых... Впрочем, извини, слишком много набирается этих «во-вторых», и тут я не всё продумал, новое состояние надо ещё прочувствовать. Я ловлю себя на том, что стал запаздывать с восприятием: что-то сделалось важное, а я, словно оно меня не касается, живу вчерашним днём. Не знаю, в чём дело — то ли темп оказался слишком высок, то ли причины стали несоразмерны следствиям. Подумать только, система, вечная система рухнула из-за того одного, что нам позволили говорить вслух! В сущности, всему виною лишь пресловутая гласность, свобода слова.

— Всего лишь! Ты сам всегда повторял, — напомнила она, — что в начале было Слово...

— Да, в начале было Слово, и Слово было — Бог. Но Бог-то — далёк. И кстати, сегодня для тебя это не отвлечённые рассуждения: ты же вдруг собралась в Землю обетованную. Поистине мир становится с ног на голову... А что твой отец? Он же спал и видел отъезд.

— Папа умер. Вот уже два года.

— Вот оно что... И ты не сказала!

Пробормотав неловкие слова соболезнования, каких обычно стеснялся, боясь, что они прозвучат ненатурально, Свешников, чтобы остановиться не на точке, а хотя бы на запятой, заметил (как раз ненатурально), что тот ведь не стар был, — и снова промахнулся.

— Это не он, это мы не были стары! — воскликнула, не то смеясь, не то плача, Раиса. — Мы же с тобой сегодня без пяти минут пенсионеры! Ты хотя бы представляешь, сколько лет могло быть отцу пенсионерки?

Прибавив к её годам приблизительную двадцатку, Свешников озадаченно хмыкнул.

— Помянем? — предложил он. — Так всегда: начали за здоровье, кончили — за упокой.

— Мы и начали — за упокой. Только учти: евреи — не поминают.

Свешников на миг смешался, оттого что собрался было пожелать царствия небесного и полная рюмка была в руке, а теперь если уж не полагалось поминать, то следовало переменить тему всего застольного разговора. Ближайшая нашлась — о детях.

— Как ты одна обходишься с мальчиком?

— Мальчику пора жениться, — сухо ответила она, опять сбив его с мысли.

— Армии, как видно, удалось избежать?

— У Алика белый билет по зрению. Но ты же знаешь, наши законы меняются каждый день. Никто не гарантирует, что его после института не забреют на офицерскую службу. Стопроцентная гарантия — только скрыться за бугор...

— Надо понимать так, что ты исполнилась решимости и пришла поговорить о разводе?

— Это не единственный вариант. А второй... Надо же раз в жизни сделать доброе дело — может, зачтётся где-нибудь. Брызни-ка ещё водки.

— Одно из любимых танго мы называли «Брызни шампанского».

— За отъезд, — она подняла рюмку. — Это как бы папин завет. Он хотел этого, скорее, для меня, нет, для нас с ним, Алик же пришёлся постольку поскольку. Рассказы об армейских кошмарах папа считал дамскими фантазиями.

— За отъезд, — безразлично повторил он, не спеша пить. — Так что же у тебя за вариант?

— Тот же отъезд. Ничего нового: что ни вариант, то отъезд, тут особенно не пофантазируешь. Все дороги ведут в одно и то же место, разница только в компании. Честно говоря, ехать одной мне было бы неудобно.

Свешников не понял, почему — одной, когда её сын — студент, взрослый мужчина: лучшего спутника было не придумать.

— Ты тоже можешь использовать этот шанс, — сказала она, с интересом наблюдая за ним. — Только не смотри так тупо. Идёт к тому, что скоро тебе придётся торговать где-нибудь на уголке сигаретами. Ты к тому ж одинок. Состаришься — некому будет подать стакан воды. Так что вспомни народную мудрость: жена-еврейка — не роскошь, а средство передвижения.

— Пстой, пстой, — насторожился Дмитрий Алексеевич. — Что же, ты предлагаешь...

— Вот именно. Небольшой переезд, не более того. Я могу тебя вывезти — понял это? Жить вместе, если уж так этого боишься, никто не заставляет, я тебя просто приглашаю в компаньоны, в попутчики — как хочешь. Главное — приехать на место, а там разберёмся. С моей стороны было бы нечестно не позвать с собой мужа: люди платят огромные деньги за фиктивные браки, а тут такая услуга задаром!

— Но там — жара, вечная война, пустыня, — сказал он первое, что пришло на ум: старые доводы самой Раисы. — У меня в таком климате не работает голова.

— Там — это где? — прищурилась она. — В Израиле мне тоже пришлось бы тяжело. Но сейчас евреев принимают, представь, в Европе. В Германии.

— Вот это новость!..

Первой мыслью — сразу, впрочем, отогнанной — было согласиться немедленно: он всегда хотел (но «хотел» — слабое слово) увидеть, наконец, как выглядит мир по ту сторону границы.

«Да разве только — увидеть?» — робко, словно шёпотом, словно его мысли могли разгадать, возразил Дмитрий Алексеевич сам себе; в действительности он беспочвенно мечтал не прогуляться по чужим местам, а пожить если уж не в Америке, то — в любой западной стране; беспочвенно — потому, что даже планам поселиться где-нибудь в Прибалтике среди старых камней, и тем не суждено было осуществиться, оттого что там он не нашёл бы работы, какой был научен, а дождавшись пенсии, на оную не прожил бы. Любой переезд был от него так

далёк, нереален, что он даже не завидовал знакомым, которые уезжали навсегда в Израиль или в Штаты... Навсегда — значило, что они пропадали для всех в этом мире: переписываться, а тем более — перезваниваться с ними было опасно, и так же опасно было и прощаться с ними на перроне, отчего малолюдные проводы казались средни похоронам. Дмитрий Алексеевич дважды побывал на таких прощаниях (и, возвращаясь с вокзала домой, всё оглядывался, нет ли слезки), и это будто бы сошло ему, но не исчезло ощущение тревоги, с новой силой вспыхнувшее после слов Раисы.

«Разве не всякое исчезновение подобно смерти?» — задумался он. Если и впрямь подобно, тогда те, кого он когда-то проводил, умерли уже на перронах и провожавшие, не похоронив их толком, так и не узнали, вкушают ли новые эмигранты райских плодов.

Названное Раисой место назначения вызывало серьёзные сомнения не у него одного: какие чувства к немцам питали его соплеменники в военном детстве, объяснять не стоит, но и, повзрослев, Свешников не имел причин (и не выпадал случай) проникнуться к ним симпатией, даже просто приглядеться повнимательнее: эволюция противника его не трогала. Составить впечатление о ней можно было б и по книгам, но та немецкая проза, к какой он прикасался, пришлась не по душе, а коли не по душе, то он её и не читал — кроме раннего Бёлля, которым даже увлёкся.

«Кто же меня выпустит?» — сказал он про себя, а вслух, шутливо:

— Не подождать ли, пока не станут принимать англичане?

— Я пришла для серьёзного разговора.

— Кстати, об англичанах. Ни одно серьёзное дело не пойдёт, отнесись к нему без юмора, а тем более — возьми, не подумав.

Подумать — значило, прежде всего, вспомнить о тех, от кого не приходило вестей, а потом, свыкшись с новой мыслью, ещё и представить, что теперь для оставшихся ты и сам перестанешь быть.

— Ты ведь предлагаешь улететь на Марс без возврата, ещё не зная, есть ли там жизнь, — продолжил он.

Впрочем, он не ожидал, что при чудесном исполнении мечты ему захочется дать задний ход.

— Да с возвратом, с возвратом же! Теперь не семидесятые годы, когда уезжали именно, как на Марс, без права переписки, нет, дорогой, у нас какая ни есть, а свобода, и можно кататься туда-сюда сколько влезет, а то и вернуться, если не приживёшься в гостях, и тогда уже точно — просить милостыню на Арбате. Мне, по крайней мере, показали человека, который уехал и вот уже третий раз возвращается за своими книгами, хочет перевезти всю библиотеку. Он сейчас в Москве — можешь позвонить, расспросить.

— Он — на крючке?

— Никто его за хвост не держит.

«Держит, держит, — возразил про себя Дмитрий Алексеевич, — и всё же, если она права, это хвост ящерицы, который в случае чего не жалко отбросить: убежишь — отрастёт».

— Странные времена, — проговорил он. — Где-то — бархатная революция, где-то — бархатная эмиграция.

Дошкольное детство Мити Свешникова пришлось на войну, и он, как тогда многие мальчишки, мечтал сбежать на фронт — и побеждать фашистов. Война охватила, представлял он, весь свет — и удивился, случайно услышав однажды, как взрослые люди рассказывают о каких-то странных землях, где не роют окопов, не стоят в очередях за хлебом и где вечерами на улицах горят фонари; название одной он запомнил: Америка. Теперь ему хотелось (после войны, быть может?) побывать и там — не ради добычи золота, как в старых книжках, а — посмотреть.

Но и после войны, и десятилетия спустя тем, что удалось посмотреть, были три советские республики

Прибалтики, отчего до сих пор города Западной Европы в его воображении как один походили на Старую Ригу, и Германия, стоило услышать о ней, тоже представлялась собранием множества Риг, населённых чужими людьми. И если он давно уже поговаривал, что неплохо бы, выйдя на пенсию, поселиться где-нибудь на Рижском взморье, то вот ему и давали возможность.

«Возможность жить с Раисой», — уточнил Дмитрий Алексеевич и поморщился.

Раиса задала ему трудную задачу. Он не смел решить её сам, в одиночку, но и просить совета в таком деле можно было не у каждого, и даже выбрать, с кого начать (а он хотел — издалека, не с близких), тоже было непросто; он перебирал в уме имена нескольких надёжных человек — и стеснялся им позвонить, малодушно воображая, что вот-вот увидится с кем-нибудь из них случайно, просто на улице, и тогда уж, деться некуда, откроется в ожидании веского слова. Скоро он и в самом деле был награждён встречей, но — заведомо бесполезной.

На другой после разговора с Раисой день (или в тот же? — скоро стало не разобрать) Свешникову отчего-то вспомнился давнишний, ещё студенческих времён, случай: он так же, как сейчас, ехал в метро, быть может, по этой же линии, и рядом стояла прелестная девушка, черты которой он теперь забыл; тогда его словно оглушило: она показалась тою единственной, кого он был готов искать всю жизнь, а наконец встретив, без промедления помчаться вместе с ней под венец, — суженая стояла рядом, можно было бы дотянуться рукою... Сию минуту могла решиться судьба.

И всё же он не посмел просто подойти и заговорить о чём угодно — не мог, веря, что такие девушки не терпят уличных приставаний... Вот если б её перчатка, словно нарочно уже снятая с правой руки, упала на пол, вот тогда он кинулся бы поднимать, припомнив похожие сцены из старых романов, а девушка смутилась бы, оттого что в наши дни галантность стала диковинкой. Поезд между тем останавливался, а перчатка была крепко зажата

в кулачке, и нужно было скорее что-нибудь сделать, выйти за девушкой из вагона, но Дмитрий не двигался, не находя, что сказать ей такого, чтобы начало вышло пристойным; на ум приходили одни пошлости. Незнакомка ступила на перрон, и теперь должно было броситься следом в надежде на ту же перчатку или на кружевной платочек, скользнувший из муфты (он пожалел, что муфт больше не существует в природе), или на любую ничтожную заминку, с какою ей не справиться было бы без посторонней помощи... Двери закрылись, девушка, оглядываясь, встретилась с Дмитрием глазами, и поезд пошёл.

Он со страхом смотрел ей в спину, а затем — на своё отражение в тёмном стекле и гадал, словно это было важно, понял ли эту сцену кто-нибудь из очевидцев, которые все были старше и, значит, мудрее его, и тогда — нашёл ли тот нечто подобное и в своём прошлом, а найдя, пожалел ли о несбывшемся, как только что — Свешников, или же, напротив, вдохновился, выйдя в город, сделать то, что долго откладывал — несусветную глупость?

Это, нелепое, ещё мог бы совершить кто угодно, только не он.

Свешникову показалось странным воспоминание об оборванном эпизоде, который, если уж не забылся за десятилетия, мог теперь тревожить до конца дней. Нынешние очевидцы, к счастью, не умели читать его мысли, и только немолодая женщина поодаль, в середине вагона, разглядывала его чересчур внимательно. «Хорошее лицо», — подумал, глядя на неё, Дмитрий Алексеевич.

Состав, выйдя из туннеля, покотился по открытому месту, и солнце, неожиданное в эту пору, щедро осветило пассажирку, заставив её зажмуриться.

— Господи, — вырвалось у Свешникова, и на него обернулись, — это же...

— Я всё смотрела, ждала, признаешь ли, — приподнимаясь навстречу, сказала Юлия.

— Не поверишь, я почувствовал твой взгляд раньше, чем обернулся... Классики назвали бы магнетизмом.

— Я сильно изменилась.

— К лучшему, — уверил он.

— А-а, со мною что ни делается, всегда выходит — к лучшему.

«К лучшему», — повторил он про себя, не заметив в её словах усмешки, довольный, что не покривил душою: немолодая Юлия нравилась ему не меньше, чем девчонка, недолго побывшая его женою; на ту, правда, оглядывались на улице, и это поначалу льстило молодому супругу (но скоро стало раздражать), а эта, сегодня, уже не выделялась среди прочих: села на диванчик в вагоне — и никто не засмотрелся. «Даже обидно», — подумал он. Ему чего-то не хватало в её облике; пытаясь представить её в других видах: то в дублёрке, а то в купальнике, он вдруг сообразил, как нужно сказать: «Лоск, она утратила лоск!»

— Как же ты живёшь? — неловко, с нечаянным удивлением, спросил он.

— Вопреки, — ответила Юлия и рассмеялась.

— Я не о том, не нужно так переворачивать. Сейчас такое время, что не до шуток.

— Что ж, отвечу, как на анкету. Живём втроём в двушке, работу работаем недостойную, кто на какую попал, оба — не по специальности. Там, где по специальности, — там денег не выплачивают по полгода. А мы ещё на что-то надеемся: на то, что это просто полоса такая и она пройдёт. А пока — вот, подыщем дочке жениха с пропиской и с квартирой — гора с плеч. Только и это не сегодня, она ещё школьница.

— Похожа на тебя?

— На кого ж?

Свешников уныло промолчал: годы отчаянно не сходились.

— А ты — на старом месте? — угадала она.

Дмитрий Алексеевич не успел ответить, только кивнул, потому что Юлия уже поспешила к выходу. Ему же захотелось рассказать ей то, чем нагрозила его Раиса, — и не опасаться, что этот разговор пойдёт дальше: у них, скорее всего, не осталось общих знакомых. На его осторожное предложение поболтать полчаса, прежде чем

снова разойтись на годы, она отозвалась с неожиданной готовностью:

— Зайдём ко мне, тут рядом, а моих не будет допоздна.

Посмотреть, как она теперь живёт, было б интересно, но он всё ж отказался:

— Лучше посидим в каком-нибудь кафешке.

«Какое-нибудь» оказалось непрезентабельным, как пригородный буфет у перрона.

Не глядя на скучную публику, Юлия прошла в дальний угол помещения, к единственному пустому столу и, едва сев, повторила:

— Выходит, ты на старом месте... Остался при своих...

Свешников ответил не сразу:

— Если говорить о деньгах, то «своих» больше нету. Их не платят. Именно на добром старом месте.

— Везде одно и то же.

— Надобно дотянуть до пенсии.

— О, раньше ты отзывался о ней с пренебрежением. Ну а мне, сам понимаешь, думать об этой манне пока рановато. Ровесники разбрелись в её ожидании кто куда: один стал охранником, другой — подсобным рабочим в гастрономе, два вообще свалили за бугор...

— Свалить — мало у кого есть такая возможность.

— Увы, можно только помечтать — так сладко...

— А ты — если б можно было, ты б уехала?

— Только бы меня и видели.

— Только бы тебя и видели, — повторил за нею Дмитрий Алексеевич, насторожившись от того, как быстро и с каким пылом произнесла это она: если уж Юля, когда-то раньше, при его друзьях, чуждая, казалось, их споров о политике ли, о свободах или о крахе деревни, если даже она теперь была настроена так решительно, ему, наверно, не стоило раздумывать. — А высадишься на том берегу, и вдруг перед тобою — те же картины?

— Ты что, не ведаешь, как плохо мы все живём? — сухо, подчёркнуто не принимая его тона, сказала Юлия. — Тут в Москве, на предприятиях, ещё недавно хотя бы выдавали то продуктовые наборы, то даже

талончики на какие-нибудь кофты. А я иногда навещаю свой старый город — представляешь, какое снабжение там? Помнится, я уже рассказывала, как мы лакомились колбаской. В городе её не бывало, а только — за двадцать километров, в аэропортовском ресторане. Порции были — и задорого — пять или шесть тонких кружочков на чайном блюде. Мы заворачивали эти ломтики в салфетку — и домой, побаловать своих. И это — несколько лет назад, когда жили всё же чуть посытнее, чем сейчас.

— Значит, за колбасой... — проговорил он, не забыв, что за лазейкой, к которой подводила его Раиса, лежит и эта приманка.

— Да, да, то и значит, — рассердилась Юлия. — Мяса мне туда было не довезти, вот колбасу и возила. Как все. Каждый хочет пожить по-человечески — естественное желание.

— Не каждому дозволено, — проворчал Дмитрий Алексеевич, робко умалчивая, что теперь дозволено может быть пусть не каждому, но как раз — ему: хорошо помня прежние правила и не зная новых, он ещё не верил в такую перемену в своей судьбе. Задуманное («Да разве уже задуманное?» — ужасался он), наверно, многим не показалось бы безобидным, и если сейчас он всего лишь не мог сказать, опрометчив будет его шаг или просто неумён, то совсем ещё недавно доброжелатели мгновенно нашли бы точный ответ: преступен. Предшественников — беглецов — известно было предостаточно, и о поступке каждого газеты щедро писали как о предательстве родины; по недолгом размышлении, правда, возникал вопрос, кто кого предал: эти люди — свою страну или она — их, по размышлении же долгом Свешников твёрдо склонялся ко второму ответу, выведя, что за границу бегут одни те, кому дома не дали стать самими собою — ни написать картину, ни сказать вслух своё слово, буде находилось что сказать (иные бежали от нищеты и унижений, но этих, отчаявшихся, понимали даже скорее), и не взять было в толк, кому же или чему изменяли эти люди, вдруг добившиеся внимания к своему таланту,

едва не засушенному в гербариях Советского Союза, а теперь своим проявлением этот самый Союз только и славящему. И если таких, прославляющих отечество, считали предателями, то по этой логике патриотами оставалось называть тех, кто его позорит.

— Скорее всего, — продолжил он, — выйдет, что получишь копченую колбасу, а годы ушли и аппетит пропал.

— При чём тут твои годы? Ты-то, ясно, не уедешь, речь — о тех, кто собрался...

«Неужели я не уеду? — огорчился он. — И что же тогда — женюсь, заново перечитаю, прежде чем распродать, свои драгоценные книги и стану изменять жене с Юлей?» Впрочем, ещё неизвестно было, чем обернётся его просьба о разрешении на выезд.

— Поделись невпопад намерениями — и ты душепродавец, — задумчиво проговорил он. — Отнюдь не Фауст.

— Да есть ли у нас души?

Свешников не сдержал улыбки:

— Смотри-ка, ты делаешься философом.

— Иначе — не выживешь.

Он усмехнулся: всего несколько минут назад ему пришло в голову, что безъязыкому в чужой стране, где на первых порах если и удастся разговаривать, то — с самим собою, только и останется, что превратиться в философа.

Попав как-то утром на Остоженку (по ничтожному делу, но он сам вызвался, коли всё равно ехал мимо), Дмитрий Алексеевич придумал заодно зайти в какую-нибудь сберкассу — увы, не получить, а отдать деньги. Касса нашлась в начале улицы, у Пречистенских ворот, и народу внутри не было вовсе, так что уже через пару-тройку минут он снова вышел наружу, приостановившись в дверях, словно сэкономленное время давало право побездельничать, оглядывая площадь, на которой он не бывал уже так давно, что теперь в ней стоило поискать перемен, — и вдруг

рассмеялся, подумав, что со стороны, наверно, похож на богача, вынесшего из банка полный портфель денег. Нет, задерживаться тут, у выхода, пусть и с пустым портфелем, было решительно неловко.

Не настолько сейчас свободный, чтобы лениво побрести по бульвару, размышляя о своей непредсказуемой судьбе, он всё же позволил себе не побежать к остановке, завидев приближающийся троллейбус, а пойти обычным шагом, лишь бы успеть к следующему.

На стрелке двух улиц его как бы невзначай догнал и засеменил сбоку некто запыхавшийся. Дмитрий Алексеевич не стал оборачиваться (но тот заговорил сам, протягивая то ли свёрточек, то ли конверт — краем глаза было не разглядеть), а когда всё-таки оглянулся, то увидел простоватого крепыша, с виноватым выражением разглядывающего пачку бумажек, стянутую аптечной резинкой.

— Это не вы обронили?

«Доллары, — удивился Свешников. — Вот бы в самом деле найти клад».

— У меня таких сроду не бывало, — сообщил он с сожалением.

— Так ведь лежало под вашими ногами... Я поторопился, не то вы бы сами и подняли.

— Что ж, кто ловчее, тот и выигрывает. Ваше счастье — этакая находка! Оставьте себе, а я — позавидую.

— Как же просто так взять? Вот так и взять?

— Мне вы именно так и предлагаете, а деньги не мои.

— Ваши, тут больше никто бы не потерял, я свидетель.

Помолчав (они ждали сейчас зелёного сигнала светофора), крепыш придумал новое:

— Возле вас упало, а я поднял, так давайте, хотя бы поделимся, что ли, пополам...

— С какой стати?

На первый взгляд парень был не из тех, кто постесняется взять лишний рубль. Ему скорее было бы свойственно, подхватив бесхозные деньги, быстренько сунуть их за пазуху и смешаться с толпой. Что-то в этой сцене было

не так, и Свешников, ещё не угадав развязки, торопливо бросил, отворачиваясь, потому что начался переход:

— Спасибо за предложение. Было бы нечестно с моей стороны...

Последние слова Свешников говорил уже сам себе: оглядевшись на той стороне улицы, он нигде не увидел своего доброго знакомого.

Осадок между тем остался от всего неприятный. С ним Дмитрий Алексеевич и пошёл вечером к мачехе: ему не терпелось поговорить — нет, не об утреннем приключении, а о планах Раисы.

У отца, доживи тот до наших дней, он вряд ли стал бы спрашивать совета в таком деле — уезжать ли, — во всяком случае, не пошёл бы к нему первому, как сейчас — к мачехе. Старший Свешников, наверно, и в средние свои годы не понял бы такой дури и блажи, как желание бежать из дому, а в годы поздние — и подавно. Он вовсе не был ретроградом, напротив, в своём кругу даже слыл вольнодумцем, но сыну и теперь легко было представить, как Алексей Дмитриевич цитирует передовицу из «Правды», клеймящую очередного перебежчика как предателя Родины (именно так, с большой буквы), а сам он, младший, подтрунивает, делая вид, будто плохо понял, кто тут кого и каким образом предаёт. В настоящее время, когда дело коснулось его самого, Дмитрий Алексеевич вывернул в уме отцовские представления наизнанку, приготовившись разъяснить каждому, что как раз его, до сих пор живущего в Союзе, и предали. Сама же родина и предала: один из лучших в своём деле специалистов, он после четырёх десятков лет службы теперь был, в благодарность за терпение, унижен обещанием ничтожной пенсии, то есть скорой нищетой и бесправием.

Сюрпризов от мачехи он не ждал: разница в возрасте, и без того небольшая, теперь словно бы стёрлась, а их поколения слились — во всяком случае, оба сделались единомышленниками: и тот и другая не читали газет, любили джаз, чурались массовых акций и завидовали редким невольным (других ещё не бывало) эмигрантам. Когда

из страны выслали Бродского, Людмила порадовалась за того, сказав: «Шуку бросили в реку», а когда — Солженицына, повторила то же на американский манер: «Бросили кролика в терновый куст». Она и для себя хотела примерно того же, в виде путешествия по свету, и пасынок вторил ей: увидеть Париж, Нью-Йорк!..

В молодости эти города представлялись ему островами джаза в море мировой тишины.

Поначалу, когда Людмила — а именно так, по имени и на «ты», она попросила Митю себя называть, — когда Людмила вошла в дом Свешниковых, Дмитрий долго не знал её вкусов — пока она однажды не загорелась, услышав, что пасынок собирается, и не в первый раз, в кукольный театр, на щедро одобренный джазом модный спектакль.

— И я хочу, — заявила она строго.

— Это всего лишь пародия, — осторожно предупредил он. — Прямо скажем, не «Гамлет».

— И поэтому ты знаешь весь текст наизусть?

— Что делать, если у меня такая память?

— И всё же... Твои ровесники, кажется, валят туда толпами.

— Преувеличение. Но и в самом деле: там — джаз, и это смешная пьеса, и сюжет — съёмки в Голливуде такого кино, какого нам не увидеть, разве только если попадётся среди трофейных... Показали же «Судьбу солдата в Америке»...

— А там — милая песенка... «Приходи ко мне, мой грустный беби», — напела Людмила.

— О, ты помнишь! «Есть у тучки светлая изнанка...»? Тогда я отвечу: конечно, все мои одноклассники, все мы повадились к Образцову, смотреть «Под шорох твоих ресниц», чтобы слушать там джаз. Запретный плод всегда сладок, только мы, уверен, любили бы его и всегда. А вот в театре: «Мисс Блокнот, какая у нас пластинка для проверки на ритм?» — «Буги-вуги “Страсть моряка”». И представь, — сейчас же играют буги! «Без задержки», — как говорит один персонаж, Маус, опрокидывая стаканчик.

— Возьмём с собой Алексея? Или ты — с девушкой?

— Вот как? Мы разве идём вместе? С тобой?! — удивился Дмитрий. — О нет, не возьмём. Он сбежит в первом же антракте. Достаточно того, что я выпрошу у него денег на билеты. Зачем доставлять человеку ещё и другие неприятности?

На музыку они смотрели всё же по-разному: она была у каждого своя, и если Людмила могла ещё и сейчас получать удовольствие от довоенных фокстротов (и у неё сохранилась целая стопка пластинок), то Дмитрия, взрослого во время полного запрета джаза, а потому искавшего и собиравшего его по крохе, какая-нибудь весёленькая «Рио-Рита» уже не устраивала, он знал плоды и послаще, ведь это его сверстники сочинили и напевали: «От Москвы и до Калуги все танцуют буги-вуги».

Они пошли вдвоём, и Дмитрию было жаль, что никто не видит их вместе, и Людмила была в восторге от спектакля. Спустя пару месяцев она уже шутливо жаловалась на то, что пасынок обратил её в свою веру, и он возражал, напоминая, что вера у всех одна, различны лишь обряды — и тотчас стушёвывался, опасаясь, как бы, к слову, не пошла всерьёз речь о настоящей религии: тут он попал бы впросак, оттого что не читал да и в руках не держал ещё один запретный невиданный плод — Библию; где бы он взял её, когда достойные светские книги — и те добывались с трудом?

Дмитрию как-то удавалось всё время быть при книге: читать постоянно, одну за другой, без перерыва и не что попало, а по своему выбору; объяснять такое своё везение при общем книжном голоде он не брался. Людмила не могла угнаться за ним, и тем не менее о чужих вымышленных жизнях они могли говорить на равных и чужие города знали по романам одинаково хорошо, и Париж, например, оба знали по книгам лучше близкого Ленинграда, и у каждого были в нём любимые уголки — кафе «Ротонда», стрелка Сите, ночной рынок... Им были знакомы одни и те же места в Нью-Йорке и в Лондоне, и только о немецких городах, только о Берлине у них не заходило

речи, и только в Берлине Дмитрий Алексеевич до сих пор не мог представить себе ничего, ни уголка, кроме разбитого рейхстага, да помнил два не имеющих вещественного наполнения имени: Унтер-ден-Линден и Александерплац.

«Значит, разговор пойдёт ни о чём», — вывел он, поднимаясь по лестнице дома, в котором прожил свою первую четверть века.

Ему отворил рослый молодой человек — Константин, старший сын Людмилы Родионовны; тут же вышла и она.

— Давненько мы тебя не видели, — вздохнула она.

— Я и не обещал — скоро. Мы потому и не условились. А немцы, говорят, даже о родственниках визитах — например, отца к сыну — договариваются чуть ли не за несколько месяцев, — сообщил Дмитрий Алексеевич то, что слышал от Раисы.

— При чём тут немцы? — возразил Константин. — Вовсе некстати.

— Никогда не спеши с выводами: под нашим зодиаком случаются даже самые невероятные вещи, — предупредил Дмитрий Алексеевич. — Но как хорошо, что ты сейчас здесь, а то я звонить хотел...

Он собирался позвонить, но позже, а с мачехой — поговорить наедине, теперь же получилось, быть может, даже лучше, так кстати образовался ещё один собеседник со своим свежим, надо надеяться, мнением. И значит, совсем кстати пришлось через минуту и бутылка виски на столе.

— Всё-таки, — улыбнулся Свешников, — здесь соблюдают ритуалы.

— Нет, — покачала головой Людмила Родионовна, — это другой случай. На сей раз у меня есть повод: я получила безумный, очень дорогой заказ. Буду оформлять квартиру некоего богатеющего юноши: для меня это неожиданная удача, её надо ловить за хвост — не дай бог, упорхнёт. И нужно выпить за успех — без этого не обойтись. Я, правда, как-то пообещала Мите чаю из японской чашки, какой у меня нет... Но вот скоро разбогатею — и Митя мне купит.

— Всё поровну, всё справедливо, — отозвался Дмитрий Алексеевич.

— Мой клиент, насколько я понимаю, бандит, — продолжила она. — Во всяком случае, он так легко расстаётся с деньгами, словно они чужие.

— Ну, знаешь, мы больше семидесяти лет прожили под бандитами и что-то не заметили, чтобы они легко расставались с нашими деньгами. А они не скрывались, мы знали их поимённо и в лицо и не путали, где свои, а где наши...

— Зато нынче не отличишь банкира от рэкетира, — заметил Константин. — Правда, это уже учили, и один умный человек придумал для них униформу: красные пиджаки.

— Выигрышное сочетание красного с чёрным: снаружи ярко, а внутри темно. Я только не поняла, кого всё-таки мы узнаём по этой форме — биржевиков или тех, других?

— Сперва стирают разницу, потом захватывают телефон, телеграф, вокзалы, мосты...

— Слушай, Люда, а это случайно не твой дизайн — эти пиджаки?.. Впрочем, я о другом. Трудность в том, что пометить хоть красной краской, хоть изотопами легко только легальный люд, но не уголовников. Я вот сегодня не распознал... Ко мне привязался один такой, неприметный, — и я с чего-то затеял интеллигентские препирания, так наивно себя повёл, что это сбило нас обоих с толку: он махнул рукой, а я до сих пор не понял, какую пьесу предстояло сыграть.

Константин, живо подавшись вперёд, попросил рассказать поподробнее. Что ж, Дмитрий Алексеевич описал утреннюю встречу в деталях, закончив тем, что заподозрил в ней какую-то пакость.

— Пакость? — рассмеялся Константин. — Да попадись ты на эту удочку, мы бы сейчас разговаривали с тобой в палате у Склифосовского. Это довольно известная уловка — странно, что ты её не знаешь. Тебя чуть не сгубило то, что ты минутой раньше выходил из сберкассы — скорее всего, с деньгами в кармане. Я знаю это место: выход

виден издали как на ладони, и народ не мельтешит у дверей. Сценарий же прост: ты соглашаешься разделить со своим незнакомцем находку, а ещё лучше — берёшь всю пачку, он настаивает на этом, и тут к вам подходит какая-то компания, хотя бы ещё двое: они, мол, только что обронили где-то здесь пачку валюты — не видели ль вы случайно?.. Ты честно отвечаешь, что да, случайно, вот она, а хозяин пачки пересчитывает бумажки и говорит, что тут только половина, и не шути, мол, а выкладывай остальное. А так как остального не существует в природе и ты предъявляешь в доказательство и карманы, и портфель, то у тебя просто отбирают всё, что там найдут: то есть пошлейшим образом грабят, хорошенько избив.

— Но сегодня — среди бела дня?..

Этого он не понимал: что же, они к нему пристали бы на перекрёстке, или на бульваре, возле метро, или чуть дальше, у остановки нужного ему троллейбуса? Это были самые людные места площади, и ему просто незачем было уходить куда-то в сторону, его пришлось бы уводить силой, с шумным скандалом.

— Какая разница? Может быть, им даже лучше, если — суета, толчётся народ... Никому бы не было дела до вашей перебранки. А насчёт финальной сцены не беспокойся: чтобы поучить клиента, они, конечно, присмотрели укромное местечко. Да если бы кто и увидел, то вряд ли заступился бы: не те пошли времена.

— До сих пор я думала, что нам грех жаловаться и что когда-нибудь, вспоминая наше время, люди будут говорить: какая спокойная была у них жизнь!

— Ну, мама, ты у нас оптимистка.

Она предпочла не заметить иронии:

— Есть же и сейчас на свете тихие уголки.

Дмитрий Алексеевич, только и ждавший момента переменить разговор, поспешил воспользоваться случаем:

— Москва, выходит, не в их числе. Наверно, они где-то и сохранились, только надо хорошенько поискать.

— Мама же побывала кое-где, она же у нас самый свободный человек, — напомнил Константин. — Кстати, и я подумываю...

— Если человек свободен, ему легче избежать дурных неожиданностей: ему же позволено многое обдумать заранее, многое предусмотреть. А у нас, грешных, всё не так, и у меня, например, внезапные новости пошли полосой; иные просто ставят в тупик. Об одной такой, самой удивительной (нет, не о разбое на Пречистенке), я как раз собирался рассказать, для того и пришёл: не потешить, а посоветоваться.

— Опять криминал?

— Почти. Меня навестила законная жена.

— Да уж, событие, — согласилась Людмила Родионова. — И что же, ей нужно денег?

— Она сделала мне предложение...

— ...расконсервировать брак?

— Нет, не то. Раиса решила уехать...

— Вот — сюрприз!

— ...и зовёт меня с собой.

Дмитрий Алексеевич едва не засмеялся, наблюдая немую сцену. Он же и оборвал её:

— Заметьте, я ещё не сказал, что согласился.

— Это — не ловушка? — словно думая вслух, проговорила Людмила Родионова.

— Уверен, что нет.

Настолько-то он знал Раису.

— Она попала в точку: ты ведь всегда мечтал о новых странах, хотя б — о Прибалтике. И куда же собралась твоя жёнушка — в Израиль или в Штаты?

— Ближе. Сейчас евреев принимает к себе Германия.

— И это — после всего, что было!..

О том же он и сам подумал в первую очередь, ещё при Раисе, — не мог не подумать о том, что с детства прочно укоренилось в сознании. Полвека назад Германия была злейшим врагом его самого и его близких и всех тех, кто встречался на свете, и если кто-то уже в наши дни уверял,

что время сглаживает всё и что теперь на немецкой земле живут совсем другие люди, Свешников хмуро напоминал, что там почти в каждой, наверно, семье поминают своего погибшего на фронте фашиста. Для него самого, не помнящего войны, эта страна словно не имела собственных черт, и Европа была пространством без неё. В своих мечтах о путешествиях, называя про себя места, которые мечтал повидать: Нью-Йорк, Париж, Йеллоустоунский парк, Лондон, Дмитрий Алексеевич никогда не называл Германию; если бы тогда кто-то и спросил о ней, он бы удивился, что можно интересоваться столь тусклыми вещами.

Наверно, так же думала и мачеха, если сказала:

— Кажется, этот вариант — немножко не то, чего хотелось.

— Будь моя воля, я бы выбрал Англию.

— Ты, наверно, там побываешь. Повидать мир — уж это-то у нас никогда не будет доступно пенсионеру — тебе. Обо мне, кстати, другая речь, я-то всегда, пока жива, — при деле, а теперь на новых русских и подавно зарабатываю всё больше... Ещё навешу тебя на твоей Неметчине... Но я подумала о другом: как же так, тебе многие годы придётся жить вместе с Раисой?

— Трудно поверить, но мы легко условились постараться избежать этого — насколько такое вообще будет от нас зависеть. Это, я понимаю, очень зыбкая договорённость, ведь у нас может попросту не найтись пространства для манёвра.

— Прости, у тебя сейчас есть кто-нибудь?

Конечно, Свешников хотел бы назвать ту женщину, с которой завязался было добрый роман, — но она исчезла, и он не сыскал следов; нет, уезжая, он не оставит никого. И потеряет друзей, весь круг.

— На что ты будешь там жить? Для тебя, в твоём возрасте, вряд ли найдётся работа.

— Здесь я её уже потерял. Институт давно кормится только сдачей помещений в аренду.

Было одно важное соображение, о котором он умолчал. Он мог похвалиться отменным здоровьем и всё-таки, считая свои годы, был настороже, зная, что так не будет тянуться вечно: близилась старость с её болезнями и — со старостью друзей, которые сейчас ещё могли бы помочь ему, одинокому. Скажи он это вслух, Людмила непременно ответила бы, что его всегда выручат её сыновья (не родня ему, однако ж). Те, нет сомнений, выручили бы, но он не хотел становиться для них обузой. Он не хотел становиться обузой ни для кого. При мысли же о российской богадельне его пробирала дрожь.

— Возьми лист бумаги, — посоветовал Константин, — раздели чертой пополам и запиши с одной стороны все доводы «за», а с другой — «против», и каждый день дополняй, чтобы ничего не упустить и потом не каяться: как же я того-сего не предусмотрел. Сейчас многие спорят, не могут столкнуться, вычисляют по мелочам, как бы не прогадать, оставшись, и не потерять всё, уехав. Напрасное дело: колебания, ничего не поделаешь, кончатся отъездом. В действительности потерять всё можно только в одном случае: оставшись там, где оно, это «всё», есть. А кое-что приобрести — лишь уехав без ничего.

— Всё это правильно, и всё — негоциизм.

— Да как ни назови... — вздохнула Людмила Родионовна. — Другого нет, потому что нельзя угадать, что здесь будет твориться завтра. Единственное постоянное у нас — страх. Страх, что вернуться коммунисты, страх — перед бандитами... Теперь не пройдёшься вечером по улице, особенно тут, в центре, а случись что — и как бы не пришлось у тех же разбойников просить защиты от вызванной тобою милиции. Хотя, знаешь, для тебя важно совсем другое — то, что у нас, где всё рушится, ты уже никогда не будешь нужен, и если даже придумаешь какое-то дело для себя — а ты придумаешь, — то условий, чтобы заняться им, у тебя не будет.

Она была права в том, что всякая эмиграция затевается человеком для сохранения себя.

Ещё никогда ему не делали столь странного предложения: исчезнуть. Не заходили так далеко и его собственные фантазии, даже в снах, как будто он собирался вечно блюсти единство места; но сейчас, впервые задумавшись над новым сюжетом, Дмитрий Алексеевич увидел, что случись так — ничто не изменилось бы в мире: Людмила, мачеха, по-прежнему занималась бы изящными рукоделиями, его последняя избранница, Мария, спала с любовником, школьный товарищ Денис Вечеслов издавал скучные книги, и только самого Дмитрия Алексеевича было бы не сыскать. «На этом свете», — уточнил он, имея в виду пространство внутри русских границ, где, хватившись его, на первых порах, наверно, и взгрустнули бы и почувствовали бы себя одиноко и наконец-то легко; ему же самому следовало молчать, не обнаруживая себя. Уже не раз он провожал эмигрантов, и всегда это были проводы как в последний путь — притом что обе стороны, уезжающие и провожающие, были плохо осведомлены о потусторонней жизни. Последние прикидывали, не грозит ли та же процедура и им, а некоторые из первых выглядели не растерянными, а возбуждёнными открытием того, что страшна не смерть, а только её ожидание.

О настоящей смерти Свешников пока не думал — нет, не отгонял мысли, а просто не чувствовал себя старым, хотя и понимал, что впереди у него времени намного меньше, нежели за спиной. До выхода на пенсию оставалось три года, по нынешним меркам это был не возраст; об умерших в таких летах говорили с удивлением: «Такой ещё молодой...» Теперь только с улыбкой он мог вспоминать, как в школе мечтал, без особой надежды, дожить до двухтысячного года. Нужные для этого полстолетия, тогда казавшиеся непомерным сроком, длиной жизни, сегодня, при возвратном взгляде, предстали сжатыми, словно при съёмке телеобъективом; из каждого года лохмотьями торчали обрывки благих намерений, и можно

было только поражаться числу вещей, до которых так и не дошли руки и которые вдруг стали обидно ненужными.

Когда-то у него были превратные представления о преклонном возрасте, теперь, напротив — о молодости, о которой, впрочем, долгое время их не было вообще: юноше, ему свойственно было думать не о проходящем, а том новом и славном, что ещё не наступило. Усвоив, что всякому началу соответствует свой неизбежный конец, он до сих пор, уже прожив жизнь, не знал, как думать о старости — в будущем или в настоящем времени, не знал, перешагнул ли её границу, хотя, как ни считай, выходило, что впереди остался отрезок бытия, не способный вместить ничего значительного.

Он жалел не об утраченном времени, а о нехватке ещё не обрётённого, ведь то, что представлялось пропажей, могло ещё вернуться: достаточно было никуда не двигаться — и всё идущее по кругу снова прошло бы перед глазами. Это было так понятно и достижимо — и вот теперь его срывали с места. Мечты о тихой жизни на Рижском взморье так и остались мечтами: частые наезды в Прибалтику, которые он сам называл маленькими эмиграциями, вдруг были пресечены самым решительным образом, когда три любезные душе республики отгородились от России системой границ и виз. В русской же столице жить стало совсем неуютно: наверху рвались к власти коммунисты, внизу — на улицах попадались свежеиспечённые фашисты в полувоенной одежде, а остававшиеся посередке не бросались в глаза. Дмитрий Алексеевич не удивился бы и очередной перемене власти, и новой диктатуре — во всяком случае, на душе было неспокойно, и, едва услышав невероятное предложение Раисы и невольно метнувшись мыслью в западные столицы, он тотчас — не решил всё же, нет ещё, но захотел — согласиться (именно — стать иностранцем, то есть непривычно свободным человеком). Честно взвешивая все за и против, он уже видел себя — там: то у стен Тауэра, то в бистро, локоть о локоть с Сименоном. Серьёзные соображения пришли на ум чуть погодя, просто как оправдание принятого решения, и он с удовольствием,

не боясь сглазить, но всё-таки словно уговаривая себя, твердил, что согласился бы на отъезд даже и в том случае, когда бы дорожную перспективу замыкал всего лишь рижский собор.

Привыкший часто советоваться с Вечесловым, Дмитрий Алексеевич на этот раз медлил, будучи не слишком уверен в его одобрении: зайди и в самом деле речь о Риге, тот не только посоветовал, но и настаивал бы; отношение же Дениса к Германии (разделяемое и самим Свешниковым) было совсем не тёплым. Но и не поделиться было невозможно, и Дмитрий Алексеевич уже вечером всё-таки набрал номер (обрадовался, что никто сразу не взял трубку) — и безуспешно названивал допоздна.

— Всего два слова, — пообещал он утром, позвонив Вечеслову на работу. — Вчера я тебя не поймал, а ведь мечтал поболтать кое о чём. Причём — подробно, не по телефону.

— Сегодня я дома, заходи. Только не обессудь, мне придётся сделать несколько звонков, напомнить нашим ребятам... Ты, кстати, не забыл, что в субботу — традиционный сбор?

Свешников застонал:

— Забыл, конечно. Я не приходил уже лет десять.

— С прошлого юбилея? На этот раз я от тебя не отстаю: шутка ли — сорок лет выпуска!

— Сорок!

— Интересно, многих ли ты узнаешь после такого перерыва?

— Многие ли узнают меня?

Для всех других ему только предстояло исчезнуть — для одноклассников он, наверно, исчез давно; мимолётным появлением он напрасно разрушил бы эту иллюзию.

Собираясь теперь поделиться своей новостью с Денисом, он всё же беспокоился о том, как бы это неожиданное известие не распространилось дальше, и хотел попросить того не оповещать об отъезде никого из класса, не звать даже и на вокзал (или — в аэропорт?), именно попросить, именно настоять, оттого что это Вечеслов обычно первым

бросался собирать одноклассников по чрезвычайным поводам (какими, увы, до сих пор оказывались только походы — случившиеся уже четырежды). Только двое и созывали всех: Денис и ещё — Бунчиков.

Чем дальше в недостоверное прошлое уходил выпускной год, тем уверенней их класс называли самым дружным в школе — судя по числу приходивших на традиционные сборы. Однажды — на десятилетний юбилей — они явились в полном составе, тогда как из параллельного класса пришёл всего один человек; его, конечно, взяли под своё крыло, и он потом так и прижился у них. Кто-то, конечно, бывал не всякий раз, а пропускал по три-четыре года кряду, кто-то вдруг объявился лишь ровно через четверть века, но имелся некий костяк, без которого не обходилась (да и не случилась бы) ни одна встреча. Самым предприимчивым и суетливым из этого ядра оказался тот, кто если и выделялся в школе, то лишь одним — изобретением шалостей: вечный троечник Бунчиков. Самый маленький ростом среди одноклассников, он не мог предводительствовать ни в чём; снисходительное, слегка насмешливое отношение товарищей не дало ему даже права носить сколько-нибудь звучного прозвища: с самых первых дней его звали просто Бунчиком, без выдумки. Он не возражал, оттого что глупо возражать против кличек: те образуются сами по себе — и прилипают навечно; Павлик и спустя сорок лет после школы так и остался — не Бунчиком для битья, а всё же — Бунчиком на побегушках. Это была выбранная им самим роль — единственная, быть может, особенная партия в слаженном хоре мальчиков, который, несмотря на попытки многоголосия, странным образом обходился без дирижёра: ни комсомольский секретарь не приставал с глупостями, ни непременно в больших ребяческих стаях хулиганы (у них — числом два) не смели обижать хотя бы и слабейшего из хора — и слабейший смотрел на них не со страхом, а снисходительно. Живя, в сущности, коллективным разумом, мальчики вели себя так, словно были не просто равны, а одинаковы, отчего много позже

выяснилось, что они не так уж хорошо знают друг друга. В то же время у них не было общего увлечения: в классе не бушевали даже футбольные страсти; конечно, одни болели за ЦДКА, а другие — за «Динамо», но болезнь протекала вяло, и на переменках обходилось без драк.

— Не знаю, приду ли я и на этот раз, — неуверенно проговорил Дмитрий Алексеевич.

— Какой ты всё-таки бука. К хорошему это не приведёт. Но приезжай, разберёмся.

Разбирались они, как и всегда, за бутылкой вина, под джаз — только всё ж не на кухне, как это вошло в обычай у других, а в большей из двух комнат (большей, но не большой). Во второй, и подавно крохотной, обитал сын; ему, уже взрослому, было там явно тесновато, не говоря уж о том, что нельзя было приглашать девушек или, наконец, привести жену, и все понимали, что надо купить квартиру, и не было денег.

Сейчас говорили не об этом, но и никогда при Свешникове эта тема не затрагивалась — не потому, что была неловкой или тайной, но потому, что когда-то, когда было ещё рано, он сам вызвался помочь с деньгами, а теперь все знали, что его верный источник иссяк.

— Если б мы хоть полслова знали о завтрашнем дне, — всё-таки начала жена Дениса. — А то ведь только разгонишься строить хоромы, как придётся самим уносить ноги. Проснёшься однажды — и новая власть, и хрустальная ночь, и уже не хоромы для сына, а пиковый интерес, казённый дом и дальняя дорога.

— Попала в точку, — с удивлением отозвался Дмитрий Алексеевич. — Кроме гадалки, спросить не у кого, потому что переписываться с кем-нибудь за границей, спрашивать совета в нынешних делах — пустое занятие: пока дождёшься ответа, уже сам придумаешь новые доводы, а старые опровергнешь.

Вечеслов возрился на него с изумлением:

— Что такое, Митя? Никогда не знаешь, чего от тебя ждать. Какая переписка? Какая заграница? Ещё вчера ты не смел произносить эти слова вслух.

— Тамара уже ответила за меня: проснулся — и гадалка тут как тут и нагадала дальнюю дорогу. И у меня нет выбора, потому что, она считает, альтернатива — казённый дом.

— Это продолжение сна или твои аллегории? — поинтересовался Вечеслов.

— Вдруг объявилась Раиса.

— Проснулся, а она рядом? Неужели её генерал пал смертью храбрых?

— Позвонила из автомата и через пять минут явилась во всей красе.

— Наконец-то кончились иносказания. И что Раиса? Захотела изменить гражданское состояние? — попробовал угадать Вечеслов, и Дмитрий Алексеевич подумал, что все воспринимают её одинаково: примерно такая же догадка пришла в голову и мачехе. — Или попросила лишнюю копеечку?

— Не то. То есть — изменить, да не так, как ты думаешь. У неё-то есть выбор, и Рая его сделала: решила уехать. Теперь евреев принимают в Германии — ну она и соблазнилась.

— Пришла попрощаться?

— Нет, позвала с собой.

— Тебя! — вскричал Вечеслов. — Тебя — в Германию? Фантастика, конец света!

— Жена-еврейка — не роскошь... — напомнила Тамара.

— Вот-вот, именно так она и сказала.

— Странно, что — в Германию, — задумчиво проговорил Вечеслов. — До сих пор попадались места и получше. Правда, не в Европе. О ней и не мечтали.

Ему не ответили, и после недолгого молчания он воскликнул, повторяясь:

— Фантастика! Русский, после такой войны — и к немцам? Хотя это, парень, твой единственный шанс.

— Так что же ты советуешь: бежать или нет?

Денис лишь рассмеялся: так быстро нельзя было решить. Даже и за другого — нельзя, если только не навязать ему свои собственные мечты.

— Ты ведь знаешь, чего тебе хочется, — сказала Свешникову Тамара, — да не хватает смелости признаться.

— Хочется — это слабый довод, — ответил ей Дмитрий Алексеевич. — К тому же, как правило, если хочется, то непременно и колется. Обойти бы колкие места...

— Не ходи босиком, — посоветовал Вечеслов. — И ты прав: чтобы решиться, доводы нужны — нешуточные. Отказаться — тем более. Только не забывай, что в крупных делах иной раз всё решают мелочи: настроения, сантименты... Сантименты — как раз твой случай: с кем-то нелегко будет расстаться, кому-то и самому станет тоскливо без тебя...

— Кому-то — это нам, Митенька, — пояснила Тамара. — Ты ведь участвовал во всём.

— ...и это надо учесть, но потом, потом. А сначала подумай, отчего люди уезжают. Есть ведь и вполне ощутимые вещи.

Они говорили об этом между собою и раньше, не раз, и теперь не стоило повторяться, напоминая друг другу недавние слова и о том, что коммунисты жаждут реванша, и о нынешних неожиданных тощих днях, и о том, как часто стали попадаться мужики в камуфляже со свастикой, и о том, что только при взгляде через границу можно разглядеть свободу и стабильность — заманчивые и неопределённые. Дмитрий Алексеевич всё же не мог взять в толк, что означает для него свобода, хотя не далее как нынешним утром вдруг представил её себе в некоем физическом воплощении, которое сейчас не мог описать: ему нарисовалось, как он выходит на привокзальную немецкую площадь, а там, куда ни глянь — свобода, свобода, одна за другой, так что рябит в глазах, и из толпы свобод мчится навстречу ему, раскинув для объятий руки, женщина в белых развевающихся одеждах. Случайно привидевшийся, этот образ беспокоил его весь день — и всё же вряд ли мог быть отнесён к разряду ощутимых. При переезде Дмитрий Алексеевич, скорее всего, почувствовал бы другое: изменение положения, разницу между тем, кем он был здесь, и кем пришлось стать там.

В Москве его институт бедствовал без неведомо куда исчезнувших заказов, и это означало, что Свешникову грозил досрочный выход на пенсию — торжественные проводы с речами учёных, банкетом и вручением неизбежного самовара на память. В дальнейшем ему, лишнему теперь человеку, предстояло бы подрабатывать каким-нибудь вахтёром, по большим праздникам получать в домоуправлении продовольственные наборы с баночкой зелёного горошка и бутылкой подсолнечного масла да мириться с хамством девчонок в муниципальных конторах. За границей же... и за границей тоже всё могло сложиться точно так же, хотя бы потому, что пожилой безвестный инженер, с которым можно объясняться лишь на английском, не мог понадобиться никому.

О быте на новом месте он беспокоился меньше, хотя и об этом не было ни сведений, ни слухов и некого было расспросить.

— Никто пока не вернулся, — напомнила Тамара.

— Пожалуй, это самый сильный аргумент, — согласился Свешников. — Сильный, но и двояковыпуклый: что же я уеду — и так там и останусь?

— В России, — напомнил Вечеслов, — никогда не произойдёт такого, что позволит тебе вернуться.

— Так ты что советуешь? — с надеждою повторил Дмитрий Алексеевич свой вопрос.

— Советую не торопиться: не завтра же надо подавать заявление.

— Нет, торопиться нельзя. И вот что ещё: ты, пожалуй, пока не говори о моих планах нашим ребятам: мало ли как повернётся, вдруг не уеду, а слух уже полетит впереди.

На Дениса можно было положиться во всём, но он пообещал помалкивать с таким выражением, словно уступал капризу, и Свешников вывел: для того чтобы на сборе о нём говорили поменьше, а то и вовсе ничего, нужно присутствовать там самому.

Учителей, помнящих этот выпуск, в школе уже не осталось, сама же она несколько лет назад переехала, уступив своё старое, дореволюционной постройки здание банку.

В новых стенах и дух стоял новый, неродной, и бывшие ученики теперь собирались на традиционные встречи во все не там, а у кого-нибудь на дому.

— У Николеньки, — сказал Вечеслов, что в переводе означало: у Олега Трушнина.

— Что он нынче?

— О, теперь он очень главный, — ответил Денис на школьном наречии. — Членкор.

Член-корреспондент Академии наук занимал трёхкомнатную квартиру в спальном районе города, далеко за старой окраиной. Гостей — а Свешников с Вечесловым пришли вместе — провели в комнату, стены которой были густо завешаны любительскими картинами. Дмитрий Алексеевич едва не спросил, не сам ли хозяин дома увлёкся рисованием, но тот опередил, простодушно похваставшись:

— Я теперь коллекционирую. Уже много лет.

Неопределённо хмыкнув, Дмитрий Алексеевич невольно окинул его взглядом, с головы до ног, словно ища некоего соответствия антуражу. Николенька, однако, был одет почти нормально: графитного цвета костюм, белая рубашка, старомодно повязанный галстук — но коричневые башмаки. Лицо его изменилось за годы так мало, что Свешников не затруднился бы узнать его при случайной встрече; он так и хотел сказать, но не успел, оттого что из дальнего угла комнаты приблизились те, кто пришёл раньше, всего-то пока полдюжины и знакомых, и чужих лиц. С весёлым удивлением они восклицали:

— Смотрите, Шандал пришёл!

Самым чужим был дородный старик с пышными усами, и Дмитрий Алексеевич, никак не считавший себя ни старым, ни хотя бы пожилым, замер, ожидая, пока его ровесник назовёт своё имя, но и потом, когда тот представился, не разглядел ни единой черты, доставшейся нынешнему барину в наследство от худенького застенчивого мальчика, Юры Ласкина. В отличие от товарищей тот мальчик носил брюки с застёжкой под коленом,

но сверстникам не было дела до того, кто во что одет: все носили случайные вещи — хорошо, если годились отцовские. У Свешникова мелькнула мысль, что неплохо было бы одноклассникам ради традиционной встречи нарядиться даже не в гольфы, как у давнишнего Юры, а в шорты (мол, если уж играть, так играть); он вовремя сообразил, что идея украдена, что об этом он читал где-то, — и скоро вспомнил где. В действительности все они пришли в обычном платье — и лишь некоторые более или менее походили на самих себя юных: Ким Юнин, сохранив шевелюру, только сменил её цвет с чёрного на снежно-белый, без помарок — и выглядел дико, Павлик Бунчиков стал щедеушней прежнего и осунулся, с Лёней Каминером время не сделало вовсе ничего, Толя Распопов так и не вылечил свои красные глаза без ресниц (Свешников сейчас впервые разглядел, что у того больны не глаза, а веки), а Сеня Бачурин всего лишь чуточку обрюзг. Но многих, приходивших позже, Дмитрий Алексеевич узнавал с трудом, а некоторых не узнавал, и ему было не по себе от незнания, вспоминают ли его самого.

Все они, странно ему далёкие, держались между собою так, словно виделись ещё недавно, а потом разъехались не больше чем на летние каникулы; уже завёлся будничный мужской разговор — о своих машинах, что всегда было больной и живой темой, но Дмитрий Алексеевич уловил сегодня и новые ноты, с удивлением обнаружив, что почти каждый из сверстников, остыв к законным прежним делам, приобщился к самостоятельной торговле и продаёт или перепродаёт иноземные товары. Ким Юнин даже принёс образчики — банки с быстрорастворимыми сухими сливками, продуктом, невиданным в Москве, — и пообещал на исходе вечеринки угостить всех кофейком. Как раз рядом с ним и оказался за столом Дмитрий Алексеевич — неслучайно, быть может, после того, что они последний школьный год просидели за одной партой; по левую же от себя руку он нашёл Распопова, с которым в детстве не дружил.

— Что, ты ещё на старом месте? — задал Дмитрий Алексеевич дежурный вопрос Юнину: впрочем, он и сам знал, что — да.

— Чисто номинально. У нас, видишь ли... Словом, down business. Это и к лучшему: не мешает работать на стороне. Появились побочные заработки — и неплохие. Только погоди, давай-ка выпьем, а то мы отстали.

— А как твои успехи в литературе?

В старших классах Юнин писал недурные, на вкус сверстников, стихи (и, конечно, мечтал стать известным поэтом), а однажды, на каком-то скучном собрании, поделился со Свешниковым своими планами написать роман из школьной жизни — «прямо сейчас, пока знаешь нашу правду, потому что стоит поступить в институт — и взгляды изменятся». Дмитрий тогда читал все сочинения Кима и верил, что из того получится писатель.

— В литературе? — насмешливо переспросил Юнин. — У меня дела посерьёзнее.

— Интересно, когда ты переменялся, — допытывался Дмитрий Алексеевич, — не в наше ли смутное время? Впрочем, пардон, писал ли ты после школы?

— Что ты, совсем нет.

— Смутное время помогло, да не всем, — заметил прислушавшийся к их диалогу Распопов, — таким тоном, что стало ясно: ему-то — да, помогло.

— Ну, чтобы всем — этого и никогда не бывало. А, кстати, чем ты нынче занимаешься?

— Спортом, — ответил Распопов таким тоном, словно это разумелось само собою.

— В нашем-то возрасте? — поразился Дмитрий Алексеевич.

— Нет, не в натуре же, ты не понял. Я руковожу. В комитете.

Это прозвучало абсурдно, однако буднично, потому что в той стране, в Союзе, будто бы в порядке вещей было, что кто-то один лично руководил литературным процессом, другой — футболом, третий — утренней ходьбой на месте, и Свешников подумал, что протяни старая власть

ещё несколько лет — и наверняка нашёл бы начальник и над семейной жизнью. «Комитет, нет, — главное управление секса, — произнёс он про себя. — Хлебное будет местечко». Вслух же сказал другое:

— И что теперь — комитет, вообще ваша структура — не поколебалась?

— А мы её постоянно дорабатываем, — ухмыльнулся Распопов. — Для блага трудящихся.

— Господа, — вставая, воззвал Каминер. — Я как член учкома...

За столом оживились, словно услышав нечто остроумное; но и в самом деле, в школе для них имели особенное значение кое-какие, на посторонний вкус самые заурядные, словечки; произнесение их другими веселило школяров необычайно. Например, что-то было (а что — Свешников запомнил) в невинном выражении «ключ от китайского секрета», и стоило учителю на уроке произнести «ключ», как весь класс радостно гудел: «Клю-уч!»

«Боже, какими глупыми мы были!» — подумал Свешников.

Между тем за столом снова гудели, вслед за Каминером, но уже другое: «Чаша! Чаша!»

И правда внесли хрустальную чашу.

— Чаша Грааля, — зашелестело в застолье. — Кубок Грааля.

— Святой Грааль, — громко возгласил Каминер.

Это был ритуал, исполнявшийся вот уже в сороковой раз: чаша, полная шампанского, шла по кругу, а затем каждый пригубивший расписывался на этикетке неоткупоренной бутылки, назначенной для распития через год. Предлагалось полюбоваться и другой, только что опустошённой бутылкой с прошлогодними автографами; остальные тридцать девять, невредимые, пылились у кого-то в кладовке.

«Напоследок. Надо же оставить хотя бы какие-то следы, вроде отпечатков пальцев», — сказал сам себе, расписываясь, Дмитрий Алексеевич — так, словно уже принял решение; но и в таком случае сегодня ничему ещё не пришлось делаться напоследок: вызова из Германии

пришлось бы ждать не раньше, чем через год-другой. У него была возможность посетить ещё и следующий школьный сбор, и следующий за ним, но он сильно сомневался в том, что ему этого захочется: сорок лет — достаточный срок для того, чтобы отвыкнуть от какой угодно компании. Соученики казались ему посторонними: о чём он мог бы сегодня откровенно говорить с ними? Только не о личной жизни — из-за обоюдного незнания подробностей, и только не о работе, оттого что за столом о ней — каждый о своей — не говорят. И не о политике, оттого что в школе они не вели таких разговоров, вне школы о таком лучше было помалкивать, а сейчас, когда общество раскололось и стало неизвестно, с кем о чём можно говорить, выяснение истины вполне могло закончиться крупной ссорой. И не о спорте, разговоры о котором он считал пустым делом. И не о книгах, оттого что неизвестно было, кто теперь интересуется ими, ведь даже бывший любитель Блока и сам ярый сочинитель Ким, и тот минуту назад при одном только упоминании о литературе сделал пренебрежительную гримасу. Здесь хорошо и удобно (и принято) было вспоминать только школярские проделки, но Свешников подозревал, что эти воспоминания слово в слово повторяются ежегодно.

— Чуваки! — обратился Николенька. — Пора выпить за тех, кто, как говорится, в море. То есть за тех, кому до нас не добраться: за Пашу Аронсона «Рваные ноздри» в Израиле, Лёшу Зубовича в Лос-Анджелесе и Женю Зверева тоже где-то в Штатах.

— Больше никто туда не собирается? За бугор? — поинтересовался на правах редкого гостя Дмитрий Алексеевич — и заметил укоризненный взгляд Вечеслова.

— Счастье не за горами, — изрёк Каминер, — а за бугром.

— Таких сведений нет, — дал Свешникову точный ответ Николенька. — Но ты, Шандал, прав: выпьем и за них, скрытых друзей.

За это Свешников выпил с особенным удовольствием, снова переглянувшись с Вечесловым.

— Небось, в перестройку они пожалели, что уехали, — проговорил себе под нос сосед слева. — Крен был — в их сторону.

— Как бы в другую не перекренилось: воды бы не зачерпнуть...

— Что ты, что ты, сейчас только и делать дела. Знал бы ты, какие открываются возможности. Да ведь наверняка знаешь.

— Знаю, какие закрываются.

— Помнишь, в чём разница между оптимистом и пессимистом?

— Я как раз оптимист из того анекдота: считаю, что будет, непременно будет ещё хуже, не беспокойтесь, — отчего и не заблуждаюсь насчёт бойких коммерческих начинаний. Да и не для меня это.

— Дело хозяйское, — пожал плечами Распопов, — да только надо ловить момент. Не знаю, как пойдёт дальше, а я, например, вовремя подсуетился и сейчас — в большом порядке. О твоих же делах... догадываюсь, что тебе приходится жить на старую зарплату, которую к тому же не платят по полгода. Верно? То-то. А ты, я сейчас подумал, мог бы очень пригодиться. Если хочешь и пока не поздно, я составлю протекцию.

— Спасибо. Но я не зря сказал, что это не для меня. И вообще всё не так просто.

— Э, брось. Я тоже зря не говорю, так что давай не стесняйся. Подумай, твоё право, только долго не тяни. Понадобятся деньги — звони, я сумею помочь. Если только, конечно, не вздумаешь покупать какой-нибудь линкор.

— Нет, долго я тянуть просто не смогу, — процедил сквозь зубы Свешников, вдруг обнаружив, что страшно напряжён, словно закован в неудобной позе.

Такое случилось с ним впервые и, не зная, как поступить, он всё же начал, как мог, потихоньку отпускать мышцы лица.

— Что с тобой? — удивился Распопов.

— Прошло. У меня это бывает, — отговорился Дмитрий Алексеевич. — Только линкор я всё равно не куплю. Предвижу трудности с парковкой.

Он только что собирался отвергнуть предложение, судя по всему, несерьёзное — и тут, вспомнив (он ещё не свыкся с новым положением, постоянно упускал из виду), что в близком будущем останется без занятий, нерешительно сказал про себя: «Если не уеду, почему бы и не попробовать?»

При этом он терялся в догадках, на чём могут богатеть бывшие спортсмены.

То ли душевное устройство наконец уступило натиску лет, то ли предложенная перемена участи показалась слишком уж резкой, только на Свешникова накатила незнакомая дотолё тоска. Беспомощно отшучиваясь про себя, он однажды нечаянно назвал её предсмертной — тотчас же поняв, что шутки шутками, но прощания с образом ли жизни или с самою жизнью иной раз в отвлечённых рассуждениях оказываются вещами соизмеримыми. При всей обычной критике упомянутый образ чем-то всё же устраивал Дмитрия Алексеевича — иначе он давно попытался бы изменить положение самым решительным путём, — неприятные же того стороны, на которые часто случалось сетовать вслух, могли (кто знает?) в будущем оказаться даже и милее тех, которыми мог бы порадовать новый уклад. Тоска поэтому как раз и получалась — по всему старому и привычному — видимо, обречённому. Он не верил, что можно обойтись без жертвы, нужной, чтобы наконец вырваться в мир из родных пределов, в коих обстоятельства бытия всё чаще заставляли задумываться как раз о небытии.

Мало там было простейшего разбоя (не далее как вчера, завидев в поздний час на пустой улице, вдали, трёх парней,

он малодушно затаился в первой попавшейся подворотне), мало было входящего в обыкновение взаимного отстрела дельцов, так к этому добавлялось ещё и ожидание страшных событий в стране — от победы на выборах коммунистов до уличных боёв, уже отрететированных у Белого дома и у телецентра. Жить, вдобавок, становилось не на что, жалованье не выплачивалось по нескольку месяцев, и однажды Свешников почти без удивления услышал от своего заместителя, что тот вечерами подрабатывает уборкой станций метро. «Значит, и мне предстоит», — спокойно подумал он, немедленно, однако, ужаснувшись последствиям такого шага — нет, не смущению перед знакомыми, которые, конечно же, не преминули бы незначай застать его за чёрной работой, и не чрезмерным, не по возрасту, нагрузкам, а единственно отупению, к которому его неизменно приводили упражнения, не требующие ума, — слишком знакомые по работе на даче, слышней среди других чудесным отдыхом, но ему ненавистным. Понятия об отдыхе у Дмитрия Алексеевича имелись свои, и будь его воля, он бы в любую свободную минуту только читал да читал, было бы что. Последняя оговорка недавно, правда, стала несущественной: с переменой власти открылись неведомые шлюзы и достойные книги хлынули таким потоком, что, уже не поспевая за новинками, оставалось лишь утешать себя: «Вот уж выйду на пенсию...» Пенсионный возраст, однако, наступал вместе с перспективой остаться вовсе без чтения в стране чужого языка, что для Свешникова значило остаться ни с чем; он не мог взять в толк, чем живы в эмиграции его земляки. О тамошней жизни следовало бы заранее расспросить сведущего человека, но таковых не нашлось: беженцы не возвращались, даже обменяться письмами не было с кем, разве что с самим собою, — ведь мог же он успеть уехать раньше (и потом приятно было бы, окончательно отправляясь в чужие края, знать, что на новом месте тебя уже дожидается весточка из оставленного дома); у него и тогда нашлось бы что спросить, и вопросы стали бы важнее

ответов: просто славно было бы списаться с тем, кого знаешь, как самого себя, вообще славно было бы именно списаться — не созвониться накоротке, а покорпеть над листом бумаги, обдумывая выражения и будучи уверенным, что корреспондент во встречном послании тоже не бросит слов на ветер. Вряд ли эта переписка потекла бы столь же легко, как некогда у наших опытных в ней предков, но традиции пристало (и приятно было) уважать; он не знал, переписывались ли с кем-нибудь его собственные прадеды, то есть не он ли сам первым в роду и заводит этот обычай, но в таком отдалении в веках, к какому он обратился, даже и чужие предшественники казались почти родней.

«Дорогой Митя, — написал в Германию Свешников, всё-таки ощущавший неудобство от невозможности позвонить, — вот уж не думал, что мы с тобой окажемся по разные стороны — нет, не линии фронта или баррикад, упаси Боже, — но некой, ещё вчера неодолимой, черты. Самое странное здесь не то, что мы вдруг зажили порознь, а то, что упомянутый водораздел неожиданно оказался пересечён простым смертным, к тому же — посвящённым в тайны. Как недавно мы почти гордились принадлежностью к этим посвящённым! Присущая им недозволенность перемещений в пространстве выглядела едва ли не привилегией и как бы даже подразумевалась сама собою — во всяком случае, мы принимали правила игры. К счастью, ничто не вечно, и вот уже и я готов пуститься по твоим следам. К бегству располагает не один твой отчаянный пример, но даже и погода: сегодня холодно, промозгло, в башмаках хлюпает вода, и собаки, жалея хозяев, не просятся на двор, а терпят, бедные.

Да, я почти готов, почти — потому что до сих пор не улучил времени, чтобы педантично подсчитать все плюсы и минусы, на бегу же мысль скачет, не давая ни помечтать, ни без спешки, со вкусом поторговаться с самим собою — забывая, что выбора всё-таки нет.

Нет и спокойствия. Чтобы перестать попусту волноваться, мне нужно бы убедить себя, пусть и через кого-нибудь, что наконец сбывается давнишняя мечта и мне, когда сбудется, больше ничего не потребуется ни от людей, ни от властей. Я уже решил было сделать это в переписке с тобой, что вышло бы естественней прочих ходов, и с этим и приступил к письму, приступил — и, перечтя предыдущую фразу, с ужасом обнаружил, что у меня получается что-то вроде предсмертного слова. Нет уж, спасибо, я подожду. А жаль, это была редкая возможность без ложной занимательности, а именно с нужным для дела занудством изложить свои соображения, все pro и contra, затронув такие сложные материи, как предательство родины, предательство родиной, тоска по ней же и прочая и прочая. Отступив же от предсмертного (или посмертного?) слова, не остаётся другого, кроме как поинтересоваться ценами на картошку.

И в самом деле, на душе было бы легче, знай я подробности предстоящей дороги и заграничного быта, необходимые для меня, чтобы поверить, что жизнь есть и на Марсе. В этом смысле интересно всё: и чем может заняться на Неметчине наш брат, и много ли там этого брата, и как к нему относятся туземцы, и на каком боку оные спят. И ещё одно неизвестное: таможня, которой побаиваюсь и о которой подумываю с неприязнью. Не собираясь провозить контрабанду, я, тем не менее, страшусь досмотра — последнего унижения, какое сможет причинить советская власть — или что там от неё осталось. Говорили, что уезжающим приходится предъявлять все свои природные отверстия, сколько у кого найдётся. Имея в виду чрезмерность придинок, хотелось бы подвергнуться означенной процедуре где-нибудь поближе к дому, в аэропорту, зная, что в нескольких шагах, за тонкой перегородкой стоят друзья и другие провожающие, способные в случае чего помочь хотя бы звонком своим союзникам. Мой предполагаемый багаж (книги, книги!), однако, слишком велик для самолёта, и я, получается, поеду, как и ты,

на поезде, чтобы далеко от Москвы в одиночку предстать перед белорусскими крестьянами в униформах. Представь только: вот они придрались к чему-то, я в растерянности стою над распотрошённым чемоданом, а поезд... а поезд ушёл!

Знание подробностей, конечно, ничего физически не изменит, зато, надеюсь, приструнив мою фантазию, улучшит самочувствие. А чтобы умерить твою — нет, не фантазию, которой несвойственно же обращаться в прошлое, а ностальгию, опишу тебе свежую сценку. Нынешним утром, когда я интересовался кое-какими товарами в киоске, юный громила с бычьей шеей, задумавший переброситься с продавцом парой слов, попросту отодвинул меня от окошка, как пустую этажерку. Моего возмущения он решил не заметить — к счастью, потому что честные люди теперь ничто и перед такими вот бритоголовыми младенцами в центнер весом, и перед милицией. Мне повезло, что рядом не оказалось милиционера, потому что, обратись я к нему за помощью, ещё неизвестно, кого из нас избил бы в участке. Нет, не так: понятно, кого из нас избил бы.

Представь себе, я послушно подвинулся!

И вот я, живущий в унижении, расспрашиваю тебя о пустяках. Казалось бы, *что* они мне на общем бедном фоне? Но я буду рад любому твоему рассказу. По логике вещей, он укрепит моё решение (жить частичкой толпы и дальше или почувствовать себя независимой личностью?), за что я тебе заранее благодарен. Потому и прощаюсь с тобой так, как в семидесятых прощались бегущие из Союза евреи: в будущем году — в Иерусалиме!

Обнимаю. Твой Митя»

Перечтя написанное, Дмитрий Алексеевич, озадаченный собственным многословием и где-то позаимствованным стилем, подумал, что вряд ли наговорил бы столько в устной беседе, тем более что не представлял себе, с кем можно обсудить столь важную тему — не с Раисой же. Друзья, остававшиеся жить в Москве, при всём

желании не могли быстро проникнуться его тревогами и ожиданиями, и ему приходилось только ждать ответа от другого, будто бы уехавшего в Германию, Свешникова, не любителя, как известно, писать письма. Тот, однако, ответил с немецкой обязательностью.

«Здравствуй, Митя! — прочёл Дмитрий Алексеевич. — Получение твоего письма меня приятно удивило — в том смысле что опровергло упорные слухи о несостоятельности российской почты. Впрочем, в обратную, в вашу сторону письма и впрямь не доходят: говорят, будто любознательные почтальоны вскрывают их на предмет поисков заграничных ассигнаций, а потом выбрасывают на помойку. Я, на всякий случай, воспользовался okazjiей. Представь себе, наш брат не упускает возможности навестить покинутые было родные места. Недаром сегодняшнюю эмиграцию прозвали бархатной. Понятие границы таким образом приобрело неожиданный смысл, и можно считать, что мы с тобой очутились не по разные её стороны, а всего лишь, если говорить на более близком нам обоим языке, на разных координатных осях одной всё-таки системы. Что для меня «икс», то для тебя «игрек», и не стоит искать на графике некую общую точку, которую принято обозначать «и кратким». Наверно, поэтому мне непонятны твои колебания: собираясь переломить судьбу, ты озабочен ценой на картошку. Уезжают из страны не те, кого гонит жажда странствий, а те, кому стало в ней нелегко, то есть люди убеждённые; прочим, с их интеллигентскими рефлексиями, лучше сидеть дома.

И последнее: я совсем не понял твоего неожиданного пожелания встречи в Израиле. Я не хочу иметь ничего общего с этой страной, пытающейся устроить у себя нечто вроде коммунизма и вдобавок постоянно воюющей. Ты меня знаешь как старого антисоветчика — и этим всё сказано.

Кланяйся всем нашим знакомым.
Дмитрий»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Детство Литвинова прошло вдали от русской столицы, и он никак не мог бы ненароком повстречать на улице своего сановного однофамильца; да он и не ведал о существовании того. Впервые фамилия бывшего наркома попалась ему на глаза в старой газете уже в студенческие годы; подивившись и призадумавшись, он вывел, что это неспроста и что нужно поискать и другие совпадения. Между тем даже узнать самое простое — откуда тот родом, было негде, так что не удалось и немедленно взять его в родственники. Единственным итогом робких литвиновских изысканий стало географическое открытие личного масштаба: он обнаружил на карте две интересные ему, он назвал бы — семейные, точки: город Литвинов, затаившийся между Сыктывкарком и Котласом, и мыс Литвинова на Северной Земле; ни тот ни другой не походили на места, откуда мог произойти хотя бы кто-нибудь (вспомнив о Ломоносове и поколебавшись, он поправился: кто-нибудь годный для советской карьеры). Выходило, что использовать имя не удастся; последний шанс был упущен, видимо, при поступлении в институт: выбери он дипломатическое поприще — и тогда не избежать было бы расспросов осведомлённых коллег (не из той ли самой он семьи, не наследствен ли его интерес к иностранным делам), на которые можно было бы отвечать с выгодной неопределённостью: нет, но... Скромная эта недоговорённость могла бы отозваться нечаянными побрякками и новыми связями, однако теперь об этом оставалось только запоздало гадать и сожалеть; он выбрал совсем другую профессию, и за всё время работы, вплоть до нынешних дней, когда уже и до пенсии осталось всего ничего, никто не спросил, что он за Литвинов. Даже и жена в своё время не поинтересовалась, по неведению, а сам он так и не узнал, что нарком пользовался псевдонимом.

Фантазируя на тему родства и смиряясь с очевидной неудачей, Литвинов пришёл к утешительному выводу, что, выиграй он теперь, этим бы всё и ограничилось, потому что обычно и выигрыш бывает единичен, и выигравший — одинок. Успев порадоваться открытому закону и себе, открывателю, он, увы, скоро вспомнил, что не так давно слышал нечто подобное по радио и что с ним это не первый такой случай: ему уже приходилось удивляться неприятному свойству своей памяти, часто опаздывавшей предъявить доказательства того, что иные его замечательные соображения суть чужие, ненароком подхваченные на ходу либо вычитанные мысли. Попав раз-другой впросак, он потом старался избегать разговоров на сложные темы — не всегда успешно. Однажды, будто бы придумав нечто категорическое — «победу повторить нельзя» — и опечалившись открытием, он в споре едва не выдал мысль за свою, но не успел: оппонент привёл фразу как цитату. Впрочем, в этот раз установление авторства его не задело, оттого что он и в самом деле затосковал от осознания упомянутой невозможности — тем более что сам никогда никого не побеждал, а если бы такое и случилось, то обидно было бы сознавать, что вот, победил — и больше уже ничего нельзя сделать, или: победил — и ничего не поправишь. Его победа сразу же ушла бы в прошлое, как и всякие победы других, так что на неё уже не осталось бы надежды, без которой разве можно жить?

Происходило это — то есть пришлось к слову — в мае, в дни празднования нашей победы, когда особенно очевидно было, что во времени остаются лишь годовщины и юбилеи.

Торжество было всенародным, а значит, и он, Литвинов, был причастен — и отмечал, конечно. В домашних стенах все праздники выглядели одинаково: собирались друзья, или родственники, или коллеги, и беседа текла легко, оттого что можно было и от души выпить, и грамотно закусить (он следил, чтобы вино и еда сочетались как родные, чтобы получался «ансамбль»), и снисходительно

поглядывать в окошко на праздную толпу внизу, которой только и оставалось что метаться туда-сюда по главной улице, не обещающей удовольствий, и радоваться тому, что тебя самого не заманили на эти так называемые народные гулянья и что ты тоже победил.

Кто-то замечал, что жизнь состоит из череды поражений, и Михаилу Борисовичу тотчас хотелось доказать обратное, что — из побед; трудность заключалась в том, что он не знал, какая и над кем или чем станет следующей. Сроки её, во всяком случае, отодвигались — погоду в мире, как водится, предсказывали неверно — и, оттого что на каждом углу теперь раздавались бесполезные призывы к ускорению жизни, он, желавший оную, напротив, придержать, не поспел за событиями. Когда другие давно осознали перемены, у него только ещё зародилось смутное предчувствие — незнамо чего, только не катастрофы; ему самому было бы интересно узнать, что же такое он заподозрил — не то, что потом случилось. Он ждал вещей скверных, но не настолько — не краха устоев и устава.

Объявление гласности поначалу показалось ему всего лишь досадным недоразумением, очередною глупостью, с которой придётся какое-то время мириться — но не более того. Недоразумение, однако, прижилось, быстренько пустив корни, и кроме общих бед привело к тому, что работа Литвинова стала ненужной. Отныне он больше не мог преподавать свой предмет — основы марксизма-ленинизма, который сегодня будто бы вызывал сомнения, а партии, исповедовавшей ленинизм, впору стало уйти в подполье — той самой партии, которая в течение всей жизни Михаила Борисовича не просто существовала на свете и не просто царила в государстве, но сама была больше, чем государство: не частью чего-то, а — всем. Этому всему он и служил, не безвозмездно, и если кое-кто находил в общественном устройстве некие странности, то промысел Литвинова в том и заключался, чтобы, в чём-то даже соглашаясь с критическими голосами, доказывать, что эти очевидные огрехи не только не губительны, но

определяют верный путь к благоденствию. Теперь же всё устройство переменялось, следование по старому пути открыто назвали преступлением, и Михаилу Борисовичу пришлось переквалифицироваться: даже не подготовить новый курс, а уйти из университета. В деньгах он не потерял — приспособился читать другие лекции в другом месте, — но будущее лишилось определённости.

Именно тогда его жена задумала отъезд, вернее, наконец позволила себе высказать перезревшее желание; раньше, в их тучные времена, заговаривать об этом было бесполезно — настолько-то она знала своего мужа. «Конечно, в Израиль», — ответила она на его сердитый вопрос, тоже сердито, потому что выбора, кажется, не было: все знали, как трудно подать документы в американское посольство, а о других странах известно было мало — возможно, они и не принимали эмигрантов. Ответа на второй сердитый вопрос — о том, чем там придётся заниматься её мужу, — Алла и подавно не знала: тем же, очевидно, что и всем уехавшим до них, — только, разумеется, не пересказывать дряхлые сочинения вождя.

— Я могу, я согласна, я буду делать там всё что угодно, — заявила она. — Мыть посуду.

— А я не буду, не хочу. Неужели я напрасно лез из кожи вон, пробивая диссертацию, заработал на этом инфаркт...

— К счастью, нет.

— Да, да, к счастью, обошлось, хотя ты ведь знаешь, что я был на грани. И, как ты понимаешь, мне совсем не хотелось бы всё же заработать его в твоей посудомойке или на другой чёрной работе, а так как других вариантов, разумеется, не возникнет, то что же — сидеть на твоей шее? Вдобавок там чудовищно жарко. Наконец, там спокойно — если не война, то её постоянная угроза.

— Замечательная страна: оазис в пустыне. Там всё возможно.

— О да, там даже вывели кубические помидоры — чтобы удобно было складывать в ящики. А всё ж — не кубические яйца.

Ещё недавно Литвинов если и говорил своим слушателям об Израиле, то непременно — с презрительной едкостью, как то и требовалось от лояльного лектора; его позиция наверняка была оценена наверху — и потом ему, со всеми его заработанными баллами и галочками в отчётах, стыдно было бы сообщить на своей кафедре об отъезде — именно в страну, которую он только что так удобно клеймил. В этом он находил что-то противоестественное — точнее, говорил себе так, чтобы не пришлось признаться, что побаивается реакции коллег: безо всякого удовольствия думал, как они воспримут его заявление, потому что точно знал как. Ему и самому прежде приходилось выслушивать несмелые объяснения решившихся на отъезд, а потом стыдить их потерей родины (не испытывая неудобств от сознания того, что и сам, не двигаясь с места, фактически потерял свою), и обвинять в предательстве — зная, что никто не возразит.

Пока он колебался, вариант с обетованной страной отпал: еврейских эмигрантов начала принимать Германия, и Алла возликовала: ты хотел в Европу, так вот она, — и ему уже нельзя было привести прежние доводы, а новые не приходили в голову: растерявшись, он не мог сообразить, нужны ли они теперь. Эту новость жена принесла в праздник Победы, и он, озадаченный известием, не сумел немедленно высказаться ни за, ни против, а только невпопад пробормотал, кивнув на телевизор, показывающий нечто красное:

— Пойми, что это не повторится.

— Не понравится — вернёмся.

— Я говорю о Победе.

Она готова была разрыдаться.

И тут объявили минуту молчания.

То, что Михаил Борисович собирался объяснить жене тотчас, не имело никакого смысла произносить после такой паузы: даже веские слова, не сказанные вовремя, потом мало кто слышит. Должные означать решение, они тогда звучат как попытка оправдаться.

Разлука близких — к счастью, к несчастью ли, но это было не о нём, опасавшемся теперь как раз обратного. Несколько лет Дмитрий Алексеевич, словно изрядной неприятности, ждал от жены требования оформить развод, что, как нам известно, не могло повлиять на устройство его жизни, зато вовлекло бы во многие неприятные процедуры — от ожиданий под тусклыми дверьми, сочинения прошений и беготни за справками до объяснения с судьёй, — и просьба Раисы о свидании расстроила его; речь у них между тем пошла совсем о другом, и угроза открылась с неожиданной стороны: ему предлагали играть позабытую роль мужа — один Бог знает, как долго. Произнеся, правда, в ответ что-то вразумительное, он в действительности в первый момент растерялся, оттого что прежде всерьёз не примерял к себе подобных поворотов, а во второй — заподозрил ловушку: Раиса была не из тех, кто поступает удобствами ради помощи ближнему, а значит, и здесь предполагала корысть для себя и, для симметрии, ущерб партнёру. Худшим из ущербов виделось возобновление супружеских отношений — препятствие, обойти которое было никак нельзя, а только — надеяться, что всё устроится как бы само собою (наивно постаравшись запомнить её слова: «Жить вместе никто не заставит, приедем — разберёмся»); он и надеялся, и почти три года, пока ждал вызова из Германии, отгонял мысли об этом предмете, а потом вдруг оказалось, что и думать уже некогда: вот их комната и вот — двуспальная кровать.

— В пансионатах ставили односпальные, — преждевременно заметил Свешников.

— Ты недоволен, — решила Раиса.

— Это обязывает, — объяснил он, не смея напомнить об уговоре не доходить до крайностей, так легко доставшемся в Москве.

— Какие теперь обязательства? Всё, приехали: за граница. Поезд дальше не идёт.

Заграница между тем успела переместиться, сегодня обнаружившись в России.

— Иностранцев просят освободить вагоны, — продолжала она, безуспешно роясь в чемодане в поисках ночной рубашки и раздражаясь. — Ты ведь этого хотел?

— Я и в Москве был для кого-то иностранцем, — проговорил Дмитрий Алексеевич, подумав — и утаив, что из-за своей здесь ненужности стал таковым для самого себя.

— Глубокая мысль. Только мне сейчас не до твоего юмора: как бы не рухнуть просто на пол. С этой дурацкой пересадкой... В Союзе — и то я не ночевала на вокзалах.

— И весь день на ногах. Ты вынесла это геройски.

О себе Дмитрий Алексеевич подумал, что при нынешнем вдохновении его хватило бы, пожалуй, на осмотр и ещё одного подобного местечка: он чувствовал себя сбывшимся путешественником — и был почти счастлив. Новое пришлось ему по душе — и старые камни монастыря, и розы в палисадниках, и обед в кафе, и парк, разбитый на холмах. Это ощущение было, конечно, недолговечным — игрушечный городок можно было выучить наизусть за какую-нибудь неделю, других же предметов не предвиделось, — но пока Свешникову не хватало ещё чего-то до полноты картины, и, не будь с ним Раисы, он не усидел бы в помещении, а отправился бродить по ночным улицам — вполне, впрочем, сознавая, что тротуары будут безлюдны, окна плотно зашторены и только в каком-нибудь крохотном кафе соберётся обычная компания — всё те же самые господин аптекарь и другие. Но он не мог в первый же вечер оставить женщину одну.

Сомнения оказались напрасными: Раиса заснула, едва коснувшись подушки. Дмитрий Алексеевич теперь волен был делать до утра что угодно, однако минутный запал прошёл, и ему стало одинаково скучно и сидеть подле жены, и вождесть ночной жизни немецкой провинции; мысли невольно вернулись к бессонной прошлой ночи, и он, всё ещё считая, что не утомился, осторожно прилёг рядом с Раисой. Как и она, Свешников мгновенно провалился в сон, но — недолгий: соблазнённый близостью

женского тела, он придвинулся вплотную, обнял — и это вдруг оказалось всего лишь сновидением: пробудившись в тревоге, он обнаружил себя лежащим на краешке кровати, особняком. Он и потом то и дело просыпался из-за боязни, нарушив границу, незримо разделявшую общее ложе, дотронуться до другого человека — последствия представлялись ужасными. Убедившись, что всё в порядке, он скоро засыпал снова, успевая только сказать самому себе в насмешку, мол, что ты за герой, если не берёшь женщину, лежащую в твоей постели, — даже, возможно, и не успевая, а встречаясь с этой дразнилкой уже в новом сновидении: неспроста же за нею так и не последовало оправданий.

Утром семье предстояло вместе с новыми знакомыми, товарищами по счастью либо несчастью, ехать в соседний город, чтобы, как по-солдатски выразился Бецалин, «стать на довольствие». Будильник завели на ранний час, и всё же Дмитрий Алексеевич проснулся до звонка и долго пролежал, глядя в широкое голое окно и видя там только ровную, не тревожимую рассветом темноту. Снаружи не доносилось ни звука, но и в комнате не слышалось даже дыхания Раисы: она спала, укрывшись с головой; очертаний тела под одеялом не угадывалось, да там, как убеждал себя Свешников, и не скрывалось ничего соблазнительного.

Едва он спустил ноги на пол, как Раиса всполошилась:

— Что, что? Ты куда? Который час? Дождь перестал?

— Отвечать по порядку, выборочно или — на вопрос вопросом: как спалось?

— Ещё как! Такое впечатление, будто мне это удалось впервые в жизни.

— Сон свободного человека с чистой совестью.

— Второе сомнительно, — засмеялась она. — Ах да, «на свободу — с чистой совестью», но я бы не решилась настаивать.

— Тем не менее можешь поваляться еще с полчаса. Дождя, кстати, не было.

— Можешь и ты.

— Нас сегодня ждут великие дела.

— Сам себе противоречишь: у свободного человека не должно быть обязанностей.

— Именно это я и хотел подчеркнуть, — проговорил он, не слишком искренне, оттого что вдруг додумался до очевидного: полная свобода есть конец всего.

— Всегда ты вывернешься!

Он тоже считал, что вывернулся и сейчас — всё ж не обольщаясь, а помня, что происшествия нашей жизни часто оказываются замечательны не сами по себе, но лишь как причины других происшествий — последующих и, особенно даже предыдущих, обойдённых было вниманием рассеянных наблюдателей, нас, и только в результате нынешнего приключения приобретших какую-то ценность. Поначалу, пока упомянутое событие ещё не случилось, мало кто замечает тянущиеся из нашего времени в другое нити, ниточки, паутинки, хотя всем известно, что пророчества и простейшая ворожба начинаются не сейчас, а в своём будущем; вот и дальняя дорога, казённый дом и бубновый интерес ищутся в завтрашних днях, где же ещё, а в настоящем существуют лишь атрибуты цыганского ремесла: раскрытая ладонь, карты, пропавший кошелёк да кофейная гуща.

Дмитрия Алексеевича словно озарило: когда-то давно был ему сон, столь в то время незначительный, что вылетел из головы чуть ли не до пробуждения, а потом и подавно не вспоминался, так и пропал бы, если б Раиса случайно не повторила использованные там слова. Ему приснилось, что, придя вечером домой, он нашёл постель приготовленной, а в ней, вернее — на ней, поверх одеяла, ожидающую его Раису — в соответствии с задуманным сюжетом, конечно, обнажённую и будто бы только что получившую удовлетворение; он запаниковал, решив, что если она забеременела, то виновника не сыщешь и, значит, придётся жениться; он не забыл, что она и без того жена ему, но это ни от чего не спасало, напротив, один брак, помноженный на другой, новый — на старый, не удваивал, а удесятерял беду. Какие-то люди набежали с советами, и в их гомоне

послышалась подсказка: сочинить такую компьютерную программу, чтобы в любом уравнении брак на брак всегда давал ноль. Тут Раиса и воскликнула с досадой: «Всегда-то ты выкрутишься!»

Быт устроился неожиданно просто. То, что называли пугающим словом лагерь, оказалось если и не пансионатом, то всё ж неплохим общежитием, и призрак палаток среди ноябрьского размокшего поля отлетел, бледнея, незнамо куда; остальное на этом фоне выглядело так буднично, что как бы и разумелось само собою: и до супермаркета было рукой подать, только спустись с горки, и общая, на пол-этажа, кухня была даже слишком просторна для трёх наличных семей, и в стенном шкафу нашлось достаточно разной посуды, столовой и кухонной, чтобы прожить, не распаковывая багажа, в этом временном убежище и неделю, и месяц, сколько угодно, если только не звать гостей, о которых подумала, конечно, Раиса, но не Свешников, не надеявшийся скоро найти здесь общество по вкусу; воспользовавшись всем этим, они уже в первый вечер поужинали дома не кое-как, а за удобно накрытым столом, чему Дмитрий Алексеевич всегда придавал значение. Одинокая жизнь давно опротивела бы ему или он бы одичал, не установи для себя строгих правил, не позволявших, например, приниматься за еду неодетым или пренебрегать салфетками. С другой стороны, при нужде — в командировках или туристских вылазках — он мог обходиться и какою-нибудь обжигающей жестяной кружкой, а вместо скатерти — газетой, не только не удручаясь этим, но и находя особый вкус.

В общежитии трудно держаться особняком, и если Свешниковы никого пока не ждали к себе, то скоро оказались приглашены сами. Дмитрий Алексеевич, поколебавшись, идти ли (разве мог кто-нибудь принудить его, свободного теперь человека?), всё же не посмел отказаться,

да ему и любопытно было. Званы же они с Раисой были — к Литвиновым.

Посиделки в вестибюле и посиделки в комнате пока ещё не могли, на взгляд Дмитрия Алексеевича, разниться между собою, разве что — исключением каких-то лишних слушателей; не верилось, чтобы за прожитое здесь ничтожное время кому-то удалось бы выделить — нелишних, найдя с ними общие темы. Скорее всего, и нынешней беседе предстояло плескаться в пределах начальных биографий с отступлениями в сторону устройства детей, преодолённых трудностей карьеры — и преувеличения заслуг. Нечто в этом роде он уже выслушал от каждого на общих сходках и теперь готовился к тому же, но в более пространном изложении; словом, он предвидел скучный вечер и подумывал, не воодушевиться ли заранее стаканчиком водки, чтобы и дамы стали милее, и умнее — мужи.

С водкой не получилось из-за невозможности улизнуть в магазин в одиночку. Туда пришлось отправиться вместе с Раисой — тоже за бутылкой, только иной строгости: не с пустыми же руками являться на... теперь он назвал это вечеринкой. В Москве случайный знакомый просвещал его: в Германии найдётся вино и за две марки, и за одну, но то, что можно пить без ущерба для достоинства, должно стоить дороже по меньшей мере четырёх. Перед прилавком глаза Дмитрия Алексеевича разбежались из-за обилия незнакомых названий, и он уже собрался было взять что-нибудь наугад, как всё же углядел знакомое слово; бутылка бордосского вина стоила как раз пятёрку, и он не понимал, дорого это для него или нет, смущаясь и переводом цены в рубли, и тем, что может вот так, за просто покупать бордо или бургундское, этикие атрибуты сладкой жизни, известные по переводным романам. «Вот за этим я и ехал?» — посмеялся он, соглашаясь, что и за этим тоже.

Из других гостей у Литвиновых был только Бецалин. «Вот, значит, какой предлагается альянс, — подумал Дмитрий Алексеевич. — Инженеров с матерью-одиночкой побоку, прораба с шофёром — тем более. Посмотрим, что

за элита — оставшиеся». Прорабом он назвал человека, представившегося директором стройтреста, шофёром — того, кто будто бы командовал большой автобазой; его уже мало забавлял разгаданный с самого начала маскарад. Потеряв интерес к разоблачениям, Дмитрий Алексеевич, однако, то и дело вспоминал читанный в отрочестве английский роман, в котором контрразведчик искал шпиона в маленьком городке, населённом рабочими военного завода. Тому либо повезло, либо помогла интуиция, только он сразу попал в нужный круг, где все оказались не теми, за кого себя выдавали — не только шпионами всё ж, — но были так активны, что герою быстро удалось вычислить, кто есть кто. Свешников не надеялся, что добьётся таких же успехов, оттого что в его случае действующим лицам как раз действовать и было заказано, и афиша с расписанием ролей могла зря провисеть до конца сезона.

— Господа отдыхающие, — поклонился из своего угла Бецалин.

— Всё хочу спросить, где вы достали путёвку, — поинтересовался Свешников.

— Вы уже забыли, как это делалось?

— Как сказала одна актриса епископу.

— Что-то в этом роде. Но мне, видимо, повезло чисто случайно. Кто-то ведь выигрывает и в лотерее. Знаете, я иногда думаю: лучше бы уж — в лотерее.

— Неужто успели так соскучиться?

— Не успел. Но — предвижу. Новизна испарится, придётся сравнивать, вспоминать. Не знаю, в чью пользу выйdet. Львов — это, что ни говори, не Чебоксары.

— Не Чебоксары, — согласился Свешников. — Лемберг, если я не ошибаюсь.

— Надо же что вспомнили!

— Красивый город. И девушки хороши как нигде.

— Смешение рас, — объяснил Бецалин. — Мадьяры, поляки, хохлы и прочие греки.

— Как у нас здесь, — сказала Алла. — Кто только не едет под видом евреев.

— Вроде меня, — помог ей Дмитрий Алексеевич.

— Да нет, — смешалась она. — Я сказала: под видом. Вы-то не прикидываетесь.

— Как вы любите уводить разговор! — всплеснул руками Бецалин. — Едва мы начали...

— ...говорить о прекрасном, — подсказал Свешников.

— Дмитрий Алексеевич прав: во Львове — как нигде. Вы согласны, Алла?

Литвиновы, однако, во Львове не бывали, больше того, выяснилось, что и они, и Бецалин только и видели на свете, каждый, что свой родной город, черноморские курорты да Москву, то есть, на вкус Свешникова, почти ничего и не видели; на этом фоне сам он выглядел бывалым землепроходцем. Озадаченный такой нелюбознательностью, он неуверенно пробормотал, что не всё потеряно и у них многое впереди — и Ленинград, и Памир, и тот же Львов, и Киев.

— Ну, поезд ушёл, — махнул рукой Литвинов. — Не ездить же в Союз туристом!

— Не зарекайтесь, — проговорил Дмитрий Алексеевич. — Мало ли что нам с вами заблагорассудится — недаром Альберт упомянул лотерею. В Германии, конечно, другие соблазны, можно повидать мировые столицы — это была несбыточная мечта! Повидаете — и это-то запомнится навсегда. Сказано же: Париж — праздник, который всегда с тобой.

— Для кого праздник, а...

— А как назвать то, где протекали будни? Которые всегда с тобой.

— Эх, не вышло из вас законченных патриотов, — заметил Бецалин. — Недовоспитали.

— К счастью, — произнёс Свешников, припомнив два случая, очевидцем которых был несколько лет назад. — Я помню чудовищные образцы.

Первая из его историй была о молодой женщине, в середине пятидесятых направленной в недолгую, на пару недель, командировку в Будапешт; она рыдала, не стесняясь слёз: «Не могу оставить Родину» (с прописной буквы, это

слышалось отчётливо). Героиня второй истории, случившейся много лет спустя, попала в чужие пределы уже по своей воле, с экскурсией, — Свешников не помнил, в какую из социалистических, конечно, стран, для него это не имело значения, как не имело значения и для самой путешественницы: важно было лишь, что — за границу, в города, которых тогда почти никто не видел даже в кино. Она осталась недовольна поездкой: вернувшись, искренне возмущалась тем, что у туристов не было времени для общения с другими советскими группами.

— Плохо было организовано, — пожал плечами Литвинов.

— Видимо, я невнятно выразился, — поскутнев, произнёс Дмитрий Алексеевич. — Разве не смешно — нет, не чудовищно ли, что человек раз в жизни вырвался в тридевятое царство — и вовсе не проглядывает все глаза на чудеса света, а хочет попасть там на профсоюзное собрание родных трудящихся, которых и так видит четыреста дней в году?

Сам он тем более не понимал этого, что, никогда до эмиграции не пересекая границу, подозревал за этой чертою умножение и усугубление того удовольствия, за которым ежегодно ездил на балтийские берега (видимо, поэтому самым сильным впечатлением первых дней в Германии стало для него отсутствие потрясения — он всего лишь увидел то, чего ждал). Он-то не променял бы возможность осмотреть лишний дворец, храм или старинный квартал на сомнительную встречу не только с безликими соотечественниками, но и вообще с кем бы то ни было. Уже зная по опыту, что никогда не сможет ни насмотреться, ни надышаться, Дмитрий Алексеевич в прежние годы, бродя по приютившему его на время каникул городку — неважно, Пярну, Паланге или Майори, — неизменно бывал сосредоточен на своём пребывании там, упиваясь каждой минутой и постоянно напоминая себе: ты идешь не по Клязьме или Малаховке, а по латышской, литовской, эстонской земле, так не отвлекайся на пустое, ведь ни моря, ни готики, ни такой вот башенки над

деревянной дачей, ни мощёного тротуара на травяной улице, ни белки на заборе тебе не увидеть в ближайшие одиннадцать месяцев, как и не услышать органа в соборе — так вкушай же. И он — вкушал.

— Миша, откупори же наконец, — распорядилась Алла.

Описывать стол здесь не имеет смысла — после всех пиров, знакомых нам по русской литературе, его можно вообще не принимать всерьёз, потому что вместо поросят с кашей, метровых осетров, расстегаев, буженины, солянки, блинов с икрой или просто малосольных огурчиков и селедки с отварной картошкой на нём расположились всего лишь сласти и выпечка из супермаркета.

— Борде... а... — с трудом начал читать этикетку Литвинов.

— Не то, что вы подумали, — не сдержал улыбки Свешников. — Бордо.

— О! Послушайте, а не безнравственно ли получать пособие и покупать на него бордо?

— Не смущайтесь: здесь это, оказывается, вовсе не роскошь.

— По-моему, безнравственно уже само по себе получение пособия, — возразила мужу Алла. — Что же, мы так и будем ходить за этими подачками?

— А за пенсией в России вы не ходили? — фыркнула Раиса. — И на что вы рассчитывали здесь — неужели на работу? В нашем возрасте?

— Насчёт подачек вы, Алла, не совсем правы, — поддержал Бецалин. — И вы, и мы — пострадавшая сторона. А они — они проиграли войну...

— Вот уж не игра была... Но и выиграли — не вы.

Литвинов неожиданно запротестовал:

— Прошу вас, прошу: оставим международное положение в покое. Дома мы с коллегами, собираясь за столом, тоже первым делом заявляли: ни слова о работе. В конце концов, и нам с вами есть о чём поговорить после всех перипетий прошедшей недели. Оставим наши споры в той стране, а сейчас — я наливаю. Знаменательный, между прочим, момент: первая выпивка на чужой земле.

— Неужели до сих пор не причастились? — не пове-
рил Бецалин.

— В коллективе — нет.

— Где-где? У капиталистов, видите ли, отсутствует та-
кое понятие.

Алла хихикнула, а её муж равнодушно согласился: в ком-
пании так в компании, как угодно, это дела не меняет.

— Да, гос-по-дин Литвинов, придётся вам отвыкать от
большевистского языка.

Отвыкать от него, однако, нужно было не одному толь-
ко Литвинову: все соседи по хайму ещё недавно говорили
на том же наречии, и сознание было под стать, в новой же
обстановке многие чувствовали неловкость, пользуясь
старым словарём — например, обращением «товарищ», —
и на чужой земле не только старались говорить аккуратно,
но и ловили друг друга на советских словечках, как на чём-
то постыдном. Сейчас каждый заметил, как, не ответив,
смутился Михаил Борисович — хотя и не из-за чего было,
не уличили же его в бессовестном поступке; всё-таки он
постарался сделать вид, что не заметил реплики, и немед-
ленно шегольнул новейшим, но уже и сейчас понятным,
немецким словом, удобно назвав общежитие хаймом.

— Кстати, — вспомнил он. — Вот информация для
размышления: в городе, куда нас повезут, есть три хайма.
Разного, говорят, качества, очень разного. Наша с вами
актуальная задача ясна: постараться попасть в лучший.
Но как узнать — в который?

— О, вы уже знаете, куда повезут, — нарочито грустно
проговорил Бецалин, не спрашивая, а утверждая. — Ин-
тересно, где вы это слышали. Вот у меня совсем нет чутья.

— Бедный доктор, вы перепутали органы чувств.

— Но они жизненно необходимы — и те и другие.
Я ручаюсь.

— Подождите, я сказал не всё. Доподлинно известно —
не спрашивайте откуда, что распределение по общежи-
тиям во многом зависит от нашей милой комендантши.
Так что с ней есть смысл поговорить. Вручить, например,
коробку конфет. Правда, сначала...

— Сначала надо увидеть все три общежития своими глазами, — решительно закончила за него Раиса. — Чутьём тут не обойтись. Хорошо бы послать кого-нибудь на разведку.

Ей немедленно и наперебой возразили: на вкус и на цвет товарищей нет, и от разведчика не будет толку, от того что одному понравится одно, а другому — даже и не другое, а вовсе ничего не понравится, и, значит, если ехать, то всем вместе. Билеты между тем стоили недёшево, так что в конце концов решено было отправить одних мужчин, по одному представителю от семьи.

— А нельзя ли сэкономить ещё больше и узнать нужное, не выходя из комнаты? — с небрежным видом спросил Свешников. — Мы постоянно упускаем из виду, что наш уважаемый Альберт Михайлович — биоэнергетик высшей категории...

— Международной. И — биоэнерготерапевт.

— Виноват. Тем более вы наверняка способны извлечь из потока международной энергии что-нибудь общественно-полезное.

— Я же подчеркнул: терапевт. Не ясновидящий. Если, типун мне на язык, заболете — вот тогда присылайте за мной. Чем смогу — помогу, а большее мне не по плечу, с энергией у меня отношения далеко не те, что вы думаете.

Говоря это, Бецалин уставился на валяющийся под окном ржавый железный диск размером с блюдце — то ли меньший блин штанги, то ли гирю рыночных весов.

— Это было тут всегда, — развела руками Алла, забывшая выбросить этот хлам.

— То, что нужно, — определил Бецалин. — Это — кстати, к слову об энергии. Я покажу, с вашего позволения, небольшой школьный опыт. Или — трюк, как хотите... Извиняюсь перед женщинами: мне придётся раздеться до пояса. Как на приёме у настоящего терапевта.

Раиса пожала плечами, и он, поняв это как знак согласия и быстро встав, снял рубашку. Приложив диск чуть ниже плеча, почти вертикально, он отнял руку — тяжёлая железка удержалась, переместил её к середине груди — она словно прилипла и там.

— Дайте-ка и я попробую, — попросил Свешников.

— Смотрите, ноги не отшибите. Да можете не раздеваться, это всё равно.

Дмитрий Алексеевич попытался приладить диск на себе — и тот грохнулся на пол.

— Фокус не удался, — засмеялся Бецалин. — С мировой энергией обстоит не так просто. Честно говоря, я тут ничего не могу объяснить. Умею — и всё.

— Этот аттракцион как-то связан с вашим... врачеванием? — поинтересовалась Раиса.

— Понятия не имею. И тут не помогут ни Эйнштейн, ни израильский кнессет. Для меня и лечение — загадка. Как я получаю энергию, как отдаю — все объяснения антинаучны.

— Вот-вот, антинаучно, — проворчал Литвинов. — Раз вы и сами признаёте, то это...

— Снова — безнравственно? Ну, я себя не навязываю. Люди просят — я им помогаю. Жаль, сейчас нельзя привести живой пример.

— Ваших старых клиентов, надо понимать, успешно похоронили, — перевёл на понятный язык Свешников, — а новых живых ещё поди найди.

— Именно, именно! — хохоча, согласился Бецалин. — Дмитрий, дорогой, вы будете моим первым пациентом в Германии.

Подождав, пока оживление утихнет, Дмитрий Алексеевич снова обратился к Бецалину:

— У меня, к слову, возник неприлично серьёзный вопрос, который сейчас обсуждать скучно, а задать надо, пока помню. Жаль будет, если пропадёт. За ответом же, если позволите, я могу прийти и в другой раз. Меня вот что заинтересовало: больной приходит к вам, к врачу, вы видите его состояние и представляете, как будет развиваться недуг, назначаете процедуры, уколы, сопровождая это магическими пассажами — так вот, делаете ли вы это даже и в тяжёлых случаях спокойно, равнодушно, как, например, маляр красит сарай, не представляя себе будущую замечательную усадьбу, в строительство которой

вносит свою лепту, а только видя квадратные метры досок, по которым надо поводить кистью, или же вы, решая, что внушить жертве, какое лечение назначить да и назначать ли, не упиваетесь ли при этом своею властью над беззащитным существом?

— Это не всем интересно, — одёрнула мужа Раиса.

— Вообще, часты ли у врачей переживания по этому поводу? — продолжил он.

— Вы, по-моему, чересчур увлеклись: это же тема для серьёзного исследования — и диссертацию можно написать, и, если угодно, эпопею. Я могу ответить только за одного себя: бывает и так и этак, и если пациент капризничает да не очень-то и болен, вот тогда, в самом деле, если и не вспоминаешь о своей полной власти над ним, то всё же чувствуешь внутри что-то вроде щекотки.

— Мол, не поднатужиться ли посильней обычного — и конец капризам?

— Наверно, так, но об этом не думаешь словами, а только, я сказал, ёжишься.

— От щекотки — смеются, — поправил Свешников. — В том числе пациенты.

— Вы и в Германии собираетесь... смешить? — невнятной скороговоркой, делавшей речь пренебрежительной, спросила, глядя в сторону, Раиса и узнала из осторожного ответа Альберта, что, конечно, и в Германии — старыми анекдотами, потому что новым неоткуда взяться, и что если она всё-таки имеет в виду работу, то в его возрасте и с его знанием языка не стоит питать иллюзий.

— Необязательно же... — пробасил Литвинов.

И Бецалин согласился, что да, было необязательно, но среди чересчур законопослушных немцев лучше вести себя по-другому.

— Знакомых это пусть не волнует, — продолжил он. — Я же говорил: чуть что — вызывайте. Тем более что мне и форму нельзя терять, и бездельничать неохота. Вот вы, Рая, разве сумели бы просидеть целый день сложа руки?

Та замешкалась, решая, какими словами лучше сказать, что сумеет, и её опередила Литвинова:

— Да у какой хозяйки есть такая возможность? Дом, муж... Помните — немецкие три «к»: Küche, Kinder, Kirche? Для нас Kinder, правда, отпадают. Кстати, Рая, как это вы оставили сына там одного?

— Не навек же: он приедет. Окончит институт — и приедет. Как раз хватит времени, чтобы разобраться с личными делами. Конечно, лучше было бы закончить образование уже здесь, я именно так и планировала, но вмешался, что называется, человеческий фактор: я не сумела оторвать его от подружки. Я, честно говоря, не была готова, не ожидала, что это у них серьезно.

— Она еврейка? — живо спросила Алла.

— Конечно.

Дмитрий Алексеевич подумал, что сам в такой беседе никогда не поинтересовался бы, русская ли. А на месте Раисы — не ответил бы «конечно». Для него тут ничего само собою не разумелось, но и ничто не имело значения. Ему и раньше, в незапамятные времена, когда он только раздумывал, жениться ли на Раисе, нет ли, даже тогда не приходили в голову ни такие «конечно», ни оправдания с провинциальными оговорками; обращать внимание следовало бы совсем на другое — на что он тоже не обратил. Теперь об этом «другом», придумав аллегория, пристало бы рассказать пасынку, чтобы тот не погорячился в своём романе, буде таковой назреет, не промахнулся бы так, как он сам. Впрочем, ему трудно было понять, ответствен ли он — не по закону, а перед совестью и Богом — за Алика. Больше того, он не знал, ответствен ли за женщину, снова считающуюся его женой.

— Вышли же вы за русского, — вдруг донеслось сказанное Аллой Раисе, и он подсадовал, что, отвлекшись на считанные секунды и пропустив несколько фраз, не может ответить на что-то, очевидно уничижительное; пришлось сделать вид, что это пролетело мимо ушей. «Впредь не расслабляйтесь, господин, — сказал он себе. — Вот, подшучивали над интеллигентскими кухоньками — извольте отведать кухонь коммунальных. Скучно, однако».

Всяк по-своему переносит пересечение часовых поясов или замену зимнего времени летним; иным, говорят, нипочём и перелёт из Москвы на Камчатку. И только новичку в эмиграции, независимо от крепости организма, неизменно бывает нелегко смириться с переводом стрелок: даже и обходясь пока старым заводом и храня в уме известную двух-, а то и восьмичасовую поправку, он всё равно больше не понимает, в каком времени живёт оставленная страна. Эта непрочувствованная разница оказывается так велика, что помыслам друзей, до сих пор зимующих на старых местах, становится теперь возможным совпасть с его собственными помыслами разве лишь в каком-нибудь абсолютном времени из учебника, текущем себе далеко за пределами самого живого воображения. Оттого-то с переходом границы бывшего Советского государства так заметно меняются речи: например, наш герой сразу заметил, что на новом месте никто не заводит политических споров, без коих невозможно себе представить беседу даже и в самом глухом уголке бывшей империи хотя бы двух россиян. Время, по старинному определению, это — пространство в бытии; отдалившись в нём на упомянутые часы, уже не отличишь одну от другой мелкие фигурки на доске (не станем называть для примера их имена — всё равно они забудутся ещё при жизни пешек, и мы, заменив их любыми другими, не нарушим игры; не сохранится, следовательно, и доли хотя бы какого-нибудь интереса к их суете).

Жизнь наша, правда, беспокойна по природе и, позволив отщепенцу отвыкнуть от мелочных, кухонных прений, скоро втянет его в новые, более строгие, принявשים предъявлять из того же далека одну войну за другой; он, однако, уже не посмеет судить о них с прежним вдохновением, более не зная чужих склонностей и общих тайн и не понимая, чем чреваты ходы, сделанные в мировой игре дилетантами.

Удивительно было, что новоиспечённые эмигранты не заводили речей ни о цензуре, ни об антисемитизме в России, ни о сильной руке, ни о страхе перед милицией, ко всему прочему ещё и распустившей бандитов, ни о власти, старой или новой, — ни о чём, за что обычно поносили и старую и новую власть. Было несказанным удовольствием забыть эту тему — они думали, что навсегда. На диване в вестибюле её вытесняли другие, более насущные и приятные женской части общества, но вот мужчины, трое, провели целый день в поездке и не удостоили политику ни словом — и слава Богу, потому что обращения к ней в нашем пёстром народе приводят только к ссорам.

Истина рождается в спорах только лишь с единомышленниками, и в нашем случае основной трудностью стало распознавать оных среди свежих лиц, угадывая, кто левый, кто правый — притом что эти понятия самым неожиданным образом смешались при перемене в России строя и бывшие левые стали называться правыми — и наоборот, а некоторые остались как были. Даже и новое окружение Дмитрия Алексеевича, составленное из людей, сбежавших от советской власти, то есть будто бы объединённых одной идеей, и то было неоднородно: судя по нынешним речам Бецалина, он не жаловал не только вчерашнюю, уничтоженную власть, но и вообще никакую, зато Литвинов во время мечтаний о ректорстве был, разумеется, верным коммунистом и, привыкнув подводить под свои педагогические изыскания марксистскую базу, вряд ли за вольные последние годы научился разговаривать с теми, кого раньше клеймил с кафедры; беспартийный Дмитрий Алексеевич предпочёл бы объясняться с ним на эсперанто. Но сегодня, в недолгой дороге, наши путешественники хорошо понимали друг друга, найдя, что обсудить и кроме чужих дел, уже потерявших для них остроту: нынешняя их затея казалась непростой, и если дома они только посмеялись бы над своей озабоченностью, то в Германии, где каждый из них чувствовал себя не в своей тарелке, им везде чудились сложности.

Поезд отходил в седьмом часу, и Свешников, кажется, ждал в такую рань полного безлюдья на улицах, однако народ по пути попадался не реже, чем днём (а днём — почти не попадался); куда можно было спешить в городке, лишённом и очевидных фабрик или мастерских, и товарной станции, и учебных заведений, кроме школы, — оставалось загадкой. В школе же свет ещё не горел, и всё-таки у входа уже притормозил какой-то автомобиль; солидный мужчина в костюме и безумном галстуке, выведя из машины мальчика, поставил того у запертых школьных дверей — и помчался на свою загадочную службу.

Дмитрий Алексеевич, которому уже дважды пришлось ездить по железной дороге в опекавшее эмигрантов ведомство, всё не мог привыкнуть к прыти немецких поездов, наотрез не желавших, отходя, ползти вдоль перрона (чтобы провожающие могли долго бежать вдогонку, заглядывая в окна и размахивая на прощанье синими платочками), а сразу набиравших скорость, словно легковые машины; в его стране техника была хороша только военная, и он даже позлорадствовал, когда здешняя резвость оказалась ни к чему и на первой же пересадке пришлось потерять почти два часа (на что Бецалин ворчливо заметил: «Уж расписание-то мы могли бы изучить и не зная языка»).

О месте, куда они ехали, Свешников ещё раньше слышал в нечаянном разговоре нечто нелестное: «город средней приятности» — и, не ожидая теперь красот, смотрел в окно почти без вдохновения; там же пока плыл скромный пейзаж — поля, деревушки, страшного вида брошенные заводики. Город возник внезапно, без окраин: разом восстали построенные в ряды жилые дома, мелькнули три-четыре неопределённых начала поперечных улиц, и через минуту состав уже остановился в дебаркадере вокзала.

Пристанционные кварталы были так себе, поспешной послевоенной застройки, но Дмитрий Алексеевич из вагона успел заметить в разрыве и кое-что другое: внушительное,

тёмного камня, старинное здание, в каком пристало бы размещаться музеем, университету или суду; это был оперный театр. Примерно в ту сторону им и пришлось направиться, с единственной задержкой для покупки плана города. Как раз с этим, с картой, им и не повезло: у книжного киоска совсем не по-немецки тесно столпились какие-то лишние люди, глазевшие снаружи, через витрину, на врача, склонившегося над лежащей на полу продавщицей. Наша компания остановилась в нерешительности поодаль, и когда Дмитрий Алексеевич тоже посмотрел на бликующее стекло, то увидел лишь отражения знакомых фигур; его удивило, насколько спутники выглядели крупнее него. Литвинов был мешковат, Бецалин — крепок, но громоздок, а сам он — поджар. «Упитанный, однако, пошёл беженец из нищего Союза, — подумал он и вдруг резко оборвал сам себя: — Ничего себе интеллектуальное занятие — сравнивать животы. Поистине, кидая камешки в воду, считай круги».

— Придётся действовать путём опроса местного населения, — бодро предложил Бецалин.

Дмитрий Алексеевич многозначительно хмыкнул: до отъезда из Москвы он успел усвоить из поспешных, урывками занятий новым языком одни числительные да формулы вежливости и мог бы объясниться с аборигенами, пожалуй, лишь жестами. До сих пор он считал, что любой предмет можно изучить без посторонней помощи, но тут она потребовалась на первых же шагах. Вычитав в самом начале учебника, что в немецком нужно произносить «шпорт», «штудент» и «штадион», Свешников, ухмыльнувшись, решил, будто понял что-то не так, и захотел хотя бы какой-нибудь срочной консультации; между тем многие в его окружении знали только английский или, кое-кто, французский язык, так что мгновенной помощи он не получил — и с облегчением бросил занятия, освободив время для привычной работы.

Знания Литвинова, как тот поспешно признался, находились примерно на том же уровне. Бецалин, учивший немецкий и в школе, и в институте и, видимо, способный

хотя бы спросить на улице, который час, на их фоне выглядел классным переводчиком; на него и была вся надежда. Известно, однако, что советские учебные заведения никого языкам не научали, так что у нашей тройки имелись все основания усомниться в успехе предприятия. Опасения не оправдались лишь благодаря совершенно неожиданной отзывчивости прохожих: стоило назвать улицу, как те, перебывая друг друга, пускались в объяснения; иные даже рисовали схемки, а последний, оставив собственных попутчиков, проводил за угол и там — до конца квартала, где уже оставалось лишь показать рукой.

Нужный номер красовался на скромной будке, родной сестре знакомых всем троим заводских проходных — не связанной, тем не менее, ни с какими оградами: всякий мог обойти её стороной. За ней в глубине двора стояли две панельные, вполне хрущёвские пятиэтажки с одинаковыми надписями на глухих торцах: «Отель». За окном будки Дмитрий Алексеевич разглядел дремлющего портъё, но будить того уже не имело смысла, потому что где-то рядом вдруг послышалась русская речь.

У ближайшего подъезда, наполовину скрытые вечнозелёным кустом, разговаривали женщины — одна, уже привычно для глаза Свешникова, одетая в брюки, тёплую куртку и кроссовки, но вторая — в туфельках на каблуке, в длинном пальто, из-за такой одежды будто бы высокая и стройная. Оглянувшись на звук шагов, она оборвала начатую фразу, всмотрелась, прищурившись, и вдруг бросилась навстречу идущим.

— Мария! — ахнул Дмитрий Алексеевич.

Они расцеловались; впрочем, ему пришлось напрячься, внушая себе, что это не розыгрыш, не сон и не помрачение, а что он обнимает ту самую Марию, которую потерял в Москве несколько лет назад. Губы, почувствовавшие незнакомый вкус, будто бы обманывали его: кожа показалась мягкой и податливой, какая бывает у молодых ухоженных женщин — но не такая ведь была у прежней неё. Но та и не плакала на улице.

— Так вот почему он настаивал, чтобы мы поехали без жён, — в сторону, Бецалину, но так, что слышали все, сказал Литвинов.

— В самом деле, — засмеялся тот. — С одним примечанием: настаивала как раз его жена.

— Кто бы мог подумать? — не слушая их, а вглядываясь в лицо Марии — узнавая и нет, — проговорил Дмитрий Алексеевич. — Как я искал тебя там!

— Тебе просто не повезло, — ласково сказала она — так, словно тогда потерялась нечаянно. — Кто-нибудь должен был сказать тебе. Я давно здесь.

— С дочерью?

Она сжала губы.

— Мы успею наговориться потом, — проговорил Дмитрий Алексеевич.

— Тут разминуться трудно. Ты что, живёшь прямо в этом хайме?

— Пока и не в этом городе. Пока. Но уже известно, что нас повезут именно сюда, и мы — вот целый отряд послан на разведку — приглядываемся к здешним общежитиям, чтобы знать, за что бороться и не угодить в трупобу.

— Бороться надо отвыкать, мы уже не в Союзе, а трупоб здесь нет, но, пожалуй, вы, господа, угадали: этот хайм как раз получше. На мой вкус. Я сама угодила в другой. А твои спутники...

Спутников, лишь сейчас наскоро представленных, интересовало, похоже, только дело. Что ж, Мария была в этом доме своим человеком и вызвалась проводить их внутрь.

В здании, из пяти подъездов которого два принадлежали отелю, а остальные — общежитию эмигрантов, в планировке не было ничего гостиничного — ни номеров, выходящих в коридоры, ни самих коридоров, а только обычные квартиры, по три на лестничной площадке. Мария постучалась в первую же, на первом этаже. Открывшая дверь девочка лет пятнадцати не поторопилась впустить незнакомцев.

— Это, Катенька, новые жильцы.

— К нам?

В голосе девочки прозвучало такое огорчение, что Мария рассмеялась:

— Нет, не к вам, милая, и не сейчас. Люди просто хотят иметь представление о вашем доме, — и, повернувшись к мужчинам, объяснила: — Катя с мамой пока блаженствуют одни в квартире и, понятно, не мечтают о соседях.

Девочка с матерью занимали крошечную, метров в шесть, комнатку; разместить здесь две обычные кровати было бы невозможно, и вместо них стояла основательная двухэтажная — совсем неподходящая для женской спальни; Дмитрий Алексеевич тотчас нашёл, что из таких хорошо громоздить баррикады, а кто-то из его спутников определил: «нары», хотя это сооружение не походило и на нары. Обставленная, с двумя холодильниками, но тёмная кухня тоже не вызвала восторга. Вместе с тем Свешников, как, видимо, и его партнёры, ожидал худшего.

— Можно жить, — не без удивления заключил Литвинов.

— Временно, — уточнил Бецалин. — Если уж лечь на нары, так лишь на срок.

— Шуточки у вас, Альберт...

«Вот и она так живёт», — подумал Дмитрий Алексеевич, увидевший в показанной ему каморке всё же не камеру, а железнодорожное купе, какое может послужить приютом лишь несколько суток — беспокойных для пассажира, выучившего, что отстать можно и от всякого поезда. И думал он не о тех же материях, что спутники, а о Марии, и первые из этих мыслей вполне банально и ошибочно относились к тесноте мира, снова сведшей его с этой женщиной; ошибка здесь таилась в том, что как раз в тесном мире, в одном городе, в одной бочке, где сельди набиты так, что и головы не повернуть, именно там и не узнать, кто расположился в соседнем ряду, не повстречать, а разминуться в толкучке с кем-то родным, да и просто знакомым, и только в малолюдном мире, где видно вдаль так хорошо, что никто не проскачет на горизонте незамеченным, только там и возможны самые невероятные встречи.

Будто бы ни с того ни с сего он забеспокоился, что теперь, когда важные нити вдруг так чудесно сошлись в одной точке, случится какая-нибудь подлость — и даже доподлинно знал какая: его направят в другой город, пусть и соседствующий с этим, и он потеряет Марию снова.

— На всякий случай, — нервно сказал он, перебивая какое-то её объяснение, — мало ли что может произойти... Напиши мне свой адрес.

Всё же теперь, какие бы отношения ни установились с Марией, он мог не бояться одиночества, зная, что где-то здесь живёт близкий человек — в этом незначительном городе, вмиг похорошевшем (но ведь и погода разыгралась к случаю, и солнце светило вовсю), особенно после того, как Мария вызвалась немного прогуляться со всей компанией. Прогулка, впрочем, преследовала вполне практические цели: Марии просто пора было вернуться домой, но и её провожатые таким манером приближались к вокзалу.

Путь снова лежал через центр — совсем не лучшую часть города, на повторный взгляд москвича Свешникова походившую именно на окраину. Напротив старинной ратуши расположился откровенный пустырь, за ним — панельная пятиэтажка, какие и в Москве стеснялись строить в старых пределах, а рядом с массивным столетним зданием универмага явно не на месте разлеглась площадь. Глаз повсюду натывался на неоправданные пустоты или, напротив, на чужеродные включения, и Свешников напрасно искал тут систему, пока не сообразил, что разрушенные в войну старинные кварталы местные власти и не собирались восстанавливать, воспроизводя прежний облик, а, без разбору снося развалины, строили на освободившихся местах что попало, то есть — социалистический светлый город из зыбких коробок, либо не строили ничего. Задумавшись и оттого приотстав, Дмитрий Алексеевич огляделся, постаравшись не замечать этих коробок, и вдруг понял, как выглядело это место в сорок пятом году: россыпь обгорелого кирпича и полдюжины торчащих из неё остовов — романской колокольни,

ратуши, универмага, мрачной башни неясного назначения, вокзала и театра.

— Митя! — спохватилась Мария. — Что с тобой?

— Осваиваюсь с городскими видами, — улыбнулся он, всё же не пускаясь вдогонку.

— Ну, это успеешь. Выучишь каждый камешек наизусть, и город (ну что за город — как в старом анекдоте — двести тысяч народу?) надоест хуже горькой редьки. А потом — ничего, привыкнешь.

Надо было идти дальше, но мужчины, решив перекусить, звали в ближайшую пивную (имея в виду захваченные с собою бутерброды); Мария, в свою очередь, приглашала к себе. Последнего Дмитрий Алексеевич не хотел никак с чужими людьми, но и питейных заведений что-то не попадалось по пути.

— Летом откроются несколько, на свежем воздухе, — неуверенно сказала женщина.

— Осталось недолго, — обнадежил Бецалин. — Только что ж это за Германия — без пива?

— А это не Германия, — ответила Мария. — Это ГДР.

В представлении москвича Свешникова пивные были одним из главных атрибутов немецких городов: без них будто бы никак не могли обойтись бургеры, которым всякий вечер следовало бы проводить за доброй кружкой, за одним и тем же столом, в одной и той же компании, однако он так и не увидел, где бы это могло происходить. Немногие крохотные ресторанчики явно не годились для мужских сборищ, и на подозрении у Дмитрия Алексеевича осталось лишь заведение, обосновавшееся на центральной улице под скромным именем буфета. Единственное окно там было зашторено, а заглянуть внутрь, чтобы сразу же выйти, ему показалось неудобным; не удалось ему и понаблюдать за посетителями, входящими и выходящими: можно было подумать, что эта дверь не открывалась никогда. Правда, и любые другие наблюдения над местными обывателями дались бы с трудом: городок вечерами вымирал — не только на тротуарах не оставалось ни души, но и, что удивляло больше всего, огни

в окнах, казалось, можно было пересчитать по пальцам. Когда однажды Свешников с Раисой вздумали пройтись в центр, то за время полутора часовой прогулки, начавшейся, когда не пробило и девяти, им встретились только молодая пара, подкатившая на машине к своему дому, да respectable господин, которого вывел из дому старый английский бульдог.

О собаке вспомнилось, как видно, неспроста: не прошло и пары минут, как она попала навстречу — не та, но точно такая же, только без поводка и с другим хозяином, знакомым Марии, — маленьким пожилым человеком в русской ушанке и с длинным шарфом, живописно повязанным поверх пальто. Пёс подбежал к Марии ласкаться.

— Мы приехали в Германию в один день, — сказала она о встреченном человеке.

— Удивительно, как всё получилось, — подтвердил тот, не объяснив, однако, что именно.

— Привет, малыш, — сказал Дмитрий Алексеевич собаке, присев перед ней на корточки и протягивая для знакомства открытую ладонь.

— Это Фред, — сказал хозяин.

— Привет, Фред. Ты не из любителей борьбы под ковром? Впрочем, извини, вижу, что это не про тебя. Сколько ему?

— Двенадцать.

— О, солидный джентльмен.

— Не то слово. Боюсь, что мы с ним даже и не ровесники: если перевести по нынешнему курсу, он давно меня перерос. Век бульдогов недолог. Я со страхом считаю его годы: если один из нас сляжет...

— Славно, что вы решились его привезти.

— Славно! Знали бы вы, чего это стоило... Но у меня больше никого нет.

— Вот как...

— Захар Ильич, — заметила Мария, — считает Фреда лучшим своим собеседником.

— Тот прекрасно умеет слушать и не задаёт лишних вопросов? — предположил Дмитрий Алексеевич.

— Собачники склонны преувеличивать, — снисходительно заметил Литвинов. — Какие там беседы?.. У меня у самого собака.

— Была... — с сочувствием в голосе поправил Бецалин.

— В каком смысле? — смешался Литвинов. — Что вы, она жива, здорова. Мы её оставили у знакомых, в хороших руках.

— Щеночек? — решил Захар Ильич.

— Одиннадцать лет, почти как вашему. Совершенно разумное существо, ризеншнауцер. И красавица в придачу.

— Потом, когда обживётесь, собираетесь забрать сюда?

Нет, он не собирался, да и попросту не понимал, как можно провезти такое крупное животное — оплатить отдельное купе в поезде или разориться на самолёт? Зная, что Литвиновы продали свою квартиру и, значит, приехали с деньгами, Дмитрий Алексеевич слушал эти рассуждения с недоумением и неловкостью, словно чувствуя вину и за собою; указать на Захара Ильича (вот, привёз же человек) он постеснялся.

Литвинов между тем разговорился:

— Мы, конечно, устроили репетицию, оставили её в том доме сначала всего на три дня. Знаете, одни собаки в чужих домах становятся агрессивными, другие — тоскуют, отказываются от еды. Так вот, у нас, представьте, всё сошло.

— У людей чаще случается наоборот, — нечаянно резко сказал Дмитрий Алексеевич, с трудом оставив при себе мнение о том, что собаки вряд ли прощают предательство. — Люди становятся агрессивными как раз в родном доме. Когда их оттуда не выпускают.

— Однако никогда не теряют аппетита, — напомнил Бецалин. — Чаще не мы отказываемся от еды, а нам в ней отказывают.

— В Москве (вы не слышали?) устроили... нет, инсценировали для телевидения замечательную демонстрацию «Похороны еды» — настоящую похоронную процессию вблизи Кремля. Это — к вопросу об аппетите.

А как, Маруся, обстоит с агрессивностью здесь? — обернулся к своей знакомой Свешников. — Ты человек наблюдательный и старожил.

— На мой взгляд, никак не обстоит: здесь очень мирные, доброжелательные обыватели. И только чиновники — будто из другого теста.

— На них иной раз просто зла не хватает, — поддержал Захар Ильич. — А с другой стороны — они ведь тоже люди. Бывает, я их оправдываю.

— Какая неожиданная беспринципность, — усмехнулась Мария, и нельзя было понять, шутит ли она.

— Мы, Ильичи, все такие.

— Случается, в семье не без уроды.

— А впрочем, вы правы, им нельзя прощать. Видите ли, какое дело: мне кажется, чиновники вовсе не мечтают поступать исключительно нам во благо. Не забывайте, что кадры тут, на востоке, не сменились, всё осталось, как в ГДР, и в тех же креслах сидят всё те же коммуняки, которые прекрасно понимают, что мы сбежали из Союза от таких, как они.

— Тогда отчего же говорят, что нацисты снова начали появляться опять-таки здесь, на «новых землях», а не на западе? — попытался возразить Литвинов.

— А где ж ещё молодому человеку могли привить тоталитарный дух? — фыркнул Свешников. — Хотите вы или нет, но это плоды комсомольского воспитания.

— При чём тут это? — вскинулся было Литвинов, но Бецалин перебил:

— Господа, господа, о политике — ни слова. Мы так хорошо зажили без этого. Чтобы поставить точку, просто свалите всё на нынешнюю гэдээровскую безработицу.

— Возможно, вы правы: умы бродят, когда свободны руки и не растрочены силы, — важно согласился Литвинов. — Но, позвольте, тут возникает проблема и для нашей, эмигрантской молодёжи: рабочие места найдутся в первую голову для своих, немцев.

— Да, проблема. Мы-то, изношенный товар, перебьёмся и на пособие...

— Вот и чудно, — вздохнул Захар Ильич, — никто уже не заставит меня искать работу.

— А кстати, позвольте поинтересоваться, кто вы по профессии.

— В прошлой жизни я преподавал музыку.

— Вы имеете в виду предыдущие воплощения? — рассмехался Бецалин.

— Кстати, Альберт, — живо откликнулся Свешников, — а ведь как раз вы, с вашим дивным ремеслом, должны бы знать, хотя бы о себе, в каком виде существовали в древности.

Ему-то самому уже говорили в каком.

Это было примерно за год до эмиграции. Тогда, как и во всякие неустойчивые времена, в стране слишком развелось дешёвого чтива со всякого рода рецептами и гороскопами, с предложениями панацей, гаданиями и прочим мистическим сором. Пренебрегая ими, Дмитрий Алексеевич лишь однажды — в дальней дороге, в поезде — всё-таки сдался, от нечего делать просмотрел протянутую соседом по купе популярную брошюру о карме — и обнаружил удивительную вещь: из прочитанного явствовало, что в одном из своих предыдущих воплощений он, Дмитрий Свешников, был ни много ни мало — поэтом при монгольском дворе (если, конечно, там и тогда, в одиннадцатом веке, это называлось двором). Поиздевавшись вместе с попутчиком над такой выдумкой, он наутро с удивлением обнаружил, что то и дело вспоминает её, поворачивая так и этак, чтобы рассмотреть получше. «Лестно, однако, слыть поэтом, хотя бы и у скотоводов, — усмехнулся он про себя. — Жаль, что никто не воспримет мою новость всерьёз». Сам же он позволил себе немного помечтать, сокрушаясь, что от его тогдашних стихов не осталось следа и что память не удержала навыков ремесла; она не сохранила и примет того времени, и Свешников теперь не мог бы рассказать ни о придворных нравах, ни о восточном великолепии обстановки, ни о собственной сладкой жизни — как протекала и как кончилась — не на плахе ли? Слабым утешением послужило лишь то,

что природа обделила памятью не его одного, а и вообще, кажется, не нашлось на свете человека, который знал бы хоть что-нибудь из своего далёкого, ещё до рождения, прошлого.

— Наверняка же, — продолжил он теперь, — сохраняются какие-нибудь остаточные поля, которые вы чувствуете, или что-то в этом роде. Обидно будет, если не поделитесь.

— У вас есть предположения? — поинтересовался Бецалин.

— Моей фантазии не хватит, чтобы придумать вам роль под стать. Даже если обратиться к классике — надеюсь, вы помните эту песню Высоцкого? — знаете, о воплощениях в баобаба, в пса... С вами эти формы как-то не вяжутся.

— Там была ещё и свинья.

— Да вы и в свиньи не годитесь.

— В этой жизни?

— Bravo! — воскликнула Мария, и все расхохотались.

— Слишком высокий темп, — смутился Дмитрий Алексеевич. — Простите.

— Хорошо, перейду на адажио. Да мне, собственно, и говорить не о чем, ни о каком прошлом. Я только и умею, что передавать энергию: получить и отдать пациенту, вы же знаете. Путь этот тёмен для меня... О! Вот, пожалуй, что: путь. Что-то в этом роде было. Но это как у гадалок: упомянут «казённую дорогу» — и конечно же, какая-нибудь дорога да выпадет. А я... Возможно, я был ходоком (или как это называлось?) при китайском императоре. Бродил себе по какой-нибудь пустыне Гоби...

«Мы могли бы и встретиться там и тогда», — пришло в голову Дмитрию Алексеевичу.

— Кстати, о национальном вопросе, — поднял палец Литвинов.

— В тех жизнях его не существовало.

— Ещё как существовал! — возразил Захар Ильич. — Иначе мы бы тут не оказались. Кстати, я всё порываюсь познать: прошлой жизнью мы зовём то, что было до отъезда.

— Двух жизней не даётя никому, — заявил Литвинов.

— Какая новость! Просто одна из них не была жизнью, — пожалала плечами Мария.

— Двум жизням не бывать, а одной не миновать, — заметил Бецалин.

— Я хотел сказать иначе, — поморщился Михаил Борисович, — но вы, Альберт, всё шутите, вразной и не-впопад: то разглагольствуете о старых воплощениях...

— Нет, это — Дмитрий.

— ...то сокрушаетесь, что не миновать — единственного. Честно говоря, первая ваша позиция увлекательнее, недаром это — модная тема. Увы, к большому, быть может, сожалению, она сейчас для нас с вами не имеет значения. Вот вы, Дмитрий, подтвердите, вы серьёзный человек.

— Что это вас так вдруг задело, что вы бросаетесь искать истину прямо сейчас, на улице? Дело всего лишь в том, что каждый хотел бы досконально знать своё прошлое, в том числе и далёкое, среди баобабов, а значит — быть уверенным, что у него есть и будущее.

— Подходящее место для подобных речей, — поведя рукой, заметил Бецалин. — Но...

— Вы же не нашли пивную, — напомнил Литвинов.

А Дмитрий Алексеевич продолжил вместо Бецалина:

— ...но ведь существует же внутри нас нечто, кроме, скажем, мяса и каркаса, позволяющее каждому ощущать себя в мире.

Место и в самом деле было неподходящим — настолько, что он застеснялся последних слов, будто фальшивых, и замолчал, хотя не прочь был подробно сказать о своём — технического специалиста — понимании души: его давно занимало, что и сам факт, и качество нашего существования нельзя измерить в физических величинах, чтобы объяснить ощущение собственного «я», незнамо откуда взявшееся и должное каким-то манером исчезнуть всего лишь при остановке насоса, качающего кровь. Но исчезнуть ли — в это не хотелось верить: в конце концов, никто не привёл доказательств.

— Вы всё сводите к бессмертию души, — недовольно проговорил Литвинов.

— Господа, о метафизике — только под водочку, — взмолился Бецалин.

— А мы — о физике, Альберт, о физике, — улыбнулся Дмитрий Алексеевич. — Ну хотите — о ноосфере? Тоже ведь к делу относится. Или о том, что недавно открыли душу?

— Кто и кому?

— Обнаружили существование души.

— Тому уже шесть тысяч лет, — тихо напомнила Мария.

— Нет, нельзя пускать женщин в науку, — убеждённо сказал Бецалин. — Но — Дмитрий?

— Конечно, скорее всего, это утка, — предупредил Свешников. — Я просто услышал по радио. Только вдуматься: физики открыли душу! Не знаешь, ликовать или смеяться.

— И что, её поймали на выходе из тела? Вскрыли тело — и открыли это самое?

— Нет, гораздо скучнее: нашли, что молекулу ДНК нельзя уничтожить бесследно: она оставляет после себя поле. Такой вот скромный результат опыта, да и рассказано было мимоходом, но я насторожился: осмелятся сказать или нет? Так и понятней было б, напрямую: тело исчезает, а душа остаётся. И ведь было произнесено! Вскользь, стесняясь, но слово «душа» произнесли.

— Серьёзные, однако, материи...

— Уж вам-то, Альберт, следовало бы принять новость без удивления.

— До такой лирики я не опускался.

— Не поднимались, скорее, — поправил Литвинов.

— Полно вам брюзжать.

— Вернёмся к началу, — предложила Мария.

— К прошлой жизни? — обрадовался Бецалин. — Или к Еве?

— К тому, чем в прошлой жизни занимался Захар Ильич.

— А в этой?

— Не занимаюсь, — развёл руками учитель. — Преподавать некому и не на чем.

— Отговорки, — живо возразила Мария с таким видом, словно говорила это уже не в первый раз. — Надо же хотя бы попробовать. Мне кажется, тут нет настоящих препятствий. Было бы желание, а кого учить, всегда найдётся. И с инструментом разберёмся.

— Игра того не стоит.

— Именно стоит: лишние денёжки никогда не помещают. Надо же кормить ещё и Фреда. В одиночку, — добавила она для новичков, — на социал прожить трудновато. Лампочка на кухне или телевизор горят одинаково что для одного, что для большой семьи, а в расчёте на душу...

— Тему души мы временно закрыли, — напомнил Бецалин.

— Оставьте, я же о том, что разница велика. Одиночки все ищут, где подработать, а чёрной работы здесь нет, я сама искала.

— Как-то не вяжется с вами амплуа чернорабочей.

— Так здесь называют работу вовсе не чёрную, по-русски, а левую, — улыбнулась Мария, — ту, которую делают тайком от властей.

— Значит, стоит жить вдвоём? Придётся вызвать жену. Экономически выгодно, а?

— А ты — одна?.. — вполголоса проговорил Дмитрий Алексеевич, и Мария посмотрела на него с укоризной.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Читателю русской классики поздняя осень должна бы видаться светлой порой — первая пороша, запах яблок, шапки на деревьях, игра в снежки, — между тем как для нынешних москвичей это время оказывается самым мрачным в году: город заметно темнеет, оттого что снег, едва выпав, превращается во дворах в грязную кашу, а на мостовых и подавно — в чёрную едкую жижу, от которой на переходах плачут босые собаки. Небо в эти дни висит

низко, воздух насыщен холодной влагой, а день длится всего ничего, и многие хотели бы переждать мерзкое межсезонье где-нибудь на даче, а то и в тёплых краях, — да только мало кто имел такую возможность. Свешников поэтому порадовался за себя, когда в середине ноября вдруг открылась необходимость лететь в командировку буквально на край света, далеко на восток. В другое время он отправил бы вместо себя заместителя, но в этом году, оттого что не терпелось выбраться хотя бы в какую-нибудь зиму, поспешно уложил чемодан — слишком поспешно, потому что назначенные сроки тотчас начали судорожно смещаться и даже всё предприятие оказалось под угрозой; когда же и в самом деле пришлось улетать, белая зима пришла и в Москву, и причина, только что гнавшая из дому, показалась смешною. Однако что-либо менять было не то чтобы поздно или некогда, а просто лень, коли он уже настроился и не только вещички, но и мысли собрал и уложил для путешествия; так что в одно прекрасное (имея в виду погоду) утро ему пришлось ступить на дальневосточную землю.

Путевые его впечатления останутся при нём — кроме связанных с обратной дорогой, которую он задумал одолеть в два приёма, пересаживаясь с самолёта на самолёт, с местного — на лайнер. Эта пересадка оказалась совершенно замечательной и потому, что растянулась на несколько дней по причине, какую не придумаешь, но какую не удивишь советского человека, приученного к самым диким чудесам, и потому, что её увенчало весьма приятное знакомство. Известно, что задержки в пути редко обходятся без обзаведения приятелями или без флирта, вот и Дмитрий Алексеевич не избежал нового общества.

Билет был с открытой датой, что, по мнению Свешникова, означало: «когда захочу, тогда полечу», — а в действительности, как выяснилось, не означало ровно ничего, оттого что свободных мест на московских рейсах ближайших дней не было, и Свешникову, подошедшему к кассе двадцать седьмого числа с намерением двадцать

седьмого же и улететь, предложили вылет — четвёртого. Сами по себе эти числа говорят мало, если не знать о принадлежности их, соответственно, к декабрю и к январю, то есть о том, что в недельный, и без того немалый для транзитного пассажира промежуток между ними умещался праздник Нового года, который даже одинокому человеку пристало встречать с близкими людьми. Прежде у Дмитрия Алексеевича неприятностей с новогодними ночами не случалось, к тому же накопился кое-какой опыт поездок по нашей живой стране, поэтому он и теперь не запаниковал и не раздражился, а подумал, что не сегодня так завтра в кассе непременно образуется лишний билетик из числа припасённых для важных особ. Чтобы ухватить за хвост эту удачу, требовалось только в нужный момент оказаться в нужном месте, иными словами — не отходить от кассы, однако Свешников счёл не лишним подстраховаться и, пренебрегая сомнительными удобствами зала ожидания, позаботиться об основательном ночлеге.

В Москве его на всякий случай снабдили кое-какими адресами гостиниц, и сейчас он, не мешкая, поехал в город, причём — в район, далёкий от всяческих вокзалов. Повезло ему, конечно, не в первом же доме, куда он постучался, но всё ж — в третьем или четвёртом, что по тем временам выглядело сказочным везением. Гостиница попалась захудалая, но такими были большинство подобных пристанищ в нашей стране, и Свешников, имевший о них представление, не ждал лучшего — разумно, потому что на сей раз ему досталась всего лишь койка в пятиместном номере без туалета. Думая провести тут всего одну ночь, он даже не взгляделся в лица соседей, отметив лишь, что с ними четырьмя в компании были четыре же бутылки. Вообразить, что и в остальных номерах и здесь, и во всех гостиницах города так же сидят за столами невесёлые мужчины, созерцаая один и тот же натюрморт — початая поллитровка, гранёный стакан да плавленный сырок «Дружба», — не составило труда. Дмитрия Алексеевича, конечно, пригласили угоститься, но час был поздний,

и он, только и мечтавший добраться до постели, отказался, сославшись на недомогание, а на самом деле — предвидя неловкую ситуацию из-за невозможности внести свою долю в общий котёл: все его деньги покоились в камере хранения; там же осталось и то, что, приди он сюда с вещами, непременно погибло бы в современном сюжете, вызвав изумление и восторг действующих лиц, — бутылка редкостной «Петровской» водки, захваченной из дому на случай встречи Нового года в скудных краях. Пришедшему с пустыми руками ничего не оставалось, кроме как тихонько улечься в своём углу. Он уснул, как провалился.

Вернувшись утром в аэропорт, он удивился открывшейся картине: народу там прибавилось, быть может, вчетверо или впятеро против вчерашнего, и не только в зале ожидания, но и во всех остальных помещениях и даже на лестницах жили люди: одни, в обнимку с вещами, лежали или сидели прямо на каменном полу, другие, неприкаянные, слонялись из угла в угол, неловко перешагивая через тела. От стоек регистрации доносилась перебранка, и во всей толпе чувствовалось электричество. Голоса, какие удалось различить, вели две темы: многим, кому отказали в законной регистрации на рейсы, отвечали многие же, успевшие отведать полёта и выпущенные поразмяться на промежуточной посадке да так и оставшиеся на земле, оттого что их самолёты вдруг улетели с другими пассажирами.

Причина неразберихи выяснилась скоро: местную детвору (вестимо, избранную, не от простых родителей), отправлявшуюся ни много ни мало, а на кремлёвскую ёлку, распорядители обеспечили билетами в далёкий столичный дворец, но не билетами на самолёт, и праздник для неё рушился; тут, однако, подвернулись два «Ту» сообщения Владивосток — Москва, севшие на дозаправку, и чадолюбивое начальство аэродрома, а то и другое какое-нибудь, куда более высокое начальство, приняло изумительное по изяществу и красоте решение отправить детей вместо владивостокских пассажиров, неосторожно покинувших свои насиженные кресла на борту.

Так в аэровокзале разом появились две сотни взбудораженных невезением (и не везением) обозлённых людей, которых теперь следовало бы отправить в Москву в первую очередь; из-за отсутствия лишних самолётов сделать это было возможно, только посадив их на чужие места, опять-таки отказав законным претендентам, и так далее и так далее, и этой цепочке не виделось конца, и никто из имевших билет не был уверен, что улетит хотя бы когда-нибудь.

Внешне многое оставалось будто бы на своих местах — очереди пассажиров, копошение служащих, катание самолётов за окном, — но всё это было чужой материей, помещённой в чужое, не знающее красных чисел календаря время, замечаемое одними билетными кассирами; для простой публики время шло другое и по-другому, торопясь к неминуемому новогоднему рубежу, и Свешников, поняв, что с его билетом на четвёртое число можно просидеть здесь и до четырнадцатого, начал действовать. «Придётся надуть щёки», — озорно подумал он. Командировка его была выписана в крупнейшую в этом конце страны войсковую часть, начальник которой не слишком прихвастнул, назвав себя при встрече хозяином края, и ссылка на государственную важность своей миссии вполне могла бы помочь Свешникову. Его коллеги пару раз выходили из подобных положений нахальными звонками в обкомы партии и в местные управления КГБ, по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», и он, решив воспользоваться их опытом и зная, что умеренное фанфаронство никому не повредит, приготовил в качестве самого весомого довода ссылку на необходимость до конца года, то есть в оставшиеся три дня, лично отчитаться в ЦК.

Первый звонок, в обком, результатов не дал — оттого, возможно, что день был выходной и у телефона дежурил клерк, неспособный проникнуться важностью момента. Не лучше вышло и со вторым: Свешников хотя и встретил с первых же слов понимание и даже скоро увиделся с одним из комитетчиков, спешно приехавшим

в аэропорт, но дальше этой встречи дело не пошло: увидев, что делается в аэровокзале, гэбист, сникнув, сокрушённо проговорил: «Вот если бы вы были нашим сотрудником...» Быть таковым Дмитрий Алексеевич всё же не собирался.

Дважды потерпев неудачу с одним и тем же верным сценарием, Дмитрий Алексеевич приуныл: он не считал себя мастаком на авантюрные выдумки, а подсказки ждать не приходилось; оставалось лишь мыкаться наравне со всеми, надеясь на случай. Самолёты на Москву уходили по вечерам, и он придумал не появляться на следующий день в аэропорту, с его скверной аурой, по меньшей мере до обеда. В конце концов грешно было бы не осмотреть, пусть и бегло, незнакомый город; этому способствовала и погода — мороз и солнце.

Мороз же часа через два прогулки и загнал Свешникова в кинотеатр.

Довольно долго он скучал на фанерном креслице в полупустом фойе — до тех пор, пока перед ним не остановилась, разглядывая афишу на стене за его спиной, женщина, черты которой показались ему смутно знакомыми: определённо, он уже где-то видел эти широко поставленные круглые глаза — такие лица не повторяются. «Неужели, — грустно подумал он, — неужели я так давно живу в этом городе, что уже начал узнавать туземцев?»

Она перехватила взгляд, и ему пришлось нерешительно поклониться.

— Скорее всего, в аэропорту... — пробормотал Дмитрий Алексеевич, вставая.

Женщина была почти одного с ним роста.

— Увы, мы товарищи по несчастью, — будто нехотя согласилась она.

— Те, что — по счастью, в этих местах, видимо, не водятся.

— Те — вообще не водятся. Не расстраивайтесь. Улетим когда-нибудь.

У неё была особенная манера говорить — так наклоняя голову, чтобы смотреть снизу вверх. Странно было, что он

не узнал её сразу, хотя ещё в аэропорту обратил внимание на то, как свободно держится эта голубоглазая шатенка, выделяясь среди хмурых фигур, как открыто и без печали, к которой так располагали события, смотрит на людей, неспособных сделать ей добро.

— Когда-нибудь! Неужто вам некуда торопиться? Вы что же — из дома или домой?

— Домой, домой. Дочка ждёт, одна-одинёшенька.

«Теперь она станет показывать фотокарточки», — с неудовольствием решил Свешников. Ему следовало бы спросить что-нибудь о её дочери, да было скучно, и он промолчал, гадая, хочется ли ему теперь случайных знакомств, каким он уже обязан был двумя неудачными женитьбами; нынешнее, правда, могло бы скрасить вокзальные бдения.

Затянувшуюся паузу очень кстати прервал звонок.

Картина попалась, конечно, средняя (конечно — потому, что он ничего не ждал найти в провинции, когда и в столице приличные зрелища были доступны только избранным), и по выходе им не нашлось, что обсудить, а осудить — не нашлось настроения.

— Мы как школьники, — сказала женщина. — Прогуливаем уроки.

— А от контрольной не отвернулись, и заботы остались при нас, — отозвался он, поморщившись при мысли о том, что о заботах и хлопотах, из которых составляет бытие неущербного человека, сейчас не может быть и речи: его судьбою управляет кто-то другой, а ему, пешему пассажиру, остаётся лишь сложа руки ждать оборота колеса.

— Кто-то улетает же, — неуверенно проговорила она.

«И неизвестно, чей самолёт разобьётся, — вдруг подумал Дмитрий Алексеевич обычно отгоняемую мысль. — Кто знает, спасает или губит нас задержка?» Ещё накануне он поймал себя на том, что вслушивается в аэропортовские объявления, ожидая известия о пропаже самолёта, на который сам только что рвался: ему это обещало бы благополучный полёт, оттого что в одном и том же месте

никак не могли случиться подряд две катастрофы. Совсем не боясь летать, как другие не боятся, несмотря на жуткую статистику дорожных аварий, ездить в машинах, он всё-таки верил, что, имея дело с авиацией, нельзя ничего менять, своевольничая (как говорили — «перетакивать»), а только — предоставить событиям развиваться своим чередом. Всякий из нас не однажды слышал истории о том, как некто опаздывал на рейс или просто, передумав, сдавал билет — и потом узнавал о крушении своего самолёта; сданный же билет покупал наверняка тот, кто своей волею что-то переменял в последнюю минуту. Так и сегодня, торопясь, можно было улететь, лишь оттеснив кого-то — и переняв его участь. На другой чаше весов лежали вещи, жизненно не важные — потеря нескольких суток, новогодняя ночь в убогой гостинице, тоска, — и, думая о том, стоит ли со всем этим считаться, Свешников то беспокоился всерьёз, то удивлялся ничтожности нынешних переживаний: независимо от их глубины он рано или поздно, тем путём или этим, но добрался бы до места, и ещё неизвестно, где вероятнее всего было стать участником дурных происшествий — в полёте над Сибирью или в родных кварталах. Не секрет, что путевые приключения часто меркнут перед тем, что может с нами случиться — и случается — дома. Иное дело, что в беде или в болезни всяк стремится в своё гнездо.

— Кто-то улетает, а... а чайки умирают всё же — в гавани... — произнёс он знакомую со студенческих лет формулу, не поставив в конце точки: как если бы ждал отзыва на пароль.

— А медведи — в берлоге? Не уверена. Однако надо же — вы вспомнили это кино! Хотя в действительности у птиц, наверно, всё не так. Нельзя понимать буквально...

Если понимать буквально, он никогда не задумывался ни над тем, где выпускают дух чайки, ни даже над тем, как они болеют (неужели — с затыжным кашлем и одышкой или с долгими болями?) и где в случае хвори могут отсидеться денёк, как если бы считал, будто они, едва захворав, тотчас же и умирают, на лету, и только сейчас

заподозрил расчётливую жестокость стай, способных попросту заклёвывать своих немощных и больных.

— Мы, наверно, и книги читали одни и те же, — предположил он. — Выбирать было не из чего. Вспомните, что это были за годы: тогда всё это — попасть на просмотр кино, послушать джаз, достать хорошую книжку — всё было событием. Я и в командировки езжу ради книжек: в каком-нибудь захолустье иной раз попадается то, о чём мечтает пол-Москвы.

— Кстати, вы партийный? — вдруг вполголоса спросила она.

Свешников рассмеялся: ему ещё не приходилось сталкиваться с тем, чтобы женщины в первый час знакомства спрашивали о подобных вещах — чтобы вообще спрашивали. Она, услышав в ответ отрицание, объяснила, словно оправдываясь:

— Мне показалось, будто вы — не из рядовых.

— Даже не из унтеров, — всё ещё весело ответил он. — Впрочем, я боюсь запутаться в полковых сравнениях. Тут бы сгодился более отвлечённый текст.

— Что вы, я нечаянно. Женское любопытство. Но можно поговорить и о погоде, да?

— Как говорят англичане, прекрасная погода, не правда ли, если бы не дождь, не так ли? Но, по крайней мере, лётная. Ненастье многое оправдало б, и мы с вами, понимая, что винить в задержке некого, любили бы всех людей на свете.

— Так не пора ли вернуться к ним? Проведать вокзал?

— Мы там умрём с голоду. Давайте прежде пообедаем.

Слово «вокзал» прозвучало словно бы в противовес «гавани» и «аэропорту», и Дмитрию Алексеевичу вдруг показалось, будто он услышал запах лёгкого дымка, говорящий, что проводницы уже готовят чай. От мимолётной шалости воображения потеплело на душе, и он уже готов был затосковать по обычно далёким от него предметам — паровозам, переполненным вагонам, станционным водокачкам. За свой век он не отведал бедняцкой романтики переездов по российской глухомани с их безнадежными

ожиданиями на маленьких станциях, где на фанерных диванчиках терпеливо коротал долгие часы, а то и сутки, измученный жизнью люд: кто спешил на похороны, кто возвращался из лагеря либо, напротив, ехал на свидание к заключённому, кто просто бродяжничал, спасаясь от алиментов или тоски, а кого всем миром отрядили в Москву за колбасой. Его путешествия обычно обставлялись иначе: для командировок существовала авиация, а к железной дороге Свешников обращался лишь во время отпусков, чтобы достичь ухоженной благополучной Прибалтики, куда всей езды выходило — одна ночь.

Неожиданная его знакомая, напротив, могла бы много рассказать о прелестях путей сообщения: её сёстры жили в разных городах, и все они исправно навещали друг дружку.

— После институтов девчонок распределили, как нарочно, вопреки алфавиту, — объяснила она. — Татьяне выпал Новгород, а Нине — Таганрог. Одной мне посчастливилось остаться на свою букву.

Так он узнал, что её зовут Марией.

Они сидели в невзрачном, какой попался первым, ресторанчике, заказав по солянке и ромштексу с гречкой. Свешников хотел угостить свою даму вином, но та отказалась, боясь расслабиться перед борьбой за посадочный талон; сам он, имея в виду ту же борьбу, взял водки.

— Изрядная, по нынешним временам, семья, — заметил он.

— И по тогдашнему жилью тоже. Мы жили вшестером в двух комнатах, довольно, правда, больших, так что по праздникам вся московская родня собиралась у нас, в Харитоньевском. Казалось, так останется навсегда: бабушка, дядя с тётками, дети... Но как-то быстро вышло так, что кто умер, кто переехал, и в Москве осталась я одна.

— Вы говорили, будто у вас есть, о ком заботиться.

— Это уже новый круг. Есть, конечно: у меня барышня на выданье.

Заботиться... Он вдруг сообразил, что его шансы вовремя улететь уменьшились вдвое после встречи с этой женщиной: теперь уже неловко было бы хлопотать за себя одного.

— У вас, я смотрю, женское царство: сёстры, дочь... А между тем первым вы должны были бы родить мальчишку.

— Кажется, так и было бы... Теперь уже не узнать. Но стойте, почему вы так решили?

— По внешности.

Не ведая пока верных примет, Свешников замечал, что обычно угадывает пол первого у женщины младенца; ему требовалось лишь понять, кому что идёт к лицу: одной — воспитывать мужчину, другой — возиться с бантиками.

— По какой такой внешности? — насторожилась Мария.

— Трудно сказать. Тут нет прямых соответствий. Вот при ваших таких мягких чертах...

— Девочка же, — почти выкрикнула она срывающимся голосом.

— Сами сказали: вторая. А с первыми я редко ошибаюсь: просто вижу, чего не может быть. Это что-то наподобие того, как язык иной раз не поворачивается выговорить какое-то слово, а вот противное по смыслу — пожалуйста.

— Своего вы тоже угадали? Невесту, наверно, выбрали такую, чтобы принесла сына?

— Да ведь нету у меня своего.

Он замер, подумав, что сказал лишнее и сейчас начнутся долгие расспросы: прежде он не откровенничал с незнакомыми женщинами, даже зная, что они никогда больше не встретятся и не услышат друг о друге; Мария, однако, промолчала, и он с облегчением переменял тему, чтобы не пришлось рассказывать ни о своём неудачном выборе, ни о странном семейном устройстве или о том, что одиночество ему не в тягость — а тогда уж поставить крест на продолжении доброго знакомства. Мария же, подавшись вперёд и заглядывая в глаза, тронула его плечо кончиками пальцев. Поняв машинальность жеста,

Дмитрий Алексеевич всё же замер в ожидании, но она уже отвлеклась на другое.

Между тем пора было бы поехать в аэропорт. До ближайшего вылета на Москву оставалось несколько часов, но Свешников внезапно забеспокоился, вообразив, будто без него произошли какие-то важные события вроде объявления дополнительного рейса. Обидно было бы, выйдя на перрон, узнать свой удаляющийся поезд.

Тревога, разумеется, оказалась напрасной. В залах они увидели всё ту же толпу, всё ту же напрасную толкотню у стоек, за которыми сейчас даже не было служащих, и всё ту же усталость на серых лицах, заставившую Свешникова снова устыдиться и своей спокойной ночёвки, и славного начала дня.

Осматриваясь, они остановились недалеко от входа, рядом с расположившейся на полу женщиной, кормившей грудью ребёнка; тут же четверо бородатых мужиков, яростно лупя костяшками, играли в домино — и ещё двое игроков ожидали своей очереди. К Свешникову осторожно подступил бледный солдатик с пушечками на погонах и, краснея и озираясь, попросил рубль на «хоть какую еду». Мария растерянно уставилась на него, а Дмитрий Алексеевич, сам покраснев, протянул мальчику трешку.

— Ребятам всего-то, кажется, выдают по три рубля в месяц на махорку да леденцы в полковой лавке, — проговорил он, когда тот отошёл. — Представьте, что за катастрофа для них эта история!

— Он же ровесник моей Наташки... — произнесла Мария с такой горечью, что он растерялся. — Верно говорят, что свой возраст лучше замечаешь по тому, как растут дети.

— Выходит, бездетным легче? Пусть сомнительное, но утешение. Только, знаете, возраст — это другие годы, которые наблюдаешь словно издали, а даты вычитаешь одну из другой на бумажке, зато вблизи, сейчас, время течёт по особенным правилам, и смотрите, декабрь на исходе, а у меня такое чувство, будто Новый год либо никогда больше не настанет, либо — давно прошёл. Как будто ему больше нет места в календаре.

— Вот и я — даже боюсь вспоминать, какое сегодня число. Который, кстати, час?

Молча сидевший подле неё на рюкзаке парень в телогрейке вдруг ответил который. И тотчас спохватившись, пересчитал на местное время.

— Это я по привычке поначалу назвал московское, — объяснил он, оправдываясь. — Восемь часов разницы, а я как уехал из дома, так часы и не переводил. Я живу под Москвой.

— Земляки, значит, — приветливо отозвался Свешников. — Интересно, где же, если точно, вы там обитаете?

— Я из Горького, — гордо ответил парень, и, не замечая, с каким трудом его собеседники сдержали смех, продолжил: — А вы сами откуда?

— А мы из Москвы.

Растерянно пробормотав что-то насчёт нужды взглянуть, нет ли чего нового на регистрации, парень поспешно растворился в толпе вместе со своим рюкзаком.

— Вот, голубчик, — после долгой паузы произнёс Дмитрий Алексеевич вовсе без улыбки, — как всё относительно. Отсюда, с расстояния в несколько тысяч, какие-то четыреста километров в сторону — суцая безделка, и считать не стоит, вот мальчик и козыряет: мол, столичная штучка. На местных девчонок такое, наверно, сильно действовало.

— Кажется, что уж тут особенного?

— Был ещё такой случай... Как-то я вместе со своим коллегой провёл пару суток в алтайской гостинице. Там как раз остановилась экспедиция Томского, кажется, университета — полдюжины первокурсниц с преподавателем. Они ехали не то на раскопки, не то на охоту за козявками, неважно. Только вот что замечательно: вдруг прослышав, что на одном этаже с ними живут два человека из Москвы, эти девочки бегали на нас смотреть. Представляете — они увидели живых москвичей!

— Бедный мальчик, как он смутился! — вспомнила Мария и вдруг, оживившись, воскликнула: — Смотрите, какие хорошенькие!

Она показывала на двух удаляющихся девушек, и Свешников рассмеялся:

— В молодые годы в подобных, примерно, случаях годилась этакая ковбойская шутка — реплика то ли из анекдота, то ли из кино: «Судя по спине, это лицо Гарри».

— Ах, да не о том. Посмотрите, как стильно они одеты: дублёнки — и валеночки. Такое и в Москве бы привилось, если б не вечные лужи, куда ни пойдешь. Какие уж там валенки!

— Вам бы они пошли, — пробормотал он, не глядя ни на юных модниц в новеньких катанках, ни на Марию, а мимо, дальше, туда, где народ столпился так плотно, что уже не понять было, какая на ком обувь, и тщетно пытаюсь вспомнить, что за догадка только что промелькнула в уме.

Реплика Марии сбила его. Без этой не пойманной важной подсказки оставалось лишь протискиваться вперёд, в самую гущу толпы, чтоб поучаствовать в безнадежной лотерее. Первый приз не мог достаться никому, но если бы кто-то всё-таки имел право надеяться на невероятный случай, то уж не он, гостиничный постоялец, а лишь люди из давно выстроившейся очереди, из тех, что ночевали подле, на полу, — измучились и отчаялись. Всё нужное, включая последовательность бытия, потеряло здесь лицо и, более не узнаваемое, смешалось с лишним и вздорным: стоило нарушить сущую малость в простом людском устройстве, как разладился и весь порядок жизни: часы со днями потекли по одному руслу, а освободившиеся от них мысли и случаи — по другому, незнакомому, и всему стало не своё, а чужое время, а то и не стало никакого.

То ли вмешалась непогода, то ли на борту находился особенный груз, только самолёт, и без того не имевший понятия о расписании, вольно обошёл ещё и со странами света, сев вместо Домодедова во Внукове — словно по заказу Дмитрия

Алексеевича, как раз в том конце города и обитавшего. По случаю кануна праздника таксисты заламывали бешеные цены, но это его не пугало, потому что здесь и на автобусе добраться было всего ничего. Мария поехала с ним до метро, и он, видевший в перемене маршрута некое предзнаменование, размечтался, как пригласит её на пресловутую чашку чаю (в действительности имея в виду совсем другие напитки, которые, будучи и сами хоть куда, не требуют подогрева) и как женщина, глядишь, загостится до Нового года. Впрочем, человек трезвый, он знал, чего стоят подобные мечтания, которым так сладко предаваться в долгой дороге, и, будучи уверен, что последний декабрьский вечер не причинит таких удовольствий, попутно прикинул, что без особой спешки добредёт до дома, примет ванну и, повалявшись с часок на диване, успеет до полуночи предстать перед привычной компанией с гостинцем — читателю излишне напоминать с каким.

Эта бутылка, так, несмотря на удобные случаи, и не откупоренная, накануне была единственной вещью, примирявшей его с перспективой впервые на своём веку отпраздновать смену лет не в знакомом доме, освещённом свечами и ёлочными фонариками, а на вокзале или вообще в облаках. Иные оптимисты склонны почти любую задачу воспринимать как приключение, вот и Дмитрий Алексеевич, к ним никак не принадлежавший, всё же смирился было — со своею, убедив себя в романтичности встречи Нового года под каким-нибудь развесистым кедром; тут-то, вдруг успокоившись, он и поймал ту слабенькую подсказку, что, брезжа в смутном отдалении, дразнила его уже сутки: сообразил, куда обратиться за помощью. Нам нет смысла, расписывая подробности, раскрывать его нехитрые секреты, тем более что и новая выдумка пропала бы зря, когда б авиакомпания всё же не устроила в последний день года добавочного рейса, чтобы вывезти — нет, не потерявших законные места пассажиров, на это у чиновников не хватило человеколюбия, а лишь тех, кто ещё вчера и не думал сниматься с места — кого вызвали телеграммой на похороны; таких бедолаг,

понашедших невесть откуда, набралось как раз почти на целый самолёт. Кроме них можно было бы взять на борт всего пять или шесть человек.

Правдами или неправдами Свешников с Марией попали в это число, но, устроившись наконец в салоне лайнера, Дмитрий Алексеевич обнаружил, что не испытывает по этому поводу необыкновенной радости, словно всего только получил причитающееся по праву — что-то вроде мелкого долга, возвращённого честным человеком. Многое, пришедшее было в голову в беспорядок, заняло свои давнишние места, и никак нельзя было отделаться от ощущения невзаправдашности всей истории, кое-какие из разыгранных сцен которой уже казались попросту приснившимися; Дмитрий Алексеевич временами ожидал даже, что вот-вот проснётся от, скажем, выстрела или падения с высоты (что в нашем сюжете скорее пришлось бы к месту), как все мы, оберегаемые сердобольными постановщиками ночных кошмаров, неизменно просыпаемся за кадр-другой до трагической развязки. Понимая, что приснившиеся персонажи обыкновенно не покидают пределов сновидений, он вполне приготовился к тому, чтобы на завтра увидеть себя в утренней спальне одиноким.

В его представлении (возможно, только нынешнем, но ведь никто и не живёт — завтрашними) случившееся на краю света одному этому краю и принадлежало, и он сразу не осознал ту малость, что милая женщина, смягчившая своим появлением часы его безнадёжного ожидания, живёт в одном с ним городе, а может стать, и в одном квартале. Он, конечно, собирался, прощаясь, обменяться с нею номерами телефонов, как обменялся бы и с любым попутчиком, но был совершенно уверен, что не позвонит и не назначит встречи, — удивляясь, однако, этой своей уверенности, противоречащей простой логике: до сих пор ничто не мешало — и всё вело к их сближению. Обстановка аэропорта, и то, что случалось в ней, и действовавшие там лица, включая массовку, не могли

иметь отношения к обстановке и происшествиям его подлинной жизни, и ему попросту не приходило в голову продолжить это, в общем-то, уличное, знакомство, хотя прежде он и не видел зазорного в дорожных завязках романов (но не в дорожных романах). Между тем женщина была пока рядом, и, наверно, достало бы всего нескольких слов, чтоб удержать её. Вместо этого ему вспомнилась поговорка «Седина в голову — бес в ребро», которую он повторил с издёвкой над собою, справившим полувековой юбилей; насмешка эта получилась, однако, натужною: бес и раньше вертелся рядом, подхихикивая над потешным браком, и напрасно было, оправдываясь, напоминать ему о договоре с законной супругой, дававшем обоим свободу; если что и надоело Дмитрию Алексеевичу в жизни, так только эта ненастоящая свобода, обернувшаяся пустотой вокруг. О чём-то подобном он, кажется, проговорился Марии, отчего потом стал избегать упоминаний о будущем — не их общем, а о наступающем времени вообще — словно бы из суеверия, из боязни спугнуть неверную удачу или поспособствовать какой-нибудь пакости вроде краха сомнительного гостиничного благополучия.

После взлёта он всё же признался — скорее, самому себе: мол, славные были дни, — оставив в уме то, что единственно славным было лишь присутствие женщины; он стеснялся делать комплименты. Прочее в его скорых воспоминаниях выглядело удручающе — и город, вид которого наводил на мысль о зряшности путешествий, и несчастные несостоявшиеся пассажиры, и вся ситуация в аэропорту, едва ли возможная в другой сколько-нибудь развитой стране. И всё же, лишаясь этого присутствия, он не слишком печалился, уже начиная жить московскими заботами, постепенно выплывавшими из незначительной дымки; новейшие вольные фантазии потихоньку отступали на второй план, становясь прозрачными, а вернее — в ту же дымку и погружаясь, что вполне отвечало духу и дорожных неудач, и дорожных увлечений,

в согласии с которым чего не было, того и не оставалось; грешно было требовать от судьбы даже и не большего, а просто иного.

Судьба вопреки ожиданиям оказалась в этот день щедрой на подарки: мало того что чудом усадила в самолёт, так ещё и, нарушая правила, развернула этот самолёт к его, Свешникова, дому. Такому знаку нельзя было не внять, и тогда-то Дмитрий Алексеевич и навоображал себе любовных приключений.

Потерять ли завтра женщину в своём мире или сегодня оставить там, где нашёл, в чужом, — вещи были несопоставимые. Граница между мирами проходила возле входа в метро, откуда Свешникову оставалось до своей двери немного минут ходьбы, и он не удержался от приглашения.

— Последняя прямая, — без улыбки известил он, имея в виду свой с этой минуты одинокий путь.

— Не так уж далеко разъезжаемся, — сказала она, но Дмитрий Алексеевич не стал выяснять, что значит в её представлении недалеко, а словно бы возразил:

— Но и в таком случае потеряться — проще простого. Или нечаянно забыть. Войдёте в дом, а там всё то же и так же, как было до отъезда, и сразу вернётесь к тому, что и как было, и к тем же окружающим. В тот самый момент, когда дочь вам откроет...

— Её, наверно, ещё нет дома.

— Вот как. Значит, не так уж вы и спешите. Тогда... тогда — не хотите ли чашку чаю с дороги? Или кофе? Когда-то ещё доберётесь...

— Боюсь, затянется.

Не помня точно, в каком виде оставил квартиру, он отворил дверь с опаской; впрочем, с порога никто бы не увидел, что делается в кухне и в комнатах: перед вошедшим открывался только узкий коридорчик, длина которого удачно удваивалась большим, почти до потолка, зеркалом в торце.

— Если довести мысль до конца, — сразу придумала Мария, глядясь в зеркало, — надо бы повесить и второе — напротив, прямо на входной двери.

- Для гаданий при свечах.
- Для умножения числа гостей.

Мария, пока он вешал её одежду, быстро прошла вперёд, снова заставив забеспокоиться, не попадётся ли ей на глаза нечто непотребное: идя следом, он не мог вовремя вмешаться, обнаружив всё-таки грязную посуду или брошенное бельё; в доме, однако, был порядок, да и женщину пока интересовало другое: телефон.

Дочери и в самом деле не оказалось дома.

- Кофе, чай, коктейль?

То, что он прямо с дороги мог принимать гостей, насколько её не удивило.

— Ванну, — ответила она. — Ну, ну, не пугайтесь, это всего лишь мечта странника. Что же до угощения, раз уж вы предложили, то надо, наверно, выпить за хеппи-энд, которого могло не быть.

- Не могло быть ни в коем случае.

— Вот именно. И за хеппи-энд, и за наше знакомство, и на прощанье.

«Прощание» так неприятно резануло слух, что Свешников даже не возразил в выбранном было ироническом тоне, а выдал какое-то невнятное междометие, впуская взмахнув руками; протест, впрочем, прочитался ею верно. Он же, тотчас оправившись, постарался загладить впечатление от своего невежливого возгласа, добавив к начатому ею перечислению и наступающий Новый год, и возможность воображать эти тосты, произносимые, не лишне напомнить, даже и не за пустым столом, а вдали от него, стоя посреди комнаты, когда гостья ещё не выбрала, куда сесть, а хозяин дома не определил, в какую сторону шагнуть — к бару ли за бутылками, на кухню ли за чайником.

— Вдобавок и зигзаги судьбы, — проговорил он. — Мало того, что мне казалось, будто весь этот кошмар с вылетом подстроен неспроста...

— ...а ради нашей встречи, — перебила она с явной насмешкою.

— ...а ради нашей встречи. Да не один только вылет: пришлось ведь повернуть самолёт! Вот вы говорите: прощанье, — добавил он с обидой в голосе, — а, заметьте, многое сделалось так, чтоб его-то как раз и не случилось. Иди всё как положено, мы и вправду распрощались бы где-нибудь на вокзале. Представьте, сейчас мы ещё тащились бы на электричке из Домодедова. Благословим же нелётную погоду. Предлагаю тост за её капризы!

— Недостаёт фантазии, — сказала Мария, — вообразить в руке полный бокал.

Но Дмитрий Алексеевич уже наливал.

То, что их приключения были неслучайны, он придумал сию секунду — и уже верил, будто знал это с самого начала. Тогда, имея в кармане билет без даты вылета, он вовсе не надеялся улететь тотчас, а приготовился к тому, что придётся как-то изощряться, чтобы не застрять в чужом городе; это было бы в порядке вещей, но дальнейшее уже озадачивало. Чудовищный случай с высаженными едва ли не на лету пассажирами, небывалое везение с гостиницей, взятой без осады и боя, знакомство с женщиной в таком месте, где ей совсем не следовало бы находиться, и наконец приземление на неожиданном аэродроме — на первый взгляд независимые, эти события в его воображении складывались одно к другому в стройный ряд, словно предупреждая об ещё одном, самом замечательном, которое он теперь, казалось, угадал и мог приблизить.

В новой действительности он (это пригрезилось немедленно) получил силу вести себя настолько вольно, что при желании даже мог бы перемещать события, приближая одни, а другие отсылая в несусветную даль; особенно не гадая, он решил, что где-то иссякли песочные часы — впрочем, и новый год был на пороге, — и что даже если их, часы, простодушно перевернуть, то ничего уже не исправишь: посыплется совсем другое время, а то, что было, — вот он, конус песчинок: разбей стекло и построй песочный замок на берегу, — тот, возможно, простоит до полнолуния.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Никто из путешественников не по обязанности, а по призванию, не знает в подробностях, с чем встретится в выбранных краях, — иначе не стоило бы и путешествовать; есть удовольствие в том, чтобы, ожидая нового, не ведать чего. Оставляя дом, можно позаботиться о ночлегах и пище, изучить карты и путеводители — и всё равно пребывать в полнейшем неведении относительно того, с кем придётся встретиться на новом месте, что за жизнь предстоит там вести — и жизнь ли. Именно это ещё задолго до сборов беспокоило Свешникова, не представлявшего себе, на что будет покупать «там» еду, какую крышу увидит над головой — не брезент ли палатки и в прорехе — звёзды, какую свободу получит или какой — лишится. Противоречивые рассказы о пособиях, чьих-то удачах, безработице и случайных заработках мало что значили, исходя от людей, пусть и опытных, но как раз таких заработков и не отведавших. С деньгами прояснилось только по другую сторону границы, в лагере; разобравшись что к чему и успокоившись на сей счёт, Дмитрий Алексеевич задался новым вопросом: уже не как, а чем жить. Этот — был посерьёзней, ответа же не знал опять-таки никто, оттого что речь шла о вещах неосязаемых, а для большинства будто бы и вовсе второстепенных — для многих, только не для него, хорошо понимавшего, что отпускное настроение первых дней скоро истает, сменившись унынием от вынужденного безделья. Дома его выручили бы книги, но здесь с чтением он предвидел катастрофу. Разглагольствуя перед отъездом о библиотеках и русских книжных магазинах, которых в его представлении было не счесть на востоке Германии, Свешников заблуждался: в первом на пути городе не нашлось ничего подобного, не стоило надеяться и на другие, кроме, быть может, самых крупных, университетских. Вот туда он теперь и мечтал податься, благо после окончания курсов всё равно следовало искать постоянное жильё; перемена города была необходима, хотя и не обеспечивала верного успеха — вообще ничего

верного. Определённые очертания имело только прошлое, и Дмитрий Алексеевич остерегался строить планы. Он, прежде всего, не знал, останется ли в его завтрашней жизни Мария. То, что они снова сошлись, значило мало: он не сумел спросить, по-прежнему ли она одинока, а Мария не подумала сказать, останется ли с ним ещё на день, на год или не останется вообще, — словно не услышала его вопросительного «теперь — навсегда».

И всё же мир с этого дня стал выглядеть достойнее, о чём хотелось кричать, словно о собственном достижении; поделиться, однако, было не с кем. В прежние времена Дмитрий Алексеевич выложил бы новости Денису Вечеслову — сперва позвонив, а затем ещё и в застолье, однако немецкий телефон, при его бешеных тарифах, для душевных бесед не годился; не годилась и почта, уже — российская, из-за обыкновения которой выдерживать заграничные письма неделями дело непременно кончилось бы тем, что Свешников, получив наконец ответ, мог уже и не вспомнить, на какие его слова отвечает старый друг; отклик же ему надобился — немедленный, отчего вместо Вечеслова приходилось уповать лишь на второго корреспондента, того же Дмитрия Свешникова, благо, что и он знал Марию и что почта к нему ходила — иная.

«Ну и каково тебе, столичному жителю, в германской глуши? — недобрым, как показалось, тоном вопрошал московский тёзка, который, к неудовольствию Дмитрия Алексеевича, приготовившегося было к письму, но теперь вынужденного не спрашивать, а отвечать, вдруг написал первым, словно его новости могли быть важнее. — Тебе, находившему налёт провинциализма даже в Питере. Ведь если ваша недавняя столица Бонн провинциальна по определению как “маленький городок на Рейне”, то что говорить о гэдээровской глубинке, в которую ты ринулся с восторгом институтки?

Нет, мне следовало написать не “с восторгом”, а “с лёгким сердцем”, ведь ты мало того что никого не оставлял (бросал, покидал — лишнее зачеркнуть), но ещё и впрямь

рассчитывал на духовой оркестр на перроне, цветы от бургомистра и аудиенцию у епископа. Тебе не повезло: эмигрируй ты в Америку, на тебя там посмотрели бы с сочувствием: человек, что ни говори, вырвался из империи зла, — но ты угодил даже не вообще в Германию, а в ГДР, окраину той же самой империи, к тем же самым, а скорее, ещё более отпетым, чем наши, коммунякам, — и объясняешь своё явление бегством от их же родного режима! Представляю, как они рады дорогому гостю.

Наверно, ты держал речь на вокзале, что-нибудь вроде: “Я рад, что выбрал свободу!” Не радуйся, это было твоё последнее выступление. Ты хотел бы что-то значить — так выступи же в печати, по радио, в телепрограмме. Не удастся. Что-то не видно там никого из ваших: кому они интересны? Кому — ты? Чужой, безъязыкий — кто ты такой? Безликая эмигрантская единица».

Свешников усмехнулся было — вот, мол, нашёл чем пронять, — но скоро и согнал с лица улыбку, и в сердцах едва не бросил письмо: тёзка ударил ниже пояса, ведь именно с таким отношением — а кто ты такой? — Дмитрий Алексеевич столкнулся в Германии в первые же дни. Он и сам подыгрывал этому, когда писал в анкетах о себе как о безвестном инженеришке, так до старости и не пробившемся в люди: иного он не доказал бы. Честнее было б (его так и подмывало) на вопрос о профессии отвечать: читатель; при этом он даже и не слишком бы шутил, будучи вполне готовым посвятить остаток жизни этому непростому ремеслу. Письмо из Москвы было, однако, не сродни анкете, и с задевшим его выпадом пришлось согласиться: он здесь — никто. Правда, никем он стал ещё дома — шефом распушенной лаборатории, мастером ненужных дел.

«Мы, на старом месте, как бы то ни было, остались при своём, — двинулся он дальше, — и живём без потрясений. Вот и мой друг Денис пусть и лишился удобного кресла, а не тужит: прибился к частной книготорговле и даже заимел долю в частном же издательстве: как у нас выражаются, нашёл свою нишу. Впрочем, что было искать — он

давно сидел в ней. Если помнишь, это при его помощи мы в своё время приобретали дефицитные книги, каких и на чёрном рынке надо было ещё поискать. Дела его будто бы пошли, и жена Тамара получила возможность небрежно бросить при случае, что подумывает о недвижимости где-нибудь у тёплого моря. А ты, с твоими амбициями, разве с такую же смелостью строишь свои планы? То-то же».

«Экий нахал», — удивился Свешников, нашедший тут настоящий плагиат: о новом занятии друга и о мечтах Тамары он уже знал — и сам же, кажется, проговорился.

— Ничем не хуже казённой службы, — сказал тогда Вечеслов о своём новом поприще.

— Казённой, — со значением повторил за ним Дмитрий Алексеевич, частенько подшучивавший над скучной карьерой своего давнего товарища: тот сидел и сидел в чиновничьем кресле, и судить о его успехах не мог никто.

Их пути разошлись после окончания институтов: Свешников, почуяв живую работу, не воспротивился назначению в научный центр, о профиле которого никто не мог сказать толком (и не просчитался: мало того что увлёкся, но и скоро пошёл в гору), Вечеслов же, которому польстило предложение остаться на кафедре, проработал на ней пять лет, потом стал референтом в министерстве — да там и прижился. Дмитрий Алексеевич попрекал его, не приобретающего ни опыта, ни умения, пытался внушить: «Ну что-то человек должен уметь лучше всех, чтобы в чёрный день не остаться без куска чёрного хлеба: водить машину, класть печи, рыть колодцы», — и тот соглашался, но проходило время, и всё оставалось как было. «У меня ж семеро по лавкам», — отшучивался Вечеслов, оправдывая свою неподвижность, хотя до семерых ему было всё-таки далеко. Местом для подобных — да и всяких других — разговоров всегда бывала его тесная кухонька. Когда-то визиты друзей были взаимными, считаться было нечего, Свешников принимал даже чаще — и потому, что у него было просторнее, и потому, что оба любили джаз, а магнитофон Дмитрия Алексеевича был несравненно лучше, — но с женитьбой Вечеслова такой порядок изменился, оттого

что ехать одному к двум казалось им справедливее, нежели — наоборот, а с появлением ребёнка, затем — второго, жена Дениса и вовсе стала домоседкой. Когда же дети подросли, менять привычки стало поздно.

Вот и в тот раз: на дворе разыгралась непогода, а они втроём пригрелись за крохотным кухонным столом, слушая, как тихонько наигрывает Эррол Гарнер.

— Казённой? Да бесспорно лучше: ты теперь видишь результат своих усилий — неважно даже, с каким знаком. А ведь до сих пор твоему существованию придавала нужную остроту одна только неуверенность в завтрашнем дне.

— Вам бы, Дмитрий Алексеевич, только шутки шутить, а острая приправа, с одной стороны — то, что нужно после моего пресного прошлого. Хотя с другой — такая неуверенность вполне может воплотиться во что-нибудь материальное. Вернее, именно в исчезновение оно — если иметь в виду презренный металл. Многие относятся к таким сюрпризам спокойно, но мне не по себе от непредвиденных вариантов. Это лишь в тебе всегда билась авантюристическая жилка, и я даже опасаясь, не твоё ли место в бизнесе я занял.

— Уступаю, не раздумывая.

— А знаешь, мне как-то вдруг пришло в голову (пойди, посмотришь-ка в зеркало, в полный рост), что мы с тобой похожи на приказчиков: я — из керосинной лавки, а ты — по части мануфактуры.

— Это лезть или шпилька? Тебе, кстати, пошла бы косоворотка.

— Митя, — обернулась к Свешникову Тамара, — научи жить. После какой по счёту рюмки приходилось останавливать Дэна в детстве, отрочестве и юности? Ну году в шестидесятом?

— Мы познакомились раньше, — напомнил он. — Кстати, пойду, гляну в зеркало.

— Пойди, пойди — подтолкнул его Вечеслов. — Я к тому, что нет ли тут некоего знака?

— Приватное дело мне не потянуть.

— Спору нет, на хозяина работать куда проще. Да я и не стараюсь разубедить. В твоём уравнении столько неизвестных, что лучше не лезть с советами. Поезжай, поезжай в Европу, а мы, если разбогатеем, нагрянем в гости.

— Если разбогатеете, берегитесь: разве можно иметь деньги в России? Отберут как пить дать. Либо правительство, либо рэкетеры.

— Вывезем, всё, что есть, вывезем, — твёрдо сказала Тамара и засмеялась. — Смешно: мы рассуждаем так, словно речь идёт о деньгах не на две туристические путёвки, а по меньшей мере на виллу. А вот если на виллу... Знаешь, о чём я мечтаю? Купить маленькую гостиничку где-нибудь в Испании — там, я слышала, недорого. Глядишь, и обеспечили бы себе старость. Ты бы приехал помогать, и мы...

— ...жили бы в этой гостинице на берегу реки, — продолжил Свешников, — в доме с таким высоким бельведером, что и Москву видать...

— На берегу моря, и о Москве я не говорила.

— Замечательно.

— Остановка за малым, — заметил Вечеслов. — Выучить испанский.

Дело было за малым — выучить испанский и тогда стать портье или барменом, а заодно и шофёром при гостинице. Кое-какой опыт у Свешникова имелся: когда-то он провёл отпуск в Паланге, подрядившись возить на своей машине продукты для пансионата; работал он не за деньги, а за стол и комнату с видом на прибрежный лесок для себя и своей спутницы — иными словами, за путёвки. Всех обязанностей у него было — съездить с утра в два или три магазина; в какой-нибудь западной стране, он понимал, пришлось бы потяжелее — и посмеялся тому, как серьёзно воспринял неожиданные слова Тамары, немедленно примерив на себя и работу задаром, и изучение ещё одного языка, плюс к немецкому, неизбежному, потому что лишь через Германию и можно было бы попасть в придуманную гостиницу с башенкой; всего этого было многовато для пенсионера, и будь

его воля, он бы одним испанским и ограничился, чтобы всласть начитаться знаменитых и модных латиноамериканцев, прежде всего — Борхеса, о котором только и слышал: «Гений, настоящий гений» — и которого не читал, потому что в Союзе было трудно с любимыми книгами и потому, что с испанского переводили мало; немецким писателям повезло намного больше — и вот их-то Дмитрий Алексеевич не жаловал, всё повторяя: «Напиши “Игру в бисер” кто-нибудь из французов — какая тонкая могла бы получиться вещь!»

Тогда он не обратил внимания, а сейчас — припомнил, что Денис не отозвался на Тамарину выдумку: не возразил, не удивился — скорее всего, потому, что она уже стала известной целью, дальней, но достижимой. Это было в духе Вечеслова: сооружать всё основательно, с верной выгодой, без суеты — и молчком. Дмитрий Алексеевич говорил про себя в его адрес: кулак, кулак — несколько не осуждая, а сегодня после «кулака» задумавшись, не подрядиться ли и в самом деле на службу в отель, буде тот возникнет из ничего, и скоро решив: подрядиться, пожить в Испании, плохо знакомой по книгам. Единственной, кроме, конечно, корриды, испанской картинкой, нарисовать какую сумели его воображение и воспоминание о Крыме, был тяжело навьюченный ослик, бредущий сперва по горной дороге, а затем по узкой, до белизны высвеченной солнцем деревенской улочке, меж выложенных из камня оград. «А за углом, — присочинил он, — крохотный отель, и в дверях — скучающий портъе: я». До отеля, впрочем, надо было ещё дожить, потому что не завтра же друзья собирались обзаводиться недвижимостью — если и в самом деле всерьёз собирались, если были в состоянии; вероятно, самостоятельно, туристом, ему удалось бы попасть в те края раньше (найденная на скамейке реклама экскурсий обнадёживала), но тут всё-таки вместе с городком у моря предлагались и свой кружок, и тот самый ослик, и... Заменить многообещающее отточие было нечем, и это-то манило больше всего. За ним скрывались новые впечатления, каких

Дмитрий Алексеевич пока ещё не получил в Германии: родные Рига и Таллин оказались намного колоритнее города, в который он теперь попал и в котором если что и удивляло, так это скудость известных по книгам черт западного мира: добрая половина пространства была заставлена такими же, как на московских окраинах, панельными домами, кирхи пока не попались ему на глаза, ни одна, дневная публика одевалась невзрачно, вечерние же тротуары пустовали и реклама не полыхала над головой. Искомые приметы встречались ему как раз в Москве, пусть и не на каждом шагу, за границей же он ждал их непомерного умножения, а столкнулся — с отсутствием, так что впору было усомниться, в ту ли сторону пошёл. Впрочем, он давал себе отчёт, что нельзя искать в провинции того, что, быть может, присуще одним столицам: как Нью-Йорк — не Америка, или Москва — не Россия, так и Бонн или Берлин, тоже, наверно, имеют мало общего с предъявленной ему частью Германии — заражённой серостью, которая ещё недавно охранялась советскими войсками. Вот о чём нужно было бы написать в своём ответе — но нет, это была запрещённая тема: ему не хотелось бы подсказывать собеседнику доводы. Стоило только намекнуть тому, что не заметил пересечения границы — и последовала бы раздражённая отповедь, которую уже не так просто было бы не то что остановить, но и перебить осторожным напоминанием простой вещи: ты и сам, осторожно сидевший на месте, когда вокруг менялась страна, ты тоже не заметил перемещения.

Камень, егоже небрегоша зиждуущи, сей бысть во главу угла... Сегодня мало кто представляет себе, о чём это сказано, хотя перевод нередко вспоминают к слову: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою

угла». Цитата на этом месте обычно обрывается, за полным незнанием с продолжением, которое и нам придётся читать по писаному: «Всякий, кто упадёт на этот камень, разобьётся; а на кого он упадёт, того раздавит». Нынешнее состояние умов таково, что, прочитав слова Луки, пусть и в таком доступном виде, слишком многие соотнесут их лишь с инструкцией по технике безопасности, ибо кто из нас не видел плаката «Не стой под грузом»? Что же до главы угла, то и здесь требуются особые разъяснения. Конечно, нет более неблагодарного дела, нежели толкование истин, но, с другой стороны, брось человека посреди читаемой тобою страницы, как он увидит и какой-то свой угол, и свою главу, иной раз к углу вовсе не относящуюся и уже прочитанную. Безвольный супруг вспомнит не оправдавшую себя народную мудрость «Муж в доме — что глава на церкви», ребёнок вообразит многоугольный зал, где в каждый угол поставлено по мальчику, а бездомному померещится свой угол — свой, понятно, уже в новом смысле, то есть настолько свой, что его, угла, наличием определится ни много ни мало, а скорость течения бытия — в пределах от бестолковой суеты в поисках приюта до неспешности болезни. Имеющему где притулиться можно позволить себе степенные прогулки по окрестностям, а впоследствии и дальние поездки — с душой, спокойной от сознания, что теперь есть куда вернуться, что там, за дверью, ключ от которой лежит в кармане (можно проверить), его ждут стол и постель, а то и семья — правда, ужатая до предела, до единственного человека, не то что в те книжные времена, когда под одной крышей собирались большие, в три поколения, семейства. Да ведь в наши дни опоганено даже понятие крыши.

Никогда прежде Свешников не знал поисков угла: детство и юность прошли в просторной профессорской квартире, откуда он переехал уже в свою кооперативную, которую мог бы обменивать по вкусу, превращать во что угодно, от притона до лаборатории, съезжаясь и разъезжаясь с кем-то

и пусть теряя при этом то квадратные метры, то виды из окна, но не теряя дома. Иногда он жалел, что так и не воспользовался этими возможностями — обмен, затеянный перед отъездом из России, был не в счёт как уже отвлечённая операция с собственностью, возможный толк от которой сводился опять же лишь к утешению сознанием того, что в случае плохого приёма немцами найдётся, куда отступить, в тыл.

Не имея с чем сравнить и прочно не обосновавшись, Дмитрий Алексеевич пока не мог дать оценку заграничному гостеприимству; бесспорным было лишь то, что он не чувствовал себя бесприютным. Комната в лагере была заведомо временным пристанищем (сравнение с пансионатом ещё и потому оказалось удачным, что он прожил в ней как раз срок, какой прежде обыкновенно определялся путёвкой, двадцать четыре дня); шестиметровая каморка с двухэтажной железной койкой ждала его в новом общежитии тоже ненадолго, но вот за нею угадывалось уже постоянное, до конца дней, но непредсказуемое жилище в незначительном городе, русская библиотека которого уместилась на двух стеллажах.

Сказать, что именно он выигрывает, а что утрачивает, было пока трудно, несомненным и немедленным приобретением оказалась только возможность никуда не спешить, расположившая не к безделью, но к сосредоточенности, и всё-таки Дмитрию Алексеевичу часто приходило в голову, что его планы работать в одиночку, то есть без помех, что-то писать, слишком наивны, и что в действительности его умственные усилия никому больше не понадобятся, и что подлинная жизнь осталась за спиной, в России. Привыкший там видеть, как его идеи непременно и скоро воплощаются в нечто осязаемое, он приехал в Германию человеком без имени, чьи заслуги неведомы, а стариковские мысли мало кого интересуют (он всё время забывал, пускаясь в эти сопоставления, что и в Москве сейчас интерес к его работе упал настолько, что сама лаборатория перестала существовать).

Когда-то, в благополучные времена, невольно выходило так, что он, добываясь в работе заказанных вещественных результатов, предъявлял заказчику лишь половину возможного или сделанного, вторая же, невостробованная часть шла всё же не в корзину, а откладывалась им в некую кладовку памяти с тем, чтобы всегда была под рукою; эти запасы он мечтал когда-нибудь на досуге, на пенсии, привести в порядок, а быть может, и произвести из них какой-нибудь полезный продукт. Теперь он не только знал, где могут пригодиться его особенные математические методы, но находил в своём старом деле ещё и философскую сторону, на которую стоило бы обратить внимание; те, на кого он работал, или не догадывались о ней, или были равнодушны, а на самостоятельные штудии Дмитрию Алексеевичу недоставало ни времени, ни сил; он разумно отложил их до приезда в Германию, где уже, кажется, никто, кроме жены, не мог бы помешать этим занятиям, для которых требовались лишь трезвый ум, память и чистая бумага.

Но и с женою на первых порах всё устроилось как нельзя лучше.

О своей пробной поездке Дмитрий Алексеевич рассказал ей довольно пространно, в том числе — и о Захаре Ильиче с его собакой (сначала даже об одной только собаке и рассказал), и об одной паре из хайма, состоявшей, как можно было догадаться, в фиктивном браке, но живущей порознь (Мария, улучив момент, поведала на ушко, что и Захар Ильич по бумагам числится мужем энергичной нестарой особы, неравный брак с которой был затеян с единственной целью вывоза той, полукровки, из России; угодив таким нехитрым способом ближнему, возможно, небескорыстно, даже определённо небескорыстно, Захар Ильич поначалу справедливо опасался осложнений — как непредвиденных ходов со стороны условной супруги, вплоть до посягательств на стариковскую свободу, так и вынужденных долгих неудобств в быту, — но дело повернулось так, что если женщина безусловно выиграла, то и он, вопреки закону о сохранении материи, не потерял ровно ничего, неведомым образом сумев отделиться от спутницы). Подробности

их отношений совсем не заинтересовали Дмитрия Алексеича — к неудовольствию Раисы, вдруг насторожившейся и засыпавшей его целым ворохом вопросов, на которые он не сумел ответить. Они даже повздорили из-за этого.

Вскоре после вылазки троих мужчин в город на входной двери лагеря появился листок с именами отъезжающих — отправляли сразу шесть семейств, — а потом и комендант заглянула с вестью. Наутро, когда был подан автобус с прицепом для багажа, с нею прощались, как с хорошей знакомой, и были уверены, что и встреча на новом месте окажется столь же тёплой. Новичков, однако, не встречали вовсе. Высадив со всеми пожитками посреди уже знакомого Свешникову двора (он напрасно прислушивался и озирался — никто знакомый не соткался, как в прошлый раз, из воздуха), их оставили дожидаться незнамо кого и чего. Было тепло, сухо, и незадачливые новосёлы не роптали, а посмеивались: вот он, хваленый немецкий порядок. Прошло почти полчаса, прежде чем появилась та, кого ждали, — остриженная под машинку худосочная девица с лицом, уничтоженным белёсыми ресницами. Начав с извинения, она всё же не преминула ткнуть в приклеенное на двери расписание: до начала приёма оставалось ещё две не то три минуты.

Приезжие к этому времени, кидая нашедшуюся у Бецалина игральную кость, установили очерёдность, и хотя немка поманила с порога кого-то другого, первыми, согласно жребию, решительно пошли Литвиновы. Следующими были Свешников с Раисой.

Дмитрий Алексеич, успевший побывать в паре немецких учреждений, считал было, что все они одинаково стерильны на вид — с белыми стенами, современной холодной мебелью и ярким освещением, — но комната, в которую он теперь попал, скорее походила на советскую контору: вдоль стен стояли старые фанерные шкафы, а маленькое окно давало так мало света, что и днём не обойтись было без пары светильников полувекового возраста. Девица, здесь ещё более тусклая, чем на солнечном дворе, поднялась из-за стола навстречу. «Уж не собралась ли она обниматься?» —

с ужасом подумал он, на всякий случай ослабившись, и потом удивился её размашистому мужскому рукопожатию.

— Фрау Клемке, — представилась она и, снова вернувшись за стол, без выражения сообщила по-русски: — У вас разные фамилии.

— Вы правы, — так же бесцветно отозвался Свешников. — Я заметил это уже давно. Но в России такое не редкость.

— Я бы и под пистолетом не взяла его фамилию, — вдруг заявила Раиса.

— А вас я, кажется, встречала, — не обратив внимания на её реплику, обернулась Клемке к Свешникову: — Вы приезжали сюда? Зачем?

— Познакомиться с городом. Теперь нет ничего важнее своевременной информации.

Клемке состроила недовольную гримаску, и Дмитрий Алексеевич продолжил:

— В тот день меня даже пригласили зайти в одну квартиру. Уверяю вас, я остался доволен всем увиденным. Вам не стоит тревожиться.

— Но я-то не видела комнаты! — вскричала Раиса, отстраняя протянутый чиновницей ключ. — Я сама, понимаете? Насколько мне известно, нам вдвоём придётся прожить на пяти метрах несколько месяцев?

— Германское правительство бесплатно предоставляет комнату, в которой вы имеете право жить до окончания курсов по изучению немецкого языка. Потом вы возьмёте квартиру. Можно взять и раньше, это приветствуется.

— Я больна, у меня высокое давление и...

— Мы оплачиваем посещения врачей.

— Не стану же я жить в больнице! У меня высокое давление, гипертония, — с нажимом повторила Раиса, — и я чувствую себя прилично только после спокойного сна. Ночью мне необходимо отдыхать, но в одной комнате с моим мужем это невысказано. Этот человек зверски храпит и постоянно портит воздух...

Свешников, забыв возразить, привстал от удивления, но Клемке не повела и бровью.

— При моих нервах...

— Здесь есть русскоговорящий невропатолог. Я дам адрес.

— Что вы меня всё гоните к врачам? Пусть даже и к говорящим. Не делайте из меня сумасшедшую: я сама разберусь, когда и к кому пойти. Дело не во мне, а в этом господине.

— У меня хороший сон, — пожал плечами Свешников. — Сплю когда и где угодно.

— Вот и спи с кем угодно! — воскликнула его законная жена.

— Извините нас, — тихо сказал он стриженной девице. — Мы не должны выяснять здесь свои отношения. Я надеюсь, что всё будет в порядке.

— Вот ваши ключи. Учтите, что в доме тонкие стены.

— Что, и слова не сказать? — снова взорвалась Раиса. — Но здесь-то, в вашей комнате они, надеюсь, нормальные?

— Здесь вам поселиться нельзя.

— И эти нары! Значит, он по ночам будет мочиться на меня со своего второго этажа?

— Опомнись, Раиса! — не выдержал он.

Вряд ли на неё подействовал окрик — скорее, в этом месте придуманной ею пьесы предусматривался поворот действия, — только тон Раисы вдруг упал:

— Послушайте, Клемке...

— Фрау Клемке, — поправила та.

— Представьте, фрау Клемке, каково целыми ночами, не смыкая глаз, пролёживать бока на этой вашей этажерке, пока сосед раскачивает её, как лодку в бурю... Скажите, хайм переполнен?

— Мы это не обсуждаем.

— Не забудьте, что у нас разные фамилии.

Дмитрий Алексеевич подошёл к окну, выходящему, сквозь голый куст, на глухой забор. Глядя на болтавшийся там на гвозде обрывок провода, Свешников подумал, что неплохо было бы нарисовать на этих старых досках осеннюю кленовую ветку; идея, впрочем, принадлежала другому.

— Gut, — решительно сказала Клемке, и он очнулся. — Наша беседа затянулась. Сделаем перерыв. Сначала оформлю других, а потом посоветуюсь с социаламтом, как быть с вами.

— На мороз, на мороз, — выходя наружу, бодро сказала Свешникову Раиса. — Остудить горячие головы.

Ему не хотелось отвечать ей.

Их обступили, ожидая рассказа о приёме, и Дмитрию Алексеевичу пришлось спросить у любопытных:

— Знаете, что в своё время испортило москвичей?

Те не знали, и он, поскуцнев, сказал, что немецкая чиновница попросила время на размышление, а на вопрос Бецалина, чем же он так затруднил начальство, ответил, что Раиса пожелала располагаться на ночь непременно головой к востоку — весьма озадачив этим фрау Клемке, не сумевшую определиться по странам света.

— Я рассказал ему, что запад — где закат, — процитировал Бецалин.

— Ещё не вечер. В этом всё дело.

Итоги странной беседы с фрау Клемке оказались ещё более странными: когда наша рассорившаяся чета зашла в кабинет вторично, та, разведя руками и словно извиняясь, сказала, что может предложить им две отдельные комнатухи, но, увы, в разных квартирах. Свешников, опешив, не нашёл слов, а Раиса, ещё поломавшись для виду, согласилась будто бы с неохотой.

«Ещё одна страна чудес», — усмехался потом про себя Дмитрий Алексеевич, слегка разочарованный в хвалёной немецкой бюрократии.

С жильём Дмитрию Алексеевичу повезло дважды: в первый раз, когда после разыгранной Раисой дурной сцены их поселили раздельно, и во второй — когда у него в квартире оказался единственный сосед, Бецалин, а третья, большая комната осталась свободной — в ожидании

большой же семьи; он решил, что два холостяка в одном доме — совсем не худший вариант. Говоря строго, холостыми не были ни тот ни другой, но если с положением Альберта было всё понятно, то у Свешникова возникли трудности с объяснением — своего. «Так уж получилось», — невнятно ответил он на первый каверзный вопрос, дальнейших же не последовало, оттого что его супруга уже успела разболтать всё, что могла, женщинам; к счастью, из своих выдумок она постоянно повторяла лишь одну — о неистовом храпе мужа, — прочие же менялись от раза к разу. Самую благодарную аудиторию она нашла, заглянув к Литвиновым: в маленькой каморке там поселилась рыженькая Роза, знакомая ей с первого германского дня, а в третьей комнате — нестарая пара с почти уже взрослым сыном, все трое непохожие друг на друга: вечно всклокоченный, с жирными щеками и озорными глазами глава семьи Семён Ригосик, миниатюрная пухленькая его жена и тощий узколицый юноша Адик.

Сошлись они, конечно, на кухне. Туда же случайно заглянул и Бецалин. Представившись незнакомой из них и услышав, что её зовут Белла, он вдруг воскликнул:

— Какая удивительная судьба — то, что вы поселились вместе. Это знак. Смотрите, поссоритесь, дойдёт до войны Аллы, Беллы и Розы — это же трагические страницы истории! И что будет с нами?

Войны, однако, пока не предвиделось: женщины дружно разрабатывали тему помощи разлучённой с мужем Розе, чего хватило им и на остаток дня, и на следующее утро, когда вновь прибывшие семейства собрались во дворе, чтобы куда-то идти с Клемке — зачем, никто не знал и не строил догадок, словно предстоящие формальности были нужны только властям. В какой-то мере так оно и было: каждый, имея теперь кров, бессрочный вид на жительство и деньги на еду, мог больше никуда не спешить, а наконец постараться понять, куда попал.

Клемке повела свою группу в центр города, держась, как заправский экскурсовод: посмотрите направо, на сквер, разбитый на месте разбитого бомбёжкой квартала,

посмотрите налево — ах нет, поверните налево и смотрите прямо (и Дмитрий Алексеевич, посмотрев, куда велели, сказал: «Да нас же ведут на знакомство с городской головой!»), нет, нет, теперь не на сквер, а на памятник за ним, на чудовищную чёрную голову, отбитую незнамо от какого туловища, на огромный шар, вылепленный или высеченный из утёса или отлитый советским, как оказалось, скульптором; из-за превышения железнодорожных габаритов автору пришлось от Москвы до самых до окраин и дальше, по германской земле, просто катить его по дороге, как жуки катают навозные шары (это, конечно, придумала уже не художочная фрау, а продолжил в уме её столь же художочную реплику Дмитрий Алексеевич). Монумент, однако, не останавливал взглядов, оттого что лежал не посреди площади, в окружении деревьев и клумб, а на тротуаре, вплитирку к зданию, похожему на швейную или какую-нибудь иную незначительную фабрику, но в действительности недавно таившему в себе партийный комитет (Свешников машинально перевёл на привычный язык: обком), а теперь, если продолжать пользоваться советской терминологией, — собес и биржу труда, как раз и бывшие в этот день целью вылазки.

— Метеорит, — неизвестно кому сказал Свешников, уже из дверей учреждения оглядываясь на чудище, — гордость краеведов.

Его не поняли или не услышали, а он, разогнавшись мыслью, ещё успел, до входа в здание, усомниться в существовании в округе краеведческого музея, какими другие маленькие города обычно гордятся не меньше, чем маленькие люди — фотокарточками невест и детей, которые таскают с собою в бумажниках, предъявляя соседям по гостинице, по купе, по столу в трактире. Муниципальные власти со страстью угощают тех же постояльцев, пассажиров и проголодавшихся путников показом своих реликвий вроде гербариев, чучел, черепков и моделей чего-нибудь, впервые в мире сработанного горожанами, — от мухобойки до колеса. Если городу повезло

и он некогда испытал падение небесного тела, обугленные члены последнего будут выставлены на самом почётном месте; здешнее тело, метеорит, натворивший в своё время бед, пришлось — видимо, из-за непомерной его величины — оставить там, где упал, не строя над ним музея, дабы экзальтированные туристы, пользуясь теснотой и плохим освещением, не откалывали на память кусочки, тоже чреватые злом: в советские времена в окрестностях добывали и перерабатывали уран, и могло быть, что многочисленные калеки на улицах суть его жертвы и что здесь надо бы чураться всякого камня, опасаясь излучения. Эта громадина затем и напоминала какого-то маркса, чтобы жители заражались её чернотой.

Сидение в очередях не способствует отвлечённым размышлениям, и в казённом доме Свешникову стало не до монументов; стоило, однако, ему потом, держа в руках чем-то важные для него бумажки, распрощаться (у памятника, разумеется) с фрау Клемке, а заодно и со всей группой, как тема городской головы снова заняла его. Подняв взгляд вверх и увидев пустые глаза скульптуры, он подумал, что человеку свойственно искать подобий знакомого: в облаке он непременно разглядит или верблюда, или женщину на ложе, а в круглом валуне — голову (наверно, и Руслан, возбуждённый пропажей девушки и видом поля брани, многовато позволил воображению). В сегодняшнем случае сходство метеорита с живою частью тела оказалось столь большим, что совсем недавно туземцы, не стесняясь товарищей по партии, говорили о нём вслух как о рукотворном достижении; вот и магазин, заслонённый постаментом, откровенно назвали «У головы», что для русского ума было вдвойне насмешливо: узнаваемое как инженерный термин, «копф» своим звучанием подчеркивало отсутствие у камня души. Нет, с пушкинской головою вышло иначе, и Свешников, припомнив: «...объехал голову кругом и стал под носом молчаливо, щекотит ноздри копием...» — двинулся, за отсутствием копья, прочь, ощущая затылком недобрый взгляд изобретателя коммунизма.

Других памятников он ещё не видел здесь, хотя уже дважды побывал в центре. Где бы, как не у храма, у ратуши, просто на главной площади было стоять им, увековечивающим королей, епископов, завоевателей? Он не представлял себе европейского города без статуи героя на коне. Даже и Москва (это в первые-то послевоенные годы!) не обошлась: глядя на питерских верховых царей, установила собственного верхового — лошадиным задом к присевшему тут же, на сквере, Ленину. Дмитрий Алексеевич допускал, что такие монументы являются привилегией столиц — и уже готов был съездить в Берлин, поискать там; впрочем, что ему были статуи, когда он и без того с удовольствием и поехал бы на экскурсию, и переселился бы туда — или в любой большой город.

Накануне вечером Свешников случайно услышал разговор двух женщин у своего подъезда: «Только представь себе, тут одни сумасшедшие приехали — из самой Москвы!» — и его замутило от сознания того, что он натворил: до сих пор он как-то не удосужился взглянуть на свой поступок с этой стороны, глазами жителей какого-нибудь местечка или рабочего посёлка, всю жизнь мечтавших, да так и не выбравшихся в Москву — в самую Москву! — и теперь воочию увидевших безумную пару, сознательно променявшую столичную жизнь на сонное прозябание в чужой глухомани. Сам он знал здесь, по крайней мере, ещё одну такую же сумасшедшую, только живущую в другом общежитии. К ней-то он сейчас и спешил, но совсем не для того, чтобы сравнить причины бегства из огромной столицы огромной страны в город, с любой точки которого можно увидеть зелень на прилегающих холмах, или чтобы выяснить, что удерживает её здесь уже много месяцев — хотя и для этого тоже, — а для того, чтобы наконец поговорить о своём. Наедине? В этом он не был уверен, что и замедляло его шаг, мысль же о том, что Мария потерялась в Москве неспроста, тщательно им отгонялась — в предчувствии катастрофы. Он говорил, что потерялась — чтобы не сказать справедливое:

оставила. Тогда всё оборвалось внезапно: в очередной раз они разошлись в Охотном Ряду — и больше он её не видел, не слышал, ведь обычно это она звонила ему, назначая встречи, а он сам не знал ни номера телефона, ни адреса, ни того, где учится дочь, ни где и кем работает она сама. Иногда Дмитрий Алексеевич ждал её в каком-нибудь, по её выбору, кафе, но чаще она приходила к нему домой, утром же они прощались или на кольцевой станции, если ехали в метро, или в любом, от Арбата до Петровки, месте центра, если — на машине; в любом — потому что Мария начинала работу позже него и в ранний час могла позволить себе небольшую прогулку, а быть может, и заходила домой, как знать.

Сегодня он, кажется, не волновался: в чужой земле, где нужно было бы держаться за каждого своего, то есть вышедшего из одних с тобою мест человека, двум бывшим любовникам и подавно негоже да и невозможно было снова разойтись так, чтобы замести последний след; к тому ж и адрес был написан в его записной книжке рукою Марии. Свешникова смущало лишь незнание здешних условностей. Помня рассказы о немецких правилах, по которым и отец к сыну не смел прийти в случайное время, но заранее — не за дни, а за недели — назначал день и час, Дмитрий Алексеевич опасался, что и наши люди, обжившись, переняли этот обычай, чем-то, конечно, удобный, да холодный, не родной. Даже не зная он нового порядка, всё равно легко было вообразить препоны, которые заставили бы сдержать шаг, — хотя бы понятную неловкость неожиданного визита в чужой дом (притом что с этим здесь, по крайней мере в его хайме, не церемонились, словно «общезитие» и впрямь означало «общее житьё»: все заходили ко всем в любое время, не то что не условившись заранее, но и вообще без спросу), и незнание того, с кем приехала и живёт Мария — не с одною же только дочерью (хотя у него и пример матери-одиночки был перед глазами). Нет, Дмитрий Алексеевич не смел явиться к ней вдруг, всего лишь позвонив снизу из автомата, как сделал бы в Москве; да и звонить было,

видимо, некуда — не одинокому же дежурному, который не стал бы носиться по этажам, вызывая к телефону. Но портье (охранника, консьержа, лифтёра), как позже узнал Свешников, не существовало в доме Марии. Он поправился: в хайме.

В конце концов он повернул назад.

Увидев перед своим подъездом изрядную группу оживлённых жильцов, Свешников подумал, что забыть знаменитый диван будет не так-то просто.

— Куда вы пропали? — окликнул Бецалин. — Я вам советовал бы выпивать всё-таки дома: в ресторанах чудовищные наценки. Заодно никакая новость вас не минует. Вот, к слову, самая свежая: завтра у нас будет шрот.

— Кто это?

— Что. Шрот — это когда на улицу выносят ненужные вещи.

— Ну у меня таких не водится. Да и кто бы стал волочь лишнее через границу?

— Водится у немцев, — ответила ему Роза. — Говорят, они аккуратненько раскладывают своё барахло на тротуаре, и можно пойти и набрать, что нужно, и это в порядке вещей.

— И что же будет завтра — порядок вещей или большая помойка?

— Порядок, — заверил Бецалин, поспешно, пока никто не перебил, объяснив, что коль скоро в городе нет ни комиссионных магазинов, ни ремонтных мастерских, а за вывоз на свалку надо платить, жители каждой улицы имеют право раз в году задаром вынести на тротуар всё, от чего нужно избавиться. — Старожилы клянутся, что там могут найтись совершенно новые вещи, самые разные: хотите — наволочки, хотите — телевизор.

Дмитрий Алексеевич посмотрел на него с недоверием. Теперь он с интересом прислушался к тому, что говорили другие:

— Мы всё-таки не американские бездомные.

— Только захотеть — и тёмные стороны можно отыскать во всём.

— Интересно, как будет выглядеть вся эта экзотика.

— Глядишь, чем-нибудь и поживимся.

— Мы не американские бездомные — рыться в мусорных баках, — с оскорблённым видом повторил Литвинов.

«Кто мы, если не бездомные?» — подумал Дмитрий Алексеевич, но, не желая затевать спора, молча кивнул.

— Так уж и в баках? — усомнился Бецалин.

— Но — рыться!

— Но — в баках. Но — в заграничных. Может быть, пойдёте ради познания жизни?

— Вы правы, тут налицо интереснейший социальный феномен... — начал Литвинов, но жена перебила его:

— Посмотрели бы на тебя твои студенты. На свалке!

— Посмотрел бы я тут на ваших студентов, — засмеялся Бецалин.

«А вот меня от этого не убудет, — вдруг решил Свешников. — Бедность, я слышал, не порок; жаль, что это надо доказывать интеллигентам, прозябавшим в своей Стране Советов».

— Вот именно: посмотрели бы, — сказал он. — Посмотреть надо в любом случае. Нас же не заставят тащить в дом всякую рухлядь.

— Порядочному человеку туда, по-моему, и подходить неудобно, — не сдалась Алла.

— Кстати, мой велосипед, — напомнил Бецалин, который и по первому их городку раскатывал на выброшенном кем-то велосипеде; в вестибюле «пансионата» стояли ещё два экипажа того же происхождения.

Свешников с интересом поглядывал на Раису, но она помалкивала, то ли из безразличия к предмету, то ли оттого, что, давно составив своё мнение, теперь только прислушивалась к чужим — для пересказа. Знавший, с какой брезгливостью Раиса относилась к подержанным — например, из комиссионного магазина или даже к собственным старым — вещам, он угадал эту брезгливость и сейчас — и всё же, не вытерпев, спросил:

— Из любопытства хотя бы?..

Она пожала плечами.

Выйдя наутро из дома, Дмитрий Алексеевич увидел, что на ближайшем углу и впрямь громоздится изрядная груда некрупной мебели, кастрюль, садовых инструментов, половиков, детских игрушек и ещё какой-то неопределимой мелочи, на которой сразу не задерживался неопытный глаз. На первый взгляд, тут и в самом деле не было негодных предметов: всякий бы сказал, что каждым ещё вчера благополучно пользовались — и продолжали бы, не появившись в хозяйстве кое-что по свежей.

Прежде всего Свешникову попался на глаза ночник с абажуром из холстины, совершенно ему не нужный. Он ещё вертел лампу в руке, любуясь, прежде чем положить обратно, когда женщина за спиной посоветовала:

— Вы бы взяли колясочку.

Обернувшись, он узнал соседку по этажу, Татьяну; она и сама стояла с пустой детской коляской, и указывала на другую, брошенную:

— В руках много не унесёте.

— Да я, собственно, не собираюсь... — замялся Дмитрий Алексеевич.

— А вы соберитесь, — с нажимом сказала Татьяна. — Вам тут жить самое меньшее полгода, так надо же создать хотя бы какой-то уют. Да и в квартире, когда её получите, будут одни голые стены. Например, наверняка пригодятся эти стульчики. Берите.

Свешников уже и сам обратил внимание на пару складных стульев. Брошенные в коляску, они заняли почти всю её люльку.

— Вот повозочка и полна.

— Отвезите да побыстрее возвращайтесь.

Вернувшись, он нашёл свою знакомую уже в двух кварталах от прежнего места. Возле очередной груды вставшего в немилость скарба она живо, насколько это позволяло незнание языка, обменивалась любезностями с легко одетой немкой, только что вынесшей из дома пакет с тщательно сложенными то ли скатертями, то ли шторами. В ответ на рассыпанные благодарности та предлагала ещё

и тюлевые гардины. Татьяна развела руками: вешать их было пока некуда.

Первоначальное равнодушие Дмитрия Алексеевича постепенно сменилось азартом; с новым настроением он, кажется, легче стал находить нужное для себя, и в конце концов трофеи превзошли самые дерзкие его фантазии: к полудню он уже устроил в своей комнатке настоящий кабинет: в пустом углу за койкой поместился журнальный столик, на котором вдоль стены взгромоздились одна на другую две книжные полки, и всё это освещалось с верхнего этажа кровати подвешенным на спинке светильником с глухим, похожим на рупор, железным колпаком. Между тем желания немедленно приступить к письменной работе Дмитрий Алексеевич не испытывал, будто бы удивляясь собственной лени, а на самом деле просто не представляя себе, что бы такое он мог прямо сейчас сотворить полезного за необжитым столом, и радуясь пока одной лишь возможности этого; думать о том, что сам он больше не пригодится никому и никогда, ему не хотелось.

— Зачем вы это нагородили? — удивился Бецалин, взглянув к нему в середине дня.

— Устроил кабинет, — с гордостью провозгласил Дмитрий Алексеевич. — Знаете, сидя на нарах, думаешь всё о какой-то чепухе, а вот за столом...

— Кукольным.

— Неважно. Была бы плоскость для письма: мысли приходят...

— И уходят, — мрачно перебил Бецалин.

— Ну да, в том и дело, что уходят, и надобно ловить, успеть записать хоть чёрточку. Я, правда, хотел сказать иначе: они приходят охотнее, если сидишь с карандашом в руке.

— Зачем вам мысли?

Кто-то постучал в дверь. Бецалин открыл — это был Литвинов.

— По дому разнеслась весть о ваших достижениях, — ещё на пороге начал гость, а, войдя в комнату, сказал только: — О!

— Как вы нынче замечательно лаконичны! — засмеялся Дмитрий Алексеевич.

— Просто вы попали в точку. На языковых курсах я буду списывать у вас уроки.

— Честно говоря, у меня был другой прицел.

— Вот и я подозреваю, что кое-какие мои знания очень здесь пригодятся. Надо бы развернуться поскорее, но язык, язык... Придётся минимум на полгода выбыть из игры. Впрочем, бес с ним, об этом потом. Ведь что творится: пока я думаю, не посмотреть ли, чем хорош этот шрот, вы организуете себе человеческое жильё. Нет, молодец, молодец.

— Тем более, — заметил Бецалин, — что соседство рабочего стола и нар сильно напоминает обстановку «шарашки».

— Много вы видели «шарашек», — отмахнулся Литвинов. — А кстати, где ваши-то обновки? Полагаю, вы тоже приобщились к западной культуре?

Скромная добыча Бецалина — маленький настольный приёмник — окончательно возбудила гостя: немедленно захотев того же, но не надеясь на одно только собственное везение, он принялся буквально выталкивать удачливых сталкеров на улицу.

Русская речь слышалась уже почти на каждом углу: кто искал незнамо что с подлинным вдохновением, а кто, ещё не освоившись, просто рассматривал странную выставку, в которой и живые фигуры были экспонатами. Вещей на улице прибывало и убывало, на одной и той же гряде можно было пастись весь день, но Свешников, насытившись, только с улыбкой наблюдал за Литвиновым, который поначалу посматривал на выброшенные пожитки из приличного отдаления и с подчёркнутой брезгливостью, но, найдя пару полезных для себя штучек (настенную вешалку и плоскогубцы), оставил церемонии.

— А вот вам и радио, — скучным голосом вдруг произнёс Бецалин, высоко, чтобы все видели, поднимая свою находку.

— Эх! — с досадой крикнул Литвинов. — Что за полоса идёт: второй аппарат за день!

— Вы, Михаил Борисович, не грибник? — поинтересовался Свешников. — В лесу, знаете, как бывает: по одному и тому же месту проходят два человека, и первый видит, что там ничего нет, а второму, следом, открывается добрая семейка белых.

— Белых среди нас, положим, не одна семья, — хохотнул Бецалин. — Что же до грибного спорта, то, знаете, кому везёт в картах — не везёт в любви. Так что выберите, Михаил, что вам больше подходит: рекомендую — последнее. Тем более что приёмник я искал — для вас: вы ведь только за ним и пришли. Забирайте и наслаждайтесь.

— Не мне ж он попался.

— Я не коллекционер.

Попробовав положить новое приобретение в коляску рядом с прежними, Литвинов вовремя смутился соседством хрупкого аппарата с чугунной вешалкой и бережно поставил его на землю, у ног остановившейся в сторонке прохожей. Дмитрий Алексеевич не обратил на неё внимания и только спустя время, чувствуя на себе длительный взгляд, поднял голову — и встретился глазами с Марией.

— Что со мной? — изумился он. — Я было не признал тебя.

Он едва не рванулся вперёд, чтобы обнять, но, остановленный её осторожным жестом, даже отступил на полшага: слишком много женских глаз могло следить сейчас за ними.

— Или — со мной? Я вырядилась, как на коммунистический субботник.

Может быть, Свешников потому и не узнал её сразу, что она сменила пальто на куртку и брюки — униформу местных женщин.

— А я — как на московский рынок, — подхватил он, демонстрируя свою куртку из кирзы, как раз на рынке и купленную за бесценок, и принялся было объяснять ей — ненужно, потому что Мария застала в Москве эти перемены, — что московская толпа заметно почернела на вид не только из-за обилия кавказцев (хотя и от этого тоже),

а оттого, что в ней стало лучше не выделяться ни умными речами, ни одеждою, и коль скоро бандитам и нанятым ими торговцам сподручнее было носить кожаные куртки вместо пальто, то и прочий люд облюбовал чёрную кожу — шевро или поддельную, неважно.

— Мы теперь живём с рынка, — сказал Свешников. — Магазины стали не по средствам.

— Жили, — поправила Мария. — Забудь.

Он многозначительно покосился на захламлённый тротуар.

— В следующий раз, — перехватив его взгляд, сказала она, — всего через год, ты, наверно, посмотришь на шрот, как на развлечение.

— Тем не менее, посетив этот аттракцион, я обставил свою келью.

— Если тебе ничего больше тут не нужно, давай, уйдём отсюда.

«Уйдём, вместе...» — повторил он про себя, удивляясь тому, как ладно всё в его германской жизни становится на места: вот его жильё, комнатка в добротной коммуналке, вот магазины, которыми можно пользоваться, не зная по-немецки ни слова, вот давно знакомая женщина и вот, оказывается, какие-то места, куда можно запросто уйти вдвоём.

Глядя через плечо Марии, он увидел приближающуюся к ним Раису.

— Наконец появилась и моя жена, — предупредил он.

— Ну, нашёл что-нибудь? — поинтересовалась та, останавливаясь перед ним.

— Давнишнюю знакомую, — неуклюже ответил Свешников, представляя женщин друг дружке; положение не показалось ему ни острым, ни даже забавным: разыгрывать пьесу с Раисой ему уже наскучило — быстрее, чем он ожидал.

Сейчас, из-за нечаянности встречи, возможно, наступил лучший момент сказать, кто есть кто, но нельзя же было это делать на публике.

— Давнишняя — значит...

Раиса сделала паузу, выжидая начало рассказа Свешникова.

— Нет, не подруга детства, — ответила вместо него Мария. — Мы вместе бедствовали в одном аэропорту, не зная, как улететь домой.

— Ты не представляешь, где только я не побывал за последние годы, пока мы виделись нечасто, — подхватил он. — Однажды пару недель прожил на Дальнем Востоке. А мог бы — и в пустыне, питаюсь акридами.

— Изгоняя дьявола, — удачно предположила Раиса.

— Это привилегия шаманов.

— Надо же, какая экзотика! — начала она медленно и насмешливо, но, увидев идущего к ним Бецалина, закончила скороговоркой, пока тот не перебил: — Вам, Мария, повезло, а я об этом только читала в книжках. В командировки Дмитрий меня с собой не брал.

— Тут вы, Раечка, не совсем осведомлены, ведь и никто не берёт, — вмешался Бецалин, слышавший только последние её слова. — Того, о чём вы сожалеете, просто не случается на свете: командировка — единственная отдушина для семейного человека, глоток свободы, святое дело.

— Обратите внимание, — заметил Дмитрий Алексеевич, — что мы не можем отойти от старых представлений. Живём в Германии, но Рая вспоминает служебную командировку, а Мария Михайловна минутой раньше уподобила нашу вылазку субботнику.

— Чисто внешнее сходство, — покачал головой Бецалин. — Мы тут заготавливаем жизненно важные предметы, а на субботниках — что мы делали? Пили. Да и поди не выпей, потаскав бревно.

— Бревно, я думаю, на снимке подрисовали позже. А вообще интересно: вожжи — неужели прямо на площади, где-нибудь у Царь-пушки, и разливали?

— Ну нет, не на глазах же у сознательного пролетариата и революционных матросов. Не у Царь-пушки, а в Царь-колоколе, привычно, как в шалаше, сожалея об отсутствии Мавзолея. Согласитесь, гениальное изобретение сделали

потом ученики и последователи: буфет в склепе. А впрочем, я забегая вперёд: не пил же он на собственной могиле. Вот выезды на пикнички — те приветствовались, это нам известно из фольклора, — серьёзно рассудил Бецалин и закартавил под Ленина: — Возьмём помидорчики, огурчики, непременно — девочек, а эту проститутку Троцкого оставим в Москве.

Возле них затормозила машина с чешским номером, и два крепких парня принялись почти без разбора стаскивать в её просторный салон вещи с тротуара.

— В хорошем хозяйстве всё сгодится, — заметил на это Бецалин.

— Скорее — на базаре, — поправил Свешников. — Другая степень хищности.

— Для них мы, наверно, травоядные.

— Грамотный наблюдатель поймёт, что создалась типичная постсоветская мизансцена: полдюжины интеллигентов на помойке. Можно даже предположить, что нас собрал здесь всех вместе посредственный режиссёр...

— Чтобы обеспечить каждому алиби.

— Нет, чтобы каждый оказался причастным, — возразила Мария.

— Russisch? — обернулся на их голоса один из чехов; кинув пренебрежительный взгляд на скромный груз в детской коляске, он узрел приёмник и проворно потянулся к нему.

— Эй, это моё, — вежливо улыбнувшись, но с тревогой, заявил подоспевший Литвинов, для верности потыкав себя пальцем в грудь.

— А кто ты такой? — насмешливо спросил чех по-русски.

— Разве не видно?

— Видно, видно, — засмеялся тот, что было мочи пнул приёмник тяжёлым башмаком и ныряя в свою машину.

Парни укатили, оставив пожилых людей в растерянности.

— Нравы, однако, — почесал в затылке Бецалин.

— Похоже, они делают на этом хороший бизнес, — предположил Дмитрий Алексеевич. — Вещи-то неплохие.

— Жалко машинку, — пробормотал Литвинов, вертя в руках злополучное радио. — Трещина через весь корпус. Представляю, что за каша внутри.

— Кашу там варить не из чего: одни печатные схемы, — попробовал утешить Свешников. — Придём домой, я посмотрю, покопаю. Будет жить, будет.

— Не горюйте, дед да бабка, — засмеялся Бецалин. — Что ж, катилось, катилось да разбилось? Ну так я снесу вам другое яичко, не золотое, а простое.

В погожий день шрота при виде сваленного под открытым небом добра нельзя было не вспомнить вчерашнего ненастья — и не задуматься над вопросом, вынесли бы жители свои пожитки также и в непогоду, под снег или дождь, в лужи (не всё ли равно, куда выбрасывать?) или, проявив трогательную заботу о будущих владельцах, оставили бы их у себя на лишний день или на лишний год. Свешников склонялся ко второму и, размышляя над мелкими лужами о ещё менее глубоком, находил заботу о ближнем и в том, как шофёры стараются не обдать брызгами прохожих; впрочем, тут будто бы и не водилось грязи.

— Дождь, а машины чистые, — отмечал он с грустной завистью, вспоминая, как противно бывало ездить по Москве в дождь и какой вид принимал после этого автомобиль. Из-под чужих колёс на стекло летела бурая каша, не поддающаяся «дворникам», отчего очень просто было бы, проглядев за этой завесой опасность, натворить бед (Бог, правда, миловал), да и с самой машины потом приходилось долго смывать уже засохшую земляную корку — тряпочкой, поливая из ведра, прямо перед подъездом. В давнюю пору, когда улицы ещё убирали, он только разводил руками, обнаружив, что пропавшая было в ясные дни московская глина неведомо когда успела вернуться на мостовые вместе с новой, натасканной со строек и пригородных дорог. В новые годы, когда

не стало денег на уборку, высохшая грязь начала образовывать поверх асфальта очередной культурный слой, в котором на радость будущим археологам предстояло по колено увязнуть нашим городам. Но совсем не так учили нас измерять время, не толщиной растущего пласта, не удалением поверхности от уровня моря, а, скорее, пересыпанием частиц через гребень дюны или через узенькое стеклянное горлышко. Итог, в численном выражении, рос с повторением опытов, с которыми не хотелось спешить, и Дмитрию Алексеевичу всякий раз бывало неприятно проставлять в немецких бумагах отходящую всё дальше назад дату рождения, являвшуюся здесь непременно довеском к имени; будь это его воля, он бы взял псевдоним.

Как бы там ни было, настала пора пожалеть о несбывшемся или несделанном: многие исправления и перестановки стали невозможны. Возьмись он, спохватившись, навёрстывать упущенное, на что-то уже не хватило бы времени, а чего-то просто не стоило бы и начинать. И если уж обычные заботы отходили на второй план, то хорошо было бы наконец обратиться и к личным, и к сердечным делам, как раз в которых упущенного набралось столько, что следовало бы запретить себе всякие воспоминания, а думать только о близком будущем. Но он не умел отделить одно от другого. Предположив, например, что ему и в эмиграции может встретиться какая-нибудь одинокая женщина, Дмитрий Алексеевич непременно уходил мыслью вспять, к юношеству, и так почти никогда и не выбирался оттуда в день завтрашний, в котором ещё не поздно было бы появиться его ребёнку, а уж тем более — в скорый послезавтрашний, в котором тому предстояло осиротеть. К последней версии он относился с должным юмором, но возникла она не на пустом месте — то есть в другом смысле именно там и возникла: Свешникову обидно было думать, что на нём кончается род и что дела, ради которых он жил, могут забыться навсегда. Ему было некому и нечего завещать — ни начинаний, ни фамильных безделушек, ценных одною лишь памятью; даже те немногие книги, что он сумел привезти с собой, и те обречены

были попасть, по утрате хозяина, не в понимающие руки наследника-книгочея, а на развал блошиного рынка. Он, нынешний обитатель общежития, мечтал перед отъездом возвести на чужой земле свой дом из ничего, из прочитанного в книгах своей единственной полки, чтобы тот стал и отражением его жизни, и её непременною частью, и назиданием потомкам. На самом деле здесь ему, Дмитрию Алексеевичу Свешникову, предстояло утратить свой след.

То, что одна родная душа нашлась и в Германии, выглядело таким чудом, что грех было искушать судьбу, ожидая от этой находки, замечательной самой по себе, ещё и какого-то проку: обнаружить среди людей с непонятною речью любого человека оттуда, из лучшей поры, уже было бы подарком, но нечаянная встреча с близкой женщиной выглядела таким невероятным счастьем, что впору было заподозрить здесь обман, дьявольский розыгрыш, наваждение, должное развеяться с боем часов в полночь. Он боялся сделать лишнее движение или сказать неловкое слово, лишь бы не нарушить хрупкого равновесия, и готов был довольствоваться лишь сознанием близости Марии в пространстве; остальное, даже неизвестные пока подробности проведённых порознь с нею лет, не имело значения. Слишком много повстречавшихся ему людей — целые потоки, против которых он двигался на улицах, — ушли в свои миры, параллельные тому, в котором существовал он сам, пропали без вести, и он не ждал повторений: параллели, как нас учили в детстве, не пересекаются; впрочем, на поверхности глобусов евклидова геометрия не сводит концы с концами, и стоит кому-то, вырвавшись на волю, начать движение по земному шару, как тотчас приходится к слову какое-нибудь исключение из школьных правил.

С ним самим, сколько он себя помнил, по правилам не играли (нет, не делая исключения из общепринятых, а именно как Бог на душу положит: то предъявив вместо матери молодую мачеху, а вместо первой жены потаскушку, то и вовсе заставив смириться с участью старого холостяка,

в коей он, впрочем, находил многие светлые стороны, то опутывая на службе интригами); правда, и каждый из нас может сказать о себе примерно то же, припомнив сперва несправедливости, учинённые государством, а следом и обиды от родных и близких, иные же не просто скажут такое однажды, но и примутся повторять при всяком удобном случае, находя особое удовольствие в том, чтобы растревлять небольшие поначалу ранки и, расковыряв как следует, жалеть себя, несчастных. Он-то не жаловался и не жалел, а, потерпев от очередной какой-нибудь неправды урон, попросту заваливал себя работой, благо относился не к тем, кто получает задания сверху, а — к немногим, кто оные, выдумав, раздаёт. Обращивалось это пропажею и свободных вечеров, и выходных дней (но ведь и семьи, способной против этого восстать, он не имел), а заодно — и возможности сосредоточиться на неурядицах и болячках. Тогда он уже не мог найти и минуты, чтобы вспоминать об отдельных ли обманах или о течении бытия, с самого начала (момент которого затруднялся определить — в такой дальней дали тот терялся, в ещё не осознанной, то ли отроческой, то ли даже младенческой поре), с самого истока, направленного по фальшивому руслу; теперь уже не догадаться было, кто это отвалил в сторону камешек в перемышке либо, напротив, столкнул другой, побольше, в вольный поток, чтобы тот хлынул с перепугу в первое попавшееся пересохшее ложе. Кто знает, быть может, он сам и ворочал эти глыбы — не винить же было в своём одиночестве женщин, которые просто проходили бы мимо, встречные, не задерживай он их на ходу (да так, собственно, и делали, едва он отпускал руку)?

Другие винули б, а он благодарен был, доволен — пусть не одиночеством, но возможностью уединяться, немислимой в семье; он пробовал, конечно, да беспокойные жёны не оставляли ему времени даже на чтение. Так же шло бы и с Марией, но ей он готовился прощать всё, и он, конечно, пока ещё не сумел бы объяснить, почему вдруг — только ей, ведь были же кроме законных супругов и другие женщины, а он и не подумывал о всепрощенье,

и почему, если уж на то пошло, сегодня не стоит вспоминать о давних запутанных историях или вовсе о мимолётных эпизодах, когда и роман с Марией тоже свёлся к считанным сценам: два незнакомых доселе попутчика скоротали в беседах время на вокзале и в окрестностях одного да потом, добравшись наконец до родного города, женщина на радостях расщедрилась на несколько, вовсе не подряд, ночей. Другого конца, думал Свешников, и не могло быть у такого, разыгранного на неблагополучном, а для кого-то и катастрофическом фоне новогоднего приключения. Не могло быть — но с первой минуты знакомства он ждал от Марии чего-то необычного; ему чудилась в ней некая тайна, и он с насмешкою отгонял эту мысль, как навеянную не самыми лучшими романами; Мария, во всяком случае, резко отличалась от других женщин, находившихся в его поле зрения, и он, хотя сам зазвал её к себе по дороге из аэропорта, неожиданно огорчился тем, что Мария согласилась так легко, как будто поспешно доигрывала по нотам сценарий их похождения, и Свешников вдруг расстроился, так и сказав себе: «Какой пошлый сценарий!»

Тогда, в первый раз, она повела себя чуть ли не поделовому: приласкав его без лишних слов, сразу потом заторопилась, ушла встречать Новый год — не оставив ни номера телефона, ни адреса, чем он вовсе не опечалился; Дмитрий Алексеевич не ждал её больше — и вдруг она объявилась на Крещение, которое он не только не праздновал, но и не отмечал в уме как особенный день. Мария настояла: «Особенный», — и в этот раз осталась на ночь и была так нежна, что он утром искренне сокрушался, поняв, что теперь уже не станет искать никакую другую женщину. Некая кривая, по которой он, одинокий, двигался в плотной толпе, теперь замкнулась. Но в том и была для Свешникова беда, что он настроился на долгую связь и случившийся через несколько, совсем немного, месяцев непонятный разрыв стал настоящей бедою. Казалось, ещё далеко было не то что до остывания, но и до привыкания, и вдруг однажды она не пришла — однажды и больше

никогда. Не пришла, не позвонила, не написала письма. Только эта нелепая внезапность потери, видимо, и задела за живое и заставила потом с неослабевающей горечью вспоминать об оборванных нотах и с теплотой — о своей обиде. Дмитрий Алексеевич не допускал мысли о том, что мог влюбиться в Марию, в его-то годы: вспоминал, конечно, посмеиваясь, известную поговорку, но знал, что нет, речь там идёт не о нём: о шалостях не по возрасту, о дури, но не о настоящей же любви.

Столкнувшись теперь с Марией там, где этого никак нельзя было ожидать (но ведь он в своё время и познакомился с нею не где-нибудь, а на краю земли), Дмитрий Алексеевич не посмел обнаружить на людях свою непомерную радость, а держал себя так, словно просто нашёл среди аборигенов знакомую землячку, не более. На вопрос, насколько знакомую, он мог со спокойной совестью развести руками, и в самом деле зная о ней слишком мало и только собираясь расспросить наконец и о видимых подробностях её бытия, и о вещах, таимых от чужих. О многом им нужно было поговорить наедине — и не терпелось, конечно, хотелось — здесь и сейчас; нынешнее же свидание вышло на глазах многих. Их, выбравшихся на улицу в поисках кто — нужных в быту, а кто — лишних, зато диковинных вещей, Свешников полагал не очевидцами, а соглядатаями; что ж, там были и такие: и доброты, советчики и просто любопытные, и все вместе они упустили самое важное, спохватились, да поздно: поначалу никто не понял, что надо смотреть во все глаза, не знал даже — куда; никто, кроме двух нечаянно посвящённых и Раисы, безошибочно почуявшей направление. Она, нет сомнения, смотрела, свернёт ли эта пара в общежитие или пройдёт дальше, на автобусную остановку, чтоб укатить, уже не угадаешь куда — в злачные ли места или в гнёздышко этой женщины, с которой Свешников незнамо как схитрил сговориться ещё в Москве, до отъезда. Дмитрий Алексеевич, казалось, осязал затылком её взгляд — так был уверен, что ей хочется догнать и вмешаться и разоблачить — и только недостаёт сил оторваться от нынешнего

редкостного занятия. На какой-то миг он почувствовал себя мальчишкой, пойманным на месте проступка, и понадобилось усилие, чтобы напомнить себе о подробном договоре с Раисой, по которому им, свободным, нечего стало делить, — усилие немалое из-за уверенности в том, что, как в известной полицейской формуле, всё сказанное им могло быть использовано против него и всё сделанное им могло быть использовано против него, и сделанное каждым — против каждого, и если даже всякое доброе дело могло быть истолковано превратно, то выход напрашивался только один, невозможный: затаиться, избегая поступков на публике или вообще — поступков, вообще — напоминаний о себе. Но и всякое бездействие могло быть обращено против него, оттого что кроме нечаянного зла, следствия оговорок, ошибок либо собственной небрежности, где-то рядом всегда существует и зло активное, ищущее себе предмет; никто из невинных или наивных не знает, как его избежать. Заранее навывдумывать предосторожностей он не мог, они всё равно запоздали бы, оттого что нельзя защититься от ещё не существующего на свете зла, ведь когда-то и щиты у воинов появились позже копий и стрел.

— Твоя жена смотрит, куда мы направимся, — сказала Мария, не оборачиваясь.

— Она не жена вовсе, ты знаешь.

— Вы приехали вместе.

— С её стороны было удивительным благородством сыграть эту роль.

— Благородством! Одной ехать страшно: мало ли что произойдёт в дороге. И ты, значит, в благодарность за это...

— Это фантастика, но тут мы поселились порознь, даже в разных подъездах.

— Ловкие вы ребята.

Он содрогнулся, вспомнив.

— Не стоит заходить к тебе, — сказала Мария, опередив его предложение, и Свешников не возразил: сам понимал, что — безрассудно, хотя и не мог не пригласить.

Он предпочёл бы посидеть в кафе, где никто не смел бы их побеспокоить, но Мария отвергла и это, объяснив, что подобная роскошь ему пока не по карману.

— Пока? — не понял Дмитрий Алексеевич. — Ничего же больше не изменится.

— Изменишься ты. Я знаю, как это бывает. Сейчас ты не в состоянии рассудить, что дорого, а что — нет, и у тебя на счету каждая марка: ты наверняка переводишь в уме все цены на рубли — занятие не для слабонервных. Потерпи, пока не убедишься, что раз или два в месяц бокал вина и чашка кофе в приличном кабаке тебя не разорят.

— Не разорят и сейчас.

— Сейчас ты проводишь меня до дома.

Боясь торопить события, Дмитрий Алексеевич молча смирился с этим «до», а спустя полчаса столь же невозмутимо согласился подняться в её комнату.

Мария занимала почти такую же, как у него, клетушку, но — о четырёх каменных стенах, тогда как пеналы Свешникова и Бецалина имели только по три, разделяясь между собою даже не перегородкой, а встроенным шкафом, картонная стенка которого не мешала переговорам соседей. («Вы печалились из-за нар, — сказал накануне Альберту Дмитрий Алексеевич, — а нам не нужно даже перестукиваться».) Кровать тут стояла тоже двухъярусная, и верхняя её часть была занята чемоданами и картонными коробками.

— Как же так, — озадаченно проговорил он, — разве ты живёшь одна?

— Ну конечно.

— А дочь?

Мария не ответила. В этот момент она стояла так, что Свешников не видел лица — может быть, нарочно стала так, чтобы скрыть глаза. Только выдержав паузу, она словно спохватилась:

— Что же ты стоишь в дверях? Сядь.

В дверях — это было в шаге от кровати, на которую — если не на единственный стул — и предлагалось сесть. Он протиснулся дальше, к окну.

— Ты говорила, вас не разлить водой. Тогда она, правда, ещё училась в школе.

— А мне уже за пятьдесят.

— Поверь, я не пропустил твоего юбилея: отметил, понятно, наедине с собою. Вообразил, что именинница меня пригласила.

— Побывал незваным гостем...

Что ж, и побывал в чужом пиру, тайком от запропастившейся хозяйки, но сейчас она пригласила и в самом деле — не случайно, а всё продумав заранее, как, по крайней мере, показалось Дмитрию Алексеичу, следившему за приготовлениями к столу и мысленно приводившему их к советскому знаменателю: что, откуда, ценою каких усилий? Мария, поймав его взгляд, хотела объяснить, насколько просто это здесь делается, но вдруг решила, что нет, пусть оценит.

— Оценил ведь? — проговорила она вполголоса.

— Ещё как! — поторопился ответить Свешников, не зная, о чём вдруг пошла речь. — Хотя кто-то и советовал в первые два-три месяца ничего не сравнивать ни с чем. Как новичок, способный попадать впросак сто раз на дню, я послушался и живу прошлым: есть чем. Вот мы с тобой — словно и не терялись.

— Прости за банальность: мир тесен.

— Мал, — согласился Дмитрий Алексеич. — Кстати, банальности верны по определению. А что до величины мира, то мне вчера показали рекламку здешнего турбюро. Я оторопел: экскурсия в Париж — ночь езды, в Прагу — жалкие три часа. Вот и вся Европа: вечером садишься в автобус, а завтракаешь — на Больших бульварах!

Мечтавший увидеть мир, он совсем не ждал, что это может когда-нибудь сбыться, что он сможет узнать в лицо собор Парижской Богоматери, Монмартр и Триумфальную арку и выпить кофе в знаменитых «Ротонде», «Куполь» или «Клозери де лила», где сживали великие живописцы и где Хемингуэй писал «Фиесту».

— Увидеть Париж — и умереть?..

— Зачем же умирать, едва воспрянув?

«В первоисточнике, кажется, увидеть нужно — Рим... — поправил он про себя. — Или — удивить, не просто увидеть». Так было бы нужнее: удивить Рим... Удивить — Париж?.. Это всякий (но молодой всё же) человек, особенно — выходец из-за железного занавеса, мог бы взять себе девизом и потом долго упиваться славой автора афоризма — до тех пор, пока та не докатилась бы до самой столицы мира; тогда, отвечая за сказанное, ему бы пришлось задуматься о смысле смерти. Такие мысли могут оказаться ещё горше, чем на первый взгляд, потому что пусть мы и знаем, что конец неизбежен, но его как-то проще представить и подготовиться к нему в будничной обстановке, человеку же, удивившему Париж, не до печальных предчувствий. После всех наших тягот страшною несправедливостью было бы ему, едва увидев лицо Парижа (оттого что удивить — значит потом и увидеть), тотчас же и умереть; гораздо человечнее сделать это мгновенье способным застыть.

Только каким же грустным может показаться остановленное мгновенье нашему выходцу, если он поймёт, что прежде у него, собственно, и не было жизни — нельзя же назвать ею прозябание взаперти...

Между нашими городами есть общее: Москву не обманешь слезами, а Париж ничем не удивишь, разве что российскими буднями, то есть тою фантазмагорией, в которую не поверит нормальный человек со стороны. Чтобы удивить и убедить, нужно дать попробовать наше бытие на вкус и на боль, — бесчеловечное испытание; озадачив таким образом живой город, и впрямь заслужишь смерти. Можно, впрочем, отсрочить казнь, наметив жертвами удивления кроме Парижа и Рим и мир. Но не о том зашла речь поначалу: да, Рим и мир, но поразить не дикостью, а — проблеском, а — откровением. Ничем иным не удивить город, сохранивший до конца двадцатого столетия очарование девятнадцатого. С какими только поэтами, живописцами и злодеями не был он знаком, у кого только не перенимал идеи — и гениальные, и бредовые, которых столько уже известно, что теперь, как ни трудись,

складывая по-своему буквы и цифры, в итоге всё равно выйдет уже бывшее однажды. Поэтому и нельзя для получения удивительного брать материалы, которыми другие пользовались прежде, — слово должно зачатся непорочно, ибо, лишь сам удивившись своему творению, удивишь и других. Тогда-то и успокоишься, очистив наконец совесть, тогда-то и поймёшь сокровенный смысл девиза: удивить себя — и умереть.

— ...Увидеть Париж... — повторил Свешников.

— Вполне можешь себе позволить.

— Умереть?

Марии, наверно, мог прийти в голову ещё один довод: впечатления на тот свет не унесёшь. А смерть? — она уравнивает любознательных с домоседами, с теми, кому ничего не досталось.

— Сто с чем-то марок, — продолжала Мария. — В Прагу — и подавно тридцатка, это же рядом. Когда мы с тобой познакомились, ты о таком и не мечтал.

— Прага тогда стояла в другом полушарии, Париж — на другом шаре.

— Попробуй угоди тебе: этот мир тесен, прежний — велик.

Прежний был так огромен, что для встречи с Марией (сегодня Свешников искренне считал, что лишь для этого) ему когда-то пришлось лететь с тысячной скоростью восемь или девять — он уже запомнил, сколько точно — часов.

Во второй раз дорога к Марии сделалась покороче, и Дмитрий Алексеевич подумал, что если так пойдёт и дальше, то, чего доброго, станет сокращаться не пространство, а жизнь: разменяв седьмой десяток, он был готов к тому, что последняя, по его разумению, четверть отпущенного ему срока может оказаться неполной. Он не ощущал, правда, своих лет — если только не смотрелся в зеркало или под утро не утруждал женщин нескромным подсчётом, — они же, лета, пошли сменяться чаще, нежели хотелось, и Свешников невольно, думая о них, подсчитанных, уже не прибавлял ежегодную единичку к числу их, прожитых, а отнимал

оную от немногих оставшихся. К полученным результатам он относился спокойно, хотя часто и печалился тем, что ему суждено сгинуть бесследно — не построив дома, не посадив дерева, не вырастив сына, — тем, что никто не заметит его ухода, разве что последняя женщина поплачет на могилке; он пока не узнавал в ней Марию — и надеялся, что это будет она, оттого что больше некому было посвятить оставшиеся годы.

— Что ты вдруг призадумался?

— Хочу сообразить, как бы нам с тобой повидать свет. Ты уже побывала где-нибудь?

— Бездельничаю, а вот не выбралась. Да одной и скучно.

— Как и навсегда уезжать из дома.

Эту реплику Мария будто бы оставила без внимания, попытавшись перевести разговор.

— Ты сегодня — гость, и тебя надо сначала накормить и напоить, а ты вдруг так ушёл в себя, что и не заметил, как я закончила накрывать, и сама уселась за стол, и вино разлила. Ты ведь водку будешь? Я угадала?

— Угадала, Маруся, спасибо, что угадала, да ведь что дашь, то и будет хорошо, потому что выпью — за тебя. Но ты устроила целый пир...

— В Москве всегда ты меня угощал...

— И безуспешно напрашивался в гости.

— Положим, не ты напрашивался, а я не приглашала. Но садись же, садись.

Так и не сев (потом, с нижнего этажа, встать было б уже непросто), он взял рюмку.

— Давай выпьем за нашу встречу. Нет, я эгоист: за мою встречу с тобой. По всем законам природы её никак не должно было случиться. Совершенно не ведая, где ты, что ты, а только понимая, что потерял тебя навсегда, я уезжал из России не за тобой, а только рассчитывая сохранить самого себя и справедливо ожидая тут прозябания без встрясок. И вдруг — ты! Всё-таки есть Бог на свете.

Это «всё-таки» вырвалось само собою, из-за привычки к подобным оговоркам в расчёте на московские слышащие стены, но не из-за былых сомнений; в сию же минуту

он твёрдо знал, что Господь заметил его на земле. И застеснялся нынешних мыслей о смерти.

Мария тоже встала, и оттого что неловко было слушать из отдаленья, а чокаться — и вовсе не дотянуться, подошла к нему.

Потом, отняв рюмку, обняла его.

Свешников не испытал ни мгновенной нежности, ни радости — только облегчение, оттого что сомнения теперь остались позади, а в будущем его ждала любовь — как будто Мария всегда была его женой и они не расставались. Он шагнул вперёд, ведя женщину, как в старом танце — вальсе или танго, — всего полтакта: им помешал стол, и раздевать друг друга пришлось перед окном.

— Но как же — под такой крышей? — смеялась Мария, убегая впереди него в постель: стальная рама верхнего этажа кровати и в самом деле нависала угрожающе низко.

— Марусенька, милая, где угодно, — говорил он, настигая.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Недавно Захар Ильич бродил, не различая встречных (немцы ли шли, приезжие ли — он не понимал), а теперь не было случая, чтобы, попадая в центр, он не раскланялся с кем-нибудь, а то и не остановился поболтать. Этого он раньше не знал за собою, да и жена всегда считала его неразговорчивым (он, смеясь, поправлял: «несговорчивым»), но вдруг оказалось, что он стал находить удовольствие в обмене на ходу скромными новостями.

В этот раз встречным оказался тот самый жилистый, английского (в его представлении) вида мужчина с рыжеватыми усиками, с которым Захара Ильича недавно познакомила Муся: Свешников. Он не просто кивнул издали, а, перебежав улицу, вздумал поприветствовать и собаку.

— Привет, Фред, — сказал он, присев на корточки и протягивая руку ладонью вверх — как и в прошлый раз.

Пёс важно подал лапу.

— Вы, я смотрю, ладите с этим народцем, — расплывшись в улыбке, сказал Захар Ильич.

— Лучше, чем с людьми. Не мне вам говорить почему. И я вам завидую: у меня никогда не было возможности завести такого приятеля: ему пришлось бы целыми днями маяться взаперти. А Фреду, кажется, сторожить пустой дом не приходится.

— Да и мне — что делать в пустом доме? Если не нужно идти в какую-нибудь очередную контору (как они надоели!) и если нет дождя, мне не придумать занятия, кроме прогулки.

— Есть же книги. Вы — в кресле с книгой, и собака у ног... Как у вас с немецким?

Захару Ильичу следовало бы честно ответить, что — никак. Несколько слов, что сохранились в памяти со школьных лет, было достаточно, пожалуй, чтобы спросить дорогу и не понять ответа, но — не для чтения хотя бы газет.

— Я и русскими книжками, дома, особенно не увлекался, — сообщил он. — Так, знаете, детективчик на ночь. При условии, что его удастся раздобыть.

— Чем же вы заполняете время? — не удержался от насмешливого вопроса Свешников. — Сидя, скажем, в очереди у дантиста?

— Припоминаю какую-нибудь музыку.

Свешников снова не стал скрывать иронии:

— И в ней находите ответы на всё?

Но Захара Ильича в таких положениях совсем не мучили трудные вопросы, он — слушал. А сейчас — возразил:

— Ответов нет и в книгах. Вот вы в прошлый раз заговорили о душе, и я всё думал...

— Когда это мы с вами вели столь серьёзную беседу? — изумился Свешников.

— Вы говорили, что физики открыли душу.

— Ах да, помню, конечно: было такое замечательное сообщение, но оно булькнуло, как камешек в пруд, и — тишина. То ли опровергли, то ли засекретили.

— Видите, и в книгах не почитать.

— Напротив. Вас же не физика интересует.

— Я так думал: если она не умирает вместе с телом...

Если душа не умерла с телом, думал он, то в каком виде существует потом — в виде ли, скорее всего, призрачной и тем не менее разумной копии прежнего существа? Захар Ильич постарался представить себе, как то, что от него останется — облачко, — встречает душу покойной жены; здесь и сейчас ему понадобилась уверенность в том, что они не растеряются, встретятся на небесах.

— Читайте Данте, — посоветовал Свешников.

— И это не читал, — признался Захар Ильич. — Или забыл.

— На том свете он встречал тени — и узнавал же их, а? Надо бы — по чертам лица, да только какие ж у теней лица? Всё не так просто. Только странно, что это вас беспокоит.

Дома Захар Ильич не думал бы о таком.

Иногородние легко отличают жителей Москвы от питерцев, а тех и других вместе — от, допустим, одесситов, ибо что говорить о столицах или почти столицах, если даже и каждое местечко имеет своё лицо, а его обыватели находят между собою много такого особенного общего, какого не сыскать больше нигде; впрочем, ему, этому общему, совсем не обязательно бросаться в глаза — оно может сгуститься всего в одной какой-нибудь чёрточке, распознать которую сумеет далеко не всякий пришлый или прохожий человек — если только не случится ему познакомиться с городским сумасшедшим: тем незаурядности не занимать, а в ней-то иной раз и прячется искомая чёрточка. Выйдя таким манером из положения и раз, и другой, иной

путешественник сделает вывод, что и вообще, попадая в окружение туземцев (а в своей земле — в какие-нибудь чуждые толпы), для лучшего знакомства в первую очередь следует приглядеться к уродам из них: тогда и характерное проступит резче, и исключения подтвердят какое-нибудь важное правило. Так и литераторам лучше было бы выбирать в герои не просто одного из стаи, в которой все хороши, и уж тем более не жоака её, а непременно — белую ворону: в женском монастыре — переодетого водопроводчика, а в среде, например, еврейских эмигрантов — грузина или русского, тоже, понятно, переодетых.

Удивительно, как легко в старину обманывались на маскарадах: стоило даме слегка прикрыть скулы бархатным лоскутком, как даже и родной муж не узнавал её среди прочих набившихся в залу красавиц: даже и пригласив на тур вальса и видя знакомую родинку на обнажённом плече, будто бы не догадывался, кого держит в объятьях. И только нынешних нас, испорченных романами, а паче — кинематографом, не обманут ни чёрные очки, ни фальшивые бороды; тех, кто прячется под маской, выдают, не говоря уж об ослиных ушах, куда более отвлечённые и будто бы незначительные вещи: походка, интонация пусть и нарочно изменённого голоса, аромат косметики и, тоньше, аура. Наверно, каждый может вспомнить случай, когда вовсе не на бальном паркете, а на улице, в толпе, он вдруг чувствовал, как кто-то пристально смотрит ему в затылок, и ещё не оглянувшись, понимал, свой ли стоит там, сзади, или чужой; после этого рассказы о шалостях и обманах на маскараде кажутся всего лишь милыми выдумками.

Также и случайному человеку трудно затеряться среди надолго собранных в одном месте чужих. Он непременно чем-нибудь себя выдаст, и на этот случай ему стоило бы заранее заготавливать в своё оправдание впечатляющую легенду; подлинным же историям верят не всегда.

У Свешникова и в мыслях не было выдумывать для пересказа безопасные подробности своего жития: он предпочёл бы, верно, отвечать на вопросы, а не исповедоваться

по вдохновению. Но если сам он и не привык делиться переживаниями, то у другой стороны, в новом его окружении, нашлось предостаточно любопытных, готовых вникнуть в недосказанное, иными словами — разоблачить.

Разоблачить — иной внимательный к слову читатель может вообразить, будто речь идёт о разгоне облаков перед воздушным парадом, чтобы были солнце, день чудесный; в незабытом же ещё советском толковании это значило как раз обратное: нагнав тучи, в новом сумраке предъявить миру (для пользы дела кое-что и присочинив) таимые ближним дурные черты и помыслы, а заодно — и прочее таимое, которое будто бы никак не может быть чистым. Свешников и без принуждения мог бы выложить перед пытливым людом то, что знал о себе, — ему, казалось, нечего было скрывать, — но, успев послушаться советов помалкивать (особенно о своих планах устройства на чужой земле), счёл благоразумным внять им. Доброжелатели могли иметь здесь особую корысть: указывая на промахи ближних, они рассчитывали на немедленные поощрения — то на лучшую комнату в хайме, то на лучшие курсы немецкого, потом — на лучшую и в лучшем месте квартиру, потом... Он не представлял себе, какие баллы, зачем и за что можно набрать в этой игре — и нужно ли набирать. Он теперь и в самом деле молчал о своих намерениях — не потому, что убоился доноительства, а из-за неимения оных. Если ему и нашлось бы что скрывать, так это отношения с Марией — и то до поры до времени, пока не дозволено будет объявить во всеуслышание: вот жена моя.

Не ведая, пошли ли уже о них слухи, он только надеялся, что молва не связывает его также и с Раисой; собственно, одно это и было бы скандалом: прослыть мужем собственной жены — при живой любовнице. Пока что оба супруга скромно демонстрировали независимость друг от друга: жильцы разных подъездов, они встречались лишь случайно, не заводя при этом долгих бесед, и даже на курсы ходили порознь, хотя и в одну группу: Раиса предпочитала трамвай, а Дмитрий Алексеевич — пешую прогулку

через парк, где утром вместо праздной публики попадались одни торопящиеся на работу или занятия велосипедисты. Завидуя им, Свешников и сам подумывал купить со временем велосипед.

Соседи по хайму постепенно все обзавелись своим транспортом, правда, не двух-, а четырёхколёсным. Свешников оказался, пожалуй, единственным из мужчин, даже не приценившимся к какому-нибудь автомобилю. Всем им, получателям пособия, разрешалось иметь лишь подержанные машины: подразумевалось, что у этих людей не должно водиться денег — иначе зачем бы они претендовали на государственную помощь? Впрочем, в западных землях, им не позволили бы и такой малости, но распределённым в бывшую ГДР повезло хотя бы в этом одном — слабое, однако же, утешение. Нужные для покупки две-три тысячи марок нашлись у всех — кроме Дмитрия Алексеевича, не продавшего перед отъездом из России ни машины (которую проел задолго до отъезда), ни дачи (которой никогда не было), ни квартиры (не сумев убедить Раису).

— Ну что ты получишь за свою хрущобу? — резонно усомнилась она.

— Немного, — согласился он, — но получу. Нельзя же ехать в чужую страну без копейки.

— Другие — едут.

Теперь усомнился он, не знавший таких «других»:

— Бросив квартиры?

— Есть варианты.

И она изложила — свой: обменять их жильё — «двушку» в скромной пятиэтажке, но у метро, и однокомнатную квартиру в приличном доме, но едва ли не за городом, — на добротную двухкомнатную в хорошем районе — прописав в ней Алика; позже, когда бы тот собрался в Германию, её можно было бы продать выгоднее, чем нынешние две — сейчас.

— Деньги нужнее сегодня, на первых порах, — напомнил он.

— Мы ж её сдадим.

Было похоже, что Раиса уже рассчитала всё до мелочей. Эта её способность — или склонность? — была хорошо известна Дмитрию Алексеевичу.

— И Алик станет на это жить, — вывел он.

— А на что ещё? По крайней мере — пока не кончит институт.

— Пусть сдаёт маленькую, а мою продадим, — предложил он вариант, но Раису не устраивали половинчатые решения.

Не будучи хозяином положения, Свешников не смел спорить: инакомыслие было наказуемо и здесь; если только он действительно хотел попасть в Германию, то перечить Раисе не следовало. Она так прямо и сказала, что никого ни к чему не принуждает и он волен оставаться в совковой Москве и там торговать своей квартирой направо и налево. Тогда-то Дмитрий Алексеевич наконец понял, как остро ему хочется уехать.

«Если будешь хорошо себя вести, мама ходит с тобой в зоопарк», — посмеялся он, удивляясь себе, готовому угождать Раисе, — и в то же время прекрасно зная, что это удивление разыграно на пустом месте и что он никогда не стал бы ни заискивать перед этой ненастоящей — оставленной или оставившей его женой, ни поступаться ради неё привычками, а то и убеждениями; при этом он считал справедливым оставить квартиру в пользование пасынку, хотя и обидно было уезжать без копейки на устройство. С другой стороны, считал он, этих денег не будет, но их и не было, и, выходит, он ничего не теряет: в конце концов, оставляет большее — не поддающееся оценке.

Узнай кто-нибудь о таких его мыслях, Дмитрия Алексеевича и самого могли бы причислить к городским сумасшедшим. Вопрос был — какого города.

Как мы согласились в начале главы, он должен был бы выглядеть уродом в большой семье — и выглядел, прежде всего, из-за того, что из блестящей столицы государства без малейшего принуждения переселился в сонную провинцию, неважно, что иноземную. Вдобавок, он был единственным в общежитии (или во всех трёх общежитиях)

русским. И наконец, он был читателем, но товарищи по этому счастью или хотя бы достойные соперники ему что-то не встречались, за исключением, пожалуй, четы Александровых; остальные исповедовали музыку.

Городу принадлежали опера, большой концертный зал и симфонический оркестр, к выступлениям которого Дмитрий Алексеевич поначалу относился равнодушно из-за сковавшей его в первые германские недели странной заторможенности, а потом всё-таки понял, что иной пищи тут не найти.

За несколько дней до концерта он вдруг увидел на афишной тумбе самодельный плакатик «Nazi, go home» и подивился: какие, откуда здесь нацисты? Он посчитал призыв детской шуткой, но плакатик повторился на другой улице, на фонарном столбе, потом стали попадаться ещё и ещё, один за другим, по всему городу. Мария наконец разъяснила:

— Наци из Лейпцига приедут бить наших панков.

Почему и зачем, осталось неясным, но Свешников поленился расспросить; с Марией он мог поговорить о вещах и поинтереснее, а обстановка фойе концертного зала, куда они сейчас входили, и подавно располагала к другим темам.

Не строивший предположений, Дмитрий Алексеевич не представлял себе, что за публику предстоит тут увидеть, и лишь позже понял, что — подобную консерваторской в Москве. Он, собственно, не знал и ту, не имел обыкновения присматриваться к её лицам и нарядам, так что не узнавал даже завсегдаев, которых наверняка было большинство, — не успевал всмотреться, непременно и немедленно встречая какую-нибудь знакомую пару, почти всякий раз другую, оттого что все они тоже, как и он сам, ходили туда не слишком часто, а по выбору и настроению; повстречав же, он и вовсе переставал обращать внимание на посторонних. Беседы тогда заводились не о музыке, разумеется, оттого что бесполезно описывать её словами, но и не о политике или происшествиях, а чаще об иных искусствах. Он мог бы ходить в консерваторию, словно в клуб, только ради этого.

К удивлению, в преддверии зала, а через минуту — и в нём самом, Дмитрию Алексеевичу бросилось в глаза множество знакомых лиц; ему показалось, что здесь собралась добрая половина обитателей общежития, во всяком случае — почти все женщины. Первой, ещё в гардеробе, он увидел Беллу, соседку Литвинова, но пока раздумывал, подойти ли, чтобы представить её Марии, та поспешила прочь, быть может — догонять мужа, а Свешников некстати вспомнил, как недавно болтал с нею о стране, в которую они попали, и о странах, ещё невиданных; он размечтался о Больших бульварах, Сакре-Кёр и, наконец, о Лувре, и тогда Белла, когда-то побывавшая во Франции по служебным делам, попыталась утешить: «В Лувре ведь ничего нет, одни картины».

Звонок избавил от дальнейших колебаний, позволив раскланиваться издали, лишь привстав со своего кресла. В антракте же их — Дмитрия Алексеевича и Марии — вниманием завладел Захар Ильич. Свешников видел его на улице, в пальто и зимней шапке, но сегодня, в одежде другого рода, это и человек был будто бы другой. На нём были пусть и коричневый, но ладно сидящий костюм, лакированные туфли и галстук-бабочка, а густые для его возраста волосы он зачесал на пробор.

— Вы у меня прямо юноши, — похвалила Мария. — Два седых волоса на двоих!

— Сам не понимаю, как меня угораздило остаться гнедым, — развёл руками Захар Ильич.

— Краситесь.

— Как вы могли заподозрить? Просто собачка влияет.

— Обычно собачки всего лишь влияют хвостиком, — без улыбки напомнил Свешников.

Потом они сидели в разных концах зала, Захар Ильич — где-то далеко, и Дмитрий Алексеевич всё беспокоился, не нужно ли подождать его после концерта, объяснить обратную дорогу, — но нет, тот больше не появился.

Выходили потом почему-то через боковые двери, в тёмный сквер; лишь в отдалении через ветви просвечивали скудные огни безлюдной площади. Свешников

не всматривался, но всё же заметил, как на дальней её стороне вдруг мелькнула какая-то быстрая тень, и тотчас туда бросился человек от концертного зала, показалось даже — из вереницы выходящих зрителей. За ним объявились и другие, доселе невидимые: заметались по площади кто наперерез, кто вдогонку, а кто прочь, все — молча, и на перекрёстке сгустилась неплотная группка. Было видно, как странно дёргаются составившие её силуэты — словно выполняют физкультурные упражнения; в этом вовсе не угадывалась драка. Она происходила в неправдоподобной тишине, в которой, впрочем, Дмитрий Алексеевич готов был винить один лишь собственный слух, всё ещё настроенный на симфоническую музыку и закрытый для всего остального. Этого остального он так и не дождался: побоище не успело толком начаться, противники только примерялись друг к другу, а изо всех сходящихся на площади улиц уже выкатились зелёные полицейские автобусики. Группка, увеличившаяся было за счёт людей в форме, неожиданно растаяла: действующие лица поспешно набились в машины, и те смирной цепочкой втянулись в темноту.

— Это и есть?.. — начал спрашивать Дмитрий Алексеевич.

— Гости из Лейпцига.

— Хозяева, похоже, караулили за углом, ждали, когда будет можно вмешаться.

— Разыграли как по нотам.

— По нотам? Это естественно: мы шли как раз с концерта.

Футбол вблизи, с искажёнными лицами игроков во весь экран, и футбол издали, с последнего ряда трибун, — суть разные вещи, и зрители у них — разные. Примерно то же Дмитрий Алексеевич мог теперь сказать о заграничном мире: замечательный вид из России, в котором

даже невооружённым глазом хорошо различались соблазнительные автомобильчики, готические соборы да огни на Таймс-сквер (но только не крошечные человеческие фигурки), этот вид его больше не устраивал, однако и наблюдение чужих лиц в такой близости, что стали видны поры кожи, тоже пока не давало представления о стране. Он искал для себя третью версию, но не мог никого расспросить о важных обстоятельствах жизни, поболтать ни с кем из местных жителей, только — с Клемке, хорошо говорившей по-русски, но державшейся перед обитателями хайма, как пастух перед стадом, смешно подчёркивая дистанцию, и все разговоры сводившей к теме счастья, какое должны испытать приезжие, приобщившись к немецкой культуре. Свешников без успеха пытался внушить ей, что и местному населению нелишне перенять кое-что у эмигрантов.

— Мы приехали не с пустыми руками, — напомнил он однажды. — Пользуйтесь случаем.

— Вы приехали получать социальную помощь, — попрекнула Клемке.

— Ну-ну-ну, — чтобы вовремя остановить её, пока не сказала лишнего, он даже выставил вперёд ладони. — О том, почему и для чего я очутился здесь, знает германское правительство, и этого достаточно. Что толку нам с вами обсуждать давно решённые вопросы?

Ходили слухи, что в советские времена она сотрудничала со Штази, и Свешников, обычно слухам не доверявший, всё же старался не касаться с нею острых тем и уж тем более уходил от споров, которые, однако, вдруг возникали даже на самом, казалось бы, бесплодном месте. Вот и сегодня началось с пустячных материй. Повстречав Клемке во дворе, Дмитрий Алексеевич только бросил, ещё на ходу, замечание о погоде — и вынужден был остановиться, чтобы выслушать в ответ воспоминания о некогда пережитой ею страшной русской зиме, а тогда же, заодно, и попросить содействия.

— Нам задают на дом очень много уроков... — начал он, имея в виду языковые курсы.

— Тем скорее вы научитесь говорить по-немецки.

— Согласен. Я не о том. Нам очень много задают на дом, где мы занимаемся при плохом свете и портим глаза.

Комнаты общежития освещались скудно, в то время как в подвале гостиницы, Свешников видел, в изобилии хранились настольные лампы (он чувствовал неловкость из-за того, что у него самого висел над столом удобный светильник, а Раисе приходилось довольствоваться одинокой трубкой дневного света под потолком).

— Многие из нас немолоды, — напомнил он.

— Мы предоставили вам всё необходимое для жизни, — сухо ответила Клемке. — Мы даём приют, но не создаём лишних удобств: хотим, чтобы вы поскорее брали квартиры.

— Никто этого не сделает, пока не кончит школу, — пожал он плечами, не подав виду, что удивлён её цинизмом. — Что-нибудь одно: заниматься или языком, или поисками города по душе, а затем ещё и ремонтом, и занавесками.

Причина в действительности была иной, и Клемке это прекрасно понимала: слушатели курсов могли бесплатно жить только в хайме, отдельные же квартиры оплачивались за казённый счёт лишь после окончания учёбы; охотников напрасно раскошеливаться, конечно, не находилось.

— Жаль, что вам не нравятся немецкие города. Чего вам здесь не хватает?

— Вообще — нравятся, — уверенно опроверг Дмитрий Алексеевич, имевший об их облике только книжное представление. — Не нравится этот — советский по форме и социалистический по содержанию. Или наоборот: советский по содержанию. А не хватает в нём вот чего: колокольного звона и статуи всадника.

Он почему-то постоянно думал об этом.

— Какого всадника?

— Не имеет значения. Всегда находится какой: Пётр Первый, Фридрих, Чапаев...

— Есть же памятник основоположнику.

— Он, Клемке, безлошадный, — вздохнул Дмитрий Алексеевич, с содроганием припомнив чудом отвергнутый проект московского памятника Марксу на четырёх слонах и пытаясь вообразить на Красной площади бронзового конного Ленина с шашкой в правой руке и кепкой — в левой.

— Фрау Клемке.

— Голубушка, я настолько старше, что могу называть вас просто по имени.

С этими недовольными словами он пошёл прочь, сгоряча решая и в самом деле поторопиться с квартирой, чтобы избавиться и от всевидящего ока фрау Клемке, и от необходимости одалживаться у неё по мелочам, и от бестолковой суеты общежития. Его не пугало, что, добившись желанного уединения в своих четырёх стенах, он неизбежно стал бы одиноче, нежели когда бы то ни было, — затерянный в населённом немцами доме, лишённый работы, ни с кем не знающийся бирюк.

«Да отчего же — ни с кем? — опомнился он, замирая посреди тротуара. — А Маруся?»

Дело было, однако, не в амурах, не в женщинах, а в единомышленниках, до сих пор им не встреченных. В школе, где Дмитрий Алексеевич теперь учился языку, занимались обитатели трёх общежитий; в перерывах они собирались в коридоре небольшими группками, и, подходя по очереди к разным, всякий, наверно, нашёл бы себе компанию по вкусу; Свешников подходил, вступал в беседу — и убеждался, что все эти кружки одинаковы, пока на третьей неделе ученья его вдруг не привлекли необычные речи: наливая из автомата кофе, он услышал, что за спиной говорят о книгах:

— ...он пишет не об одном и том же, а — одно и то же, одно и то же. Товар идёт — и почему б ему не поставить издание на поток?

— Просто человек начал разрабатывать тему, — ответил женский голос, — написал книгу и увидел, что материала осталось ещё и на раз, и на два: не пропадать же добру.

— Видишь ли, дорогая, — в голосе мужчины послышалась улыбка, — живописец может хоть сто лет писать натюрморты с одной и той же селёдкой, но писатель обязан всякий раз выдумывать новые продукты.

Свешников обернулся. За ним стояла средних лет пара — миниатюрная женщина с редкой светленькой чёлкой, одетая в полосатый, как тельняшка, пуловер, и мужчина с таким голым лицом, словно он только минуту назад сбрил усы.

— Извините, я нечаянно подслушал, — сказал Дмитрий Алексеевич, — но это хорошо придумано — насчёт селёдки.

— Не осетрины же.

— Второй свежести. Но не в этом суть. Это просто очень точно. Хотя из вашего правила известны исключения: можно привести в пример несколько томов, в которых автор то и дело возвращается к одному и тому же кусочку бисквита.

— Вы чересчур поднимаете планку. Тут разговор особый. Сами же сказали: исключения.

— Долгий разговор, — согласился Свешников. — Только почему ж если о гениях, то сразу — особый? Нет, я вовсе не о том, что горшки обжигают другие, а о том, что таланты всех уровней наверняка подчиняются каким-то общим законам. В принципе ведь можно разработать алгоритм человеческой гениальности.

— К счастью, я в этом ничего не понимаю. Я, знаете, был переводчиком. Как говорят — почтовой лошадкой литературы. Такая фигура вам знакома? Правда, вы, как можно догадаться, всё-таки не филолог?

— Но очень к этому близко: читатель, — с удовольствием выговорил Свешников, наконец-то дождавшись случая назвать вслух свою настоящую профессию.

— Редкое у вас ремесло.

— Секрет давно утерян.

— Всё-таки, выходит, мы коллеги. Давайте знакомиться: Сергей Александров.

Свешников, как обычно, назвался полностью, отчего и к Сергею пришлось добавить Матвеевича. Спутница же того так и осталась просто Женей.

С этой парой тоже нельзя было рассчитывать на многие беседы: их курсы заканчивались через полмесяца, вслед за чем ожидалось и немедленные перемены — какие, они умолчали, а он не спрашивал, зная, что здесь не откровенничают; впрочем, было ясно, что имелся в виду переезд. Ему стало неловко — не оттого, что от него что-то скрывают, а оттого, что он знает что.

— У меня-то, — пробормотал он, — впереди полгода спокойной жизни. Честно говоря, пока не хочется строить далёкие планы. Прежде стоит набраться чужого опыта.

— Какой там опыт? — пренебрежительно махнул рукой Александров. — У каждого свои рецепты, и узнать, который лучше, не у кого: человек переезжает — и с концами. А до того лозунг у всех один, как в войну: «На запад!»

— Такая программа мне не по карману: наслышан, сколько дерут маклеры.

— Напрасно вы сводите такие вещи к деньгам.

Можно было, наверно, подумать, что Свешников приеднается из осторожности либо хитрости: иные приезжали с деньгами, продав квартиру, машину, а то ещё и дачу; пожалуй, он одним из немногих заявился в чужую страну с неполной тысячей марок на двоих.

— В конце концов, — продолжал Александров, — откладывайте разницу между стипендией и пособием, вы же на неё не рассчитывали. Как раз расплатитесь с маклером.

— Ценный рецепт, — похвалил Дмитрий Алексеевич.

— Простите, — спохватился тот. — Я и сам не терплю прописей. Но вы заговорили о чужом опыте, и мне стало неловко уносить свой невостребованным.

— Что до меня, то я в конце концов унесу — и знаю куда.

— Вы всегда шутите так мрачно? — поинтересовалась Женя.

— Я не всегда шучу.

После тихого провинциального Рождества непосвящённому человеку трудно было ожидать той ожесточённой новогодней канонады, что, нагрянув вечером двадцать восьмого, продолжалась ещё и в январе. Напуганный бульдог вечерами не хотел выходить из дому и лишь третьего или четвёртого числа, когда хлопки и выстрелы стали одиночными, вновь начал оживляться при слове «гулять».

Захару Ильичу понравилось, как горожане готовились к празднику: уже в ноябре почти во всех домах горели по окнам электрические свечечки и звёзды, на площадях открылись базары, и прохожие задерживались у киосков с глинтвейном. Зато его неприятно удивила прыть, с какою те же самые обыватели уже на второй или третий день Святков, не дожидаясь новогодней ночи, принялись выбрасывать ёлки. В его славянском городе, он помнил, их не разбирали и через неделю, и через две после новогоднего праздника — пока те, пережив и Рождество, и Крещение, не начинали отчаянно осыпаться, — и в комнатах всё это время стоял особенный праздничный воздух.

Остановившись перед сиротливо лежащим под забором пушистым, с тугими ещё иглками, деревцем, Захар Ильич задумался, не унести ли его к себе. Подбирать не своё было ему неловко, и он быстро подыскал возражение: нелепо ставить ёлку для одного себя, старого человека, у которого к тому же не найдётся, чем её нарядить. Базары закрылись на ближайшие десять месяцев ещё в сочельник, и уже нигде не купить было ни ёлочных игрушек, ни мишуры, ни хотя бы конфет в обёртках. «Можно, правда, повесить мандарины, — вспомнил он время, когда эти фрукты казались почти чудом. — Только ведь и голая постоит — тоже хорошо».

Ёлочка так и осталась лежать на улице.

Это был уже второй Новый год, встреченный в Германии. Первый наступил в деревне (или, как он называл, по настроению, то — на даче, то — в ссылке), и там комендант

не просто пристроил огни на росшей во дворе голубой ели, но и, зная обычаи своих постояльцев, справился, когда потом можно будет снять гирлянду. Остановились на пятнадцатом числе. Во второй раз смена года стала испытанием из-за пальбы: до самого утра взрывались петарды, с воем летали неяркие ракеты, и Захар Ильич говорил, путая простые понятия:

— Какая нетипичная зима! Вместо того чтобы поскрипывать снежку, а лишним звукам гаснуть в сугробах, тут от земли пахнет серой.

Местные жители тоже считали нынешнюю зиму нетипичной — из-за холодов. Захара Ильича выручала ушанка, которую в прошлом году так и не пришлось доставать из чемодана. Немцы легкомысленно ходили в джинсах, в курточках из плащовки, с открытыми шеями, — Захар Ильич подозревал, что — в том же платье, что и в летнюю непогоду, и ужасался при виде девушек в митенках вместо перчаток (но, правда, и в свитерах с длинными, как у Пьеро, рукавами). Те, кажется, чувствовали себя в такой одежде прекрасно, но, будь они его ученицами, он велел бы им являться на уроки на час раньше, чтобы успели отогреться пальцы. Увы, не он учил их.

Пока что он надумал поучиться на старости лет и самому — записаться на курсы немецкого языка — платные, оттого что заниматься вместе с обитателями хаймов его не брали из-за преклонного возраста. Деньги пришлось бы платить совсем небольшие, и смущала его лишь отдалённость заведения: добрых полчаса езды (пустяк в прежней жизни) виделись ему, уже привыкшему к местным преувеличенным меркам, изрядною дорогой.

В первый раз — записываться — он поехал с собакой.

Место было живописным: край города, речка — мелкая и живая, лесистый холм сразу за последними домами; всё портило только непомерное движение по улице, неподалёку от этого места вливающейся в автостраду и несущей на себе одну за другой тяжёлые фуры. Захар Ильич пожалел, что взял Фреда, вынудив его сейчас дышать скопившимися у земли выхлопными газами.

Впереди, собравшись в тесный кружок, колдовали над чем-то мальчишки.

Когда Захар Ильич миновал их, прямо под ногами взорвалась петарда. Фред, шедший по самой кромке тротуара, шархнулся, вырвав поводок, в сторону — на проезжую часть, под колёса настигавшего сзади огромного грузовика. Захар Ильич отпрянул и сам, оглядываясь не в сторону хлопка, а на собаку, — туда, где уже никого не было, ни одной живой души. Он ничего не разглядел, оттого что вся картина мгновенно застлалась ярким чёрным светом. Он, кажется, зажмурился, а когда снова открыл глаза, свет был уже белым и падал — на белые предметы: потолок, стены, шторы, бельё, небо за окном; то же, что размещалось под небом, оставалось невидимым из-за высокого подоконника.

Он не спрашивал, что случилось и где он находится — не из-за незнания немецкого, об этом он даже и не подумал, — а оттого, что и сам понимал всё.

До сих пор он считал, что готов к концу, и постоянно ждал его, но — не такого страшного, но — не на своих глазах, но — собственного.

Свой — приобретал для него новый смысл: земное пребывание могло бы ещё длиться и длиться, но в том лишь мире, который вдруг сжался до пределов белой коробки. За её стенками наверняка он не нашёл бы ничего путного, одну пустоту; не сомневаясь, что скоро выйдет наружу, он и не представлял, что же будет с ним в тех беспредельных далях, что откроются за дверьми.

Его и в самом деле не стали удерживать, а выпустили, для начала только в коридор, попробовать, и первые шаги он сделал с опаской: не вспыхнет ли снова ослепительный свет, не упадёт ли он как раз в тот момент, когда этого некому будет заметить. Тем не менее всё сошло гладко, и Захар Ильич пошёл дальше почти так же уверенно, как бродил прежде. Путешествие, однако, было ограничено окном в одном торце и другим окном — в противоположном. Первое выходило на синие дали: на скромные горы, на жалкую речку. Второе — открывалось

на город, открывалось — над городом: до самого горизонта уходили замечательные черепичные крыши. Захар Ильич раньше не раз рассматривал издали здание больницы — одно из самых высоких, двенадцатиэтажное, уступавшее только небоскрёбу отеля «Меркур». Отворив створку и высунувшись, он увидел, что находится на верхнем этаже. Внизу был мощёный двор — пустой, если не считать сваленной как раз под окном груды брусчатки из разобранного неподалёку тротуара. А больше ничего там ему и не понравилось.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКИ

*Время — упадок — и падают
на спину птицы.*

В. Соснора

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Неверно думать, что дальнейшие события больше не будут иметь отношения к склянке, в которой через тесную дырочку сыплется песок. Склянка где стояла, там и стоит, просто кто-то её переворачивает, а кто-то другой, равнодушный, вовсе и не глядит на ничтожное перемещение за стеклом. Наш герой в начале повести тоже не замечал никакого движения — воды, саранчи, мелкого песочка, — а вот явилась неблизкая жена, перевернула часы с ног на голову — и время пошло истекать (снова сверху вниз, но — с другого верху в другой низ) совсем не так, как раньше.

Календари можно менять один за другим, по мере истечения лет, а можно отсчитывать эти собственные лета, глядя уже не на стрелочки и циферки, а просто — на своих младшеньких, которые, толком словно бы ещё и не родившись, проходят в школе не только действия арифметики, но и законы противодействия им, незнание которых, как известно, не освобождает от ответственности; последним из учеников на всяком экзамене приходится наскоро придумливать им заменители, давая волю фантазии.

Художники знают об этом много, но не всё, оттого что не одни лишь изящные затеи вроде сочинения новелл, но и многие, многие случаи в нашем бытии суть игры воображения. Не дай ему волю, и тогда что последние известия по радио, что бабушкины сказки — всё будут пустые слова. Так даже к описанию тридесятого государства останешься равнодушным, пока не вообразишь себя — в нём, со всеми приключениями в пути.

Свешников в своё время — вообразил. В его представлении в тридевятом царстве если и не текли в кисельных берегах молочные реки, то существовать всё же можно было безбедно. Он оказался прав лишь в отношении тех, кому перевалило за шестьдесят — кому не приходилось ни искать здесь работу, ни, главное, отчитываться перед чиновниками в этих напрасных поисках; но даже и те прочие, чьё положение выглядело не таким определённым, знали, что не пропадут: они для того и сбежали из дому, чтобы, не боясь не только завтрашнего, но и нынешнего дня, — быть на свете. Как и местные жители, они больше не ждали общих потрясений. Личные же нелады и удары настигали одинаково что хозяев, что гостей, восточных или северных, с тою лишь разницей, что пришельцами ощущались сильнее: их мирок был мал и случившееся с одним могло когда-нибудь отразиться на многих.

Представив себя на месте едва знакомого старика, на глазах которого погибла его собака, Свешников содрогнулся.

Промелькнувшая в уме картина показалась такой отчётливой, словно он сам пережил ужас и конец всего. К счастью, она была всего лишь мимолётным озарением, и о происшедшем потом в больнице Свешников рассуждал уже спокойно, посчитав печальный конец неизбежным в сюжете, где осиротевший пенсионер оказывался лишним. Продолжения тут не следовало, и он, примеряя случай на себя, подумал, что если и в самом деле последствия часто оказываются важнее самих событий, то об истории с учителем музыки скоро позабудут, не углядев в ней оборванных связей, ни единой ниточки.

«Что-то случилось — и не случается ничего, — произнёс про себя Дмитрий Алексеевич, словно заклинание, и повторил ещё раз — как эпитафия к последующим картинам. — Какие же пустые слова лезут в голову!» Он поймал себя на том, что думает о несчастном происшествии, как о тексте книги, которую взялся читать, отложив остальные дела. Сейчас он дошёл в чтении до самого напряжённого места, если не до развязки, за которой следовало бы ждать уже не новых встрясок, а лирических отступлений, смягчения страстей и нравоучительного послесловия. Больше по душе ему пришёлся бы вариант, в котором автор, убедившись, что гибель персонажа ничего не даст, сохранил бы тому жизнь, наделив воскрешённого тоской и угрызениями совести. На этом фантазия Свешникова иссякла, и он, вернувшись к начальной версии, признал, что ничего не извлёк из повествования. Он, видимо, ждал жёстких ходов, но если уж его не затронула смерть героя, то что другое могло бы подействовать сильнее? Пожалуй — только смерть автора ещё до конца рассказываемой истории.

Дмитрию Алексеевичу хотелось стать тем читателем, который и в таком случае дошёл бы до последней главы. Лица, оставшиеся действующими, наверно, продолжали бы играть в собственные игры — вплоть до эпилога; следовало только найти способ записать хроники. Не видя тут ничего фальшивого, оттого что действия не одной этой, но и других, но и всех повестей происходят в придуманных мирах, сотворённых вручную на белой бумаге так же, как был сотворён мир, в котором мы живём, он задумался: а возможна ли жизнь после смерти Творца?

Вопрос был не случайным: в эти дни уже многие заметили, что на белом свете начинается хаос — в России, в природе... «Хорошая тема... Не умер ли Бог?» — продолжил Свешников — и замер.

Усомнившийся ждал немедленной кары — её не последовало, и он спросил с недоумением: «Разве я верую?»

Сегодня Дмитрий Алексеевич почти допуская, что — да; он и раньше (неожиданно вспомнилось) невольно держал где-то на краешке сознания, как за марлевой занавеской,

осторожную догадку о непременном присутствии Его если не в нашем земном бытии, то — над оным, в умах, а сейчас, вопрошая, не умер ли Бог, сознавал, что кощунствует. Он всегда считал, что в своих мыслях не может миновать Всевышнего, и только к легендам, сопутствующим всякой религии, относился скептически, прежде всего не веря в ад — который хотя и не описан в Заветах, тем не менее будто бы известен каждому как место физических мучений — нестрашных для бесплотных душ. Муки совести — вот чем могли бы терзаться наши тени, адским же сковородкам пристало накаляться ещё на этом свете, для живых грешников. Поверить в рай, где могло и не найтись ничего вещественного (но и древа познания, с плодами и змеями, тоже?) и где блаженствовали бы, общаясь между собою, всего лишь прозрачные облачка —местилища былых чувств, — поверить в это было куда легче. Поначалу он, правда, не понял, отчего у Данте получилось наоборот — яркое описание преисподней затмило одноцветную картинку Царствия Небесного. Поразмыслив, он объяснил это общей бедою людских языков, не припасших слов, чтобы выразить благополучие: в самом деле, всякий, почувствовав, что ему плохо, расскажет об этом в подробностях, а когда же станет — хорошо, то не сумеет внятно сказать как. Здоровый человек не опишет словами своё состояние — сказать, что у него ничего не болит, значит не сказать ничего, — зато больной все хворобы назовёт своими именами: пожалуется и на дурноту, и на тошноту, верно укажет, где у него болит, где ломит, чешется, ноет, свербит. Хорошее самочувствие замечательно отсутствием всего этого, а всякое отсутствие неопишуро речью.

Свешников подозревал, что в ожидании встречи близких душ на небесах есть непростой смысл, и даже испытал облегчение, подумав, что теперь Захар Ильич найдёт своего Фреда (только — где? Рай, видимо, не место для домашних животных, но не место и ад, об этом нечего говорить). Не имея представления о загробной жизни, он достиг лишь одного: вывел, что всё, надобное душе на земле, будет ей необходимо и на том свете.

— Любопытно: мы имеем в виду плотские удовольствия, — сказал он Марии совсем по другому поводу, — а говорим «чего душе угодно» — так, словно она материальна.

— Вдобавок, — ответила она, — занимательное языковедение мне, знаешь, не по душе.

— О, за десять лет я это усвоил.

Дмитрий Алексеевич постарался не заметить её каламбура: тема души казалась ему сейчас тяжеловатой, во всяком случае, с женщинами — с Марией! — он хотел бы говорить о чём-нибудь попроще. Тут одно слово потянулось бы за другим, и он уже видел эту цепочку: душа — Бог — Вселенная — рай и ад... Отдельные её звенья он когда-то разбирал много раз, и тогда Бог в его уме представлялся в виде огромного мозга, подобного Солярису, столь мощного, что его излучение чувствовалось бы за миллионы километров, что на том же расстоянии он улавливал бы слабые волны бедных человеческих умов и что, значит, он умел бы управлять и бессмертными душами, хотя бы теми, которые, покинув свои телесные оболочки, сделались нежными, как медузы, сгустками энергии. Таким обжигающим комочкам следовало бы собираться вместе в каком-нибудь поясе вокруг Земли, добавляя тому ума (он, конечно же, читал Вернадского), — вот там и могли бы вновь сойтись две разлучённые души — например, старого учителя музыки и его верного Фреда; Дмитрий Алексеевич знал, как ему могли бы возразить, и заранее горячился: «Да, да, у Фреда была душа — как у всех собак».

Он даже вообразил, как тень бульдога, завидев тень хозяина, виляет тенью хвоста.

Тотчас возник новый вопрос: если эти двое могут узнать друг друга, значит, они, души без оболочек, обладают памятью? И дальше: знают ли они о происходящем на оставленной ими Земле? Было бы важно, чтобы души его родителей понимали, чем он был и чем стал, и ему самому не пришлось рассказывать об этом, разъясняя очевидное. Там, наверху, свои представления о ценностях, и то, что Свешников в земном существовании считал достижениями, наверняка ничего не стоило в иной жизни.

Главное, ему было бы неловко заговорить с родителями о своих браках — с Юлией, с Марией, с Раисой; впрочем, два из них там, наверху, ничего не стоили, а с третьим хотелось покончить незнамо как и наконец понять, останется ли Мария лишь случайной подругой или она уже — спутница до конца дней.

И если — так, навсегда, то надо жить дольше, чтобы не оставлять её одну.

Итак, он сказал:

— О, за десять лет я это усвоил.

Именно столько прошло со времени их знакомства. Всего несколько дней назад они отпраздновали свой юбилей — простейшим образом, посидев пару часов в ресторане. Дмитрий Алексеевич тогда опоздал с приглашением: только ещё обдумывал, как его обставить, и Мария опередила, вдруг в самой неподходящей обстановке, в присутственном месте, спросив, знает ли он, чем знаменито в этом году двадцать девятое декабря.

«Ах, преждевременно», — подсадовал он, отвечая, тем не менее, без запинки:

— Нашим юбилеем.

— Хорошо, значит, обойдёмся без предисловий. У тебя есть ещё дни в запасе, так что приготовься: я приглашаю тебя в кабачок. Подчёркиваю: я. Погоди, не перебивай: если будешь спорить и торговаться, я уйду.

— Уходи.

— Чур, я первая сказала, — выкрикнула она, как ребёнок. — Помнишь, какое это было волшебное слово — чур? Никто не смел возражать.

— Да, ребята свято соблюдали свой кодекс. И вот, выросли — и всё пошло не впрок. Настолько, что не верится, будто нынешние дети могут вести себя так же. И скорее всего — не ведут, они же берут пример со взрослых. А взрослые сегодня даже «честное слово» не говорят: забыли.

— Не отвлекайся, а назови ресторан. Мне, например, попались на глаза всего три.

— Столько, наверно, и есть.

— Тем легче.

— Подвал в ратуше, — предложил он.

Ему нравилось, что — подвал, погребок, и что — в старинном доме.

В самой ратуше (Мария спросила) он не бывал, только любовался снаружи; его не тянуло заглядывать лишний раз в конторы, пусть иностранные, пусть в древних стенах — всё равно, подозревал он, там ничего не осталось от старины. Дмитрий Алексеевич уже знал цену гэдээровской, сделанной на вкус партийных бонз, реставрации.

Однажды фрау Клемке повезла своих подопечных знакомиться, как она выразилась, с настоящей культурой — осматривать старинный замок, стоящий на вершине — нет, не горы, а холма, но всё же — над городом, до черты которого оставалось, наверно, с километр. Стены его — не только внешние, но и одна из стен коридора, ведущего в глубину здания, были сложены из дикого камня, и Свешников ждал, что и зал, в который их вели, будет строг и холоден из-за той же грубой кладки и дубовых балок потолка. В действительности же помещение показалось ему перенесённым сюда из советского сельского клуба: фанерные креслица и, главное, фанерный же потолок, расчерченный на квадраты узкими рейками. Клемке показывала это, гордясь: всё починено, всё чисто.

— Кто же так сделал? — не сдержался Свешников. — Вызывали специалистов? С Запада?

— Нет, зачем? Работали ваши солдаты, — простодушно ответила она.

В погребок под ратушей старались, похоже было, всё-таки мастера: и разные поверхности сходились с точностью, и балки были черны от времени, а не от краски, и винные бочки вмурованы в кирпичную стену туго, без щелей: Дмитрий Алексеевич поначалу посчитал их фальшивыми — просто отдельными днищами с чужими краниками, однако оттуда и в самом деле что-то выливалось, и официанты подавали это на столы.

— Заказывай, ты же гость, — предложила Мария, подчеркнув: гость; это поддразнивание было уже лишним, он давно сказал, что сдаётся, но уступает в таком деле в первый и последний раз.

Её доводы были просты: продав при отъезде московскую квартиру, она стала по сравнению со Свешниковым настоящей богачкою (провезти через границу всю вырученную сумму было невозможно, деньги удалось пристроить только в неведомом далеке, и тем не менее у Марии на руках имелась какая-то наличность). Не говоря уж о том, напомнила она, что им двоим нелепо да и грех считаться деньгами. У Дмитрия Алексеевича на этот счёт было своё мнение, да и во всём споре — свои доводы, тоже, как у неё, непроверяемые, но — иного плана; спорить пока было не время.

Между тем гость не знал, на что зван — на ужин или на бокал вина и чашку кофе.

— Я проголодалась, — помогла ему Мария, и лишь после того, как официант отошёл с заказом, спросила давно приготовленное: — А мог ли ты предположить...

Свешников, не дослушав, расхохотался, оттого что и сам сию секунду думал о том же. Он попытался продолжить без паузы:

— ...тогда, в аэропорту, что спустя десять лет мы будем жить вместе?

— Мы не живём вместе.

— ...что вместе будем жить в капстране, — наскоро поправился он, — к чему приведёт цепочка случайностей, совершенно невероятная в обычной жизни, а только — в неважных романах? Я, кстати, так и не знаю всего о тебе.

— Тогда, в тот день, пределом мечтаний было каким-то чудом достать посадочные талоны и вылететь в Москву. Какая там заграница, что ты...

— В Москву! В Москву! В Москву!.. Знаешь, мне и сейчас, пожалуй, не хватает воображения, поверить, что всю ту фантазмагорию мы наблюдали наяву: скорее

согласусь, что сам выдумал тогдашние приключения — и то, как людей выбросили из самолётов, и то, как они спали вповалку на каменном полу. Э, да что говорить? Странно, что это не отбило у меня охоты к перемещениям в пространстве.

— Что же мы теряемся? Съездим куда-нибудь, — поспешно, как будто нарочно подведя к этому и теперь ловя кавалера на слове, предложила Мария. — По-моему, проще всего — в Прагу, на выходные. Это близко, часа три на автобусе.

— Я готов, — мгновенно отозвался Дмитрий Алексеевич.

— Как легко с тобой сговориться! Так поедем, пока не подошли какие-нибудь сумрачные дни.

«Откуда им вдруг взяться?» — возразил он про себя, но вовремя промолчал, озадаченный мимолётной тенью на её лице.

— И пока мы не поделились, каждый, своими бедами... Только нет, не сейчас, у нас же юбилей, и нам в самом деле пора поговорить о каких-нибудь путешествиях. Я так засиделась, что мечтаю уже не об одних только экскурсиях, а о большем...

— О сладкой жизни? Придётся поспешить, пока не разрослись аппетиты.

— На аппетит я не жалуясь. А если серьёзно — ты же знаешь, как я мечтаю навсегда выбраться из ГДР. Мы оба застряли на полпути: столько наших переехали в западные земли, вот и я хочу: во Франкфурт, в Мюнхен, куда угодно.

— На «дикий Запад»?

— Я не шучу.

— И снова: я готов.

— Не всё так легко, — проговорила Мария, тут же напомнив о его семейных узах.

— Они очень удачно названы узами, — беспечно отозвался он. — Не более того.

— Но и не менее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Услышав, что опять, ради очередной регистрации, нужно ехать куда-то в другой город, Литвинов, напрасно помнивший о копеечных билетах на электрички в прежней России, не удержался от горестного вздоха: положительно, здесь можно разориться на поездах. Будь его воля, он, давно удовлетворивший первое любопытство, больше не трогался бы с места, полагая, что все города в одной стране устроены одинаково; между тем в посещении некоторых время от времени возникала самая неотложная нужда. Вот и нынче пришла пора ехать в российское консульство, чтобы встать на учёт. О такой необходимости знали давно, и Михаил Борисович успел примириться с мыслью о путешествии. Печать в паспорте, ради которой оное затевалось, и сама по себе стоила недёшево («Им же надо каким-то образом кормиться», — оправдывал Литвинов родных чиновников), а вместе с билетами на поезд сумма могла, наверно, и удвоиться, и наши эмигранты тянули с затеей, сколько могли, а наконец решившись, собирались ехать весело, всем миром, будто на экскурсию, и только чуть ли не в последний день кто-то из старожил, к слову вспомнив, что личного присутствия в конторе вовсе не требуется, надоумил отрядить туда, скинувшись по мелкой денежке, единственного гонца. Подлый жребий указал на Литвинова. («С моим еврейским счастьем», — вздохнул тот, забыв, что счастье, улыбнувшееся другим, было бы того же сорта.) Эти другие, он видел, вздохнули с облегчением — пожалуй, один только неугомонный москвич огорчился, но — промолчал. Промолчал и Михаил Борисович, не склонный рассуждать о своей командировке, которой наверняка предстояло свестись к долговому ожиданию под дверьми, а затем — к препирательствам с унылыми служащими.

Так оно и вышло, но сначала ему досталось немножко удовольствия. В вагоне через проход от него расположилась молодая женщина, и Литвинов, будто бы уставившись в окно, безнаказанно любовался её профилем. Она

всё что-то писала, писала на больших, как для машинописи, листах, и он не назвал бы это письмами, оттого что видел не первую, с обращением, страницу, а одну из следующих, записанную сплошь, но с абзацами: письма пишутся иначе, подумал он, предположив теперь то ли журнальную статью, то ли даже нечто художественное. Незнакомка строчила довольно бодро, лишь изредка задумываясь на минутку, и Литвинов невольно прикинул, что здесь, при нём, она успела насочинять не меньше двух или трёх книжных страниц; при такой ежедневной работе за год мог бы получиться толстенный том (да что там, и за полгода набралась бы приличная книга). Это оказалось настоящим открытием — такая простая арифметика! Михаил Борисович не понимал, как раньше ему не приходило в голову заняться подобными подсчётами; в итоге он потерял время. При старой власти за извод бумаги даже платили деньги, и писатели недаром считались богатыми людьми. Неважно было, какого сорта продукция выходила из-под пера (неважно — ему, читавшему мало), но само по себе это занятие, писательство, при всей своей бесполезности считалось достойным. Последнее было больным местом Михаила Борисовича: в новой, германской жизни его как раз то и смущало, что никак не удавалось придумать себе нестыдное дело и приходилось жить на казённую милостыню, как бы она там ни называлась. «Только подумать, — сокрушённо повторял он чуть ли не ежедневно, — кем я был в совке — и кто я здесь!»

Однажды Михаил Борисович всё-таки признался себе: «Я, правда, сам виноват: расслабился». Непривычное отсутствие каких бы то ни было обязанностей оказалось чрезвычайно приятной вещью: всякий день можно было посвящать себе и, сладко мечтая сделать под старость карьеру в Германии, лениво откладывая первый шаг — со дня на другой день, с понедельника на понедельник. Заявить о себе он собирался просвещением аборигенов — чтением лекций об известных ему основах лучшей в мире педагогики. Он надеялся, что этим подвигнет

немцев на перестройку системы образования, хотя бы — начального. От соседей по хайму Литвинов был слышан о странностях здешних школ: говорили, будто ученики не только не знают имени, скажем, немца Энгельса, но и таблицу умножения проходят едва ли не в пятом классе. Бывший доцент советского педагогического института вполне мог бы прочесть коллегам целый курс — и тем приблизиться к прежнему своему положению. Оставалось лишь выучить немецкий, но на то у него и были впереди шесть месяцев обязательных курсов.

Во всём, однако, имелись свои плюсы. Вот и между тем, чем он был и чем стал, уложилась совершенно уникальная история — его приключения и мытарства, каких хватило бы на пятерых: Литвинов приобрёл бесценный опыт, которым нечестно было бы пользоваться в одиночку, а следовало поделиться — если бы знать, как и с кем. Созерцание соседки в поезде навело на удачную мысль: рассказать такой, как она, писательнице или прямо надиктовать для немедленной публикации много интересного о своём отъезде из России — хотя бы о хамстве милицейских чинов в родном городе или в Бресте — таможенников, заставивших его с женой, выгрузив на перрон весь багаж, тащить эти два десятка мест в досмотровый зал (спасибо, подвернулся случайный мужик на электрической тележке, да и тот помог не задаром, совсем не задаром, так что и сомнение возникло, случайный ли). В таком рассказе не умолчать было бы и о двухэтажной кровати в общежитии, делавшей каморку до того похожей на купе вагона, что ему иногда казалось, будто путешествие не окончено и он едет и едет, забытый всеми на своей верхней полке; жена, как нарочно, подшучивала, спрашивая на ночь, куда их повезут нынче и какая остановка будет следующей. Михаил Борисович рассказал бы и о позорной подачке, которую вынужден сейчас регулярно принимать от немцев, и о том, что никому из нового начальства нет дела до его прежних заслуг. Это был его долг: открыть людям глаза на тяготы эмиграции — и ещё кое на что, посложнее.

Литвинову решительно не давала покоя эта ничтожная страница, одна из тех трёхсот шестидесяти, которые он мечтал надиктовать за год — пусть не сегодняшней попутчице, но кому-нибудь даже ещё пособлазнительнее. Он надеялся, что за такой срок и с такой сотрудницей непоправимо увязнет в романе (не в рукописи, не в сочинении, нет), и сама по себе старая как мир идея выглядела недурной — обзавестись помощницей, выбрав по внешности, а не по способностям к письму, которые у всех примерно одинаковы; когда-то он, казалось, и сам подавал надежды — недаром говорят, что почти каждый в отрочестве переболевает стихами. Такая болезнь, к счастью, имеет свойство проходить — прошла и у него (Михаил Борисович давно не вспоминал об этом несерьёзном увлечении, но что было, то было, он и здесь не отстал от других). Ничто, однако, не исчезает бесследно; недаром он в своё время, готовясь к лекциям, легко исписал, наверно, сотни страниц, а если сегодня и размечтался о помощнице, то скорее из смущения будущей перемены жанра: о публичных выступлениях ему предстояло забыть по меньшей мере на полгода — пока не выучит язык и не распростится наконец с общежитием. Одновременно должно было бы закончиться и надоевшее хождение по немецким конторам: Клемке водила свою группу из одной в другую чуть ли не через день, как на работу, и российское консульство было, пожалуй, единственным местом, на посещении которого она не настаивала.

В чужом городе Литвинов не запутал: ему толково объяснили дорогу, вдобавок снабдив картой и указав верный ориентир — каменных львов, возлежащих напротив консульского подъезда, через дорогу. Лишь в одном месте он едва не свернул в сторону, ненадолго соблазнившись изящной вывеской бара: знал, как хорошо бывает начинать день с рюмочки. Жена придерживалась других взглядов, но Михаил Борисович прощал её, неопытную, и выходил из положения, устраивая тайники. Теперь, например, его бутылка хранилась в другой квартире, у Бецалина,

что было надёжно, однако неудобно; сегодня, не посмеяв потревожить соседа в ранний час, он вынужден был искать, куда бы завернуть по пути, а найдя подходящее на вид заведение, шагнул было к дверям, но вовремя обратил внимание на вывешенный у входа прейскурант — и загнулся: цены, по его мгновенному подсчёту (что-то, а такие вещи он вычислял быстро), были втрое выше магазинных.

— Проклятые буржуи, — привычно ругнулся Литвинов, запоздало сообразив в утешение, что негоже являться в присутствие, свежо попахивая шнапсом.

Раздумывая над незадачей, он пошёл дальше, позабыв свериться с картой и оттого — с ощущением, что придётся идти и идти, до вечера, до бесконечности, — был удивлён, когда дорога тотчас кончилась: львы, когда-то охранявшие чьё-то жилище, обнаружили на не приспособленном ни к какой стене мраморном крыльце, на первой же боковой улице. К ним Литвинов и поспешил.

«Выносливые вы твари, — подивился он, проведя рукой по гладким, без щербинок, спинам изваяний. — Шутка ли — пережить такую войну».

И, переходя улицу, продолжил про себя, исправляя недодуманное: раз проиграли, то и не пережили, нельзя говорить так. Когда-то стоявшие здесь здания превратилось в обломки и пыль, а пыль — развеялась ветром, после чего сторожевые львы стали нелепы. Уцелевшие лишь случайно, пусть бы обратились в прах и они — для сегодняшнего Литвинова ничего не изменилось бы в мире, разве что женщина в поезде не строчила бы дамских романов, а напротив, читала их, сам же он, потеряв ориентир, потратил бы лишнее время на поиски казённого дома — хотя, конечно, отыскал бы, не заблудился в городе, как никогда не теряются во взятых городах победители: неожиданно он подумал, что приехал сюда потому, что его страна (правда, брошенная им) победила в войне, и что все здесь, всё население, виноваты перед ним и что-то ему должны; нечто подобное он внушал своим студентам ещё в прошлом году, но до сих пор не догадался применить к себе:

после пересечения границы мысли стали нестройными и вращались вокруг низменных тем. То же, что столь серьёзные материи вдруг вспомнились сию секунду, он объяснил особенной атмосферой, настоявшейся у стен родного консульства.

Такой же воздух стоял, видимо, и внутри. Во всяком случае, там Михаил Борисович сразу почувствовал себя своим и не возроптал, оказавшись в конце изрядной очереди, — тем более что стоять в ней можно было сидя (даже и от этого потрёпанного каламбура повеяло домашним). Найдя свободный стул, он тотчас успокоился, поняв, что теперь рано или поздно достигнет цели — и достиг же, и служащий с цепкими глазами попенял ему за нахальство.

— С чего вы взяли, что я стану оформлять всю эту ораву? — ехидно осведомился тот, одним ловким движением разложив веером поданные ему паспорта. — Заниматься мёртвыми душами? Все должны явиться лично.

Михаилу Борисовичу пришлось разыграть пьесу, сославшись на свой мнимый звонок: мол, ему по телефону как раз не велели приезжать группой: «Нечего устраивать у нас табор». Хотя подобного разговора и не случилось в действительности, Литвинов не рисковал: поди проверь. Чиновник, однако, гневался лишь для порядка и, удовлетворившись объяснением, сделал то, что нужно, без промедления, и теперь его посетитель лишь порадовался такому стилю работы: «Молодцы наши, переняли у немцев всё лучшее», — и только перед уходом, завернув «на дорожку» в туалет, увидел: нет, не всё.

Очередь, в которой прошли лучшие часы дня, была неприятна одним — движением вслепую, по командам из репродуктора, настолько хриплого, что Литвинов опасался не узнать собственную фамилию. Лучше всего было бы помалкивать, чтобы вовсе не пропустить вызов, тем не менее он разговорился с мужчиной с соседнего стула; седая щетина на лице того, полувывбритом (или, скорее, полунебритом), не позволяла определить на глаз возраст хозяина: годились и сорок лет, и все шестьдесят.

— Я здесь в первый раз, — неожиданно для себя поведал ему Михаил Борисович.

— Неужто сюда приходят — во второй, если понравится? — насмешливо отозвался тот.

— Вы не поняли. Просто вчера всего этого не было.

— А ещё раньше и подавно не было ничего.

— Ну, это для тех, кто не сумел распознать. Многое зависит от терпения: обещанного, как знаете, три года ждут. А до того может случиться всякое, включая мировые катаклизмы, и это всякое иные товарищи принимают за неудачу, за провал, за крах идеи. Между тем любое дело следует доводить до конца — до торжества, если хотите.

— Я перебыю: вы сюда на постоянное жительство приехали? — осведомился полубритый, сделав ударение на «постоянном».

— Да, на жительство.

— Стоило ль ехать? С такими взглядами вы бы процветали и в России.

— Во вчерашней.

— Кто знает в которой. В завтрашней хотя бы. Но ловлю на слове: ведь процветали?

— Да вы и не знаете моих взглядов: я говорил нечто общее, — сообразил увильнуть Литвинов. — Только что это вы задираетесь?

— В России можно сейчас делать хорошие деньги. Стоп, стоп, не перебивайте, я знаю, вы спросите, как же я-то их не сделал. А я отвечу просто: мне это не по нутру, я лентяй. Если что-то вменяют в обязанность, буду выполнять, деться некуда, а вот добиваться чего-то самому — то придумывать, то отстаивать — пропади оно пропадом.

— На что же вы теперь рассчитываете?

— А вы?

— Знаете ли, вопросом на вопрос отвечают лишь в Одессе. Но ладно, я так поясню: в свете вашего признания вы хотите многого, а возможностей не видите. Будь вы помоложе — могли бы, наверно, надеяться на кое-какую работёнку в западных землях, только... Только это теория, а на практике наш удел ясен. Вот вы говорите: Россия...

Невозможно же скопировать. Учтите одну важную вещь: немцы законопослушны, их в сообщники не возьмёшь. Правда, и на вачере не проведёшь.

— В сообщники! Можно подумать, что я замыслил уголовщину, — возмутился сосед.

Литвинов и сам пожалел о нечаянном слове, но не стал поправляться, решив, что, в сущности, никого не обидел.

— Не торопитесь, ещё найдёте себе место, — проговорил он.

— А вы?

— Ну опять за рыбу деньги! Нам друг за дружкой тянуться нечего: тут не экзамен, цитату не спишешь. Вам попадётся своя лазейка, мне — своя. — Он засмеялся: — Опять вы попрекнёте меня низким стилем: то сообщники, то лазейка. Согласитесь, однако, что так доходчивей. Мои студенты это понимали.

— Вот оно что: ваши студенты. Тяжко вам придётся без них.

— А я притворюсь для себя, что ушёл на пенсию, — без улыбки сказал Литвинов. — Мне и в самом деле скоро пришлось бы — по российскому счёту.

— Перейдите на гамбургский — и помолодеете.

Именно последнего Михаил Борисович и не хотел, уже усвоив, что пожилых здешние власти беспокоят меньше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Представь, — сказал Дмитрий Алексеевич Марии, — она вдруг вспомнила о сыне.

— В том смысле, что пора перетащить его сюда?

— Не пора, не пора: надо же человеку спокойно окончить институт.

Накануне Раиса не сказала ничего определённого, и Свешников заподозрил, что она готовит почву для серьёзного наступления, целью которого могло быть только одно: что-то у него отнять. И хотя отнимать было,

кажется, нечего, он не только в этот раз, но и всегда был настороже, не забывая, как изобретательна жена, и так как многие важные дела требуют подхода издалека, остерегался заводить с нею подробные беседы; начавшись безобидно, каждая могла бы обернуться таким подходом. До сих пор это удавалось без труда: супруги, хотя и жили в одном доме, почти не встречались, тем более что даже на курсы добирались разными путями. Занимались они в разных группах и в школьном здании могли не видеться по нескольку дней, а когда нечаянно оказались наедине и Раиса заговорила о своём, Дмитрий Алексеевич приготовился к неприятностям.

Замешкавшись в классной комнате и оттого думая, что выходит на улицу последним, Свешников неожиданно столкнулся с нею в дверях; она торопилась, видимо, догоняя своих, но тут безнадежно махнула рукой и, остановившись, начала с банальности:

— Как поживаешь?

Он не знал, что сказать: отвечать всерьёз было глупо, а отшучиваться не хотелось.

— Неужели наши женщины не делятся новостями? — пробормотал он.

— Где они, эти новости?

— Вот и ответ!

Раиса всё ж имела в виду не местные сплетни, а весточки из России. Но Дмитрию Алексеевичу давно ничего не приходило.

— Выход один: написать самому себе, — он постарался, чтобы это не прозвучало серьёзно. — Представь, таким путём можно получать письма от самых неожиданных людей.

— От Бонапарта из шестой палаты...

«Напрасно я манкирую перепиской с Митей Свешниковым», — подумал он.

— ...хотя я предпочла бы — от Алика.

— У меня нет выбора: мне-то он не напишет, — совсем без огорчения проговорил Дмитрий Алексеевич; огорчался он раньше, когда видел, что жена старается отдалить

от него мальчика, именно — отдалить, поняв, что момент сближения уже упустила. Поначалу Раиса не ждала, что Алик, росший в женской среде (проводивший будни у одинокой тётки, а выходные — с матерью), сразу потянется к неожиданно появившемуся в доме мужчине. Ей бы этого отчаянно не хотелось, но пока она разобралась что к чему, исправлять положение мирным путём стало поздно, и в ход пошли без разбору и заочные, на ушко сыну, напраслины, и обыкновение из-за каждого придуманного ею же пустяка выговаривать мужу, не только не стесняясь Алика, но и нарочно дожидаясь того, чтобы начать сцену. Дмитрий Алексеевич пытался было заранее отвлекать Раису, чтоб избежать нечаянных срывов, но скоро понял, что её поведение хорошо продумано и что как раз его осторожные возражения вредят ему больше всего.

Постепенно сделалось так, что в их семье оказалось не три человека, как поначалу, а два плюс ещё один, что было совсем не то же самое, а спустя незаметное время её, семьи, не стало вовсе; про общение с пасынком пришлось забыть, и Свешников благодарил судьбу за то, что они не успели привыкнуть друг к другу.

Через несколько лет, когда Свешников навсегда уезжал из России, Алик попрощался с ним на вокзале так, как мог бы — с неблизким знакомым: коротко пожал руку — и отошёл в сторону; посторонний свидетель, наверно, не догадался бы об их недолгом родстве.

— Странно было бы, — сказал теперь Дмитрий Алексеевич, — если б Алик вдруг вздумал писать мне: до сих пор он ни разу не передал и поклона.

— Наоборот, было бы только естественно, — возразила Раиса. — Мальчику может понадобиться мужской совет.

— В письменной форме? Она больше годится для прошений. Мы в телефонный век не так просты в переписке, как наши деды.

— Сколько прожил твой дед?

— Который? Впрочем, сейчас живут дольше.

Они подходили к остановке, и трамвай обгонял их.

— Что, поспешим? — спросил Свешников. — Следующий придёт бог знает когда.

— Ты обычно не едешь.

— Погода хороша — давай прогуляемся?

Он не ждал, что Раиса согласится, но она тотчас, как ему показалось — почти обрадованно, свернула к парку.

— Не представляю, — со смешком сказал Свешников, — чтобы отец в моём возрасте побежал бы за трамваем, сел на ходу...

— Хочешь сказать, — поддела она, — что ты — в лучшей форме? Он что, был дряхлым?

— Просто не мог себе этого позволить: негоже профессору скакать.

Раиса не ответила, а Дмитрий Алексеевич не продолжил, и они шли молча, пока не ступили на главную аллею, совсем не такую оживлённую, как утром. Школьники давно разъехались по домам, пожилых любителей прогулок что-то не было видно, и только две юные мамы брели вдалеке со своими колясками. Свешников подумал, что вот она воочию, точная модель его бытия: что-то постоянно происходит где-то на соседней улице, а то и в другом городе, а сам он обречён оставаться в одиночестве среди деревьев, из-за которых никто не выступит, чтобы попросить закурить, — в безопасном одиночестве. Раису как спутницу он не ставил ни во что.

«Да, да, и за трамваем побегу, — пришла и задержалась неожиданная мысль, — и ни на что не жалею, а ведь я — смертен... Так и уйду — здоровым?»

Только через несколько минут, когда Дмитрий Алексеевич успел позабыть, о чём они говорили, Раиса вдруг продолжила:

— Твой Литвинов мечтает быть профессором и здесь.

— Положим, он им и в Союзе не был. И почему — мой?..

— Ну доцентом.

— С его успехами в немецком он и ассистентом не станет.

— Что ни говори, а нас учат по-дурацки.

— Пока нам за это платят, никуда не денешься.
— Вот если б Алику платили такую же стипендию...
— Он сдаёт квартиру. Нашу квартиру, — сухо напомнил Дмитрий Алексеевич. — Бедняком его не назовёшь.
— Когда он переедет сюда...
— Потеряв такой лёгкий доход? Нереально, я думаю.
— Вот вы где разгуливаете! — раздался за их спинами весёлый голос Бецалина.

— А вы всё по нашим следам, — погрозил пальцем Свешников. — Я-то думал, что ухажу последним, боялся, что сторож запрёт меня до утра.

— С такой дамой? Немедленно вернитесь, оба, пока там открыто, а потом — пусть запирает. Знаете, меня однажды тоже заперли, но — в магазине рабочей одежды, в обеденный перерыв и — одного.

— Вы, я смотрю, запыхались, нас догоняя.

— Не мальчик я, не мальчик.

— Мы как раз о мальчиках говорили, о детях, — поспешно вернула Раиса.

Дмитрий Алексеевич поморщился: ему не понравилось такое возвращение к теме — единственной общей, оставшейся у них.

— Я помешал, — вздохнул Бецалин.

— О чужих детях, — уточнил Свешников.

— Не помешали, — успокоила Раиса. — Как видите — о чужих. А о своих — не сейчас, потом. Заводить такие разговоры никогда не поздно.

— Усыновлять? Не советую.

— Вы, Альберт, попали в точку, — рассмеялся Свешников. — Так-то вы читаете мысли?

— Стоп, стоп. Я ведь, вспомните, предупреждал когда-то: я не... не мыслечтец? Так?

— Мыслечей, скорее.

— Если на то пошло — мыслечист. В любом случае это не мой профиль — если о нём вообще можно говорить серьёзно. Наша наука до этого не дошла.

— Кстати, мы вчера оборвали забавный спор о вашей науке, да так к нему и не вернулись. Не продолжить ли?

Раиса встрепенулась — видимо, собираясь возразить, — и Дмитрий Алексеевич помахал перед лицом рукою:

— Не сейчас, не тут — на сон грядущий.

Обычно он допоздна засиживался в том углу своей каморки, который гордо именовался им кабинетом: сначала — за немецкими уроками, а ближе к ночи — казалось, безо всякой цели, что-то припоминая, словно листая свой никогда не существовавший дневник, и выписывая оттуда забывшиеся разрозненные фразы — то, что нечаянно приходило в голову в какие-то особенные минуты московской жизни и о чём тогда не хватало времени подумать как следует. Из этих беспорядочных заметок постепенно складывалось кое-что путное, стоящее размышлений, отнимавших у него многие вечерние часы. Но в последнюю неделю ему не сиделось взаперти. Он выходил в коридор, на кухню, и тогда на звук шагов выглядывал Бецалин, ещё не ложившийся; делать нечего, приходилось или ставить чайник, или доставать из холодильника пиво. Застольной беседе не пристало быть торопливой, и два соседа расходились только далеко за полночь, когда один из них всё-таки спохватывался: завтра рано вставать.

— У нас нездоровый образ жизни, — заметил вчера Бецалин. — Спим по пять часов...

— Организм, однако же, не протестует, — не согласился Дмитрий Алексеевич. — Только он один и знает, что для него хорошо, а что — нет.

— Что русскому здорово, то немцу смерть.

— К месту сказано. К месту жительства. Интересно, вы говорите это как врач?

— Отчасти. Тем более что в нашей пёстрой среде всегда найдётся кто-нибудь, кто сочтёт эту поговорку неполиткорректной.

— Почему — «тем более»?

— Врачу, наверно, легче объяснить прописные истины, естественнее заговорить и о наследственности, и о традициях в быту, об уровне существования и выживания...

— Что ж, вы правы, теперь многие простые вещи больше не очевидны каждому, часто приходится объяснять какие-то азы, и мы отвыкаем называть вещи своими именами. Это — не к добру... Я уточню: нет, не мы отвыкаем, а нам не велят. Попомните: если нас что и погубит, так это — политкорректность.

То, что Раиса заговорила с ним о сыне, озадачило Дмитрия Алексеевича: он понимал, что за этим последует непростая просьба. Мария, с которой он поделился, ответила спокойно:

— Почему бы матери и не заговорить о своём ребёнке?

— Со мной? — И, подумав, добавил: — Хотя... никогда не знаю, чего от неё ждать.

Раиса, казалось ему, не могла требовать иного, кроме денег, да ведь и тех не было; они если и водились, то как раз у её сына, и Свешников думал договориться с нею, чтобы часть дохода от сдачи жилья откладывалась в пользу хозяев — на случай их наезда в Москву да и мало ли на какой ещё случай. Он, однако, не начинал разговора, сомневаясь в успехе: был уверен, что Раиса никогда не отберёт у Алика единожды попавший тому в руки кусок — пусть уже и надкушенный.

— Да и то было бы лучше, — проговорил Дмитрий Алексеевич, — если б Алик жил здесь, получал бы себе «социал», искал учёбу или работу — словом, жил как все. Тогда уж ни прибавить, ни убавить было б нечего.

— Что и к чему ты хочешь прибавлять? — насмешливо спросила Мария, поворачиваясь к нему и не поправив соскользнувшей перины.

Он осторожно повёл пальцем по ложбинке её груди.

— Будет трудный день, — предупредила Мария, следя за его рукой.

— Как и всякий выходной.

— Из-за меня.

Он имел в виду совсем другое: после семи часов занятий на курсах трудно было заставить себя браться ещё и за домашние дела — все они откладывались на выходные.

— А что у тебя за хозяйство? — махнула рукой Мария.

— Все мы живём одинаково.

— Значит — из-за меня.

— А знаешь, тут как раз возразить нечего, потому что из-за тебя — всё. До нашего знакомства я был другим человеком.

— Ну это уже банально. Если б мы не встретились, ты нашёл бы кого-нибудь ещё, говорил бы ей похожие слова — и был бы прав. Став другим человеком. В конце концов, каждый находит кого-нибудь ещё.

— Как это — кого-нибудь? — вяло запротестовал он, понимая, что так и было бы и что суженой, посланной свыше, он бы счёл совсем другую женщину, лишь по редкой случайности попавшуюся на пути исключением из правил, по которым в сто или в тысячу раз было вероятнее им разойтись в каком-нибудь тумане, во тьме, при помрачении зрения или просветлении ума.

Однако таких почти невозможных встреч кто только не пережил и кто только не встречал счастливых пар, изумляясь тому, как эти нынешние влюблённые нашли друг друга, так точно угадав, но — не тому, сколько же таких единственных, предназначенных завтрашнему счастливцу женщин одновременно живёт по соседству в ожидании его одного и сколько же из них находят другого — тоже единственного, определённого судьбой.

Думать так же о Раисе он не мог, но как раз она-то и повернула его судьбу; по сравнению с этим роль других, и Марии, выглядела скромно. Тогда, перед поворотом, он ещё колебался, принимая всерьёз любые доводы против, но по прошествии всего лишь месяцев, ужасался тому, что мог и теперь ещё пропадать в Стране Советов, где всё ещё бывало то тепло, то холодно и люд жил надеждами, в то время как Дмитрий Алексеевич видел

издали, что ждать стало нечего, кроме подлого движения вспять — не завтра, так через год. Отвергни тогда призыв Раисы и останься в Москве, он не счёл бы это катастрофой, а существовал бы по привычке, не понимая потери, но вернуться туда сегодня... столь дикой мысли он не допускал.

Никто не сделал для него больше, чем Раиса, и Дмитрий Алексеевич считал, что из благодарности должен терпеть от неё многое — и прощать. Пока, к счастью, прощать было нечего, да и вчерашний разговор взволновал его, видимо, напрасно. «Моя подозрительность становится навязчивой, — с тревогою подумал он. — Не жду ли я подвоха ещё и от Марии?»

— Неужели мы настолько не распоряжаемся собой? — продолжил он.

— Другими, скорей.

— Если так — сдаюсь.

В действительности Свешников сдался ещё раньше, когда Мария сказала: «Почему бы матери и не заговорить о своём ребёнке?» — а он, тотчас заметив промах, не решился поймать её на слове, не спросил, почему сама она молчит — о своём; возможно даже, он на миг заподозрил, что ему лучше не знать всего. «У меня барышня на выданье», — поведала Мария в день знакомства, не преминув позже, к слову, напомнить, что та «ждёт одна-одинёшенька» её возвращения, теперь же выходило, что связанное с дочерью должно казаться будто бы несущественным, да и сама она — несуществующей, так что и расспросы о ней, и случайные упоминания становились не то чтобы невозможными, но неловкими — и обрывались или теряли один из двух голосов. Дмитрий Алексеевич готов был допустить, что в те, первые дни — в аэропорту, в самолёте, у него дома — чего-то недослышал либо сейчас кое-что подзабыл.

Судьба девочки (либо легенды о ней) уже мало что могла бы изменить в его отношении к Марии: если Мария что-то и нафантазировала, это прозвучало бы занятно,

не более, даже для Свешникова, не привыкшего к розыгрышам, тем более — к неудачным, но если бы дело было в какой-то семейной драме, то пришлось бы искать многих объяснений.

Свешников и Мария были привязаны к одной и той же социальной кормушке (понимая, что — пожизненно) и, видимо, даже и сегодня могли бы поселиться вместе, не афишируя этот шаг, но и не заботясь его узаконить. Власти не ждали от немолодых людей ни резких движений, ни достижений, предложив им для завершения историй три, как в старинных пьесах, единства — времени, действия и места. Первое из ограничений выполнялось само собою, оттого что прошлая жизнь была отрезана переездом, будущая — виделась теперь уже недлинной, и каждому только и оставалось, что жить нынешним днём. С единством действия вышло и того проще: в пьесе предполагалось тихое, как раз без действий и реплик, существование персонажей в местах — вот и третье условие задачи, — определённых им с самого начала, обозначенных ещё в присланном в Россию вызове.

Конечно, совсем не так рассуждал Дмитрий Алексеевич в постели, то есть и не рассуждал вовсе, оттого что вряд ли найдётся на свете мужчина, способный пережевать попытки приласкать прелестную женщину со стараниями блюсти классические единства, а всё это сочинил в уме позже, всего лишь припоминая слова и жесты утренней беседы, в том числе и своё неудачное «Сдаюсь».

Мария сразу поймала:

— Раз уж сдаёшься, вставай: пора. На узкой кровати толковую беседу не построишь.

— Нет, решительно нельзя пускать в постель умных женщин.

— Интересно, кто, кого и куда пустил. Иди-ка, пожалуйста, наверх.

Поторопившись принять приглашение, он обнял было Марию, но та увернулась:

— Нет, нет: к себе, на верхнюю полку.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

«Что за притча: переписываю третий раз — и всё недоволен... Начало, правда, вышло недурно: “Здравствуй, Митя!”

Каково?

А вот дальше вместо живой сплетни у меня получается скучная, а-ля передовица “Правды”, писанина. За то время, что я не писал тебе, случилось, видимо, многое, но — забылось за ненадобностью. Да я, честно говоря, и ленюсь припоминать. Проще всего было бы послать тебе мой дневник — когда б я вёл его, — уж оттуда ты бы сам отобрал анекдоты по вкусу. Моя же память — нет, не слаба ещё, но зловредна и самовольно отсеивает то, что будто бы не стоит хранения (а ведь много раз именно отвергнутые воспоминания вдруг оказывались необходимыми — только поздно бывало их воскрешать). Мне же мнится, что вместе с мусором в корзину отправилось и то главное, чем я жил, или будто этого главного не существовало вовсе. А весь опыт и здравый смысл говорят, что у нас чуть ли не ежедневно происходило что-то любопытное — от прогулки с дамой до инцидента на школьном уроке.

О, вот и подсказка: я ещё не писал тебе о школе, то бишь о курсах, обязательное посещение которых занимает семь часов ежедневно и которые оборачиваются пустой тратой ума и времени. Если наше обучение этим и ограничится, язык мы не выучим никогда. Суть в том, что каждый из нас пока знает не больше десятка немецких слов, то есть не умеет сложить даже “мама мыла раму”, и вот на этом пустом месте нам вдалбливают грамматику. Та, понятно, повисает в воздухе. Толку из такого обучения выйти не может, но это — утверждённая методика, и здешним законопослушным учителям не приходит в голову, что куда полезнее было бы начать с другого конца.

Такова моя, можно сказать, служба. Досуг же я целиком посвящаю Марии — да, да, той самой! Как видно,

чудеса случаются и с простыми смертными. Я пока не стану пересказывать обстоятельств нашей встречи, оттого что историю тогда пришлось бы оборвать на полуслове: я и сам не знаю многого. Прошлое Марии мне до сих пор неизвестно, а настоящее — неясно. Скажу лишь, что она неожиданно одинока и держится так, словно между нами не приключилось никаких странностей.

В каком-то смысле здесь одиноки все — и молодые, не скоро сходящиеся в интересах с туземными сверстниками, и пожилые — из-за полной своей ненужности. Иные из пенсионеров были у себя дома уважаемыми людьми, имели звания, знания, опыт, имена, а тут в одночасье превратились даже не в пешек — в ничто. Никому нет дела до их достижений, вообще — до прошлого, и они, растерянные, ищут путей самоутверждения. Всё им надо начинать с нуля, но зато они впервые свободны в выборе и, представь, легчайшим занятием считают писательство, благо что шариковая ручка и бумага всегда есть под рукой. Не имея за душой иного материала, пишут, конечно, исключительно о себе: одни вспоминают разочарования детства, а другие, большинство, — перипетии бегства из Союза. Каждый из этих последних считает собственный эмигрантский опыт уникальным (хотя он до оскомины одинаков у всех) и, конечно, спешит поведать о нём городу и миру. Где-то в западных землях такие юные дарования, скинувшись по сотне, даже выпустили сборничек своих сочинений под свеженьким названием: «После того». Мне показала его фрау Клемке, наша кураторша. Я полистал — по comment. Да только вдруг и в нашем городке, что там — прямо в нашей компании, кое-кто нехорошо возбудился: не попробовать ли...»

— Я не сказал главного, — спохватился он. — О книжке...

— Подождите, подождите рассказывать, — попросил Литвинов, когда они по дороге с курсов поравнялись с лавочкой, торговавшей табаком и прессой. — Я куплю газету.

— Ах, газету! — повторил Дмитрий Алексеевич, до сей минуты рассказывавший спутнику старые анекдоты, удивительным образом оставшиеся тому неизвестными

(свежих он не знал нынче и сам: разжиться было решительно негде). — Так и не расстались с советской привычкой?

— Можно подумать, что у немцев — другие... И потом, нельзя же так, ни с того ни с сего, вдруг бросить. Окажешься как на необитаемом острове: война начнётся — и не узнаешь. Вот и вы сами — разве перестали интересоваться?..

— Конечно, не перестал: газет я не читал и там. То есть там — тем более.

Литвинов ответил недоверчивым взглядом, и Свешникову пришлось разъяснить:

— Думаю, понятно почему. Я ничего не терял, а всегда был в курсе событий: обычно в многолюдье непременно что-нибудь где-нибудь да услышишь — в трамвае, в курилке...

— Известно, какой из вас курильщик.

Русская газета нашлась на прилавке всего одна — произведённый где-то у западной границы еженедельник — тоненький, но с вкладкой, с литературным приложением, в которое Свешников с недоверием заглянул, пока ещё не вышел на улицу.

— Что это вы — на ходу? — прогудел Литвинов. — Почитайте дома, потом отдадите.

Но Дмитрий Алексеевич уже протягивал ему газету:

— Вы всё не верите...

— Да-а, с вами, кажется, ясно. Я, тем не менее, заметил: вы стихами поинтересовались.

— Это, знаете, другое дело.

— Читаете... А я — меломан.

— Я лишь одним глазом и успел взглянуть, да того стало достаточно, вы правильно назвали: стихи, художественная самодеятельность. То, что наш брат, «контингентный беженец», мастерит от скуки.

— Вот и ладушки, это же отрадный факт: есть, есть в нашей среде пишущие люди.

— Пишущие письма кузинам, — с насмешкою уточнил Свешников. — Боюсь, что в прошлой жизни сочинительство не было их сильной стороной, даже — привычкой.

«Какая же сторона была сильной у вас?» — могло бы вырваться у Литвинова, но он всё-таки произнёс другое:

— Им, очень может быть, просто было не до того, а теперь изменились обстоятельства бытия, за чем, — все помнят формулу, — неотвратимо последовала перемена сознания. Иной человек в новых условиях не узнаёт и сам себя: представьте, что ваши светлые стороны вдруг оказались в тени, а превалирует, быть может, самое неожиданное.

— Насчёт неожиданных сторон — верно, кто ж спорит, — вздохнул Дмитрий Алексеевич. — Только, заметьте, грамоте у нас знают все, а связать на бумаге два слова способен, известно же, один из миллиона. Талант — вещь редкая.

— И эфемерная. Пощупать бы, что это такое. Критериев-то нету, вот в чём дело. Стоит объявить себя писателем — и кто же оспорит?

— Читатель. Ничтожную книжку читать не станешь.

— Это вы о себе говорите, — с пренебрежением бросил Литвинов, оставив в уме про запас многие слова: ему вдруг лень стало затевать спор, напоминая другому прописные истины: что способности ничего не значат, если человек не видел жизни, и что, наоборот, люди с хорошей школой за плечами не просто наверняка сумеют, но и обязаны поделиться опытом: если не у них, то у кого ж учиться?

Насчёт себя он в этом смысле не обольщался — не из скромности, а из-за простоты биографии, которую мог бы уместить в двух строчках: родился, окончил школу, потом — институт, женился, остался работать на кафедре, переехал в Германию... Потом сюда добавится лишь дата смерти — и всё, конец воспоминаниям: иных крутых поворотов он не помнил и не предвидел. Даже военной службы — и той удалось избежать. Трудности же, которые постоянно были при нём, он в письменном изложении оставлял бы за скобками, а в устном — упоминал вполголоса, а то и вовсе шёпотом, оттого что большинство из оных объяснялось или государственным, или бытовым,

или кто знает каким ещё антисемитизмом — при поступлении в вуз, при распределении на работу, при ожидании милостей от начальства, а одновременно с этим — ещё и в самых случайных местах и моментах. Не так уж редко в его адрес раздавалось от незнакомцев: «Уезжай в свой Израиль», — и он послушался бы, уехал, когда бы это не означало краха карьеры: его специальность ничего не значила по ту сторону границы, а мыть посуду в ресторанах Михаил Борисович не желал. Его место было, увы, в Советском Союзе, и, сопротивляясь натиску жены, мечтавшей о Земле обетованной, он выдумывал доводы один мудрёнее другого, сдавшись лишь после того, как преподаваемый им предмет в одночасье обесценился, кафедры распустили, а еврейских эмигрантов начала принимать у себя не заморская, а европейская держава. Но тогда-то в хождении по обшарпанным кабинетам и началась полоса настоящих унижений и мытарств, каким, считал он, не подвергался более никто: вот на что следовало б открыть глаза населению. После всех написанных им статей и лекций что за труд был для него изложить новейшую историю самого себя?

— Вы говорите: талант... Но как же он может быть редким, когда, говорят, девять подростков из десяти пишут стихи, а если перестают потом, то не оттого, что иссякло умение, а из-за увлечения чем-то другим: машинами, вышивкой на пяльцах, чёрт знает чем.

Рифмовал в детстве и он — и сохранил в памяти строфу (он назвал: куплет) из стишка, сочинённого для пионерской стенгазеты и воспевавшего уличные репродукторы, в праздничный день исходившие маршами: «На крыше дома радио играет в Первомай. Повесили туда его, сказали: Ты играй!..» Сейчас он живо представил себе эти огромные рупоры на крышах, а под ними, на мостовой, — толпу, немую при сообщении о смерти вождя или галдящую — по дороге на главную площадь в час демонстрации.

— А самое главное, — продолжил Литвинов, — опубликуй в газетке небольшую писулечку — и твоё имя увидят тысячи человек. Не боги горшки обжигают.

— Горшки, — сразу согласился Дмитрий Алексеевич.

— И кто бы мог подумать...

— О! Вот это здесь и слышишь на каждом шагу: «Кто бы подумал...» Причём — в мажорных тонах, по поводу своего везения: мол, кто бы мог подумать, что я свой какой-нибудь юбилей буду отмечать за границей или что мне придётся решать, не прокатиться ли на денёк в Прагу (подумать только!). А я не забываю и печальную версию: разве мог я когда-нибудь подумать, что приеду помирать в... Германию?

— Что за поворот темы!

— Те, кто так говорят — «кто бы мог», — правы: то, что случилось с нами, было непредсказуемо. Кстати, ещё недавно вы, помню, собирались читать немцам лекции по педагогике?

— Придётся с этим подождать, — с неохотой проговорил Литвинов. — Займусь пока чем-нибудь попроще. Вот уж не ожидал, что смогу свободно выбирать себе занятие.

— Однажды у вас уже была такая возможность — когда поступали в институт.

— Не скажите. Меня бы приняли не во всякий. А теперь...

— А теперь мы с вами глухи и немы.

«Их можно понять, — продолжил своё письмо Дмитрий Алексеевич, — я говорю это вслух, а вместе с тем как раз и не понимаю: во-вторых, потому, что ещё не поставил точку в старой работе и обнаружил, что в голове залежался материал для нескольких статей и мне не до баловства, а во-первых (именно в таком порядке), потому, что здесь Мария и мне кажется, что у меня всё ещё впереди. Однако стоит взглянуть на подлый календарь, как увидишь: жизнь на исходе... Вот и попробуй тут понять себя самого. Не так уж много прошло времени после отъезда из России, и ещё впереди и ностальгия, и невозможность разобраться с двумя женщинами... Раиса, наверно, так и не сумеет устроиться (много ль ей встретится холостяков или вдовцов?), а, не устроившись, вспомнит, кто чья жена. Тем более что годы и ей не союзники, и она

тоже когда-нибудь обнаружит, что впереди уже мало чего осталось...»

Дмитрий Алексеевич весьма изумился, обнаружив, что больше не пишет письмо, а уже читает ответ.

Встать было решительно невозможно: дай волю, и он пролежал бы пластом весь день. Первым делом Литвинов заподозрил похмелье — но он не пил вчера. Всё, что удалось сделать, не разобравшись пока с ощущениями, это кое-как повернуться на бок, чтобы, свесившись, посмотреть, спит ли жена.

Она читала.

— Откуда это у тебя? — с непонятным трудом выговорил Литвинов, удивляясь не книге, а собственному голосу.

— Взяла у Дмитрия. Жаль, раньше не догадывалась спросить: там их целая куча.

В другой раз Михаил Борисович непременно, зацепившись за слово, спросил бы, не лежат ли они вот так, в грязной куче, и по сей день, но сейчас было как-то неинтересно шутить. Подсадовав на себя за пробуждение не вовремя, он вдруг понял, что проснулся не от чужих шагов или разговоров под окном, не от звонка будильника или стука в дверь, а — от скуки, что было странно — оттого, что такого прежде не случалось и что как раз сон считался лучшим от неё лекарством (спи — и время пройдёт); теперь выходило, что ему удалось соскучиться ещё до пробуждения. В немецкой его жизни скука была вовсе не такой редкостью, чтобы просыпаться от страха перед нею, нет, он скучал постоянно, оттого что всё, способное развлечь, осталось по ту сторону границы — и дружеские компании, и мужские забавы вроде бани, пирушек или рыбалки, — ни о чём подобном здесь не слыхали, а других потех никто пока не придумал. Литвинов днями не знал, куда себя деть, и маялся; замечавшие это определяли недуг примитивно: ностальгия; он же, переводя

этот диагноз на русский, как непременно делал бы перед студентами, морщился: тоска была бесспорною, но подразумевавшееся следом слово «родина», которое прежде, в аудиториях, от него слышали по сто раз на дню, здесь, в Германии, не выговаривалось. «Тем более что мы её предали», — заключил Михаил Борисович — неуверенно: будучи убеждён, что предали, не знал, которую — ту ли, что поила, кормила и признавала своим, или ту, что считалась его исторической, но во дни, когда решался отъезд, была им отвергнута. «Предали, — навязчиво приходило на ум. — Предали, значит, бросили в беде. А все наши, весь хайм, твердят, что в беде были как раз они. Так это или нет, но мы, честно говоря, совершили бесчестный поступок (забавно: честно — бесчестный; в этом месте надо делать паузу, чтобы студенты оживились): нас бесплатно учили, а мы, вопреки всем учениям, сбежали, не вернув долги». Сегодня, однако, было не до рассуждений — они потребовали бы напряжения памяти, которой спросонку как раз и не нашлось, — ни о кануне, ни о прошлой неделе — не потому, что какая-то запись выветрилась из головы, а потому, что в самих прошедших днях не содержалось ничего, что отличало один от другого и что стоило бы или возможно было бы помнить, словно всё там было — пустой воздух.

— Что-то разоспался ты сегодня, — сказала Алла снизу.

— Ты ведь читаешь: не хотелось мешать. Но я уже встаю.

«Встаю!» — повторил про себя Литвинов, не веря, что сделает это когда-нибудь, и пытаясь, наконец, разобраться, что ему мешает: лень или слабость, и предпочитая второе, — чтобы совладать с упадком сил, он бы, пожалуй, ещё сумел напрячься, зато бороться с ленью ему было определённно лень.

— Соседи встали?

В ответ жена только пожала плечами; ему было не увидеть жеста, и после изрядной паузы она всё ж отозвалась:

— Что тебе они? Не собираешься ли ты выйти в трусах?

— В пижаме.

Но в трусах или нет, а в его представлении переместиться со своего яруса на пол сейчас можно было бы только одним манером — упав. Вместо этого он принялся решать задачу устно: «Смешно: Алка ждёт, что спущусь. В таком состоянии это может выйти только нечаянно: я ведь мог и загреметь ночью».

На кухне звякнула посуда, и Литвинов прислушался, кто там: вряд ли — Роза, сборы которой давно уже были бы слышны через картонную стенку встроенного между каморками шкафа; значит, вышли Ригосики и лучше выждать время, чтобы не стоять в очереди в туалет и не путаться под ногами на кухне. На самом деле ему лишь хотелось избежать непременно обстоятельной беседы, сегодня нестерпимо для него скучной. «В других домах, — насмешливо подумал Михаил Борисович, — кофе подают в постель. А тут — пролежишь лишние четверть часа — и придётся объясняться. Из двух зол образуется третье, и — нельзя же так портить выходной». Эта мысль заставила вдруг решиться — и, к удивлению, спуститься оказалось довольно просто. Не понимая, что же минуту назад так цепко держало его в постели, Михаил Борисович снова искал признаки похмелья — и не преуспел: ничто не болело, его не тошнило; всё же он едва не заснул. Вовремя спохватившись, он испуганно, потому что вовсе не хотел посвящать её в свои необычные трудности, оглянулся на Аллу — она продолжала читать. «Чего только не способен внушить себе простой человек!» — подумал Михаил Борисович, к слову вспомнив, как прошлым летом одна юная особа, заподозрив его в неосторожности, немедленно обнаружила все признаки беременности, вплоть до пропуска интересных дней, и так держала в напряжении два месяца, пока всё само собою не вернулось на места.

На кухне он застал одну только Беллу Ригосик, в задумчивости сидевшую лицом к стене за пустым столом.

— Где же сам? — спросил Литвинов без интереса, а услышав, что — спит ещё, обронил, не подумав: — А потом?

— Проснётся.

— Всё шутите... Только я-то имел в виду планы на день.

Но соседи и прежде не строили планов: те всё равно нарушились бы, если б кто-то зашёл, позвал, принёс новости, — и постоянно кто-то в самом деле и заходил, и приносил.

— И так — до бесконечности, — предположил он.

— Да нет же, будет конец, — успокоила Белла. — Его одни только лунатики не видят.

Литвинову пришлось задуматься: в его представлении сомнамбулы, напротив, отличались острым чувством предела, за который уже не ступишь. Их не приходилось предупреждать классическим «шаг влево, шаг вправо...», о побеге в сторону не могло быть и речи, зато конечный пункт прогулки оставался будто бы неизвестным — не тот, что припозднившиеся зеваки на пари наметили несколькими этажами ниже, на тротуаре, а некая невидимая стена, только от которой, верно её угадав, хотя и не нащупав протянутыми руками, они поворачивали назад, к постели, так уверенно ступая по ночной крыше, словно их сопровождал строгий проводник. Он только не знал, на любой ли дом они поднимались без страха или только на свой, в котором прожили годы и который исходили, конечно, вдоль и поперёк, и если — да, лишь на свой, то, значит, при всякой перемене мест получали передышку надолго, пока из жилища не выветривался чужой дух; подтвердись это — и получилось бы, что это он, Михаил Литвинов, придумал действенный способ лечения лунной болезни: предложил постоянно странствовать — переезжать из дома в дом или из страны в страну, одною лишь этой непоседливостью и выдавая себя. История, кажется, знала множество неугомонных странников; первым вспомнился Вечный Жид, и это показалось забавным: неужели и тот был лунатиком — лунатиком чужой луны? Впрочем, Михаил Борисович не знал подробностей сюжета.

«Как же ему это должно было надоеть!» — подумал он с жалостью к себе.

Разбередить больное место было бы приятно, но вошедшая жена сбила с мысли.

Белла поднялась, уступая место за столом:

— Вам же завтрак готовить...

Алла вежливо запротестовала, и Михаил Борисович вяло поддержал:

— Что там готовить — чай с бутербродами!

— Если хочешь, разогрею суп, — предложила жена.

— Это что-то совсем уже рабоче-крестьянское, — почти обиделся он. — С утра!

— Нужно — дворянское?

— Кстати, где наш семейный альбом? Слушай, я тут ни разу даже не вспомнил о нём. Что-то он не попался на глаза — случайно не остался ли дома?

Алла успокоила:

— Я знаю где, я прибрала. Что ты вдруг вспомнил? Хочешь посмотреть?

В прежней, российской жизни они, бывало, подолгу разглядывали старые снимки, но сейчас Литвинов едва ли не с ужасом поспешил отказаться: таким нудным представилось это занятие.

— Приятно иногда полистать, — проговорила жена. — Тогда были какие-то другие люди: достаточно взглянуть на фото твоей бабушки — в длинной юбке, в дивной шляпке...

— Прабабушки, — поправил Михаил Борисович. — Странно — мне почему-то это никогда не приходило в голову, — но я не знаю фамилий бабок — кроме одной. Словно взялись — ниоткуда. С мужчинами обстоит как-то проще: в альбоме только и есть одна линия, одна кровь: я — Борис — Семён — Моисей.

— Никакого Моисея там нету.

— А кто же был? Куда мог деться снимок?

— По-моему, в его время ещё не изобрели фотографию.

— И колесо...

— Перестань.

Он и сам оборвал фразу, не понимая, куда его вдруг понесло; не понял он и отчего оборвал. В другое время,

наугад, но уверенно назвав дату, Михаил Борисович принял бы пространно рассуждать о том, как изобретение изменило всё вокруг, включая и его собственный быт, и как оно было необходимо. Не будь век назад сделано то или иное фото из его альбома, кто-то оказался бы в ненужное время в ненужном месте, и тогда, быть может, распалась бы какая-то сделка или верный брак не состоялся бы, а другой, неожиданный, был бы заключён. Да что там браки, если благодаря занятиям фотографией была открыта радиоактивность, и потянувшаяся за этим цепочка остановилась лишь на атомной бомбе — такие вот карточки на память, дальше некуда, и так уже само существование бомбы изменило бытие каждого, как, кстати, в незапамятные времена изменило — колесо. Бывало, он запутывался в таких словах, забывая, с чего начал плести, и только на лекциях ничего похожего не случалось: там он из осторожности избегал импровизаций.

Сегодня он отступился, ещё не начав, — подумал, что ни сам не скажет, ни в ответ не услышит ничего нового; ему решительно не хотелось говорить зря — и вообще ничего не хотелось; даже о том, чтобы, поскорее позавтракав, зайти к Бецалину, он думал как о скучной обязанности, хотя и твердил про себя: а вдруг полегчает?

С этой надеждой он и постучал в дверь. Ему открыл не Альберт, а Свешников, не посвящённый в секреты и потому удивившийся раннему визиту. Литвинов, не готовый к объяснениям, пробурчал что-то о народных целителях, к которым ходят, не разбирая часа.

— Неужто занемогли? — недоверчиво спросил Дмитрий Алексеевич.

— Знаете, никак не удаётся.

— То есть?

— Да ведь была бы какая-то живая струя...

— Как бы мёртвой не стала... Это уж смотря какую схватите болячку, — подхватил Бецалин, выглядывая из своей комнаты. — Заходите, господа, поговорим о недугах.

— Весёленькая тема, но — не моя. Увольте уж, — отказался Дмитрий Алексеевич.

Они всё-таки вошли все вместе. Хозяин комнаты ещё не знал, нужно ли продолжать таиться, но Литвинов, неожиданно оживившись, заявил:

— Оставим предисловия.

— К делу, — согласился Бецалин.

— Мне, друзья, приснился плохой сон... Или нет, не так: я во сне осознал, как мне стало тяжело жить на свете: всё кругом одно и то же и всё — ни к чему. Проснулся — и вот оно, налицо. Так вот... Дмитрий Алексеевич, видимо, не в курсе: я держу тут кое-какие свои припасы... После такого сновидения других средств не найти. Так что давайте этак по-советски, на троих... Прошу!

Альберт уже достал из платяного шкафа и демонстрировал початую бутылку бренди.

Свешников было замялся: не рано ли?

— С утра выпил — весь день свободен, — подбодрил его Бецалин; и сам озадаченный столь резвым началом дня, он осторожно поинтересовался у Литвинова, как и где тот сумел перебраться, будучи весь вечер на глазах, — но нет, ответил тот скорее самому себе, он и глотка не сделал вечером.

Между тем Михаилу Борисовичу и впрямь полегчало после стаканчика. Собиравшийся поскорее вернуться на свою верхнюю койку, чтобы залечь до обеда, до вечера, навсегда, он теперь готов был действовать — и не знал как, и не мог задуматься над этим «как», потому что перед ним тотчас же могла открыться пустота, так напугавшая его утром.

У жены были свои планы на день, и он оделся и вышел на улицу один. Алла всё же придумала ему задание — раздобыть расписание поездов: с окончанием курсов — не завтра ещё, увы, — Литвиновы подумывали переселиться в другой какой-нибудь город, где Михаил Борисович мог бы наконец читать свои лекции; для этого надо было поездить, присмотреться. Он кивнул, между тем как от нынешнего дня, начавшегося с таким трудом, нельзя было ожидать ничего хорошего, и его следовало бы, как он понял потом, переждать, проспаться весь,

но только не предпринимать не одних серьёзных, но и никаких шагов. Беды всё же не случилось и тут, но случилась встреча, окончательно испортившая настроение.

Прежде железнодорожного вокзала Литвинов заглянул, по пути, на автостанцию. Обойдя кассовый павильон и оказавшись на маленькой пустой площади, он решил, что по ошибке попал на подсобную стоянку: там в дальнем углу притулился одинокий пустой автобус и нигде не было ни души (автовокзал в его родном городе выглядел иначе: непрерывное движение множества неприметных людей с тугими клеёнчатыми сумками, милицейский патруль с автоматами, асфальт, испещрённый масляными пятнами...). Литвинов едва не усомнился, существует ли в этом месте жизнь, но тут к тротуару подкатил другой, полный автобус. Пассажиры, сойдя на землю, не задержались группой возле машины, а сразу незаметно разбрелись кто куда. Вышедший одним из последних молодой мужчина миновал было Литвинова, но, словно вспомнив что-то и резко оглянувшись на него, шагнул назад.

— Литвинов? — справился он.

Михаил Борисович лишь кивнул, не раскрывая рта.

— Вот уж неожиданность, — продолжил незнакомец по-русски. — Настоящий сюр. Вы-то не помните, конечно: я — из ваших слушателей, Костырин.

Но Литвинов не помнил своих студентов: мало ль их прошло перед ним... Да и названная фамилия не говорила ему ничего. Он отозвался с нескрываемым безразличием:

— Какими судьбами?..

Костырин, оказывается, жил здесь уже неделю — в дальнем, третьем общежитии. Литвинов пробормотал, что рад, и собрался было откланяться, но молодой человек напомнил:

— Мы с вами когда-то соревновались в знании латыни. Теперь вы, наверно, и вовсе преуспели в языках?

Михаил Борисович не посмел признаться, что вряд ли сумеет обменяться с ним хотя бы парой пустяковых немецких фраз.

В советской жизни он, со своим школьным французским, старался выставить себя перед студентами полиглотом, украшая лекции цитатами на самых разных, незнакомых ему языках (чужие высказывания он запоминал легко, с первого взгляда или на слух, и не понимал, отчего так же легко не остаются в памяти и сами языки); конечно, он блефовал.

Как-то, читая лекцию и дважды подряд произнеся «темпы» с мягким «т», он услышал, как юноша во втором ряду вполголоса, скорее для себя или для хорошенькой соседки, поправил: «тэмпы». Михаил Борисович вспыхнул:

— Такова норма произношения.

Он слукавил: эту искусственную норму с некоторых пор перестали насаждать; была же она живучим отголоском заглохшей борьбы с космополитизмом.

— Это же идёт из латинского языка: «O tempora, o mores!»* — уже громко возразил студент.

— Молодой человек, я ведь сейчас заставлю вас спрягать парочку латинских глаголов, — возмутился Литвинов, похолодев: не зная сам ни спряжений, ни самих глаголов, он рассчитывал только на то, что юноша стушется перед преподавателем.

По аудитории, жаждавшей неважно чьей крови, прокатился смешок.

— В школе я неплохо успевал по латыни, — предупредил юноша.

— Где вы нашли такую школу?

— В Москве. Номер сто десять. У нас была нестандартная программа.

Неловкое молчание Михаила Борисовича вызвало новое оживление в аудитории.

— Мы отвлеклись, — произнёс он наконец. — Вернёмся к нашим занятиям.

* О времена, о нравы! (*лат.*).

ГЛАВА ПЯТАЯ

Погода которой уже месяц вела себя странно, не подчиняясь ни предсказаниям, ни календарю. Между тем и в её непостоянстве обнаружилась закономерность, и Дмитрий Алексеевич утверждал, что здесь всякое сегодняшнее ненастье означает, что на завтра можно смело назначать пикник.

- Завтрак на траве, — обычно уточнял он.
- На сырой траве, — поправила на этот раз Мария.
- Есть садовые скамейки.
- Сидеть рядком? Нас может оказаться и пятеро.

Зима прошла, и ничто не мешало теперь выезжать по выходным за город — посмотреть наконец, в какую страну они попали. Другого отдыха было не придумать, а без такого — не обойтись: ежедневные семь часов занятий казались Свешникову с непривычки тяжелее тех и десяти, и двенадцати, что он когда-то проводил в своей лаборатории. Удивляясь себе (не уставал же раньше), он даже усомнился, не старость ли это, — и с возмущением отверг подлую мысль, потому что не может ведь так вдруг... Как бы там ни было, он освободил субботу и воскресенье не только от домашних заданий, но и вообще от всего, и теперь проводил это время с Марией — поначалу они просто бродили с утра до вечера по окраинам, но скоро нашли попутчиков и для дальних вылазок: по годным на пятерых дешёвым билетам выходного дня они могли объехать всю Германию.

В первый раз они всё же отправились вдвоём.

Поезд состоял из двух, а вернее даже из одного единственного, гнущегося где-то посерединке вагона, в котором можно было, пройдя вперёд, сесть за спиной машиниста и смотреть, как в легковой машине, на дорогу. Нашим пассажирам, однако, так и не удалось разглядеть той точки, в которой, являя школьный пример перспективы, следовало бы сойтись рельсам: она во всякую минуту оказывалась за близким поворотом. Пути были проложены меж лесистых холмов, вдоль живой извилистой речки,

и сквозь ещё прозрачные, едва лишь собравшиеся зеленеть деревья можно было увидеть замечательные вещи: то неторопливую водяную мельницу, то древний, грубой кладки, крытый мост, а то и просто группку особнячков, по-венециански стоящих в воде. Наверху же на одной, на другой вершине вдруг обнаружились башни и зубчатые стены, и Дмитрий Алексеевич восхищённо показал на них:

— Смотри, здесь жили короли. Королевств было — видимо-невидимо.

— Они что, перекликались друг с другом, с горы на гору?

— Скорее, стерегли один другого. Каждый жил в страхе, что его завоюет сосед.

— А не зайти ли нам в гости к наследникам престола?

Кондуктор, выйдя следом на перрон, спросил, не ошиблись ли они, погорячившись, станцией, а узнав, что всё в порядке, на прощанье посоветовал в следующий раз проехать до самого конца, пообещав там грандиозные виды. Что ж, у них всё было впереди.

Свешников опасался попасть у замка в толпу экскурсантов, но тех сюда, видимо, не водили: асфальтовая дорога после напрасного подъёма упиралась в запертые ворота. Вид на окрестности скрывался высоким кустарником, и, чтобы осмотреться, пришлось пойти вокруг, вдоль крепостной стены, прямо по траве. И в самом деле, завернув второй раз за угол, они увидели и долину, и то ли городок, то ли деревню на супротивном берегу, и другие, синие холмы вдалеке.

— Горы, — поправила Свешникова Мария. — Для аборигенов они наверняка — горы.

У самой стены стояли два чугунных стула.

— Рояль в кустах, — обрадованно рассмеялся он.

Внизу текла незаметная жизнь: кое-где курились дымки, крутилось мельничное колесо, на улице время от времени показывались человеческие фигурки — с этого места властелин мог видеть своих подданных, но мог кинуть взгляд и за границу, туда, где за голубой пеленою угадывалась другая крепость.

— Представь, — сказал Свешников, кивком указав на стену, у которой они сидели, — все хозяева замков были «невыездными». Им отсюда не выбраться было без войны.

— Бедные! Не ведали, что могут просто дожидаться перестройки.

— Нам так внушили, что Средневековье — мрак, что я уже не могу представить, чтобы в те дни можно было относиться к чему-то серьёзному с юмором. Остричь так, как ты, сидя на музейном стульчике. Да и ни на одном из этих: здесь не монаршее место. Скорее всего, тут сжижали какие-нибудь придворные философы или поэты... Впрочем, какие стихи на таком ветру? Сдувало, наверно, пудру с париков.

— Спустимся в деревню и купим пудры.

— Сперва — парики, — отозвался Свешников. — Но не сию минуточку.

— Хочешь задержать мгновенье...

Он вздрогнул, представив, какая это будет катастрофа: если остановить время, то что станет с видимым миром? «Пропадёт всё, — сказал он про себя. — Но это уже маразм — думать о таких вещах, сидя рядом с любимой женщиной... С любимой? — поразился он. — Вот так всегда и бывает: чтобы узнать правду, нужно проговориться».

— ...и поселиться здесь? — закончила она.

— В замке?

Мария не ответила, и он продолжил, уже серьёзно:

— Что ж, мы стали бы другими людьми. Странно жить над такой вот игрушечной страной, над этими... оловянными солдатиками. В штатском, однако...

— Ты когда-нибудь бывал в настоящих горах?

— На Кавказе, а однажды — на Тянь-Шане... Я знаю, почему ты спросила. Там и в самом деле приходит это ощущение: «Кавказ подо мною. Один в вышине...» Банально, конечно, да и ощущение было всё же какое-то иное, своё, но удивительно, как все знают лишь одну эту строчку: только её и вспоминают, поднявшись наверх.

Он тоже только её и вспомнил, поднимаясь на Эльбрус. Тогда и снежные вершины оказались под ним, и он сам —

над миром, и странно было остро осознать — нет, не вспомнив ещё одну строку, а словно бы самостоятельно дойдя, — что где-то внизу, под ногами, ещё и люди гнездятся в горах.

Теперь ему предлагали гнездиться самому.

— Мальчишками мы играли в «Царя горы», — вспомнил он.

— А если мы узнаем, что повзрослели?

— Тогда предложение — не для нас.

Дмитрию Алексеевичу оставалось уже немного до возраста, когда выходят на пенсию в Германии, и поселился он в любом захолустье один, бобылём, власти его не беспокоили б; его самого такой вариант не устраивал: не будучи, увы, ни поэтом, ни философом, которых так кстати только что помянул, он страшился тронуться умом от безделья и одиночества — недаром в недавних планах видел себя живущим непременно по соседству с русской библиотекой какого-нибудь университета. Марии было сложнее: от неё всё ещё требовали искать работу — рассылать во все стороны свои резюме, а полученные отказы предъявлять куратору из социальной службы. При общей безработице это было бесполезное занятие, оттого что если кого и нанимали, то — молодых, но когда бы Марии вдруг и повезло в этом, то уж никак не в подобном посёлке из нескольких домов, а — в большом городе, и тогда снова пришлось бы переезжать, бросив все утешительные игры — и в дочки-матери, и в солдатиков, и в «Царя горы».

— Странно мы рассуждаем, — прервала Свешникова Мария. — Судим то, чего и разглядеть не можем толком без бинокля.

— Так давай же спустимся, побродим там внутри. Посмотрим, захочется ли потом уйти оттуда по своей воле.

Но и внизу они судили так же — в деревне, в посёлке, в городке, — так и непонятно было, как назвать эти несколько рядов стоящих в зелени домиков, мимо которых от мельницы на самой окраине до кирпичи в центре можно было пройти за пару минут, — только не городом, потому что города они знали — другие.

Начали они с мельницы — и надолго замечтались, глядя, как смешиваются быстрые и медленные воды.

— Что это — я чуть не заснула? — встрепенулась Мария. — Недолго и в воду свалиться...

— Вот как русалки заманивают, — засмеялся Дмитрий Алексеевич. — Чаше, правда, мужчин. Да и что русалки — там, за колесом, в омуте, — там водяной живёт.

— И черти водятся.

— И всякая нечисть. Представь, каково тут жить — выходить к колесу каждую полночь...

— Тебе никогда не хотелось жить на даче?

— Только — на взморье. И только с набегами в Ригу.

— Когда-то я тоже собиралась во всякие набеги, — невнятно сказала Мария и вдруг всхлипнула.

Дмитрий Алексеевич тревожно обернулся, но она смотрела в сторону. Поинтересоваться, в чём дело — как сделали б и посторонние, — он не решился, догадываясь, каким может быть ответ.

— Что же теперь поделаешь? — тихо проговорил он.

— Ты всё знаешь?

— Нет.

— Я совсем одна, — больше не скрывая слёз, отозвалась Мария.

— Не одна. Я всегда помогу, только позволь. Одна ты не останешься никогда. Но ты много таишь от меня.

Дмитрий Алексеевич не рассчитывал на ответ, но она кивнула — и всё-таки ушла от рассказа, лишь после долгой паузы выговорив совсем общее:

— Как-нибудь доживём.

«Сколько мне осталось? — вдруг подумал он. — Здесь даже некому будет похоронить». Об этом ему следовало бы задумываться ещё в Москве, но тогда не получалось заглядывать так далеко: сам отъезд был столь важным шагом, что виделся едва ли концом земного бытия; чему следовало бы наступить за этим, Свешников не знал, как и никто не знает о том, что ждёт его за чертою. Однажды, зацепившись в разговоре за случайное там слово «рай», он так и сказал Вечеслову: «Кстати, о загробной жизни:

вот приедем в Германию и увидим: существует». Тогда они посмеялись и скоро заговорили о другом, но сейчас ему пришла в голову простая мысль — не об эмиграции. Дмитрий Алексеевич нечаянно вывел, что загробная жизнь не соблазнительна, если в ней не будет памяти о нашей, и что, поверив в неё, придётся уверовать и в загробную смерть.

Жаль, никто не знал, как эту последнюю обставят.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Как-нибудь доживём, — проговорила Мария, и Свешников кивнул, пока ещё не понимая, почему её слова прозвучали так безнадёжно.

— Что-то случилось... — глухо сказал он после паузы.

Она отозвалась тоже не сразу:

— В Москве, давно.

Дмитрий Алексеевич сразу подумал о двух её шрамах почти под мышкой, оставленных явно одним предметом, в одно касание — и на плече, и на боку; когда он интересовался происхождением отметин, Мария, отшучиваясь, непременно произносила фразу из старого кино: «Ерунда, бандитская пуля». И только теперь оказалось, что она не шутила: и не спроси он о неведомом происшествии сейчас, Мария, наверно, молчала бы ещё месяцы; то, о чём естественно было бы рассказать при первой после огромного перерыва встрече, сразу как-то не выговорилось, а потом, с течением времени, вдруг поделиться своей бедою становилось всё труднее: теперь, чтобы облегчить душу, уже приходилось ждать подходящего момента — а тот не подворачивался, и так могло длиться до бесконечности.

Рассказ, который она таила, был — о дочери. Всего один эпизод. Единственный, других уже не могло случиться: из четырёх его участников выжила только Мария.

Её Наташа была барышней на выданье, по старым меркам, возможно, и чуть засидевшейся, что её самое,

впрочем, беспокоило её — слишком занятую другими делами: она играла на флейте, немного зарабатывая этим, а, окончив школу, вдруг оставила музыку и поступила на факультет психологии. Скоро, однако, и этому пришлось потесниться: у барышни появился добрый знакомый, чуждый и музыки, и гуманитарных наук, а применявший свои свежие инженерские знания в банковской сфере. Наташа, в свою очередь, вовсе не имела представления о финансовых делах, так что им двоим не приходилось говорить между собою о работе: находились темы и поинтересней.

— Саша одновременно — умница и спортсмен, да ещё и воспитан, — определила Наташа, впервые рассказывая о нём матери.

— Что ж, первое и третье свойства меня устраивают, — отозвалась, стараясь не улыбаться, Мария, — а вот его служба, скажу честно, настораживает. Хотя, чтобы судить, надо видеть своими глазами...

Девушка мгновенно подхватила:

— Хочешь, я вас познакомлю?

— Как ты резво — быка за рога!.. Что ж, хочу. Смотрины — совсем не лишний этап.

— Ну нет, на смотринах показывать должны — меня. А тут всё наоборот...

— У вас — серьёзно?

Девушка растерялась:

— Ах нет, мама, не в том смысле... Нельзя же, чтобы все оставались чужими.

— Своими тоже все не будут. Но это, знаешь, общие слова, а нам, если на то пошло, надо рассудить, как устроить наше свидание, чтоб оно не выглядело так уж нарочито... Хотя, честно говоря, как ни крути, а нечаянно это выглядеть точно уже не будет.

День, выбранный для встречи, Саша заканчивал небольшим совещанием с приезжим партнёром и не собирался задерживаться позднее обычного. Свидание он назначил прямо у выхода из своего офиса, во дворе, где перед дверьми был разбит небольшой скверик —

два куста, клумба и скамейка. Наташа там и устроилась, будто надолго, с книгой, а мать стояла рядом с нею, как всего лишь приостановившийся на минутку, прохожий человек.

— Вполне в современном духе, — с усмешкой заметила Мария. — Две женщины ждут одного мужчину.

Мужчин оказалось всё-таки двое — они задержались было у дверей, заканчивая оживлённый диалог, но так и не поставили точку и подошли к скамейке. Немедленно возник и третий, посторонний — молодой человек в низко, на глаза, надвинутой бейсболке. Появившись с другой стороны сквера, он молча подошёл вплотную — и расстрелял всех.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Неважно, чем занимался Свешников на казённой службе, но если его учреждение считалось секретным, то и сам он, и прочие сотрудники без разбору были заклеены тем же. Что-то они все при этом, возможно, и выигрывали, что-то, большее, теряли, главной же потерей, по счёту Свешникова, было их положение «невъездных» (такого слова не сыскать в русских словарях, но в Союзе вообще встречалось много такого, что выходило за рамки человеческих представлений): тот из них, кому вздумалось бы посетить чужую страну, не мог сделать это немедленно или даже — сделать вообще. Для начала ему пришлось бы уволиться с нынешней службы, а потом ещё выждать несколько лет, пока не устареют или вовсе не выветрятся из головы лишние знания. Лишь во время перестройки, когда к секретам стали относиться проще, для тех, кто рвался увидеть мир, забрезжила надежда — во всяком случае, нестрашно стало попытаться в этом счастья. Свешников решил на это первым из своего круга и, немало удивившись, когда его выпустили за границу вовсе без карантина, долго пытался

угадать подвох. Будучи уверен, что гэбисты не теряют из виду ни тех, кого пасли, ни тех, кого оберегали, и что все его передвижения известны на Лубянке, он даже и в Германии опасался незваных гостей оттуда — от которых нечего ждать, кроме шантажа. Те же, видимо, ленились или выбирали момент, каким, вернее всего, могли стать шаткие дни сразу по окончании им курсов немецкого, когда вчерашние ученики ещё не определились с работой и жильём и, значит, самое время было бы появиться некоему дядюшке с полезными, но неуместными советами.

Между тем как раз после экзамена настроение Дмитрия Алексеевича переменялось: неверная эйфория выпускника захватила его так крепко, что непрошенные агенты стали казаться выдумкой. Ему не хотелось думать о завтрашнем дне, а тем более — оглядываться во вчерашний, хотя он всегда был убеждён, что даже при самых серьёзных переменах обстоятельств места или образа действия нельзя скоро забывать ни старых своих домов, ни этого образа — не зная, к чему теперь приведут сами действия.

Однако именно в последних Дмитрий Алексеевич внезапно стал ограничен.

Это случилось накануне экзамена, когда его занимало одно: ещё день — и свободен.

Времена года проходили незамеченными: зима не выдавала себя снегом, а весна — ручьями, рододендроны так и простояли зелёными, а внезапное жёлтое цветение неведомых безлистных кустов выглядело всего лишь неуместной причудой природы. И только сокращение ночи не оставляло сомнений в приближении лета. Дмитрий Алексеевич с некоторых пор выходил из дому при солнце, от которого и парк похорошел, и встречные велосипедисты повеселели. Внимательно глядяваясь в их лица, Свешников смутился тем, что они будто бы изо дня в день не повторялись, словно школьники уезжали всякий раз навсегда, и встревожился, не веря, что ещё может полагаться на память.

«Интересно бы фотографировать их всех подряд, — подумал он, никогда не увлекавшийся съёмками, — а тогда уж и сравнивать», — и тотчас одно из этих лиц, девичье, крупным планом метнулось перед самыми глазами. Он не успел вскинуть руки, чтобы поймать, а через секунду и велосипед успокоился в кустах, попутно пребольно стукнув по ноге, и всадница улеглась на дорожке, задержанная тою же ногою. Сам же Свешников — устоял и, обернувшись, увидел улепётывающего третьего участника сцены — мальчика, толкнувшего свою подругу.

— С вами всё в порядке? — ещё лёжа, ещё только лоя протянутую руку, чтобы подняться, испуганно поинтересовалась школьница.

Он молча кивнул, не зная ущерба: нельзя же было задирать при даме штанину, чтобы полюбоваться содранной кожей. Однако неловкость первого же шага выдала его.

— Я вызову врача, — сказала она.

— Нет, нет, спасибо, нет. А вы... вы не ранены?

Подняв свою машину, девочка прокрутила педали — всё, что нужно, завертелось, зажужжало — и лишь тогда ответила:

— Окей. Я вызову врача? Или — полицию?..

— Не беспокойтесь. Спасибо, я пойду сам.

Поначалу он еле ковылял (и даже подумал, не вернуться ли в общежитие), а потом разошёлся так, что явился в класс, почти не хромя. Женщины там всё-таки переполошились, сбегали за бинтами и, хотя он отшучивался — не перелом же у него, — после занятий отправили из школы на удачно подвернувшейся машине.

— Дайте-ка, осмотрю, — сказал ему дома Бецалин. — Как-никак, я медик.

— Вышей категории, — напомнил Свешников, не торопясь разматывать бинт.

— Её дают не всякому. А вам, по-настоящему, надо бы сделать снимочек. Отчего вы не пошли к хирургу? Можно подумать, будто живёте в глухой деревне.

— Не тот случай.

— Ну-ну, я бы на вашем месте избегал уверенных заявлений. До свадьбы, конечно, заживёт, как сказали одному еврейскому мальчику, но всё-таки... Чем это она вас саданула — каблуком или железкой? Впрочем, глупый вопрос: откуда вам знать? Вскрытие покажет. Одно хорошо — что не пропорол насквозь: страсть как не люблю лишние дырки.

— Иногда бывает довольно и одной. Знаете, я не раз думал об этом: как же так, проткни человека хоть вязальной спицей, и он уже — труп, мгновенно?.. Нет, мне не нравятся люди.

— А вы — сами себе?

— Не в этом смысле. Человек — конструкция несовершенная, рассчитанная буквально с нулевым запасом, и стоит только наткнуться на шпагу или пулю, как — конец всему. Мне, профану, это странно, потому что до гибели поражённого органа должно же пройти какое-то время, и остальной организм мог бы попробовать недолго потерпеть, обойтись, например, без печени часок-другой? Если сердце не затронуто, голова работает, ручки-ножки — тем более? Так нет же, чуть что — и сразу капют.

— К вашему сведению, мозг может прожить несколько минут в полном одиночестве.

— И понимать то, что случилось с его хозяином? Очевидная, казалось бы, мысль, но представьте, из всех людей она пришла в голову лишь Набокову. Если помните, там отрубленная голова, с открытыми ещё глазами, катится по помосту, всё видя, хотя и в необычном ракурсе, потому что — с полу, но ещё не соображая, что же случилось.

— Вот, вот, — обрадовался чему-то Бецалин, — мысли о смерти приходят в голову совершенно напрасно. Бросьте их, вы же всё равно ничего не поправите.

— Если бы создавали человека заново, то всякий конструктор предложил бы дублировать системы, — уверенно ответил Дмитрий Алексеевич. — А в действительности у человека ничего не предусмотрено про запас.

— Всё время забываю, что вы инженер. Мне бы, например, не пришлось в голову носить две головы (нет, каков каламбур!): одну — в шляпе, а запасную — в кепке.

— При чём здесь шляпа? В военной фуражке или вообще — в каске... Только, знаете, этот вариант не пройдёт: перебор. У одного существа мозг возможен только один, а если больше — они непременно перессорятся между собою. А вот желудок, сердце, селезёнка какая-нибудь...

— Есть и другие замечательные члены, — захохотал Бецалин.

— И вот тут приходишь к совершеннейшей крамоле: перестаёшь верить Дарвину.

— В каком смысле?

— Да в том, что уроды с двойными органами более живучи — тут уж единственной дырочкой в девять миллиметров никто бы не обошёлся, — значит, они бы и выживали, и плодились. И будь мы в самом деле детьми эволюции — уж точно имели бы по две печёнки.

— У вас сегодня две ноги — и что толку? Повредили одну, а лежат в постели — обе. По вашей теории, если заново лепить человека, то уж обязательно — четвероногого: одну лапу сломаете, так на трёх остальных побежите как миленький. И всё ж, это очень интересно, то, что вы говорите: заново... Так ведь придётся Ветхий завет подправлять!

— Вы, однако, глубоко глядите. Мне интересна сама задача... Не обижайтесь, но медицина — наука описательная, её приёмы создавались методом проб и ошибок, и до сих пор врачи, кроме хирургов, работают вслепую. Этого мы избежали бы лишь в одном случае: если бы человек был спроектирован буквально с нуля в каком-нибудь конструкторском бюро и его авторы добивались вполне определённых параметров: скорость бега такая-то, вес поднимаемой штанги такой-то при, например, определённой величине кровяного давления — и для этого прикидывали бы разные варианты, варьируя, например, мощность сердца, диаметры сосудов, частоту сигналов от мозга ну и так далее, то есть если бы заранее рассчитали систему и знали, как и в каком режиме ей следует работать: вот тогда при неполадках мы искали бы не сам дефект, а ошибку в расчётах.

— Между прочим, Дарвин считал... — начал было Бецалин, но Дмитрий Алексеевич мгновенно продолжил, перебивая:

— ...что происходит от обезьяны? Ну, это уже в последних главах. Вот мой вам совет: читая, не заглядывайте в конец книги: процесс обычно интереснее итога. Дарвин объяснит лишь, как, допустим, ничтожный червячок за миллиарды лет превратился в лапу той самой обезьяны или даже в прелестную женскую ножку. Однако ножка, как видим, может оказаться и такой и сякой, в шерсти или с педикюром, лишь бы сгибалась и переступала, и я верю, что за годы она и в самом деле могла развиваться, в общем, из ничего — не следуя эскизам и чертежам, а лишь упражняясь и упражняясь. Но есть у нас орган, который и рассчитан с величайшим старанием, и выполнен с невероятной точностью. Это глаз. Его устройство слишком сложно, чтоб образоваться просто в результате многих упражнений. Просто из кусочка мяса, как-то чувствующего свет. Нет же, ему было задано точнейшим образом выдерживать расчётные параметры: фокусное расстояние...

— Вам бы фантастические романы писать.

— Ошибаетесь, — возразил Дмитрий Алексеевич, — я как раз имею в виду самую реальную реальность. Изготовить действующий макет самого себя человеку, допустим, не по силам. Но рассчитать его с нуля — на это, пожалуй, мы способны, тем более что уже в процессе такой работы наверняка узнаем много неожиданного и полезного, то есть поймём, что от чего зависит в наших организмах.

— Вот и взялись бы...

— Положим, это дело специалистов, хотя я как раз и вознамерился заняться чем-то подобным: для начала — просто изложить идею в статье (нет, не о происхождении Дарвина). Но за что ни возьмёшься, как неизбежно возникают философские проблемы, о которых стоит поговорить публично. У меня накопилось несколько подобных тем.

— Заметьте: я-то врачую вас безо всяких теорий, а нога — заживёт. Простейшие способы дают иной раз превосходные результаты. И вот к слову: не хотите ли граммчиков сто наркозу? Я купил шнапсу — дрянь отчаянная, но боль, надеюсь, заглушит.

— У меня завтра экзамен.

— Будете зубрить...

— Пожалуй, нет.

— Перед смертью не надышишься?

— Не только это.

В студенческие годы Свешников решил для себя, что во время сессии сохранить свежесть головы чуть ли не важнее, чем лишний раз прочесть конспект, и если иные его товарищи, едва сдав один экзамен, в тот же день начинали готовиться к следующему, то сам он неизменно давал себе сутки полного отдыха. Такая тактика ему по меньшей мере не повредила (помогла ль — неизвестно), и подавно не стоило пренебрегать ею теперь, когда получаемые оценки потеряли значение, а важно было лишь то, что завтра он становился свободным человеком. Отныне он мог сколько угодно читать, мог писать давно задуманные статьи, мог, наконец, гулять, где и сколько угодно. С последним, правда, из-за раненой ноги пришлось погодить, и это он как-нибудь пережил бы, сидя за рабочим столом, если бы в ближайшие выходные заодно не пропадала намеченная поездка с Марией; перенести её было нельзя, оттого что они собирались не вдвоём, а примыкали к компании, которая со Свешниковым или без — всё равно поехала бы. Она и поехала, и Мария — в том числе, Дмитрий Алексеевич настоял на этом.

Он, конечно, тут же придумал, что такое решение скоро непременно отразится на нём, оттого что обыкновенно даже ничтожные события не проходят без следа; никогда прежде его не занимали столь банальные мысли, однако сегодня в подкрепление к ним вспомнилась раздавленная бабочка Брэдбери — и Дмитрию Алексеевичу стало не по себе в пустой квартире хайма (другой квартирант как раз и занял освобождённое Свешниковым место в пятёрке туристов).

Ему было трудно признаться себе, что в нём заговорила ревность.

Оттого что спешить было некуда, туалет и завтрак заняли у него времени вдвое против обычного — Дмитрий Алексеевич поразился, посмотрев потом на часы. «Так теперь и пойдёт», — подумал он, с досадой поворачиваясь от окна, дразнившего солнечной улицей, к своему рабочему месту. Тут же в дверь постучали. Недовольный, он отворил — и увидел Раису.

Чего-то в этом роде Свешников, оказывается, ждал.

Ему пришло в голову, что Раиса, быть может, высматривала или высчитывала, и вот вышло, как в детстве: узнав от подружки, что его родители уезжают на дачу, заготовила простенькую легенду — мол, идя мимо, нечаянно вспомнила, как давно мы не виделись...

— Захотелось узнать, как ты устроился, — сказала она в оправдание.

— Что ж, вовремя: это произошло полгода тому назад, а ещё через месяц-другой в этом доме не останется никого из нас.

Пропуская женщину вперёд и невольно глянув на её плоско висящую юбку, Свешников без бывшего смущения вспомнил давнишний конфуз, который теперь воспринимался как предостережение — увы, оставленное без внимания. «Жаль, что я познакомился с нею не на пляже, — усмехнулся он — и тотчас осадил себя: — Где бы ты был сегодня?.. По гроб жизни...»

Ему не хотелось, чтобы Раиса задержалась надолго — и всё же пришлось предложить:

— Кофе, чай? Или ради такого случая сходить за вином?

— Раньше ты не пил с утра.

— Теперь не пью и вечером.

— Тем более мог бы припасти кое-что для гостей.

Вопрос решился в пользу кофе, и они наконец выбрались из тесного пенала на кухню. Раиса, оглянувшись на пороге, помедлила, глядя, как покачивается застывшая половина окна верхушка дерева.

— А у меня вообще небо во всё стекло, — то ли посетовала, то ли похвасталась она. — Вот чего я боюсь: возьмёшь квартиру — и окажешься окна в окна с кем-нибудь на той стороне улицы. Здесь не любят опускать шторы.

— Здесь не любят вешать шторы, — уточнил он. — Зато для тебя самой вдруг найдётся нечаянное развлечение: выглянешь вечером, а напротив, за чужим стеклом, — дивный солнечный сад. С птицами.

— Да, понимаю, об этом легче всего рассуждать здесь, в кухне без окон. Только не проще ли включать телевизор?

— Которого нет.

— Будет же. И сад... Теперь ясно, в чём дело: в своём парке ты смотрел не на дорогу, а на птичек. Я слышала, ты попал в аварию?

— Представь, не разминулся на аллее с велосипедом.

— Надеюсь — с велосипедисткой?

— Поверь, мне повезло. Но если я проиграю дело, придётся жениться.

— Ничего, ты умеешь выкручиваться.

Раиса то ли не понимала, то ли не принимала шуток, и он ждал подвоха — но нет, она просто не ответила на его прежние слова:

— Вот что забавно: ты сказал «дивный сад», и мне вспомнился сегодняшний сон, который чуть не улетучился навсегда. Знаешь, как бывает: смутно помнишь, будто ночью видела что-то интересное, и это «что-то» всё брезжит в памяти, но вот-вот забудется, совершенно непоправимо, — и забывается, конечно. И только если снаружи произойдёт нечто, совпадающее с той, привидевшейся историей, только тогда она и вспомнится.

— И ты была...

— Нет, не то. Хотя я и в самом деле была в саду с пугаями. Представляешь? Я шла голая — нет, не с тобой, не пугайся, мы тогда ещё не познакомились. Голая, юная и хорошенькая. Вообще, там ничего не случилось, просто за оградой с четырёх сторон гремели трамваи, а птицы перекивали этот шум стихами Константина Симонова.

— Сны под субботу — разве сбываются?

Она и не надеялась, и не по ней это было — жить в парке, среди ненужных ей растений и безразличной к ним праздной публики, ежедневно проходить дорожками, посыпанными толчёным кирпичом, мимо статуй девушки с веслом и дискобола; отцу тогда пришлось бы работать там же ночным сторожем — да и то в поздний час она остерегалась бы выходить из дому, не зная, чем обернётся чужая возня в кустах. В этом смысле дворы Кисловских переулков были только немногим лучше, но связанная с ними часть жизни прошла благополучно, а для оставшейся сгодились бы декорации и попроще — пусть бы и кубики новостроек. Теперь она полагалась на волю случая, и оттого, что не предпринимала никаких шагов, дело ещё могло повернуться по-всякому.

— Ночью ещё ничто никому никогда не открылось, — заметила она.

— Менделееву.

— Это исключение: не стоит всё путать и валить в одну кучу. Знаешь, щи — отдельно, тараканы — отдельно.

Свешников насторожился: если Раиса хотела что-то от него получить, ей следовало бы поторопиться, пока они жили рядом; с другой стороны, он совсем не был уверен в том, что им двоим, законным всё-таки супругам, удастся и на сей раз отделаться — отделиться — друг от друга, а если и удастся — в том, что ему, русскому, прожившему в Германии всего несколько месяцев, удастся осесть на новом месте без вывезшей его сюда жены.

Раису заботило другое:

— Сбудься сон — и случилась бы катастрофа: мне-то известно, что оазис с птичками существует не здесь и сейчас, а — тогда и там. Ты понимаешь, о чём я?

— Ты сказала, в саду не было людей.

— Я не видела. Или они вымерли?.. Нет, это не просто так: я беспокоюсь об Алике.

— Он — взрослый мужчина, — проговорил Свешников, думая в то же время, что у того самое трудное, видимо, уже позади: молодые быстро справляются с переменами.

— Ему нужны женские руки.

«Не нашёл ли парень себе невесту? — мелькнула лёгкая догадка. — Раиса была бы права, если бы только речь шла не о мальчишке, росшем без мужчин в доме».

— Ему нужны руки, — согласился он, подавив желание распространиться на тему «Я в его годы...».

— Дай тебе волю, ты бы заслал мальчишка в армию.

— Если на то пошло, *там* у нас с тобой не было вообще никакой воли.

— Как плохо влияют на тебя комнаты без окон!

Можно было подумать, что у неё самой (в том же доме) была светлая кухня или что она слишком привыкла, смирилась с убогим устройством своего жилища, — но нет, такое на неё не походило. Свешников — тот определённо не мог смириться, и оттого, что они двое сидели за вделанным в глухой угол столом, каждый — лицом к пустой стене, и что у них в ясный (по рассказам или воспоминаниям) день горел свет, ему казалось, будто на дворе давно настали ненастные сумерки. Сейчас Дмитрию Алексеевичу не хватало окна, чтобы перебить беседу минутной паузой: подойти к нему и постоять спиной к комнате, а тогда, быть может, и в самом деле увидеть наконец нечто интересное в одном из супротивных домов: до сих пор он, возможно, смотрел и не видел, потому — он вдруг заметил, — что за время обучения понемногу угасла его любознательность; на улицах он держал себя так, словно прожил в этом городе многие годы: не всматривался ни во что, а скользил взглядом по фасадам или витринам, всего лишь как по приметам пути, сообщающим, сколько ещё осталось до цели.

Совсем не так бывало когда-то в Прибалтике. Его отпуская, хотя и огромные по нынешним меркам, всё ж иссякали быстрее, чем хотелось, и, считая время до возвращения домой, он вдалбливал себе: прочувствуй, ты же — в Латвии (в Литве, в Эстонии — всё равно), и тебе осталось всего пять, четыре... один день — так смотри же впрок на это море и на эту готику, только подумай, по какой улице ты идёшь, — заранее сожалел, что подобного не увидит

до следующего лета. В Германии всё сразу пошло иначе — оттого, быть может, что теперь не приходилось считать оставшиеся до отъезда дни и что видимый мир не мог измениться или исчезнуть.

Он всё-таки встал со стула, прошёлся — три небольших шага до угла, три шага обратно, в сумерках и с больной ногой, — недоумевая, отчего замкнутое пространство начало угнетать так скоро.

— Интересно, — проговорил он, — что будет влиять на меня завтра. Много изменится, когда дойдём хотя бы до какой-нибудь точки. Вот окончили курсы, осядем...

— А ты помнишь, как мы жили в Юрмале?

Это был единственный отпуск, проведённый ими вместе — втроём, с её ребёнком. Тогда им удалось снять на месяц даже не комнату, а бывший гараж — тёмную коробку, в которой едва умещались, через проход, две кровати. Раиса ложилась вместе с мальчиком. Тот обычно спал крепко и только однажды, вдруг проснувшись среди ночи один в постели, всполошился: «Мам, а где дядя Митя?» — «Сейчас придёт, спи, я пока полежу тут», — прошептала она, поворачиваясь на бок, чтобы вернее заслонить мужа.

В те дни они были довольны жизнью.

— Тогда играли по другим правилам, — неуверенно проговорил он.

— Алик играет и сейчас.

— Это — твой выбор. Трудно что-либо поправить, но то, что случилось, для него — катастрофа. Ты скажешь, что приспособиться можно ко всему и что мы жили там будто бы нормально, это ведь только потом оказалось, что на свете есть другие стандарты жизни и что мы перестали понимать, как можно было следовать тем, прежним. Вот и Митя недавно писал мне...

— Какой Митя?

— Не я, — пришлось засмеяться Дмитрию Алексеевичу. — Другой. Я ему верю.

— Речь же не о том...

О чём — в этот раз он не узнал. Кто-то постучал в дверь, и Раиса засуетилась, словно смущённая тем, что её застали здесь. Мгновенно вскочив с места, она выскользнула вместе со Свешниковым в прихожую, и даже прежде него, небыстрого из-за хромоты, и открыла дверь — Литвинову.

— О, да у вас гости!

— Я, к сожалению, тут на минутку, — заявила Раиса, — и не стану вам мешать.

— Не стану и я: мне, собственно, к Альберту...

— Он уехал, — напомнил Дмитрий Алексеевич. — А я в доме за сторожа.

— Ну конечно же, уехал! Совершенно вылетело из головы. Но заметьте, как удачно поворачивается: идёшь к психотерапевту, а оказываешься в приятном обществе. И тогда уж... Хотя я в этом доме не хозяин (и даже не сторож), но всё-таки очень попрошу вас, Рая, остаться. Вы бы так украсили наш стариковский утренник...

— Стариковский? Ну, знаете, мне как-то рановато... И — ухожу, ухожу, нет меня.

Свешников развёл руками: и хотел бы задержать, да не смеет перечить даме.

Спугнутая Раиса больше не появилась, но не случайно же, не напрасно удостоился Свешников её визита: продолжение, он знал, последует, и поскольку дурные новости лучше узнавать пораньше, чтобы успеть совладать и с собою, и с ними, он собирался сам пойти к ней — пусть и не имея приличного предлога, — пока не разозлился на себя за такое дамское нетерпение, заставляющее нарушить пусть и добровольный, но — карантин. Последний, вдобавок, затянулся: Дмитрий Алексеевич провёл взаперти ещё и второй день — ожидая Марию, которой наверняка не терпелось поделиться с ним впечатлениями, но которая так и не появилась.

Теперь к ней, а не к Раисе нужно было спешить в первую очередь, и он отправился следующим утром — пораньше, чтобы не разминуться, — и только по дороге усомнился (ему показалось — побледнев): «Как бы в такой час не застать там вчерашнего гостя», — и едва не повернул назад. Ничего подобного до сих пор не приходило ему в голову да и сейчас осенило уже ввиду цели, в первой же части пути мысли его были беспечны: он так изумлялся возвращённой свободе, словно был отпущен после не дней, а долгих недель заточения, и оттого, что двери открылись ему вдруг, неожиданно, всё не смел поверить, что вновь стал вольным человеком.

Излишне говорить, как приятно стало узнавать знакомые места и предметы, недоступные накануне, — не одни рододендроны в палисадниках, но и безумные причёски панков, и незрячий остов бывшей то ли фабрички, то ли мастерской, и даже надоевший манекен на унита-зе в витрине хозяйственного магазина. Между тем город за двое суток отсутствия в нём Дмитрия Алексеевича не только сохранил старые приметы, но и обзавёлся новою: у дверей универмага вертел ручку своего доисторического аппарата шарманщик — совершенное для москвича чудо, — у которого не было в помощниках ни мартышки, ни попугая, чтобы вытаскивать билетки «со счастьем», зато музыка оказалась той же самой, что его собратья когда-то разнесли по России: «Разлука ты, разлука...».

«Не хватало, чтобы здешние пьяницы распевали “Шумел камыш”, — подумал Дмитрий Алексеевич, до сих пор не встретивший ни одного пьяного немца. — А впрочем — разлука...»

Новые сомнения оказались настолько серьёзными, что он не стал сразу подниматься к Марии, а придумал для начала бросить в окошко камешек; увы, ничего подобного не нашлось на чистой немецкой улице (в двух кварталах позади, он видел, продавались абрикосы — но не возвращаться же было из-за косточки), и лишь нескоро ему попался огрызок карандаша.

Мария выглянула сразу — и была одета не по-домашнему.

— Собираешься уходить или пришла? — резче, нежели хотелось, спросил Свешников.

— Ты поднимешься?

— Если ты уходишь, то нет.

— А кофе?

Раз Мария собралась уходить, то теперь и угощение собрала на скорую руку: они быстренько выпили по чашке, и Свешников, возмнивший было, что зван для объятий, поскущел. «Кофий нынче пила, и без всякого удовольствия», — припомнилось ему.

— Вижу, ты не хромаешь, — заметила Мария уже на улице.

— На мне и всегда-то всё заживало как на собаке. А тут — простой ушиб... Так что — веди, идём, куда прикажешь... Ты ведь собралась куда-то?

— Проведать тебя.

— Милости просим...

— Чайную церемонию мы как будто уже провели, правда?

— Увы, так. Увы — потому что обряды полезны даже и для всякого дела.

Сегодня Дмитрий Алексеевич в который раз собирался завести разговор о своём — его и Марии — дальнейшем устройстве; для этого и сгодился бы чайный или кофейный стол, за которым неуместны поспешные слова: медлить в постном диалоге удобно не всегда, зато в застолье всем полагается ждать, покуда вы не размещаете ложечкой несуществующий сахар. Он очень ценил позволение таких будто бы нечаянных пауз, оттого что и в прошлой его жизни, на службе, иной раз не хватало какой-нибудь заминки, чтоб и самому перевести дух в споре, и сбить с ритма оппонента, да только не в советских правилах было сдабривать деловые совещания хотя бы каким-нибудь угощением, хотя бы копеечною водичкой, и он иногда жалел, что не курит: возня с трубкой, её вдруг понадобившееся раскуривание представлялись добрым средством для оправдания задержки нужного слова.

Пока же, отвергнув застолье, они побрели прочь от жилища Марии, незнамо куда, и Свешников, ненужно посмотрев на часы, посетовал про себя: «Что за жизнь мы ведём! Я бездельничаю, время проходит, а мы всё гуляем, как малыши на бульваре. Не хватало ещё взяться за руки...» Тотчас его фантазии, успевшей нарисовать вереницу детей, парами, сцепившись ладошками, бредущих за воспитательницей «из бывших», старушкой со знанием французского, была явлена пародийная иллюстрация: на супротивном тротуаре он углядел немолодую пару, именно так, ручка в ручку, и совершавшую утренний променад.

Впервые, месяца два-три назад, встретив подобную чету, он, кажется, умилился старичками, но сейчас почувал пошлость демонстрации — и невольно отстранился от Марии.

Она смотрела туда же, и ей он сказал другое:

— Правда, и другая крайность не лучше.

— Другая?

— Эти их «скупые дамские приветствия» — женские рукопожатия. Я повторяюсь, да? Но я так и не привык к ним: при встречах не знаешь куда деться, но пока я лихо-радочно соображаю, нужно ли просто расшаркаться или осторожно, за пальчики взявши, припасть губами, пока на миг возомню себя галантным кавалером, как мне уже с силой трясут ладонь. Прямо комиссарши времён Гражданской...

— Хорошо, что тебе, при твоей памяти, есть с чем сравнить.

— Это, наверно, и в самом деле комсомольские штучки, память о ГДР.

Свешников замолчал, чтобы услышать от неё, что и мы все были комсомольцами.

— Нас в школе — разве приучали к чему-то другому? — сказала Мария. — И ведь прошло.

— Прошло оттуда — сюда, — подхватил он. — Но вот тебе закон природы: заметь, что здешние бывшие партийцы похлеще наших, классических, — и принципиальнее,

и зашореннее. Тот самый случай, когда подданные оказываются монархичнее самого короля.

— Интересно, из нас двоих кто — подданный?

— Тот, кто не король. Но, независимо от ответа — когда же мы поменяем королевство? Твердим: «На запад, на запад», — а срок вышел, и надо что-то решить — сегодня, сейчас.

Дело давно казалось ясным, и они, выжидая, когда Свешников кончит курсы, вечерами мечтали над картой Германии — удовольствие, какого хватало на двоих.

— Не всё так просто, — сказала Мария не то, чего он ждал.

— Вернее, всё просто не так, — машинально отозвался он обычной своей поговоркой, но спохватился: — Что-то случилось?

— Сейчас — нет. Давно нужно было тебе рассказать...

Потом Свешникову и самому показалось непонятным собственное неведение: Мария ухитрилась умолчать о случае, известном всему обществу. Ей не хотелось расхолаживать Свешникова, а он, ничего не заподозрив, постеснялся спросить, отчего она, так часто заговаривавшая о переезде, до встречи с Дмитрием Алексеевичем не сделала в этом направлении шагов («Не ждала же меня, Пенелопа?»).

Она поправила: сделала, увы.

В тот раз она уже чуть ли не уложила вещи. Конечный пункт был ей до поры неизвестен, она задалась лишь направлением, в остальном полагаясь на случай. Посоветоваться было не с кем, никто не говорил с возможными соперниками о своих связях, и опасная тема, ещё недавно столь частая в беспредметной вечерней болтовне, теперь исчезла начисто. Это значило, что посредники уже появились в городе, были тут как тут, но инкогнито: их ещё предстояло распознать.

Иногда, правда, Мария слышала утешительное: «Едва устроюсь на новом месте, сразу напишу тебе, научу, как действовать», — но в эти обещания не верилось — и в самом деле, теперь прошли уже месяцы, и никто так и не написал.

И всё ж одна из знакомых, перебивавшаяся в Бремен, поделилась своим запасным вариантом, как бы невзначай шепнув на ушко о неких мальчиках из Трира и Аахена. Первый город Мария отвергла как родину Маркса («там наверняка городская управа сплошь набита его последователями — хуже, чем здесь»), зато второе предложение показалось аппетитным: этот довольно большой город наверняка принадлежал в её глазах тому миру, о котором она мечтала, уезжая из дома, и до которого ещё не добралась, и недаром был знаменит собором (Мария до сих пор не видела ни одной кирхи) и близостью сразу к двум иным странам. Чем было замечательно последнее, она не могла бы сказать, но звучало это по меньшей мере заманчиво. Ничего путного она не сказала бы и о рекомендованном ей «мальчике из Аахена», который при знакомстве оказался одышливым мужчиной лет за пятьдесят (а значит, решила она, опытным, знающим ходы); деловой разговор с ним поначалу дал осечку на интересном месте, когда Мария услышала, что должна заплатить сию минуту не аванс, а всю оговорённую сумму. Уж это-то правило она усвоила — платить лишь за сделанное, ни в коем случае не вперёд, — но переговоры грозили на этом оборваться, и, поторговавшись, стороны сошлись на тысяче марок аванса. История на этом и кончилась, потому что «мальчика из Аахена» Мария больше не видела — как, естественно, и своих денег.

— Обидно, что меня так элементарно кинули.

— И теперь ты застрянешь в этой дыре, — ужаснулся Дмитрий Алексеевич, понимая, что и сам должен остаться с нею.

Такое уже было с ними однажды — в далёком аэропорту, где безнадежное течение времени отнимало у людей последнюю доброту и каждый был один — за себя, а все вместе — против одного. Свешников тогда тоже пробивался в одиночку, готовый ради своей небольшой удачи отодвинуть любого соперника, но неожиданно, едва познакомившись с пока ничем его не тронувшей попутчицей, решил, что не может бросить её на произвол судьбы —

и тем удвоил свои трудности. Дело разрешилось в его пользу только случайно.

Сегодня фигуры расположились будто бы в обратном порядке: игроку приходилось оставаться на своей клетке для того, чтобы его дама сумела сделать ещё несколько неверных ходов.

Ранним утром у выезда со двора остановилась — и задержалась надолго — невозможная пара: Мария в спортивном костюме и кроссовках и Раиса — в очень лёгком, плохо на ней висящем, волнующемся на ветерке цветастом платье. Вышедший из подъезда Свешников, которому раньше и в голову не приходило, что эти две женщины могут найти, о чём (а уж тем более — ни о чём) болтать между собой, лишь скользнул по ним взглядом, поначалу не признав издали, а наконец разглядев и полюбовавшись каждой, подумал, что лучше бы повстречать их поодиночке. Он едва не повернул к другим воротам, но было уже поздно: его заметили. Он поклонился обеим сразу, глядя посередке, и замешкался, подозревая, что помешал. Прерванная беседа больше не возобновилась, а он не знал, с чего начать новую: попросту ленился что-либо изобретать. Впрочем, теперь у всех была одна тема:

— Последние деньки...

— Некоторые слишком спешат. Наш, — Мария обернулась к Свешникову, — наш Литвинов прямо-таки рванул получать квартиру.

— И с тех пор пропал из виду.

— Михаил занят, у него теперь репетиции, — объявила Раиса. — Он ещё до конца экзаменов записался в хор при общине.

— Достойное занятие, — насмешливо оценил Дмитрий Алексеевич. — То замышлял переучивать немецких профессоров, то о диссертации сожалел, то задумал сочинить эпопею...

— Какое ни есть, а занятие. Ты иронизируешь, а он меломан, и вот, получает удовольствие... И между прочим, хор в октябре едет на фестиваль в Италию.

В Италию! Это было одно из волшебных слов. Произнеся в сотый раз «Париж», следующими он бы назвал Рим, Венецию...

— Жаль, что у меня нет голоса, — искренне посетовал он.

— Поедешь молча.

— Но куда?

— Но куда? — воскликнула Раиса, думая о своём. — Не прогадать бы.

— Погодите, друзья, ещё будут сниться наши хаймы, — пообещала Мария.

— Как раз сегодня, — грустно проговорила Раиса, — я как-то странно спала: без потери сознания.

— Все волнуются перед переменной мест...

— Да может, и не будет перемены?

— Ты что же, не берёшь квартиру? — насторожился Дмитрий Алексеевич — и замер, не желая услышать в ответ, что, мол, мы тут минуту назад, говоря как раз об этом, решили сообща попытаться счастья в других местах.

— Если только не уеду назад...

— Что-нибудь случилось? — вместо Свешникова воскликнула Мария.

— Кто знает, как повернётся дело, — уклонилась Раиса, а Свешникову к слову вспомнилась старая джазовая песенка: «Que sera, sera, — пела Дорис Дэй, — Whatever will be, will be»^{*}; он разумно не стал её воспроизводить.

— У тебя сомнения в чём-то? — поинтересовался он.

— Мне надо с тобой поговорить — именно об этом.

— Говори.

— Ты не понял...

— Какие у нас секреты? — с нажимом сказал Свешников, скорее — для Марии, но та, будто бы обрадовавшись возможности продолжить утреннюю пробежку («Что-то новенькое у неё», — отметил он), уже шагнула к улице.

* Что будет, то и будет, / Что бы ни произошло (фр., англ.).

Дмитрий Алексеевич протянул было руку — задержать, — но тут же застеснялся своего жеста.

— И что же? — раздражённый изгнанием Марии, поторопил он.

— Продолжим прямо здесь, посреди двора?

— Зайдём ко мне. Альберт уехал на велосипеде за провизией — недалеко, в «Плюс».

Раиса успокоила, заверив, что успеет рассказать.

Её рассказ потом и в самом деле уложился в голове Дмитрия Алексеевича в одно предложение — хотя она сама использовала таких с десяток; в первом Раиса заявила, что с сыном случилась беда, — и, ещё не узнав, в чём дело, Свешников понял, что беда случилась с ним самим. Он так и думал, что ему не удастся расстаться с женой без осложнений: не зря же она вывезла его из России, не из альтруизма же.

Несчастье с Аликом оказалось довольно пошлым: он проигрался в карты. Свешников давно ждал чего-то в этом роде — говорил, что воля не пойдёт тому на пользу, однако не подозревал склонности юноши к игре. Теперь же многое из того дурного, что могло произойти, уже произошло, и выпутываться из дела, то есть погашать неведомо ещё какой долг, предстояло, конечно, старшим: ему с Раисой, а скорее всего — ему одному. Увы, на это могли уйти все отложенные на переезд деньги.

Раиса рассмеялась: речь шла о гораздо большей сумме. Но таких денег отроду не бывало у Дмитрия Алексеевича.

— Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался, — вспомнил он поговорку. — Не думал, что нынче возможны такие коллизии: играют, я слышал, не по сотне, а больше по копеечке. Не девятнадцатый, кажется, век, чтобы проматывать состояния.

— Ну а ты не считай деньги в чужом кармане.

— Не в чужом, дорогая, а в своём собственном, и namто с тобой известно, что там мало что найдётся. Известно было и Алику, так что мог бы и сдержаться: нет денег — не играй. Но уж коли продулся — будь мужчиной, не беги к мамочке, а попробуй выкрутиться сам.

— Так всегда все и выкручивались?
«Стрелялись», — подумал Свешников, но ответил:
— Тогда были иные понятия о чести, а точнее — тогда ещё существовало такое понятие: честь.
— Что ты хочешь этим сказать? Его убьют.
— Серьёзное заявление, — насторожился он. — Ты что, говорила с Аликом?
— Тут много не наговоришь: карточка кончается моментально, не успеваешь рот раскрыть. Так что я и сама не знаю как и почему... Никаких подробностей.
— Боюсь, они тут не имеют значения.
— Настолько, думаешь, всё плохо?
— Настолько всё ясно.
— Тот, кому всё ясно, должен бы знать, что делать, — огрызнулась Раиса.

Но он знал лишь одно — кто виноват в катастрофе, и в ответ поинтересовался без надежды, не пробовал ли Алик всё же достать деньги сам.

— У кого ж они теперь водятся? — пожала плечами Раиса.

— А вот это Алику там, в столице, виднее. Во-первых, наверняка — у его приятелей-брокеров. Он же, ты говорила, подвизался на бирже. Связи должны б остаться...

Другого он пока не мог придумать. Занять денег, чтобы потом мучиться и с этим долгом, было, на первый взгляд, единственным выходом, если оставалась надежда, что заимодавцы не поставят бесчеловечных условий; потом нужно было б перезанимать и перезанимать, постепенно уменьшая сумму, — у Алика всё ж имелся постоянный доход: он теперь работал, да и квартиру на Профсоюзной удалось сдать задорого, так что рассчитаться полностью он бы сумел за год-другой.

— Твоя Людмила не поможет? — предложила новый выход Раиса.

— Не трогай старуху, — отрезал Дмитрий Алексеевич, и ему сразу стало стыдно за «старуху»: он никогда не думал так о мачехе, хотя наверняка и его самого кто-то (только не он сам) справедливо считал пожилым человеком.

Он всё искал — и не находил в себе изменений, приличествующих пенсионеру. Пережив загаданные в отрочестве сроки, он иногда думал, плохо этому веря: «Я уже больше, чем старик (как будто можно жить дальше, за старость!)». Школьником он подсчитывал, доживёт ли до смены веков и тысячелетий, и выходило, что нет: на том рубеже ему должно было исполниться целых шестьдесят четыре. Дмитрию и его сверстникам, хотя они и посмеивались над классическим «Вошёл старик лет тридцати», это шахматное число казалось запредельным, во всяком случае, иные из окружающих не доживали и до него. Но вот и золотой юбилей был им отпразднован, и двадцатый век иссякал, а он ещё не понял своих лет («тьфу-тьфу, так нельзя ни говорить, ни думать, иначе как раз и не доживёшь»).

Когда-то Свешников старался на словах преувеличивать разницу в возрасте между собою и мачехой (хотя эти несколько лет и впрямь развели их по разным поколениям), сейчас же ему казалось, что он стал старше неё, и радовался, что из-за его эмиграции Людмиле не придётся ухаживать за ним — дряхлым и больным, — а то и вовсе хлопотать о похоронах, а потом разбирать оставшиеся записи, устраивать незавершённые дела. Забывая о её старшинстве, он не мог отогнать от себя подобных мыслей, а только пугался их; будь он верующим, всякий раз крестился бы.

— Что ты с ней так носишься? — пробормотала Раиса.

— Ты забываешь, что она — жена моего отца. Вдова... И — талантливый человек.

— Понятно: на нашем сером фоне...

«Я как будто забыл её, — испуганно подумал Дмитрий Алексеевич о мачехе, словно впервые осознав, что та уходит, если не ушла уже из его жизни и что при всех телефонных звонках и переписке их бытия станут расходиться всё больше и дальше, пока кто-то незнакомый не поставит точку. — Так же можно и потерять». Последнее письмо он отправил с месяц назад — пора было ждать ответа — и пока не знал, дошло ли, заранее огорчаясь из-за того, что — нет. Почта обращалась медленно, с трудом одолевая российскую

границу, отсюда — туда, но Свешникова больше волновала другая скорость — та, с какою будет понято написанное им; здесь же, рядом с собой, он не помнил человека, понимающего его с полуслова. «Как же так вышло, — спохватился он, — что я не писал ей о Марии?»

«Как же вышло, что я не рассказал о ней тогда, сразу, после истории в аэропорту?» — добавил он, усмехнувшись, потому что не хватало ещё ему представлять молодой маме своих любовниц, и потому, что не знал, посвящал ли бы в амурные дела родную мать — когда бы та жила ещё. Она умерла, когда сыну исполнилось одиннадцать, до всех его приключений, оставив о себе только самые детские воспоминания: мальчика — о маме. Теперь она стала малознакомой женщиной — он ничего не мог с этим поделать, — и было непросто вообразить свою откровенность с нею, тем более что он и вообще не одобрял мужской откровенности, даже выведя для этого неодобрения формулу: выбалтывание секретов отупляет, позволяя больше не думать — о них, а потом и вообще — ни о чём.

«Даже если я теперь, поздно, поделюсь с нею тем, что знал и видел и напому, чем был и чем стал, — продолжал он, — то всё равно же Людмила не передаст это дальше: кому интересно знание обо мне, не оставившем следа? Я должен это сделать — поделиться: только она одна осталась у меня из близких». Она осталась последней из тех, с кем он мог говорить без утайки: даже Марии он не рассказал многого о себе — именно Марии, оттого что та сама утаила ещё больше, — а об остальных и подавно не было речи, остальные были далеки, так что и посоветоваться было не с кем, и к тому ж теперь следовало быть осторожным с Раисой, видимо, затеявшей неприятную игру: прежде всего, не разжалобиться, слушая её причитания о мальчике, отчимом которого он числился на бумаге. Всем надо помогать в жизни, думал Свешников, и у него не лежала душа помогать сыну женщины, с которой он разошёлся.

— Боюсь, что мы с тобой неспособны помочь, — сказал он Раисе.

- Найди, где достать денег.
— Их тоже придётся отдавать.
— Но — потом.
— Резонно, — согласился Дмитрий Алексеевич. —
И всё же?
— Алик сдаёт квартиру.
— Да, это первое, что приходит в голову. Кстати, можно ведь сдавать обе квартиры, а парень пусть снимет себе что-нибудь подешевле.
— Ну понятно, ребёнку можно жить кое-как.
— И ещё: свяжись-ка со своей московской да и с винницкой роднёй: быть может, соберут с миру по нитке, если у Алика не выйдет с его банкирами.
— С винницкой! У них там уже другое государство, другие деньги...
— Доллар, он и в Африке — доллар, — напомнил Свешников.
— ...А в нашем государстве занять можешь и ты. После всех разговоров о том, какой у вас был (или есть) дружный класс... Один из твоих однокашников, кажется, руководил каким-то спортом — волейболом или хоккеем... Сейчас самые богатые люди в стране — бывшие комсомольские деятели или бывшие спортсмены.
Вот этот козырь Раиса и держала в рукаве с самого начала. Дмитрий Алексеевич не сомневался, что сценарий их встречи был продуман заранее.
— Знаешь, дорогая, однокашники — это не родня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

- Ты идиот, — сказала мачеха, и он согласился, про себя. — Я не верю ни одному Райкиному слову.
— Не верю и я.
Тем не менее он приехал.
«Только посмотреть, не нужна ли и в самом деле помощь», — оправдывался он перед собою и даже старался

в первые московские дни соблюсти инкогнито, тем более что остановился — у Людмилы Родионовны.

У Свешникова, как и у всякого вернувшегося из странствий, при первых шагах по родному городу возникло ощущение, будто он вовсе никуда не уезжал и, найдя всё на своих местах, готов немедленно включиться в прежнюю жизнь, ни от чего не отвыкнув. Но коли ум и глаза, насторожённые, всё-таки искали особенных примет, то он, выходя из вокзала, неожиданно ясно представил, как выглядели окрестности раньше — нет, не в прошлом году, перед отъездом, а — в его детстве: отношение к знакомым местам частенько отстаёт от перемен в них. Мальчиком его иногда возили сюда в гости к бабушкиной подруге (самой бабушки уже не было на свете). Подруга эта жила в рубленом доме возле Бутырской тюрьмы, и поездка к ней бывала для маленького Мити едва ли не приключением (теперь было странно верить тогдашним мерам длины: сюда, на Лесную улицу с её притюремными закоулками и тупиками, ехали как на глухую окраину, а местоположение своего дома в переулке за Моссоветом совсем не считали центральным и, отправляясь в другую от Лесной сторону, в Мосторг или к Большому театру, говорили, что едут — в центр).

В то время в окраинных кварталах и жизнь текла — не столичная, и там совсем не редкостью были неторопливые подводы; лошади кивали в такт шагам, и Митя, понимая приветствие, отвечал каждой: «Здравствуйте, лошадь!» — а дома делился с родителями планами стать, когда вырастет, возницей; до этого всё-таки не дошло, и под старость, приехав в Москву из Германии, Свешников выглядел со стороны таким же пешеходом, как все или хотя бы — как многие: теперь и среди самой толпы стало много неожиданных людей, и она заметно потемнела от смуглых лиц и чёрных кожаных курток. Собственное же его ощущение было иным: он увидел себя среди жителей этого города неожиданно чужим и даже подумал с невольным злорадством, что произойди сейчас в городе несчастье — и он, с обратным билетом в кармане, будет

уже ни при чём. Москва не изменилась — изменился его собственный взгляд на неё, понятия «у нас» и «у них» уже не могли толком разобраться между собою, что из них что означает, и завершённый минуту назад переезд из пункта А в пункт Б виделся значительным путешествием. Оно было, наверно, достойно путевых заметок, и кто-нибудь другой непременно принялся бы за них — другой, только не он, однажды объяснявший кому-то, что в наши дни слишком многое уже замечено беспокойными людьми на всех путях сообщения, тем более — на этом, выбранном им, но ранее кем только не езженном. Самому же ему, сосредоточенному на перемене собственной доли, из всей поездки запала в память лишь белорусская таможня, однако о ней было бы скучно упоминать в любом рассказе.

На сей раз, в возвратном направлении, Дмитрий Алексеевич ехал налегке и не ждал осложнений. Почувствовав себя вольным человеком, он даже добавил в дорожный сюжет некую изюминку (или — перчик?), взяв билеты с пересадкой в Берлине, причём решил по дороге в одну сторону, в Россию, познакомиться лишь с бывшим советским сектором, а на закуску, возвращаясь, — с западной частью, и с первой половиной ему не повезло, оттого что были морось, и мгла, и безлюдье на знаменитой Унтерден-Линден. Дойдя до Бранденбургских ворот, он увидел с ними рядом стройку, а по ту сторону арок — неаппетитный в такую погоду чёрный массив парка. Решительно нужно было не заглядываться на аллеи, а забиться под какую-нибудь крышу, хотя бы — вокзала.

Вернувшись к своей исходной точке и собираясь дойти до другого конца улицы, Свешников разглядел впереди, в сырой перспективе, какие-то потешные огни, заподозрил там ненужные ему сейчас луна-парк или ярмарку — и свернул к станции городской электрички, так и не дойдя всего пары кварталов до искомого кусочка имперского Берлина.

Ненастный город произвёл на него удручающее впечатление, отчего потом и Москва предстала не в лучшем

свете, и Дмитрий Алексеевич испугался мысли о том, что мог не покидать её навсегда, а — остаться и умереть в ней; он смотрел на знакомые места немного не теми глазами, что раньше, и на его новый взгляд всё бывшее когда-то начищенным и сверкающим, осталось сверкать и сейчас, не привлекая внимания старожила, а то, что было убого и серо, осталось серым и лезло в глаза. И в уши лезло — всё подряд, и было странно обнаружить рядом с собой уйму незнакомых людей, говорящих наперебой по-русски. Было странно и неловко ощутить рядом множество посторонних, способных понять — его, буде заговорит; ещё день назад он мог что угодно сказать на улице или подумать вслух — и знать, что вряд ли кто-нибудь подслушает и поймёт, но сейчас любое вырвавшееся у него слово стало бы доступно любому прохожему («и может быть использовано против меня», — припомнил он).

Среди этого понимающего народа Дмитрий Алексеевич почувствовал полную свою незащищённость чужака и не удивился, вдруг разглядев чуть поодаль чем-то знакомую фигуру: некто с бычьим затылком что-то настойчиво втолковывал вышедшему на площадь человеку с чемоданом, всё протягивая ему смятые в кулаке бумажки. Узнав, кажется, своего знаконца с Пречистенки, Свешников даже обрадовался: всё в Москве оказалось на своих местах — таксисты, пешеходы, мошенники, вокзальные носильщики... «Насильники», — продолжая список, скалмбурил он, но, спохватившись («Надо же предупредить!»), рванулся было к замеченной паре, только напрасно: приезжий, стреляный, видно, воробей, уже сам наскакивал на крепыша, так что и посторонние оборачивались на шум, и тот потихоньку и деньги прибрал в карман, и сам — бочком, бочком — поспешил смешаться с публикой. «Вот я и в Москве», — без улыбки сказал себе Свешников. Обернувшись на неожиданно хорошенькую прохожую, он, мигом позабыв о счастье расстроенной сценке, подумал, что вот ему и добрый знак, и воспрянул духом; такое чудо не могло кончиться

просто так, и он даже загадал: «Если до перекрёстка встретится ещё одна такая красotka, то...» — но не успел придумать желание.

Второпях он неверно назвал Людмиле Родионовне время прибытия поезда, на два часа позже настоящего, и теперь не был уверен, что застанет её дома. Но она отворила ему так скоро, словно ждала звонка, стоя под дверью.

«А ведь я по ней соскучился», — признался себе Свешников.

— О! — воскликнул он при виде нового наряда отворившей ему Людмилы — кимоно с тонким рисунком. Она казалась не старше своего пасынка — быть может, из-за платья. Конечно, Свешников не ждал, что она вновь стала одеваться дома столь же легко, как и в первые месяцы замужества: в последние годы ей, напротив, нравилось облачаться в самые фантастические наряды, которые сама же и мастерила, чаще — туники или накидки в римском стиле, на пряжке, однако нынешнее кимоно вкупе со вполне достоверной косметикой его всё-таки озадачило; оно к тому же выглядело подлинным.

— Это почти подарок... Впрочем, само собой разумеется, я сшила его сама, — чуть позже объяснила она. — Собственно, подарили только гэта — доски, на которых японцы ходят всю жизнь и от которых я сошла с ума за час. Но не выбрасывать же было... Короче, носить их с каким-нибудь сарафаном или с брюками нелепо, и пришлось сшить вот это, а сами гэта в конце концов забросить на антресоли, потому что этот наряд уживается даже с босоножками. И хожу — босиком.

— Тебе идёт. И рисунок...

— Красила, как можешь догадаться, сама, поминая Эллочку-людоедку. И, как могла, упростила покрой, так что ты видишь всего лишь стилизацию.

— Больше никому это не рассказывай. В конце концов, в искусстве что ни изготвь, всё будет — подлинник. Тебя, правда, выдаёт причёска. Нужен радикальный чёрный цвет.

— Поправимо.

— А поправимо ли то, что я шёл сюда, надеясь выпить какого-нибудь замечательного скотча, а вижу, что придётся ограничиться чайком из микроскопической чашечки? Помнишь, у нас когда-то был такой разговор?..

— Вот японской посудой я так и не обзавелась.

— Это был бы уже перебор. Наряд же... В таком платье — хоть куда... Годится для самых торжественных случаев.

— Жду гостей из Германии, ты это знаешь.

— Их поезд приходит позже, я сообщал тебе.

— В справочной ответили не так, а всё ж я, как видишь, послушалась тебя и не поехала встречать: не уговорившись, мы могли бы и разминуться, а? Шутки шутками, но ты одет вроде бы по-старому, а выглядишь — иностранцем.

— Это объяснимо: я расслабился — и обнажился пороки. А разминуться — нет, невозможно: я узнал бы тебя по кимоно.

Рассмеявшись на это, она повела Свешникова в назначенную ему комнату — когда-то это был кабинет его отца. С тех времён тут сохранилась почти вся обстановка: никто не покусился на старорежимный письменный стол, на кресла, на диван с зеркальной полочкой, на книжные шкапы — всему этому пришлось за свой век только по-странствовать по разным углам, не покидая четырёх стен, которые при каждой перестановке меняли свой цвет: из фисташковых стали тёмно-зелёными, затем — брусничными... Станным образом характер всего помещения не изменялся от таких переделок, словно и вправду главным тут был воздух, свойственный местам, где трудятся думающие люди. Вот и теперь Дмитрию Алексеевичу почудилось, будто перед ним — та самая, старая, непостижимым образом вернувшаяся из детства комната, и будто он без спросу вошёл в неё в отсутствие отца.

Мелкие нынешние поправки в интерьере оказались несущественны, как пометки карандашом в чужой книге: его дом был здесь — и не оставлен. (О другом, оставленном, — при воспоминании о квартире, куда впервые пришла Мария, сразу кольнуло в груди, — о преданном им под напором Раисы доме Свешников, странно, не тосковал: лишь сию

минуту понял, что не тосковал, и тогда уже равнодушно представил себе, как открывает ключом свою дверь и, вдохнув тусклый запах долго пустовавшего жилья, растерянно оглядывается, не зная, куда поставить чемодан — столько везде собралось пыли. Этой заминки Дмитрий Алексеевич не предвидел и теперь не мог решить, затеять ли немедленную уборку или бежать за провизией, оттого что нигде не завалилось даже сухаря. «Не ждали», — вздохнул он.)

Тем более пугало его происшедшее в других домах и не с ним — пока не с ним: он не знал, чего теперь ждать. «Мир причин и следствий — это не здесь, — подумал он, стараясь не назвать вещи своими именами. — А там, снаружи, говорят, стоит лишь прикоснуться к большим деньгам, как тотчас проявляется и следствие».

Он пересёк комнату, озираясь, как первый посетитель в музее (а тому нашлось бы, на что посмотреть — стены были увешаны портретами, натюрмортами, абстрактными композициями), и задержался у рисунка тушью, изображавшего даму с собачкой. Когда-то по его, Свешникова, озорной мысли художница раздела женщину до бикини («Но ведь это — набережная и Ялта», — словно оправдывался он, не узнавая пейзажа), зато укутала шпигца в тёплую жилетку.

— Забери, наконец, это себе. Как-никак — мой старый подарок...

Он всё не мог отрешиться от промелькнувшей было мысли о том, что негоже ввязываться в дела, участники и свидетели которых неизбежно становятся мишенями. Попадания в таких играх всегда вероятнее промахов, и стоит вступить... Рисунок он, конечно, увезёт к себе, но собратья и соседи того останутся здесь на веки вечные и только он сам, зритель Свешников, уже не появится в этих стенах, и все картины и вся обстановка, все здешние предметы продолжат существовать без него. (Как дико это прозвучало: всё — будет и всё останется на своих местах, а его, Дмитрия Свешникова, не будет нигде!)

Пока же он, однако, существовал, и не напрасно торопился домой из некоего тридесятого государства: его ждали... Его ждали ещё и в другом месте, у Алика, но — не его самого, пожалуй, а лишь некие мифические деньги. «С какой стати?» — привычно ворчал Свешников, досадуя на себя за наивную надежду уговорить пасынка на неведомо ещё какие обходные манёвры и за то, что вообще согласился на эту миссию; ему никак нельзя было выезжать для этого из Германии, но поспорь теперь об этом с Раисой — и, пожалуй, вышло бы, что он сам же и настоял на поездке. Он совсем не был уверен, что должен отвечать за похождение постороннего юноши, сына женщины, с которой они хотя и договорились жить врозь и свободно, однако уехали из своей страны как законные супруги. Эта же самая женщина и сделала так, что мальчик остался ему чужим; до сих пор Свешников не расстраивался из-за холодных отношений с пасынком, однако выдумка Раисы испортила ему настроение: можно было понимать или не понимать друг друга, испытывать приязнь или антипатию, но вытаскивать человека из уголовной истории — это было уже нечто другое: в ней можно было завязнуть и самому.

— Вдруг парню и в самом деле нужно помочь? — неуверенно предположил Свешников, обращаясь к Людмиле Родионовне.

Тогда-то она и сказала, изумившись:

— Ты идиот. Я не верю ни одному Райкиному слову.

— Не верю и я.

— Тем не менее ты приехал.

— При такой лёгкости перемещений...

— Обманчивой.

— О, вот от этого-то мне и страшновато. Не получится ли, как у Набокова: войдёшь — и не выйдешь?

— Ты имеешь в виду переход границы или то, куда хочешь вляпаться?

— Одно другого стоит, — проговорил он, и в самом деле не видевший тут особенной разницы: едва ступив на вокзале на родную землю, он вздрогнул от ясной мысли: «Здесь со мною может случиться что угодно».

Кое-какие пожитки он, уезжая, раздарил знакомым, кое-что — осталось Алику. Расставаться с лишними отныне предметами было бы не жалко, но с каждой вещью его связывали воспоминания, пусть и ничтожные; казалось, выброси какой-нибудь старинный пустячок — и сотрётся страница дневника. Нечто подобное Дмитрий Алексеевич уже пережил однажды, когда Раиса, придя в дом хозяйкою, со сладострастием взялась искоренять напоминания о прошлом старого жильца. Тогда ещё получалось шутить: «Сохрани хотя бы сувениры из будущего», — но теперь, когда настало и это непредвиденное время, со своей памятью ему предстояло расправиться в одиночку — и это было не лучше. С одной стороны, хорошо было бы избавиться вообще от всякого скарба и ехать налегке, с другой — любая мелочь могла согдиться на новом пустом месте. И пусть опыт говорил, что в какую местность ни попади, всегда можно прожить, обходясь лишь бритвой, зубной щёткой и сменой белья, однако собирался он всё же не в командировку.

Там, где ему предстояло поселиться, — среди людей, говорящих на чужом языке и оттого думающих по-чужому, особенно важно было иметь под рукой привычные вещи, любимые книги...

Как обойтись с книгами, Дмитрий Алексеевич пока не знал: разорить библиотеку не поднималась рука, а увезти с собою — сотни килограммов — было физически невозможно. Мало-помалу он согласился на сомнительный компромисс: взять три-четыре десятка томов, которые он мог бы перечитывать без конца (как он говорил — «золотую полку»), и лишь когда-нибудь потом, обретя постоянный адрес, заказать для остального контейнер; до той поры собрание пришлось бы доверить друзьям, умеющим заботиться о книгах.

Всё же он предвидел осложнения.

Книги, отданные на хранение их ценителю, можно считать потерянными: тот непременно сроднится с ними;

только то и могло тут утешить, что они не пропадут зря и собрание останется собранием, переходя по наследству от хорошего читателя — его детям, тоже, надо надеяться, читателям, а за ними — внукам и детям внуков и детям детей внуков; станет переходить, пока вообще не переведутся читатели на земле.

Спасённая «золотая полка» представляла собою беспорядочный, на посторонний взгляд, набор: Набоков, Кэрролл, Битов, Пруст и даже кое-что для Дмитрия Алексеевича новое: купленный перед самым отъездом — по знакомству и по секрету — трёхтомник Гайто Газданова. Во время обучения на курсах читать новинки было некогда, и Свешников не трогал эти книги, жадничал, оставляя на потом, чтобы читать не урывками, а запоем; пока же он пробавлялся запасами городской библиотеки (ещё в Москве предположил, что в гэдээровском городе непременно найдётся русское чтение — и оказался прав, но лишь частично, найдя в хранилище всего два стеллажа книг на кириллице — либо давно им читанных, либо таких, что не хотелось даже брать в руки) и спрашивал себя: стоило ль уезжать в неславянскую страну?

Именно это — стоило ли рваться в бескнижные края — и спросил при встрече Вечеслов. Оказавшись в Москве, Дмитрий Алексеевич позвонил тому как ни в чём не бывало:

— Слушай, не пора ль освободить тебя от части моих книжек? Чтобы тебе не тесниться. Я бы увёз кое-что с собой: ещё одну полку.

Вечеслов, только что обрадовавшийся звонку («Митька, чёрт! Ты что, говоришь из своей Неметчины?.. То есть как — с Леонтьевского? Ты — здесь? Насовсем?»), сразу поскучнел:

- Да стоит ли таскать их взад-назад?
- Жить-то надо...
- Но ведь ты — живёшь? Кстати, как?
- Стыдно сказать, живу неплохо. Ведь я же писал тебе.
- Не писал, нет, я не читал, не получал...

— Обидно... Но тогда, выходит, я прикатил вовремя: расскажу всё в лицах, — пообещал Дмитрий Алексеевич скороговоркой, пытаясь попутно сообразить, действительно ли писал такое Вечеслову или, выговорившись в письме самому себе, потом уже не захотел повторяться. — А письма... Верно замечено, что наши письма идут по России с такой скоростью, словно их несут пешие курьеры. Разгадка проста: заграничные конверты, как говорят, вскрывают в поисках хотя бы какого-нибудь содержания.

— Всё же — цензура?

— В поисках ассигнаций.

— Ах, жаль, что письмо не дошло!

Они едва не решили встретиться немедленно — Вечеслов настаивал, но потом сам же и задержал дело, пожелав заодно созвать одноклассников (лёгких на подъём, но не настолько же): с ними Дмитрий Алексеевич не мог увидеться без подготовки, прежде разговора с пасынком; не признаваясь самому себе, он втайне надеялся вместе с Аликом вдруг найти какой-то разумный выход, сейчас и отсюда невидимый (хотелось, чтобы «разумный» значило здесь «бесплатный»), и только в случае неудачи начать поиски денег — где же ещё, как не у школьных товарищей? Впрочем, по привычке он не настраивал себя на немедленную удачу: верным его правилом было всегда готовиться к проигрышу, чтобы если в конце концов и разочароваться, то — приятно.

Потом он и сам не сказал бы, на что надеялся — не на то же, что Алик откажется от идущих к нему в руки, только бери, многих тысяч, не на признание в том, что история с карточным долгом выдумана им самим или матерью. Алик и не отказался, а сообщил:

— Ты не представляешь, какой это страх: меня поставили на счётчик! Ме-ня по-ста-ви ли на счёт-чик! В таких случаях не помогают никакие уговоры, — а когда отчим не совладал с новым жаргоном, терпеливо объяснил: — Это как если бы завели будильник: чуть прозвонит — и тогда или я отдаю долг, или меня убирают. Бомба замедленного действия.

— Страсти, однако... И как легко ты говоришь об этом!
— Таким вещам здесь не удивляются. Так уж устроено.
— Я отсутствовал меньше года — за это время люди не стали другими.

— Для кого-то и год — большой срок.

— Ты многое успел?

— А вокруг всё осталось как было.

Неизвестно, что имел в виду Алик, но комнату, в которой они находились, Свешников помнил другою; находились же они — в доме на Кисловском, и ему к месту вспомнился день знакомства с Раисой и позывы к игре среди сервизов; как раз фарфора здесь и поубавилось («Спустил, подлец, по дешёвке, — усмехнулся он. — А тогда — кокни мы какой-нибудь “мейсен” — и глядишь, семейная история выглядела б иначе...»). Исчез и телевизор, уступив место мощной стереосистеме. Наверняка тут нашлись бы и другие новшества, но не мог же он всё понять с одного взгляда — и оттого, что раньше не слишком вглядывался в антураж, и оттого, что теперь был обескуражен беспорядком: на стуле висела смятая рубашка (хозяин, спохватившись, быстро её унёс), а на столе не оставляли свободного места грязная посуда, тетради, засохший батон, электробритва, допотопный чайник...

Отведение чайнику постоянного и, пожалуй, самого видного места в жилой комнате было долгое время — в детстве — загадкой для Мити Свешникова. До войны, совсем ещё малышом, он любил на вечерних прогулках заглядывать в освещённые окна полуподвалов (это было ему как раз по росту): их жильцы часто не задёргивали занавесок. В каждой такой комнате ему непременно бросался в глаза чайник на покрытом клеёнкой столе — даже если за этим столом кто-то делал уроки, мастерил или шил. У Свешниковых, в профессорской квартире, было заведено иначе, кухонная утварь знала своё место у плиты и на полках, и Митя не понимал, но не решался спросить у родителей, почему здесь что-то устроено не как у людей. Когда он подрос и низкие окна стали ему недоступны,

а прогулки за ручку с мамой закончились, детское недоумение позабылось. Уже школьником, увидев остывший чайник в комнате у одноклассника, Дмитрий улыбнулся ему, как старому знакомому, и только побывав у товарищей ещё и ещё, постепенно уразумел, что такое суть коммунальные квартиры и общие кухни в них, где одной плитой пользуются несколько семей, так что конфорки не следует занимать зря, и где нет места для хранения своей утвари.

— Соседи у тебя всё те ж? — поинтересовался Дмитрий Алексеевич.

— Куда они денутся? — небрежно отозвался пасынок. — Жди, когда вымрут...

Соседями, давно знакомыми Свешникову, были чета Солдаткиных, которых во дворе звали «старичками» и которые когда-то удивили его своим несоответствием прозвищу, оказавшись не хилыми одуванчиками, а крижистыми старичищами (он — с пудовыми кулаками, она — с чудовищным бюстом), и кроме них — некий Вася, живчик неопределённого возраста, появлявшийся в своей комнате, казалось, лишь для того, чтобы от него не отвыкли, не позабыли совсем; он то ли снимал где-то жильё получше, то ли пребывал у подруги, дожидаясь, пока не снесут наконец дряхлый дом в Кисловском, а ему самому предоставят отдельную квартиру.

— Предоставят, — сказал Дмитрий Алексеевич пасынку. — На выселках.

— Отсюда, из центра, в какую-нибудь Битцу не переселят.

— Ещё как переселят. Вернее было бы продать, — возразил Свешников и, помолчав, быстро и зло спросил: — Если продашь свою площадь — хватит, чтоб отдать долг?

— Как повезёт...

Юноша был явно смущён таким резким поворотом.

— А я-то — куда? Не на улицу же?.. — пробормотал он.

— На Профсоюзную улицу.

— А жильцы? Жильцы? Там занято.

— Вот их-то как раз — на улицу, — легко, с улыбкой распорядился Свешников и, чтобы не потерять темпа, без перехода спросил, будто бы с неудовольствием, будто бы раздражаясь: — Ну, с этим всё, будто бы? Мы нашли выход? Вот так: сели — и нашли?

— Меня припёрли к стенке — что за выход?

— Интересно, на что ты рассчитывал.

— Думал, скоро повезёт. Это же факт: чем дальше выпадает решка, тем вернее жди в следующий раз орла.

— Ты ведь не монету бросал, и теория вероятностей тут ни при чём. В картах исход зависит от того, какого класса шулер с тобой играет, и общее правило — одно: проиграл — беги. А орёл?.. Он не выпадает никогда.

— И ещё я думал, что сумею перезанять.

— Ну, коли сумма не показалась тебе невероятной... В смысле, если есть у кого — занимай, — равнодушно бросил Дмитрий Алексеевич. — В конце концов, как ты считаешь, для тебя это вопрос жизни. Буквально. Опять же, извини, с одной оговоркой: не мешало бы проверить и твой проигрыш, и пресловутый счётчик — не мифы ли это.

— Как — проверить? Зачем? Это что, выходит, я всё выдумал?..

— Сумма велика.

— Но ведь — квартира... Нет, надо б узнать, что почём...

— Вот так уже лучше. Главное, чтобы ты решил в принципе.

— У меня нет принципов, — нашёлся Алик; прищулив один глаз, он ждал, что отчим сорвётся, но тот, застигнутый врасплох заявлением юноши, непонятно, наглым ли, беспомощным или просто случайным, как эхо, решил, что стоит вести себя жёстче.

— Прелестно. Значит, выкарабкаешься сам.

— То есть наоборот, как бы... За что ты меня так?.. Но пусть так, пусть даже будет по-твоему, это же всё равно не выход: продажа — долгое дело. Будильник прозвонит раньше.

— Займи, перезайми...

— Разве только у тебя.

Зная, что делает ошибку, Дмитрий Алексеевич всё же пообещал поспрашивать своих старых знакомых, собрать с миру по нитке. Ещё несколько раз повторив на все лады совет срочно продать жильё, он поторопился закончить на этой ноте — слишком, наверно, поторопился, оставив Алика в одиночку размышлять то ли о несчастной судьбе, то ли о сорвавшемся мошенничестве. Слишком — потому, что через день всё пришлось начать почти с нуля, и молодой человек не был уже ни растерян, ни покладист, а только разозлён тем, что не удаётся принудить отчима раскошелиться; поначалу он хотел было разжалобить, но это не вышло, и теперь Алика подбадривало только собственное толкование приезда отчима: к чему было тому трудиться, если не затем, чтобы сделать доброе дело? Отказать тот мог бы и по телефону — нет, явился собственной персоной не для того же, чтоб учить младших уму-разуму, а — чтобы в конце концов сдать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Поистине у нашего приезжего изменились слух и зрение, если он с болезненной остротой начал замечать вещи, прежде то ли невидимые на будничном фоне, то ли самим этим фоном и служившие, и где нынче стал сон, а где явь, и что на самом деле звучит, а что слышится — стало сразу не распознать. Люди обычно как раз настолько не владеют обстановкой и собою, чтобы при внезапном переполохе (разбуди их среди ночи) не суметь сказать простейшего: где они, в каком царстве находятся и какое, милые, у нас тысячелетье на дворе (сегодня у соседей, понятно, был конец второго, но часы в разных домах совпадают нечасто). Иные, впрочем, затруднятся с ответом даже и среди бела дня: слишком тесными стали пейзажи и неописуемыми — проступки соплеменников. Запутавшись в обстоятельствах времени

и действия, сложно оценить сущее окрест: многое хочется назвать неразумным, да только именно этого понятия и не знают в стране абсурда; напротив, разумное — вот исключение и криминал. Посторонним не понять, как можно существовать среди сплошных нелепиц, а люди тут и сами не понимают, но — живут.

Пришельцу или забывшемуся нынче приходится трудно.

В Москве у Дмитрия Алексеевича пошла довольно напряжённая, от какой успел отвыкнуть, жизнь. Он и пытался разобраться с проигрышем Алика, и делал полезные себе заметки в библиотеках (благо у Людмилы сохранились его читательские билеты), и навёл о ком-то справки (хотя до встреч так и не дошло). Только одним делом не получалось заняться — закончить хотя б одну статью из начатых в Германии; Свешников надеялся посидеть с такой работой в Москве, но именно тут никак не мог сосредоточиться, и то подолгу замирал над чистой бумагой, то ходил из угла в угол, вспоминая вслух какой-нибудь джазовый мотивчик. Во время одного из таких пустых метаний он неожиданно открыл для себя, что очень вредит себе этим пением и что всякий человек, напевая даже и пустые шлягеры, не в состоянии одновременно ещё и обдумывать что-то серьёзное — тою же головою, что уже занята куплетами и мотивами; ему припомнились и былые молодёжные посиделки с гитарой, и одни и те же песни, неизбежные в групповых поездках, в автобусе или электричке, когда говорить друг с другом скоро становится не о чем, и говорить с самим собою тоже становится не о чем, и когда, лишь повторяя нараспев давно знакомые чужие слова, удаётся скоротать долгую дорогу. К слову, он представил себе, как старшина, сержант или прапорщик, ведя роту солдат, например, в баню, командует, чтобы избежать «разговорчиков в строю»: «Запевай!» — и все эти немусыканты принимают дружно голосить: «Соловей, соловей, пташечка...».

Составившуюся пташечку в армии всё же извели. На свете, однако, осталось довольно и других пернатых — стоит лишь вслушаться в разноголосье на дворе.

Не сосчитать, сколько раз ездил Дмитрий Алексеевич в метро от Охотного Ряда на Воробьёвы горы, но лишь сегодня, расслышав, будто машинист объявляет станцию «Пар культуры», живо изобразил в уме страшную иллюстрацию: распаренная девушка с веслом, соблазнённая в парке зелёным змеем, откусывает от теннисного мяча. Сами по себе и оговорки, и дикцию вожатого он простил немедленно, оттого что уже и само задуманное «Пар культуры» было бессмысленно если не точно так же, то в ещё большей степени, чем окутанные паром фигуры мимолётного сна; пар ещё как-то удалось бы связать и с творческим горением, и с кипеньем отвлечённых страстей, но парк — чей? Культуры? Как будто у неё могла быть собственность: она и сама несвободна. Или парк, полный — чего? Культуры, разбросанной меж деревьями, словно японские камни? Хотелось бы посмотреть на человека, умеющего перевести это на другой язык так, чтоб и понятно было, и чужестранцы не лопнули со смеху.

«Да, господа, парк культуры это вам не сад камней», — посмеявшись про себя над столь глубокомысленным выводом, Дмитрий Алексеевич всё же задумался над случаем. Конечно, виною был всего лишь ничтожный языковой казус, но в действительности дело обстояло ещё веселее: несуразицы окружают нас, кишат в воздухе, и каждая есть великолепный материал для сатиры — и всё-таки они часто остаются незамеченными уставшим зрением подобно старым предметам в знакомой комнате. Взглянуть на них со стороны, тем более — сверху, получается не всегда. Свежему глазу тут приходится нелегко, и нашу действительность описывает каждый как может. Многие до сих пор не изжили советского обыкновения писать, играть в театре или снимать кино в расчёте лишь на непросвещённый народ; особенно — снимать кино. Грустно видеть, что из этого получается.

«А что получается?» — услышав критику, мог наивно переспросить иной режиссёр — и был бы прав, как теперь оценил Свешников (нет, он всё-таки ещё спал, одновременно сам себя осуждая за невоспитанность).

Поезд между тем уже останавливался на нужной станции.

«А что если б я проспал, проехал до конечной и там заночевал?» — уже бодрый, придумал Дмитрий Алексеевич. Между тем предъявленная ему в забытии картинка совсем не исчезла.

«Но я так вижу (слышу)!» — мог бы обиженно воскликнуть режиссёр (не он ли однажды запечатлел верхового с зонтом?); всё же лучше б он смотрел по-другому, не с уровня глаз толпы, а с приступочки, подставив под ноги свои интеллигентность и воспитание (буде отыщутся) — качества, которых многие у нас стесняются, прячут, если имеют, и тогда в выигрыше оказываются те, кому прятать нечего. Они, начав издали, хотя бы — с прогулок с Чеховым, в конце концов осчастливливают нас шедевром своего разлива, в котором играют и пенятся их дурные манеры. Иноземные знатоки иной раз клюют на экзотику, рассыпая почётные призы и цитируя с трибун и в кулуарах обнаруженные в тексте зёрна; при этом случается и так, что на заметку попадают вовсе не искры парадоксального ума, а лишь отражённые в стекле приметы дикого бытия.

Зеркала пристрастны и являют зрителю разные отражения в зависимости от того, кто их держит и как направляет. Примеры встречаются на каждом шагу, и лучше выбрать — не из свежих, а выдержанный — хотя бы тот, случайно предъявленный памятью, в котором в кадр попал всадник под зонтиком. Легко представить себе, как такая картинка могла заиграть в руках Бергмана или раннего Бунюэля, как её затаскали бы потом по хрестоматиям; будучи увековечена сегодня, она получилась скучной, в очередной раз напомнив об убожестве нашего существования.

Вся трудность в том, чтобы о грубом писать тонко.

Картинка с яркой парасолькой вышла бы, наверно, хороша как раз на вкус нынешнего нечитателя, да и антураж всей остальной ленты, сдобренной неизбежным ныне матерком, явно мог доставить тому радость узнавания.

Подобные фильмы выдаются за лучшие образцы; если это справедливо, то за чем же тогда тянуться, равняться — на кого? Планка опускается всё ниже, масса дичает, упадает культура; когда это началось, все знают — с семнадцатого года, — но теперь скорость падения стала просто катастрофической. Со странным чувством вспоминается недалёкое, в общем, время, когда люди ещё относились друг к другу с добротой, без цинизма, ещё готовы были прийти на выручку даже посторонним и с уважением смотрели на интеллигентов. Возможно, тут сказывалось влияние старорежимных бабушек и дедушек, но когда в воспитателях остались одни лишь советские безбожные поколения, началось неудержимое одичание. Одной из видимых вех, обозначивших точку невозврата, оказался, пожалуй, переход на обращение к незнакомым по половому признаку, когда не от одних проституток, но и от вполне добропорядочных женщин можно стало услышать оклик: «Мужчина!»

Свешников обернулся. Прохожая девушка указывала на лежащий на полу носовой платок:

— Вы обронили...

Рассеянно поблагодарив, он улыбнулся своим мыслям, снова вспомнив непере译имое «Парк культуры» и решив: «Надо не забыть рассказать ребятам. Киму?..»

На встречу с одноклассниками Дмитрий Алексеевич шёл без вдохновения, помня, что и в прошлый раз, после долгого перерыва, тоже не испытал особенной радости, а лишь — неловкость от желания поскорей посмотретья в зеркало. Он, оказывается, ждал пробуждения каких-то сантиментов, воспоминаний, одинаково готовый и поддаться, и воспротивиться им, — и смутился среди незнакомых лиц. К его удивлению, старые товарищи изменились не только внешне: его, например, опечалило, что некогда одержимый поэзией Ким Юнин теперь даже не понял вопроса об этом своём увлечении: так низко опустился, что и головы было не поднять — на один уровень с недаровитым Свешниковым. Послушать остальных — и тем более выходило, что теперь нигде

не важна одарённость, а только — рвение и удача; Дмитрий Алексеевич как раз — слушал и всё не находил, чем связать нынешний день с теми, в которых он жил рядом с этими своими мальчишками и из вязких сумерек которых недавно удалось выбраться не благодаря выслуге лет, а волею случая.

Уже в первые минуты застолья стало ясно, как наивно было бы пуститься здесь в сентиментальные воспоминания о времени своих детства и юности, вдруг увиденном сугубо советской порою — с пустой суетой комсомола, со лживыми демонстрациями на Красной площади и с унынием обещанного коммунизма. Возможно, школа и была островком в непрозрачной среде, но слушая байки, какими обменивались его памятливые товарищи, Свешников видел, что каждая писана на сером фоне.

В компании старых школяров, как и во всякой за столом, общая подробная беседа казалась невозможной — всё перебивалось бы прибаутками, всплывавшими вдруг из глубин словечками, теми же самыми байками — так и терялась бы нить. Как тут было завладеть надолго вниманием пусть лишь одного из них, когда тотчас нечаянно встрял бы кто-нибудь третий, сосед, за ним — ещё, и своя важная тема сникла бы в минуту. Может быть, поэтому Дмитрий Алексеевич в тот вечер не рассказал о своём намерении уехать, хотя сверстники, без сомнения, порадовались бы за него — мол, привалило же чуваку счастье, но при этом никто, он был уверен, не завёл бы спора о смысле, или необходимости, или о пагубности его, Дмитрия Свешникова, личной, особенной эмиграции. Ему же хотелось знать, кто поддержит его, а кто — не поймёт, этого было не угадать заранее, оттого что школьниками они не спорили между собой (или он не слышал?) о политике, словно все в равной мере были верноподданными, а в стране вовсе не случалось дурного. Впрочем, Свешников, и окончив школу, долго пребывал в неведении; потеря этой нелепой невинности случилась не в один момент и оставила недоумение: неужели он раньше был так глуп, что не догадывался сопоставить в уме очевидные вещи?

Осталось неизвестным, догадались ли вовремя сопоставить факты также и школьные товарищи, понимали ли всё тогда, не забыли ли теперь, и по прошествии не года-другого, а десятков лет он не представлял, как говорить с ними. На ум приходили три буддистские обезьянки, и Дмитрий Алексеевич задавался ненужным вопросом, для простоты не выделяя себя из ряда: были ли мы слепы или — немые и скрытны? Скорее, слеп был один он, а осторожны — другие; до поры он и при желании не нашёл бы, что таить, — пока его не просветили, уже в студенческие годы, когда он ненароком вступил в новый круг: познакомился с девушкой, как раз — неосторожной, прижился в её компании и, увы, в семье (она была красавица и — замужем), где и наслушался такого, что сам стал нем и скрытен. Закрывать слух стало поздно, оставалось надеяться на собственное молчание — не накликать зла, но он и без того не был болтлив, да и других учил, посмеиваясь: ничего нельзя говорить просто так, оттого что из этого потом получаются значительные вещи.

«Просто так», словно неважную новость, Свешников, верный своему правилу, даже старым школьникам не сказал лишнего слова, опасаясь в многолюдном застолье заболтать серьёзную тему, отчего в итоге так и не узнал, как они, каждый, отнеслись бы к задуманному им шагу, зато, занятый за столом сохранением своей тайны, явственно почувствовал, как отдалён от других — видит всех и отвечает впопад, но дышит иным воздухом. Тому же следовало сделаться и сегодня: он выслушивал бы рассказы о каких-то заботах, понятных ему, но по ту сторону стены немислимых, и оттого, что ему самому подобное больше не грозило, не мог бы помочь — лишь посочувствовать.

Его товарищи видели мир иначе и настроились сочувствовать — ему. Старичок (о, теперь уже старичок!) Бунчик с этого и начал, выпрашивая, каково приходится в чужой стране свежеиспечённому эмигранту — без крова и средств к существованию.

— Да нет же, с кое-какими средствами, — успокоил Свешников. — На курсах нам платили стипендию.

- Ты их окончил.
- И получаю пособие.
- И всё ищешь работу?
- В мои годы — нереально.
- Как же ты выживешь?

Всего час назад Дмитрий Алексеевич, пока не собрались остальные, уже рассказывал о своих денежных делах Вечеслову; нарочно придя первым, он вдобавок был избавлен от удивлённого, хором: «Шандал идёт!» — и от, как он назвал, пресс-конференции, когда весь класс сидел бы за столом, а сам он, застряв на пороге, отбивался от острот и вопросов (он видел так: сон Татьяны). Рассчитав верно, он успел поведать другу главное, в первую очередь — о Раисе, и не попросил ни ответа, ни совета, а напротив, остановил: «Это, сам понимаешь, начальные условия. Обсудим завтра». Одноклассники запаздывали, вовремя пришёл один Бунчик с ящиком водки, а потом потянулась пауза, такая долгая, что Денис, всё поглядывая на занятый бутылками стол, начал поговаривать якобы тревожно, что втроем столько не выпить — и тут явилась сразу целая группа (условившаяся, наверно, встретиться в метро). Ей отворили одновременно оказавшиеся у двери Свешников и Бунчик — и услышали скрипучий голос Каминера:

— Как сказал, высадившись на Луне, один янки: смотрите, они уже здесь!

— Митька, — толкнул локтем в бок Бунчик, — тебя принимают за инопланетянина.

— Да, да, так выглядит первый контакт, — подыграл Свешников, — и надо быть осторожнее: кто знает, чего от них ждать.

— Как раз не от них, — поправил Каминер. — Кто тут пришелец?

— Тот, кто пришёл.

«Стоило начать по-старому, как в школе, валять дурака, — подумал Свешников, — и нас опять не различишь». Эти школяры всегда считали себя дружным классом, и на ежегодных встречах, когда вспоминались общие проказы,

эта иллюзия только укреплялась: в самом деле, ещё ни один класс так не держался своих, переживая заботы каждого. Но Дмитрий Алексеевич, отвыкнув от этой компании, разглядывал её словно со стороны — и находил грустные перемены, которым не стоило удивляться. Дело было не только в седине и морщинах. В общей их молодости не напророчить было, кто станет кем, или кто — каким, или кто — не станет, и теперь оказалось, что многие пошли чужими дорогами. Особенно Дмитрия Алексеевича задело перевоплощение Кима Юнина, с его пропавшим талантом (нет, пришлось согласиться, значит — не пропавшим, а придуманным в детстве, не бывшим вовсе — оттого что подлинные способности не могут исчезнуть бесследно даже у торговца ненастоящими сливками).

Впрочем, не сбеги он сам за границу — и тоже, глядишь, зарабатывал бы на хлеб сбытом какого-нибудь импортного завалывшегося концентрата. Торговля, казалось, стала в России основным занятием, и Свешников приготовился к непременно расспросам о том, нельзя ль и в его немецком городе наладить какую-нибудь куплю-продажу, и уже придумал нужные ответы, но здесь, видно, у каждого уже худо-бедно устоялись деловые связи и было бы рискованно ему нарушать равновесие.

Никто не поинтересовался состоянием дел Свешникова, и лишь Бунчик волновался:

— Тебе придётся вернуть ссуду?

— Я не брал ссуды, — терпеливо объяснил Дмитрий Алексеевич, оставив за скобками и то, что ему её и не предлагали, и то, что местным властям безразличен его послушной список (если б он посмел его обнародовать), и то, что останься он в Москве, ему не хватило бы жалкой пенсии; он хотел сказать, но не сказал, что прожил достаточно много для того, чтобы научиться сравнивать и вдруг увидеть, как стало холодно в родном городе.

— С другой стороны, сам подумай: рассчитывать на работу пожилому иностранцу... — всё ещё отвечал он Бунчику — умолчав, что и не хотел бы её найти, а встретив понимающий взгляд Расопова, смешался и лишь

через секунду, снова подняв глаза, кивнул тому: имело смысл продолжить прошлогодний разговор.

— Ты же как будто классный специалист... — возразил кто-то.

— Будь я хоть Архимедом... Если у тебя нет старых деловых связей — а у меня там их нет — оставь надежды. Кажется, никто не изучает списки прибывших эмигрантов в поисках имён... Утечка умов идёт сама собою, только ею надо ещё захотеть воспользоваться.

— Но Израиль и Штаты...

— Израиль — да, Штаты — да, а в Германии — опасаются, что наши специалисты отнимут рабочие места у немцев.

— Сдаётся, у нас всё-таки больше справедливости.

Свешников сделал протестующий жест:

— Больше или нет, но при чём тут мы с тобой? Нас не спрашивают ни тут ни там, а мнения меняются — и быстро. О той же справедливости недавно существовали другие понятия, и проще считать, что её больше нет в природе.

— Но ты — уехал?

— Справедливая, кстати сказать, поправка.

Таким манером, да ещё подогреваясь водкой, можно было б говорить долго, постепенно дойдя до самых неудобных тем, оттого что все тут были свои, близкие люди (ни в какой компании не расслабишься так, как с одноклассниками), и Свешников, согласившись про себя, что они имеют право знать о нём всё и что это всё придётся рассказать, если спросят, понял, что в этой компании больше не знает ничего ни о ком. Наверняка у всех его сверстников ушли в небытие старые семьи и сложились новые, сами они давно стали дедами, и того, что Свешников теперь мог рассказать о каждом, не хватило бы и на гостиничный бланк: только имена он и помнил, год рождения был у всех один, о партийности больше не могло быть речи, но заполнению подлежали ещё и такие графы, как род занятий, вкусы жены, успехи детей... У него самого в таком опроснике осталась бы уйма пустых мест.

О чём он начал расспрашивать ещё в прошлый раз — это о профессиях.

— Слушайте, Ким же не пришёл! — внезапно понял он.

— Обещал будто бы... Да ещё не вечер...

— У тебя к нему дело? — лениво поинтересовался случившийся рядом Распопов.

— Ты забыл, что мы дружили? Но — только в школе, а потом он подался в какой-то случайный вуз — в нефтяной — и пропал... Дело же, если угодно, есть как раз к тебе. Только не сию минуту.

Скоро они с Распоповым решили, что — и не сегодня.

На следующий день они сошлись у своей бывшей школы.

Дмитрий Алексеевич не знал, как себя держать с одноклассником — как со школяром, рядом с которым прошли десять лет, а врозь — все сорок, или как с деловым партнёром? Соответственно и заговорить о займе он мог по-разному; впрочем, он до сих пор никогда и ни у кого не просил денег для себя.

Теперь приятели посмотрели один на другого внимательнее, чем накануне, на людях, посетовали на бег времени, наметивший на лицах неаккуратные колеи, и решили, что им безотлагательно следует выпить — что, правда, разумелось как бы само собою (и что, конечно, было заранее ясно и поднаторевшему в сюжетах читателю, ждущему почти от всякого литератора, что тот, едва захотев свести для неурочного разговора двух действующих лиц мужского пола, непременно снабдит их бутылкой — как будто для того, чтобы развязать им языки, тогда как в действительности развязывать язык бывает нужно лишь одному ему, автору). В нашем случае два бывших одноклассника и впрямь поначалу не находили слов — из-за того, что в школе вовсе не дружили близко; тогда каждый в классе держался своей компании, да у Свешникова её, компании, и не составилось: болезненный мальчик, он пропускал много уроков, а в здоровые дни поскорее спешил из школы

домой читать разные книжки в то время, когда товарищи придумывали совместные развлечения или, как его нынешний собеседник, Толя Распопов, бегали с мячом по спортивной площадке.

Анатолий приехал раньше и ждал, сидя в машине. Распахнув навстречу старому приятелю дверцу, он первым делом осведомился:

— Что, командир, едем? Или идём — и куда? Учти, я вырвался всего на часок.

— Если ты так спешишь, то и командуй парадом. Хотя само по себе моё дело решается в минуту: либо «да», либо «нет».

— Никакие дела, усвой, наспех не решаются. Всякий раз выходит, что слово за слово — и обязательно вылезет закавыка. А нам как раз хорошо было бы крепко выпить да подналечь на гастрономию, только я, так уж вышло, в цейтноте и — за рулём.

— Собственно, так же настроился и я: что за встреча всухую? А ты...

Распопов сдался быстро:

— Ладно, глоток и я себе позволю.

Свешников, видя, как всего за год изменился без него город, принялся было расспрашивать, где в Москве можно посидеть, не теряя достоинства, куда здесь, с кем и зачем ходят, но увидев через плечо приятеля соблазнительный подъезд, оборвал сам себя:

— Да хотя бы и сюда, а?

Они оказались в стильно обставленном тесном помещении — без вывески над дверьми, но, видимо, известном в округе: всякий посетитель входил уверенно, как завсегдатай, не вглядываясь в полумрак.

— Неплохо, однако. И всё ж — ни одной парочки, — заметил Свешников.

— К вечеру, может быть... Честно говоря, не бывал. Но, смотри, вот и девочки, — кивнул Распопов на двух молодых женщин, устраивавшихся по соседству. — Они, видно, из банка, что в этом же доме... Как раз время обеда. Не мешало бы подкадриться, а?

— У тебя же всего час.

— У них и того меньше. Договоримся хотя бы на будущее, на вечер.

— Тебе хорошо: у тебя есть будущее, — рассмеялся Дмитрий Алексеевич.

— Хм. Зачем же ты уехал?

— На каком-нибудь интервью я красиво ответил бы: чтобы не остаться в прошлом. А в действительности от игры словами не бывает проку. Мы встретились не для этого.

— Нет, нет, ты не ответил. Я только сейчас сообразил, что тебе ничего не светит ни завтра, ни потом. Ты ведь, насколько я знаю, детей не завёл? Так стоит ли что-то затевать? Захочешь двигаться — и некуда.

— Не забывай, что все мы — пенсионеры. Большинству из нас двигаться уже или некуда, или не по силам. Но двигаться, Толя, можно не только по лестнице.

В ответ он услышал:

— Давай-ка обойдёмся без назиданий. На взрослых мужчин...

— ...они оказывают обратное действие?

— Вот ведь понимаешь, а — учишь. Это девушкам прощительно: «если бы молодость знала...» — и, словно спохватившись, что как раз о девушках и позабыл, повернулся к соседнему столу, заговорив неожиданным басом: — Что-то я вас здесь не встречал раньше.

— Раньше тут и кафе не было, — с коротким смешком и немного свысока отозвалась одна из женщин, брюнетка в чёрном костюме; вторая была — беленькая и в белом, и вместе они выглядели как на примелькавшейся рекламе виски, какую Свешников, давно ещё навидавшись в журналах, ждал встречать на каждом шагу за границей — и не встретил. Теперь ему стало интересно, как составляются такие пары, не придумываются же дизайнерами, — скорее, тут дело было в озорном желании каждой иметь под рукой свой негатив.

«Ими можно играть в шашки, — решил Дмитрий Алексеевич. — Интересно, как они нашли друг друга?»

— А у вас дома, наверно, и кошки — у одной чёрная, у другой — белая, — словно угадав его мысли, предположил Распопов.

— Терпеть не могу кошек, — поморщилась всё та же, брюнетка. — От них только вонь по всему дому.

— Да, да и шерсть на брюках. Впрочем — незастольный разговор... Хотите выпить? Коньячок тут, правда, так себе, но выберите что-нибудь другое.

— Хотим, хотим, да только не пьём в рабочее время.

— Что ж, отложим на нерабочее, будет даже лучше... Но всё равно, подсаживайтесь к нам, — пригласил Распопов и, глядя на пирожки и кофе на женском столе, сочувственно заметил: — Смотрите, это весь ваш обед? Так вы долго не протянете.

— Но у них — короткий перерыв, — напомнил Дмитрий Алексеевич, начавший раздражаться из-за того, что его спутник напрасно тратит время.

— Мы бережём фигуры, — по-своему объяснила брюнетка, бросая укоризненный взгляд на подругу, ещё не проронившую ни слова.

— А я берегу — пешки, — проявил неожиданное знание шахмат Распопов, но не получил ответа, оттого что внимание женщин отвлек новый персонаж, несомненно, их коллега.

Воспользовавшись заминкой, Дмитрий Алексеевич поторопился напомнить о деле.

Рассказывать подробно не было ни резона, ни времени, и, опустив припасённую легенду, он без обиняков заявил, что ищет деньги. Для Распопова это сообщение новостью не стало, что он и подтвердил жестом и уже собрался ответить, но Свешников добавил, подчёркивая как самое важное:

— Заметь: не для вложения капитала. Исключительно — на личные нужды.

— Э, ты никогда не был практичным, — поморщился Распопов. — Деньги должны работать: займи сто — и сделай из них двести.

— В эту область любителям лучше не соваться.

— В ней быстро станешь профессионалом: разок под считаешь убыток и проценты...

— Проценты? Даже — по-приятельски?

— Приятельство в денежных делах — это, брат, чепуха. Чревато разорением и уголовщиной... Жена бросит... Скажу сразу, в твоём случае я могу только поспособствовать, не больше: у меня своих свободных средств нет, а найти у других — найду. Под обеспечение.

— У меня есть квартира в Москве, — неуверенно выговорил Свешников, ещё минуту назад не собиравшийся впопыхах жертвовать недвижимостью, да и теперь понимавший, что при всём желании не сможет сделать это без согласия Раисы.

— Выходит, это крайний случай. Кто-то тебя достал, а? В наше время с жильём просто так не расстаются: оно же растёт в цене. Самое верное вложение капитала.

Строго глядя на Дмитрия Алексеевича, Распопов выдержал паузу, но и тот промолчал.

— Ну не хочешь — не рассказывай, это ничего не меняет. Деньги, если надо, достану, не проблема, только смотри, чтобы из-за них у тебя ничего не вышло этакое... Скучного. Я знаю, кто может дать, и познакомлю, и — дадут, но с жёстким условием: вернуть в срок. Понял? Отдавать надо вовремя.

— Как бы само собою разумеется, — вздохнул Дмитрий Алексеевич. — Вопрос простой порядочности.

— Порядочности, говоришь? Ну-ну. Сегодня такие понятия не в ходу, сегодня и непорядочные отдают как миленькие: и не хотят, а отдают. Чуть их попросят — и сразу появляется этакое благородное желание — отдать.

Свешников подумал, что таким ростовщикам всё равно, кого заставлять платить, его или Алика (если только, разумеется, они узнают об Алике); результаты будут схожи и способы понадобятся те же: его самого поставят на тот же самый пресловутый счётчик.

— Самое интересное, — вдруг переменял он тему, — что погибший человек так никогда и не узнает о своей смерти.

— Во всяком случае, больше не будет её бояться...
А ты это к чему?

Свешников молча пожал плечами.

— Жаль, времени мало, — посетовал Распопов, кряхтя доставая из неудобного кармана ключи от машины. — Надо бы выслушать твою историю от начала до конца... Нет, нет, я от обещания не отказываюсь, нужны бабли — получишь, просто мне, честно, неохота делать такое дело для своего парня вслепую... Эх, знаешь, какие-то четверть часа роли не играют, задержимся тут, возле девочек, и давай всё-таки расскажи-ка сейчас самое основное, хотя бы в общих чертах. Мелочи, если понадобится, я и сам узнаю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Такой поворот темы был даже интересен: не получив займа (а он втайне надеялся, что не получит), Дмитрий Алексеевич попросту отбыл бы восвояси, не огорчённый неудачей, а чувствуя облегчение. Дальнейшие ходы пришлось бы искать уже вместе с Раисой или даже одной Раисе; было странно, что она первая не помчалась на выручку сыну, которому грозила гибель. Теперь в такой же опасности, понимал Дмитрий Алексеевич, мог оказаться он сам.

Школьный приятель был тут ни при чём.

В способности Распопова найти работодателя, кажется, можно было не сомневаться, но потом расплачиваться с последним Свешникову пришлось бы уже самому, без советчиков и благодетелей; между тем вернуть долг — вовремя, нет ли — он, заранее известно, был не в состоянии, и дело, скорее всего, кончилось бы настоящей уголовщиной с угрозами и шантажом — именно тем, от чего Дмитрий Алексеевич собирался спасти Алика.

«Нет, так рисковать могут лишь очень богатые люди, — решил он. — Если они ещё остались в России. А я — уязвим».

Опасность грозила с двух сторон: не исключено было и то, что Алик, положив деньги в карман, скроется от кредиторов, и охота пойдёт не на него, а на отчима, которого ничего не стоило найти даже и за границей, и, найдя — пытаться, чтобы открыл, где спрятаны деньги, а не добившись успеха — убить. Представление о пытках было у Свешникова самым архаичным; лишь недавно, внимая на школьной перемене новым знакомым, он узнал, что загонять под ногти иголки — занятие неостроумное и хлопотное, а куда больше впечатляет паяльник в заднем проходе. Так он открыл для себя, что ожидание смерти — ещё не самый страшный страх на свете.

Прикинув возможные версии, Свешников сочинил сам себе участь полегче: по новому сценарию его могли казнить сразу, просто в назидание другим. Наверняка избежать лишних мучений он мог, казалось, единственным способом — покончив с собой раньше, чем за него взяли бы умельцы, и коль скоро ему не удалось отогнать робкой поначалу мысли о самодеятельности, то тогда и вспомнился с новой горечью бедный Захар Ильич. Чем дольше он думал, тем больше убеждался, что тот не проиграл ровным счётом ничего, так что и ему самому, Дмитрию Свешникову, на всякий случай стоит приготовиться к достойному уходу.

Нечто подобное приходило ему в голову и раньше, но лишь теперь простенькая система из трёх теорем приобрела приличный вид:

- убитый не может ничего проиграть;
- убитый не знает об убийстве себя;
- для близких убитый мёртв непоправимо.

Он кисло улыбнулся: нелепо, что человек, попав в переплёт, вместо поисков выхода придумывает фальшивые формулы, а потом ещё и хочет разобраться в них с помощью математики. Его старая служба во многом заключалась в составлении уравнений, но сегодня ничто ни к чему не удавалось приравнять за отсутствием того неизвестного, которое требовалось бы найти. Результат ожидался всё равно один.

Хорошо, что эти измышления, думал он, поведать будет некому. Но и (разные вещи, но они легко складывались вместе) найдётся ли кому его оплакать? А позже — прийти на могилу? Он боялся, что Мария забудет его слишком скоро.

«Некому будет прийти — куда?» — назойливо вопрошал себя Свешников. Никогда ещё не видев немецких кладбищ (странно, что Мария отговорила его быть на прощании с Захаром Ильичом), он мог бы вообразить их лишь похожими на русские; но сейчас уже не воображение, а память грубо наградила его картиной одного из московских мест погребенья — не того тихого, где совсем недавно он прощался со старым коллегой и где трудно было пробираться под сенью деревьев между составленными вплотную одна к другой чугунными оградками, а — новейшего, которое пришлось посетить за пару лет до отъезда.

Он содрогнулся, вспомнив.

Это, последнее, выглядело так, как невозможно было бы — никогда. Рабочие здесь не рыли могил, а на голом глинистом поле, тарахтя и напустив дизельного газа, продельвал длиннющую канаву экскаватор; чтобы устроить место для гроба, достаточно было только сгрести сверху, с бруствера, немного землицы, обозначив перемышку в общем рве. Печальные процессии брели за непотребным механизмом, пока не застывали каждая над своей ячейкой; у ближайшей — пел над гробом батюшка, за ним дожидалась очереди группа с оркестром, готовым сию минуту затрубить Шопена; следующими стояли знакомые Свешникова — без священника и музыкантов.

Тогда, в ужасе от этого конвейера, Дмитрий Алексеевич остро захотел бессмертия.

Уже несколько дней Дмитрий Алексеевич гостил в Москве, а Мария не вспоминалась ему, словно принадлежала только германской его жизни, и когда всё-таки случилось,

вовсе без повода, произнести про себя её имя, то в первый миг почудилось, будто он позвал незнакомого человека. Лишь спустя необъяснимую секунду его будто обожгло изнутри: он ужаснулся самому себе, посмевавшему отвлечься на суетное, отставив в сторону то единственное, что теперь, быть может, составляло смысл всей оставшейся жизни. Это был настоящий удар, и Дмитрий Алексеевич едва не бросился из дома наружу, как был, чтобы немедленно помчаться на вокзал или в аэропорт — только бы поскорее увидеть её и просить прощенья.

Между тем обратный билет давно лежал в кармане, и дата была известна, и дня отъезда ещё нужно было дожидаться.

Чуть позже, успокоившись, он попытался разобраться в себе — и понял совсем не всё, оттого что можно было подумать, будто останься он в Москве навсегда, то и не испытал бы сожаления о давно оборванном романе, а лишь когда-нибудь, после случайного известия, светло позавидовал знакомой женщине, живущей по-своему в благополучной стране. Однажды ему уже пришлось разойтись с нею на годы — и что ж, это не вызвало других катастроф, и сам он не затосковал пуще, не слёг, не запил, словно кто-то его выручил, вовремя обнадёжив, или он сам словчил, подсмотрев на последней странице счастливый конец. Теперь, оглядываясь, Свешников воображал, что его и её существования даже в то потерянное время шли рядом, наравне, будто бы не нуждаясь в слияниях, хотя из-за этого одно из них могло протянуться в бесконечность, а другое — иссякнуть, ничего не изменив; заинтересованные очевидцы ждали иного, такое параллельное движение в действительности могло бы многократно отразиться на отношениях с близким человеком, однако странным образом — не отразилось.

Ненастоящая его жена, Раиса, давно вела себя так, словно ей застила занавеска; однако Мария казалась ей не соперницей, а лишь — возможной помехой. До сих пор всё шло по плану Раисы; впрочем, это «всё» пока сводилось к случаю с карточным долгом: замечать другое

Свешникову не хотелось. Но так же мало он знал и о Марии. Долгое время она что-то утаивала от него, а он, даже подозревая несчастье, стеснялся спрашивать; ждать откровений от неё самой не приходилось. Пару раз, когда слишком уж пришлось к слову, он всё же пытался расспросить понапористее, но Марии удалось отвечать то резко, то рассеянно и невпопад, так что он даже усомнился: а была ли девочка?

Девочка — была.

Он содрогнулся: теперь, когда так легко оказалось не думать о самой Марии, впору было спросить себя: а была ли женщина, не выдумал ли он её в какой-нибудь особенно одинокий день?

Вряд ли, думал Дмитрий Алексеевич, у него даже при большом желании получилось бы сочинить всю историю с первого слова; проще было, припомнив любую пережитую сценку, продолжить её в воображении так, чтобы растравить душу. Видимо, женщина всё-таки — была, и теперь следовало только догадаться, когда ж её заменил выдуманный образ: в день знакомства, в аэровокзале, перед тем как разлететься каждому своим путём? возле его дома, после чудесного приземления во Внукове? или всё-таки в Германии, когда их угораздило неправдоподобно сойтись в одной точке случайной для обеих страны? Много он мог бы уверенно счесть выдумкой, оттого что не с чего было и самолёту садиться на не объявленный заранее аэродром, и Марии по дороге к заждавшейся дочери забираться в постель незнакомого мужчины, да и самой судьбе — устраивать рассыпавшейся паре заграничные путешествия. В этом случае из действительности выпали не только новые свидания с Марией, но и она сама; нечаянное знакомство с нею в фойе кинотеатра, где пришлось скучать в ожидании сеанса, становилось плодом уставшего воображения.

Женщина, разглядывая афиши и фотографии на стенах, приближалась к нему, устроившемуся в уголке и от нечего делать уже приготовившему слова, способные её задержать. Он и задержал, и наказал себя лишними заботами.

Случайная посадка на ближнем аэродроме теперь виделась Дмитрию Алексеевичу трюком, уместно вставленным им в сценарий; произойди она в действительности, позвать к себе малознакомую попутчицу было бы непросто. Он и не надеялся: скорая сдача порядочной женщины была неправдоподобна — да мало ли что может прийти на ум заинтересованному сочинителю...

Он замялся, прощаясь с нею у входа в метро и вовсе не желая отпустить навсегда.

— Последняя прямая, — неоригинально обозначил он близость дома, и Мария произнесла в ответ тоже что-то необязательное.

Потом она вдруг обронила, что дочери, наверно, ещё нет дома, и Свешников ловко ухватился за подсказку, предлагая чаю и кофе — передышку в пути.

— Да что вы, — глядя снизу вверх, ласково отказалась она. — Мы с вами разыгрывали совсем не такую пьесу.

— Древнюю трагедию. С хором.

— А теперь хотите — водевиль... Согласиться на такие крайности — верный провал.

— Есть логика сюжета. Посмотрите, как подстроена подмена аэропорта — явно неспроста. Значит, не пройдёт бесследно. Или же надо её вычеркнуть и лететь ещё раз.

— Не дай Бог. Видно, вы ещё не почувствовали, как устали — не от полёта, а — за все эти дни. А ведь впереди — новогодняя ночь...

— Кто знает, что там, впереди?

— Смотрите, не накликайте... Ну, прощайте, всё ж. С наступающим!..

Такой скучной развязки Свешников не хотел бы, но и замена её в воображении постельной сценой завела бы в тупик: не стоило свеч придумывать лёгкие победы на всяком ровном месте. В действительности он согласился бы не меньше чем на очевидную перемену судьбы, и тут не могло найтись момента удобнее переезда в Германию, из-за которого Дмитрий Алексеевич навсегда оказался одним среди чужих (вовсе не аборигенов, а — соседей по общежитию), не находя, с кем перемолвиться задушевым

словом: тут и стала бы великой радостью встреча с давнишней любовницей. Поначалу на неродной земле только и оставалось бы, что придумывать истории, оттого что не так просто свыкаться со внезапной зыбкостью своих ощущений: будто не узнавая сам себя, он часто думал бы невпопад и держался неуверенно, как в тёплом пруду с плохим — со стёклами и железками — дном, где хотя и приятно барахтаться в ласковой водичке, но кажется невозможным когда-нибудь ощутить почву под ногами, постоять, — лишь там ему могли понадобиться неблицы.

«Над вымыслом слезами обольюсь», — припомнил он.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Никакие события, считал Дмитрий Алексеевич, не имеют конца, а продолжают в будущем; всякое из них влечёт за собой другие, но какие и как — заранее не угадать. Мария же видела, напротив, как иной раз что-то и в близких днях пропадает бесследно. Происшествие в аэропорту, где сотни людей были в отчаянии и озлоблены, свело её со Свешниковым (возможно, для того и было устроено, чтобы свести); такой пролог мог бы предвещать необыкновенную судьбу — она и оказалась невообразимой, только совсем в другом смысле: неожиданная беда уничтожила всё, чем Мария жила до сих пор, и сюжет с дорожным романом забылся как ничтожная банальность; порвав со всем и со всеми, она хотела одного — исчезнуть, но не знала как. Её воли не хватало ни на то, чтобы жить, как жилось, ни на решительные шаги, и так могло бы длиться до умопомрачения, не вмешайся, наконец, посторонние силы.

Ей бы хотелось уйти долой с глаз тех, кто её знал, да они уходили и сами: время от времени кто-то из людей, ей знакомых, пропадал, проявляясь потом далеко за границей, но она не испытывала к ним зависти, оттого что уезжали кто — в Израиль, пугающий убийственным

климатом, а кто — в Штаты, страну слишком далёкую, для того чтобы мечтать о ней как о новом своём доме. При случае Мария привычно говорила, что вот в Европу — да, уехала бы, не раздумывая, — однако туда никто не звал.

Позвали, как водится, неожиданно: мелькнули то ли анекдоты, то ли слухи, потом — доверительные известия вполголоса, и наконец всем стало известно, что теперь эмигрантов из Союза стала принимать Германия («Какая, Восточная?» — «Да теперь — единая?» — «Всё равно, это самый центр Европы — Господи, рукой подать до... до всего!..»). Мария, после прежних своих заявлений, казалось, могла не колебаться и засуетилась было, но её скоро осадили: в этой земле вовсе не ждали таких, как она, полукровок (она, впрочем, так и знала, что дело не обойдётся без подвоха). Половинчатость её национальности попортила ей немало крови ещё при старой власти; теперь всё повторялось, пусть и с обратным знаком, — при новой.

Помог, как мы уже знаем, случай, и она всё ж уехала, как оказалось, навстречу продолжению романа. Свешников тут был ни при чём; встреча с ним за границей тоже пока ещё ничего не нарушила.

Ей порой представлялось, что они двое живут не просто каждый сам по себе, а — в разных мирах, и, двигаясь в одну сторону, никогда не сойдутся вместе. Такая параллельная жизнь виделась им всё же неодинаково, и если, по Свешникову, их разделяла сплошная стена, то в воображении Марии эта фанерная, как в бараке, перегородка преобразилась в прозрачную занавеску, и здесь можно стало, по крайней мере, подавать друг другу знаки. Сами же миры обладали тем неприятным свойством, что гибель человека в одном из них вовсе не отзывалась рождением его же — во втором.

Мария вдруг всполошилась, что Свешников может не вернуться из Москвы.

— Я одинока, как проститутка, — пожаловалась она новой соседке Ирме.

— Почему — как? — брякнула та.

Соседка появилась несколько дней назад, а до тех пор Мария жила одна в неудобной квартирке, выходявшей прямо, без предисловий, на лестницу, сбоку — на ступеньки, так что при выходе нужно было осторожничать. Это жилище, состоящее из двух каморок, не имело своих ни душа, ни кухни, и новых охотников поселиться там не находилось, отчего ей, быть может, и удалось задержаться в общежитии на лишний год. У Ирмы, однако, не оставалось выбора: она угодила в большой заезд, когда хайм набился до отказа. Мария встретила известие о подселении с понятным неудовольствием, но несколько первых дней почти не видела и не слышала новой жилицы — пока однажды, возвращаясь к себе, не нашла её сидящей в общей кухне на подоконнике: та захлопнула дверь, оставив ключ в комнате. Картина была трогательной: брошенная девочка, сиротка, отчаявшись достучаться хотя бы в какой-нибудь дом, прикорнула у случайного окошка. К ней легко удалось мысленно примерить одежду воспитанницы строгого института — серые пелерина, фартучек, башмаки... Впрочем, нынешние блузка и пёстрые колготки определённо ей шли.

— Вот в чём прелесть одинокой жизни, — не к месту весело сообщила Ирма, — случись что — и остаёшься ночевать на приступках.

«Если не вернётся мой друг, — захотелось отозваться Марии, — то случись что — и некому будет похоронить», — но она замешкалась с ответом — не оттого, что почуяла несуразицу, а боясь, как бы потом не пришлось рассказывать всё в лицах — о том, например, что после одинокой жизни приходит и одинокая кончина и что на похоронах Захара Ильича были кроме неё только двое (порывался ещё и Свешников, чтобы не оставлять женщину одну, но Мария запретила ему, так и не посвящённому в её историю: иначе пришлось бы открыть, кем ей приходился этот Захар Ильич, а там, пожалуй, открылись бы и другие секреты...).

— А я о себе вот что думаю, — всё-таки решила она. — Случись что — и даже некому будет похоронить.

— До похорон ещё дожить надо... Сколько же вам лет, девушка?

— Скоро будет больше, — ответила Мария и наконец улыбнулась: — Вот и поговорили.

Поговорили — можно сказать, в первый раз. В час вселения соседки Мария спешила по делам, уже опаздывала, и когда комендант представила новенькую, лишь успела известить обеих, что очень рада, что надеется (умолчав на что), — и застучала каблучками прочь; с тех пор, вплоть до вечернего приключения (в прямом смысле, когда при ключе оказалась одна она), им так и не удалось поболтать о том о сём.

— Нашли место, — заметила Ирма.

Других мест и в самом деле пришлось бы ещё поискать. В доме не было ни общих помещений — гостиной или вестибюля, — ни двора, оставались одни кухни, но в них, за стряпнёй, и беседы велись бы — кухонные, и только сегодня поздний час, ещё и подчёркнутый долгим ожиданием на подоконнике, позволил не замечать обстановку. Мария чувствовала себя так, словно была в чём-то виновата — в том ли, что припозднилась, или в том, что давно свыклась с этим жилищем.

Теперь она позвала соседку к себе.

— Сидим в своих комнатёнках, как в лифтах, — сказала она.

— А я как раз хотела спросить, что здесь делают вечерами — куда-то ходят, что-то смотрят, слушают?

— И это ваш первый вопрос! Других новичков интересовали вещи попроще: стирка, стряпня... — В ответ Мария, кажется, готова была выложить всё: и то, что знала, и то, что — нет... — Наш город — хорошая дыра, — предупредила она.

— Я здесь не задержусь: муж уехал раньше и теперь живёт в Кёльне.

— О, это уже кое-что. Хотя всё может оказаться не так просто. Не загадывайте. А в нашей всё-таки дыре человеку с запросами может прийти нелегко: многого будет не хватать. Впрочем... здесь, например, есть приличный оркестр.

Как заметил мой друг, в этом доме книг не читают, а вот концерт не пропустят.

— И я не пропущу.

— А я, знаете, на днях едва не уехала отсюда, — призналась она Ирме, и когда та угадала: «Не в Россию ли?» — с удовольствием подтвердила: — На пару недель. Нужно было помочь привезти оттуда книги. Да и в «старые земли», то есть на запад, тоже чуть не уехала, ещё в прошлом году, насовсем, причём как раз в вашу сторону, в Аахен.

— В мою сторону!..

— Каких-нибудь полчаса от Кёльна. А представьте, мне вдруг пришло в голову, что если б я давно жила там и мы с вами, незнакомые, случайно встретились, то ведь никогда бы не узнали, что когда-то, в запасном варианте, наша встреча намечалась вот в этой комнате.

— И что же вы — раздумали?

— Нет, проще: вышла неудача с деньгами... Расскажу как-нибудь потом. Непременно расскажу: вам это пригодится.

Хорошо, если б пригодилось — ей самой, собиравшейся начинать всё заново: осваиваться в пространстве, строить планы на оставшееся будущее (а это — захватывающее занятие) и наконец завести себе нормальное жильё — только не здесь, не в бывшей ГДР.

— Разве на западе мёдом намазано? — усомнилась Ирма. — От добра добра не ищут.

— Не знаю, что называть добром. Здесь, где мы к несчастью оказались, слишком пахнет советскими временами. Они ещё не выветрились. Прежние чиновники никому не делись, как были, так и остались на своих местах.

— Что вам до них? Разве нельзя не обращать внимания?

— Не выходит. Скоро увидите сами: вас тут поведут по множеству кабинетов, дадут разрешение на работу и тому подобное, а потом будете учить язык. Тогда вы совсем лишитесь свободного времени: первую половину дня наши люди проводят в школе, а потом до ночи делают уроки.

— Знакомо. Только не знаю, придётся ли... Там, дома, я преподавала в школе немецкий.

— О, как всё не попад, — не смутившись, а всего лишь огорчённо, произнесла Мария. — Но тем более... послушайте мой совет: вы, наверно, всё превзошли, пусть так, только оставьте это при себе и не отказывайтесь от курсов. Да вам и не позволят отказаться. Там платят хорошую стипендию, а вам эти деньги скоро пригодятся. Сами понимаете, по здешним местам ваша специальность — не подарок.

— Не переучиваться же было перед самым отъездом — на кого, на что?

Чем займётся, поселившись среди немцев, учительница немецкого языка из российского нестоличного города, Ирма с мужем старались не гадать, и лишь однажды она позволила себе усмешку: «Свою безработицу мы привезём с собой», — а Марк, её муж, повторял, что нет проку обсуждать эту тему, когда его, главы семьи, верное ремесло легко прокормит обоих (если не троих, как нерешительно и пока без основания поправляла про себя Ирма); между тем беседа на этом месте неминуемо застревала — так и буксовала бы, если б одному наконец не приходило в голову напомнить, что в их положении надо соглашаться на всё, лишь бы достичь главной цели — уехать. Не из Страны Советов, а — от неё.

Постепенно тема маловероятного учительства стала нарочно оставляться за скобками, чтобы ей не звучать вперемешку со всё новыми будничными вопросами — о том, например, где на первых порах они раздобудут денег на жизнь, или о том, какую брать с собой посуду; спросить, как обходились с этим другие, было не у кого: с теми, кто уехал раньше — в Израиль или в Америку, сообщаться советским гражданам не полагалось, отчего в городе было известно то лишь, что никто там не пропал и не умер с голоду, а, видимо, как-то устроился — мойщиком посуды в ресторане, почтальоном, шофёром такси, а то и остался при своём умении... «Живут же, не возвращаются оттуда — значит, нашли выход, — думала

Ирма, — значит, подвернулся какой-то случай. Имей терпение — и подвернётся, надо лишь его угадать. Да что бы ни вышло — хуже, чем на нашей Второй Профсоюзной улице, не будет».

На исходе лет, простецки названных «перестройкой», неожиданно появилась надежда: показалось, что провисли вожжи, протянутые из Кремля, а заинтересованная публика увидела новый путь исхода, в Европу, — и наша пара поняла, что надо собираться всерьёз. Приготовив чемоданы, они продавали или раздаривали что-то на новом месте лишнее, но когда уже наметился день прощания и оставалось только купить билеты в один конец, всё пошло кувырком.

В общежитии Мария наслушалась столько историй, что в её памяти они уже начали сливаться всего в типовые две-три. Почти в каждой меняли свои очертания семьи — одни непоправимо дробились, другие спешно возникали из подручного материала, — но в конце концов эти обстоятельства отступали на второй план, оттого что на всех собравшихся здесь людей, ещё не осознавших самих себя в новой обстановке, действовали одни и те же силы. Повести, необычные в глазах рассказчиков, для слушателя оказывались знакомыми, и Мария думала, что, пожалуй, и сама могла бы, подхватив одну из них с какого-нибудь третьего абзаца, довести её до конца.

— И тут случилось с мамой... — начала Ирма, и Мария тотчас вообразила продолжение: приступ среди ночи, вызов скорой, тусклый больничный коридор, палата на шесть, на восемь человек и потом уже, спустя дни — невозможность оставить больную, которую никто другой, даже другая её дочь, не стал бы выхаживать так заботливо, да его, этого другого, и не нашлось бы, оттого что близкие работали с утра до ночи; теперь Ирме впору было вообще не ехать.

Отложить отъезд на какое-то время оказалось почти невозможно, дозволялось лишь отказаться, навсегда, оттого что чиновники различали в чужой речи только «да» и «нет», не понимая объяснений, и с какими бы оговорками это

«нет» ни произносилось, повторных предложений, приглашений и разрешений можно было не ждать. Ирме всё же пошли навстречу, пообещав отсрочку, но — лишь на словах, которым она боялась довериться; чтобы как-то подстраховаться, зацепившись на том, дальнем берегу хотя бы коготочком, она настояла, чтобы Марк отправился один.

Он возражал, но неубедительно, словно лишь из порядочности, наверняка про себя соглашаясь с её доводом: «Если сейчас останемся оба, то не уедем уже никогда», и всё-таки уехал, а Ирма потом казнилась, что прогнала его. В конце концов попала за границу и она, только, как в старой американской байке, это вышло хорошо, да не очень. С первого взгляда разглядев в местном пейзаже молочные реки в кисельных берегах, она скоро, совсем скоро стала находить в молоке — водичку, в иных делах — недоделки, а за словами — недомолвки. По всем правилам как раз так и должно было случиться, оттого что удержи человека на пороге, а то и верни на минутку, пока не ушёл далеко — и потом его дорога не будет гладкой, а измучит объездами и колдобинами. Для Ирмы несурязицы начались ещё дома, когда в новых бумагах она обнаружила, что местом её будущего проживания назначен вовсе не Кёльн, где уже обосновался муж, а неизвестный ей город в бывшей советской зоне. На исправление этой будто бы простой описки могли уйти месяцы, и ей посоветовали разобраться с этим уже на месте; она сдалась, вспомнив собственный принцип — зацепляться поначалу хотя бы как-нибудь. Её коготок, однако, увяз в первый же день. Тогда она получила бессрочный вид на жительство и порадовалась, не ведая, что теперь приписана не просто к Германии, а к единственной назначенной ей федеральной земле и не вольна перебраться в другую; знающие люди (а в лагере — в хайме — в общежитии каждый мнил себя знающим) сочувственно растолковали, как трудно будет избавиться от соответствующего штампа в паспорте. На скорый переезд в Кёльн, говорили они, надеяться не стоило.

— На скорый — да, вряд ли, — согласилась Мария. — Но всё сделается, не волнуйтесь — и с мужем встретитесь, и работу найдёте: в западных землях с ней попроще. Правда, если почитать объявления, приглашают одну молодёжь. Для вас-то это не минус...

Мария внимательно взгляделась в свою собеседницу. Поначалу та показалась ей чуть ли не школьницей, но теперь было видно, что Ирме, востроносой, худенькой и яркой, на самом деле уже под тридцать. Мария отвыкла от таких лиц, от сочного цвета, застав чужую страну в разгар моды на фальшивую натуральность — бескровные рты, прямые, как солома, патлы (хотя и без соломинок в них), белёдые ресницы, потные носы; озирая горы товара в парфюмерных магазинах, она недоумевала: для кого это?

Сама Ирма, похоже, не знала, какое впечатление производит своей внешностью, да это вдруг стало ей едва ли не безразлично уже через несколько дней новой жизни — когда увидела, сколь незначительные роли ей предстоит играть отныне. Станным образом это её будто бы успокоило, но нет, это не успокоение было, а уступка усталости да напряжению, в котором дома прошло последнее время. Из-за этого спада её уже меньше пугала неизбежная перемена профессии: не всё ли равно, думала она, с каким дипломом на руках быть безработной.

Мария, наблюдая это, находила сомнения и недовольство своей соседки не важными и не скрывала, что завидует ей, хотя бы представлявшей, куда двинется дальше, прочь из провинции; следовало лишь заметить вслух, что ничто не делается само собою и что молодой женщине, пусть и готовой сию минуту сняться с места, придётся потерпеть, потосковать на чемоданах — вот курсы и пригодятся, чтобы заполнить пустое время. На первых порах Ирму следовало б опекать, показывая ходы и выходы, даже если бы та и без неё перестала плутать, — да сегодня Марии и самой не помешал бы проводник: она вдруг болезненно ощутила — словно не ведала об этом раньше, — как плохо, что ей не с кем поделиться ничем важным или даже что не от кого выслушать такой совет,

чтобы поступить вопреки. Положительно, ей необходимо было чьё-нибудь присутствие рядом, потому что «ум хорошо, а два лучше» — это была поговорка для детей, она же поняла, что два — не только лучше, но что меньше этого не должно быть, иначе нельзя выжить, и удивлялась самой себе, недавно в одиночку одолевшей самые трудные месяцы.

Она всё жалела, что Свешников не приехал в Германию годом раньше.

Оттого, что его не было рядом тогда и не оказалось — теперь, Марии уже мерещилось, что это отсутствие вообще не имело начала; от того же, что не начиналось, нечего ждать и конца. Она уверилась, что Свешников не вернётся.

Он не вернётся, внушала себе Мария, оттого что его доводы в пользу этой нелепой поездки звучали детским лепетом, и он знал это, соглашался, что в действительности наверняка не существует никакого долга и грабительских условий, и, тем не менее, твердил: «Подумай: а вдруг это правда? И я оставлю человека в беде?» — одновременно соглашаясь с Марией в том, что не будь всё выдумкой, Раиса помчалась бы в Москву сама, сначала поклячбив хотя бы сколько-нибудь денег по общежитиям, у знакомых и незнакомых. «Я бы первая не дала», — предупредила его вопрос Мария, на что Дмитрий Алексеевич спокойно напомнил: «Не волнуйся, она здесь столько не достанет. Деньги есть у многих, да никто не проговорится». Сам он отправился с пустыми руками, и Мария готова была заподозрить, что — вовсе не к пасынку на выручку.

Она хотела удержать его на месте, а на деле — помогала, и довольно живо — не в сборах, в этом он и сам поднапорел, а в умственных приготовлениях к вылазке; тем не менее Марии после проводов стали чудиться некие неловкости: не прошло и пары дней, а она обнаружила, что её не интересует, как повернутся дела в Москве (не оттого ли, что они могли повернуться лишь единственным образом и она знала как?), — и застыдилась этого. Марию больше занимало, что совсем скоро (вот тут и мелькнула мысль,

что в случае какой-нибудь несуразицы со Свешниковым, то уже и — всегда) ей придётся многое решать самой и уже не на кого будет переложить внезапные какие-нибудь хлопоты — никогда, вплоть до конца дней, до безымянного конца. Не в её годы было особенно задумываться об этом, так что она сразу одёрнула себя — и всё ж едва не выложила нечто подобное первому встречному слушателю, Ирме.

Не спохватись она, пришлось бы рассказывать ещё и другое: не только рассчитывать вслух свой земной век, а и живописать вещи попроще и посекретнее, вроде своих love stories, включая последнюю, для которой пришлось бы присочинить каприз, заставивший уйти от любовника; ложь, думала она, простится, если самой считать её художественным вымыслом и если завершить историю счастливым концом.

Но в её жизни, как убедила себя она, больше не могло быть никакого счастья, и нужно согласиться с тем, что на Свешникове свет не сходится клином и что напрасно она сегодня взвинчивала себя; чем придумывать невозможные варианты, не лучше ль было б погадать на ромашке: любит — не любит?..

Он сам не раз говорил ей, что теперь в России можно только пропасть.

— Твои усилия, выходит, будут напрасны, — ответила на это Мария в последний день. — К тому же ещё не произошло никакого криминала, готов только замысел, а мы — строим догадки. Как ты его разоблачишь любительскими средствами? Это безумие.

— Тот, кого убьют, ничего не потеряет, — неожиданно проговорил Дмитрий Алексеевич.

— Вот и брось стараться.

— Зря я всё тебе рассказал — не хотел же поначалу... Но — поеду: надо же забрать книги.

— Слава Богу, нашёл предлог. Я всё-таки повторю: не забывай, что физически ничего не произошло, живых денег там не было — подумай, быть может, это удастся как-то использовать? Ставки делаются на словах, а сама игра — вопрос везения, да?

— Какое уж везение... Наверняка он нарвался на профессиональных шулеров.

— Тот, кто убьёт, ничего не выиграет, — подумав, заявила Мария.

— Долг не пропадёт.

— Хочешь, я поеду с тобой?

Нет, этого он не хотел. Но и Мария призналась себе, что сказала так лишь ради красного словца, в душе надеясь, что Свешников возразит. «Там можно только пропасть», — помнила она.

— У вас просто сумасшедшая почта, — сказала Ирма, поспешно вскрывая конверт. — Смотри, он это написал только вчера!

— Если твой милый не перепутал числа... — отозвалась Мария, не так давно и сама удивлявшаяся здешней расторопности. — Да не читай же на лестнице: упадёшь.

— Тут и читать нечего: всего-то полстранички.

Письма, которые Ирма получала раньше, в России, были намного пространнее, она даже недоумевала: откуда столько слов? — и ей было стыдно отвечать коротенькими записками, а писать длинно не получалось, словно не хватало дыхания; вдобавок у неё плохо связывались концы и начала. Со временем ей всё-таки пришёл в голову удобный способ: больше не сочинять послания в один присест, а, едва отправив очередное письмо, тотчас браться за следующее — положив на стол лист чистой бумаги, каждый день записывать на нём хотя бы что-нибудь, строчку-другую: сегодня одно, завтра — совсем другое. В итоге получался сумбур, но — пространный, и она бывала довольна и оправдывалась перед собою: «Ведь и никто не умеет писать, и никогда уже не научится, потому что всякая переписка излишня, когда есть телефон». Но для неё как раз телефона больше будто бы и не существовало: звонить из России в Германию

было не по карману, а теперь оказалось, что из одного немецкого города в другой — тоже.

«Ему — разве не совестно посылать любимой жене письмочки в полстрочки?» — подумала Ирма сегодня, пока ещё соглашаясь с тем, что и в маленькую записку, и в каждую фразу можно вложить и двойной, и тройной смысл, и тогда всё письмецо словно растянется втрое, стоит лишь читателю докопаться до запрятанных слоёв. «Не стоит!» — едва не воскликнула она, вдруг увидев больше, чем нужно бы, чем можно, потому что — прочла. Ей тотчас стали враждебны глаголы, поставленные там в прошедшем времени, непоправимые, словно предательские описки в экзаменационной работе, сданной преподавателю второпях. Ещё минуту назад Ирма, как в канун праздника, упивалась ожиданием некой будущей лёгкости, словно к ней по лесенке неожиданно прибежал первоклашка с пучком полевых цветов («их уйма на лужайке»), но предчувствие обмануло, и чтобы не молчать, она повторила:

— Всего-то полстранички...

На этой половинке уместилось вот что.

«Дорогая Ирка, — начал муж так же, как всегда, — целую тебя в ушки. Они так приблизились ко мне, что вижу: торчат на макушке. Ты так приблизилась, что кажется: если мы одновременно посмотрим в окно, то увидим одно и то же. Ты, правда, не услышишь колокольного звона, невозможного в твоей гэдээрии. Странно сознавать, что и ты попала за границу, что цель, собственно, достигнута и что ты, со своим немецким, наверно, почувствовала себя как рыба в воде. А я вот прошёл здесь хорошую школу и, узнав многие стороны здешней жизни, до сих пор ещё не вижу, как тебе можно будет устроиться у нас. Посмотрим...»

— Что рассуждать попусту? Переедешь туда — разберёшься, — прервала чтение Мария, вовсе не уверенная, что Ирма скоро получит решение чиновников; ей ещё не приходило в голову, что той, ничего не дожидаясь, можно просто съездить к мужу на свидание — на один день, на одну ночь.

— Марик не написал о деле ни слова. Значит, ему ничего не известно, как и мне. Почта пришла — почта прошла: «посмотрим»!..

— Не забывай, что тут действующее лицо — одна ты.

— А действует — один он: обрывает знакомствами (узнать бы какими), пускает корни... И представь, не видит, как я могла б у них устроиться! Да хоть бы и никак... Нет же, это неспроста, тут умысел...

Ирма почувствовала себя дичком, который не всякий возьмётся прививать к стволу — и который всё равно будет отторгнут из-за несовпадения групп крови. До сих пор ей не приходили в голову растительные сравнения.

Мария пообещала:

— Пустишь корни...

— На этой лестнице, в этом коридоре, чтобы меня окучивала комендантша, которую вчера я застала за обыском у соседей?

— А я?..

Всё это женщины говорили у своей двери, не спеша отворять: войдя внутрь, им осталось бы только разойтись по кельям, чтобы предаться одиночеству. Но Мария пригласила:

— Зайдёшь?.. — и услышала, что соседка только что купила выпечку к чаю.

— Дамы пьют чай, — произнесла Ирма, заходя к ней. — Мне, к слову сказать, вспомнилась одна картина: «Дамы пьют чай».

— Чья? Где ты её видела?

— Ну не картину, конечно, — репродукцию на книжной обложке. Что-то старинное, английское: какие туалеты, шляпки... У тебя-то была возможность насмотреться подлинников в столичных галереях, а в нашем городе — один лишь краеведческий музей с гербариями да портретами пламенных революционеров.

— Съезди в Дрезден, там ведь, пожалуй, самая знаменитая в Германии галерея. И поторопись, пока это близко. Пока ты не переехала к своему Марку.

— Но шляпки...

— И, уж конечно, собачка рядом, — грустно предположила Мария.

Нет, она не стала бы заводить собаку в общежитии, да и — нигде, никогда; она не забывала об участии — нет, не Фреда, а его хозяина. Собачий век короток, и долго ли можно протянуть, оплакивая одного за другим своих дружков? Однажды кто-то заметил при ней, что это счастье, когда тебя некому оплакивать. «Счастье — для кого?» — спросила она тогда, предположив, что ей советуют либо ни о ком не скорбеть, либо никогда не умирать.

— Не кошка же, — резко, словно с ней спорили, произнесла Ирма. — Даже барашек был бы понятнее. Хотя... это было не где-то на лужайке — какое уж там чаепитие? — а в доме, в уютном старом доме.

Мария даже рассмеялась, оттого что давно никто при ней не тосковал об уюте — о том, чего жильцам хайма ещё долго было не достичь. Она и сама постепенно уверилась, что на всё тёплое, домашнее сможет надеяться лишь в неясном завтра, в том неопределённом месте где-нибудь близ границы с Францией или Голландией, куда ей в конце концов непременно посчастливится попасть и где наконец она найдёт себе комнатку где-нибудь в мансарде, высоко над бульваром. Ей не составило бы труда подробно описать своё будущее жилище (она его строила и строила в воображении так увлечённо, словно собирала кукольный домик): столько мечтала о нём, что продумала, предусмотрела, казалось, все мелочи — придумала, но не подсмотрела, не позаимствовала — не сумела б, оттого что в городских пределах ей так и не предъявили достойных образцов: немцы к себе в гости не звали, и только однажды, в компании знакомых, разошедших из одного места в другие какие-то пакеты, она побывала в чужих домах, всего в двух или трёх, однако теперь уже бралась судить и когда б её спросили, как здесь обставляют квартиры, уверенно обобщила бы: никак.

В этих двух или трёх было общее: плоское освещение, словно навевающее холод, и случайные предметы, расставленные кое-где в полупустых пространствах — телевизор, диван, обширная кровать... В последнем из домов

по стенам жались книжные — нет, не шкафы, а открытые стеллажи, невпопад выкрашенные белой краской. Потом уже, спустя недели, Мария попала в квартиру иного, московского вида — такие когда-то в её родном городе принадлежали старым интеллигентам, известным артистам, университетским профессорам; центром там оказался, наконец, не телевизор, а пожилой письменный стол, и гостиная освещалась не светильником из универмага, а люстрой в стиле ар-нуво, по случаю гостей зажжённой во всю мощь; Марии милей был общий полумрак, разрываемый кругом света от бронзовой настольной лампы — первого старинного предмета, увиденного в чужой стране; она представила, как славно было бы сидеть в этом ярком пятне с рукоделием или с книгой, время от времени отрываясь от своего занятия, чтобы взглядеться в таинственные сумерки в дальних углах.

Старые вещи видят многое, да потом не спешат делиться знанием о случавшемся при них; Мария в собственном укромном углу довольна была б уже тем, если б угадала присутствие рядом с собой чего-то давно хранимого, на что намекали и неверное освещение, и тихие шаги по ковру в пустом доме, и предчувствие тайны, которую можно не разгадывать, и чьё-то присутствие в дальнем конце комнаты, где она собиралась делиться с подругой собственными секретами.

— Мечты... — проговорила она вполголоса. — А кстати, твои дамы с чаем, они — барышни на выданье или вдовы? Что-то у них не так, а?

— С чего ты взяла? Художнику до этого, наверно, не было дела. Написал складочки на платье да ещё то, как блестит столовое серебро...

— Серебро!..

Обе женщины в ожидании переезда до сих пор окончательно не распаковали багаж: собственная посуда оставалась в коробках, и они пользовались казённой: на полках нашлись кружки, тарелки, кастрюли — всё необходимое, но простецкое. На всплывшей в памяти Ирмы книжной картинке стол выглядел иначе: серебряный чайник, фарфор...

— Дамы эти — как мы: беженки и — без мужчин, — предположила Ирма. — А у нас...

— Жить, как на картинке, не получится. Тебе, наверно, трудно выдержать здесь?

— Не представляю, как выдерживаешь — ты.

— Не выдерживаю...

— Слушай, часы бьют на ратуше. Уже пять.

— Дамы — с чаем, часы — с боем... За кадром наверняка осталась ещё и левретка.

— У тебя дома была какая-нибудь живность?

Простой вопрос застал Марию врасплох: успев в своих мыслях далеко отойти от начатой нехитрой беседы, она, спугнутая, теперь не сразу разобралась в сторонах света, а, вернувшись всё-таки, подумала в первую очередь о Фреде; но нет, она не имела права на родство с ним. Добрые знакомые — вот кто они были.

— А я всё хотела кого-нибудь завести, — грустно сказала Ирма. — Да что толку — мы с Мариком дома бывали совсем мало, приходили — усталые, и вечерами было б уже не до зверей. Да и как же им-то было бы целыми днями без нас? Потом я решила: вот будет ребёнок — если будет ребёнок, — тогда устрою ему хоть целый зоопарк: дети должны расти вместе с животными.

— Ты говоришь это как педагог?

— Как я сама.

— Чайник вскипел! — всполошилась Мария.

В тесном жилье всё было под рукой, и накрыть стол (если тут годилось такое понятие) было делом минут, тем более сейчас, когда затевался не обед, не ужин — просто посиделки. Но и эти короткие приготовления были нарушены появлением неожиданного гостя — Бецалина.

— Что-то случилось? — встревожилась Мария: сосед Свешникова не заходил сюда раньше, и значит, сегодня явился неспроста.

— Просто наконец пришло время заглянуть и к вам.

— Ах, так это докторский обход, по старой привычке? Он протянул Марии оранжевую герберу:

— Хозяйке дома.

— Что-нибудь новое о Дмитрие? — не вытерпела она. Между тем Бецалин пришёл, чтобы спросить о том же — у неё.

— Что ж, — разочарованно протянула Мария, — тогда хотя бы попьём чаю, мы как раз собирались. Дамы пьют чай. Присаживайтесь.

— Который же час? — воскликнул он. — У вас прямо-таки английский распорядок дня.

— Нечаянно.

— Чай — и нечаянно, — заметила Ирма.

— Безумное чаепитие...

— Почему — безумное? — не понял Альберт. — Вы приглашаете меня как психиатра?

— Это ж — из «Алисы», — объяснила Мария.

— Представьте, я — не читала, — призналась Ирма. — Не было у меня такой книжки. И в библиотеке — не было. А потом... потом я выросла.

Мария ужаснулась тому, что Ирма так никогда и не прочтёт — эту книгу или ещё какую-нибудь из тех, с какими выросли все остальные, и что она будет спокойно жить с этим, не подозревая недостачи, пока однажды в разговоре не пропустит свою реплику или вставит её невпопад, спутав Чеширского Кота с другим, починявшим примус... Таких, непрочитанных, могло при недавнем книжном голоде найтись сколько угодно, и ей вдруг померещилось, будто рядом кто-то бросил в воду солидный том; поспешно, пока не размокла, Мария выхватила книгу из лужи, громко оповестив: «Анна Каренина»; человек, её не читавший, не мог быть таким, как все.

— Теперь я выросла, — повторила девушка.

«Я так и не доросла», — сказала Мария про себя, а вслух: — «Алиса» — это для взрослых.

— Почему вы сокрушаетесь, что какой-то книжки не было? У нас вообще ничего не было — ни яиц, ни кур, — напомнил Альберт. — Так и не знаю, что из них было раньше.

— Нет, не из них: написано, что раньше всего было — слово.

— Ну, это вас Митя научил.

Мария подумала, что если тот не вернётся, то и уроки позабудутся в конце концов и она невольно приобретёт новые привычки, освоит новый язык и чужие понятия о добре и когда-нибудь смирится с этим. И вечно будут Ирма, уверенная в том, что родит, и ребёнок Ирмы, и Бецалин с мифической женою, и она сама — без дочери.

— Было — слово... Только я не читала и этого, — проговорила Ирма.

— Поживёте с нами — научитесь, — пообещал Альберт.

— В этой дыре что-то не хочется ни учиться, ни осесть ни в каком качестве. Я ведь пробираюсь к мужу в Кёльн.

Бецалин неожиданно сник:

— Вот оно что. Кёльн, понятно, не дыра. А вы шуточки шутите.

— Какие уж тут шуточки, — вздохнула она. — Может поучиться, что ехать будет некуда.

— Да в Кёльн же, — напомнила Мария. — И как же некуда, если ты — первая из нас, знающая, где окажется завтра.

— Окажется завтра... — повторил за ней Бецалин. — Можно позавидовать. Так вы уже побывали там, рассмотрели что к чему?

Растерявшись, Ирма только покачала головой: прошло немало времени, а она ещё не увиделась с мужем — не могла отделаться от ощущения дороги, словно так и ехала, и ехала, не глядя на карту и не слушая соседей по купе, напрасно твердящих, что впереди снежные заносы или наводнение и что путь надолго прерван.

— Я всё ждала, что меня вот-вот отправят как раз туда, я же подала заявление.

Мария замерла:

— Слушай, и в самом деле...

До сих пор Мария считала, что дела соседки идут хотя и неспешно, однако — своим чередом; теперь её впервые поразило очевидное: отчего же муж Ирмы Марк не приехал первым, едва узнав адрес?

— Вас тянут с запада, — продолжал Бецалин, — а отсюда, наверно, подталкивает очаровательная соседка, — так поезжайте, и тогда уже вы сами сумеете потянуть за собой Марию. Она только и ждёт такого... Однако я говорю лишнее. Не мне бы способствовать вам — наоборот, в моих интересах одно: помешать, чем и как только можно, потому что отпускать из города двух таких женщин — это против естества.

— Замужних женщин, — напомнила Ирма.

Мария не возразила, но и гость, способный её поправить, будто бы не услышал и продолжил:

— Глядишь, я бы за одну из вас и посватался.

Голос Ирмы стал недобрый:

— Вам не приходило в голову, что проще — удочерить?

— Тогда, — подхватила Мария, — и с женой не пришлось бы разводиться.

— Ах, жена, жена... Да с чего вы взяли, отчего — разводиться?..

— Да вправду ль вы женаты? — осмелилась она.

— Машенька, родная, ну кто же, кто же спрашивает о таких вещах? И кто же в ответ немедленно раскрывает подноготную? Придёт время...

Позже, по уходе гостя, Марии пришлось объяснить соседке странную ситуацию: Альберт, уехав из России будто бы на пробу, будто бы — оглядеться, прожил здесь в одиночестве несколько месяцев, вовсе не используя на благо семьи новый опыт, но сейчас пришла пора наконец что-то решить: либо соблазнить оставленную супругу прелестями европейской жизни (она же, видимо, склонялась к переезду поближе к дочери, в Израиль), либо уж вернуться к ней, на обжитое за десятилетия место, где ждали и вовремя растеленная постель в скромненькой квартирке, и верная пенсия, на которую, правда, было не прожить, и то, что все вокруг говорят на понятном языке. Последний вариант означал полное поражение и необходимость начать остаток жизни даже и не с нуля, а с минуса, первый же — требовал возобновления просроченных бумаг и, значит, многих хлопот; жена могла и не справиться, и Альберту

следовало бы взяться за дело самому. Учебный год на курсах кончился, и можно было, особенно не нарушая правил, съездить домой (нет, теперь — не домой, однако же — в Россию) — он и съездил, и вернулся один, туманно объясняя, что жена, зная теперь что к чему, и сама сумеет всё оформить заново; тогда, быть может, ей и место проживания выпадет получше, в западных землях.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Фамилия второго мужа Людмилы Родионовны была неблагозвучна, отчего вдова профессора и в новом браке осталась Свешниковой, и её сыновья, в том же союзе рождённые, и они стали Свешниковыми — но не роднёй же Дмитрию Алексеевичу.

Они оба — Константин и Святослав — в детстве и отрочестве жили в квартире его отца, учились в той же школе, что некогда — Дмитрий, и, не затрудняя себя излишними изысканиями, считали его старшим в своей семье; пожалуй, только он сам и старался помнить своё верное место. Людмила Родионовна вдобавок верила ещё и в особую ауру дома, где до сих пор могли витать эманации умов и душ прежних обитателей.

— С Алексея всё и началось, — проронила она, вспоминая теперь с Дмитрием Алексеевичем старые годы — и не объяснив опрометчивого «всё». — А эта квартира... Для детей она — родовой дом. Ты — в роли патриарха...

— Разве ты забыла, что мы договорились о матриархате? — сконфуженно засмеявшись, поторопился перебить он.

— Избави Бог: нет ничего хуже, чем править.

— Положим, кому-то нравится.

— С этими я не знаюсь. Пусть себе живут... Но я начала — о другом. Вопреки здравому смыслу, у меня нет ощущения, что род Свешниковых оборвался.

— Стоп, Люда, стоп! Мы ведь однажды согласились, что тема исчерпана. Вот соберёмся за одним столом

(кстати, когда же?), и ты сосчитаешь по головам моих однофамильцев.

Прожив несколько дней у мачехи, Дмитрий Алексеевич ещё не видел никого из этих ненастоящих Свешниковых, зато в дом частенько наведывались незнакомцы, утомлявшие его своей пестротой: не обременённые службой пожилые женщины болтали здесь о косметике и тряпках, заказчики — о деньгах и тех же тряпках, художники, приносившие что-то для показа, — о деньгах, чаще — не полученных; эти будто бы посторонние разговоры в первое время докучали Дмитрию Алексеевичу, но он скоро смекнул, что ни от кого больше не узнает так полно ни о новых фильмах и спектаклях (но не о книгах, нет), ни о политике, в эти дни задевавшей каждого, ни просто о столичных новостях. «Что-то все зачастили, — недоумевала хозяйка дома. — То неделями живой души не увидишь, а то...» В другое время такое замечание настоярило бы, но теперь ничто не могло показаться ему подозрительным — напротив, в стенах, где прошло детство, он чувствовал себя как в надёжном убежище, где никому не придёт в голову его искать.

Между тем он лишь перебрался из одного укрытия в другое. И если о первом ещё можно было думать почти отвлечённо или не думать вовсе, то, очутившись во втором, Свешников постепенно стал понимать, что дело, которого пришлось коснуться будто бы из любопытства, может и впрямь принудить его прятаться, меняя приюты. После слов Распопова о том, что коли заставят, то и сам захочешь отдать, Дмитрий Алексеевич почувствовал себя в родном городе совсем чужим, понимая, что при нынешних своих невеликих доходах никуда не денется — отдаст, и чем чаще приходила эта мысль, тем меньше хотелось связываться с деньгами, каких ни он сам, ни Алик никогда не держали в руках.

Прежде Свешников не знал врагов, кроме тех, что набивались в друзья; прочие их сорта пока не обнаруживали себя, а он, не игравший в эти наивные прятки, прожил свой век без открытых ссор, лелея уязвимые места и понимая,

что обманчивое равновесие может быть вмиг нарушено необдуманном словом, острым анекдотом или вырвавшейся насмешкой, и тогда уже никто не поленится припомнить ему другие промахи и проступки, начиная с застарелой беспартийности.

Он никогда не рисковал напрямую отказаться от вступления в партию, а только отшучивался («я недостойн») и был в институте единственным заведующим лабораторией, не имевшим в кармане партбилета. Функционеры подъезжали к нему и так и этак, недобро намекая даже на прекращение служебного роста, но как раз этот довод и оказался самым слабым, оттого что он не хотел быть никаким начальником, а только — техническим специалистом, и оставался им, и слыл незаменимым, и ему прощалось многое. Так длилось много лет, и Дмитрий Алексеевич видел, что ещё столько же не продержится, оттого что исчерпал отговорки и весомые аргументы, — и тут от него вдруг отстали. Он и не поверил, и долго ещё ждал нового приступа.

В тот, последний раз он уже сдавался, найдя положение безвыходным, — уже сдался, сказав назойливому партийцу:

— Ладно. Пишу заявление, — и, достав лист бумаги, снял колпачок с авторучки.

Это была особенная ручка, щегольской аксессуар — китайская копия «паркера», которую не так-то просто было сыскать в московских магазинах. Свешников уверял, что только она делает его почерк разборчивым.

— Погоди, у тебя — синяя? Сейчас принесу другую самописку, — остановил его искуситель. — Такие документы пишутся фиолетовыми чернилами.

— Да какая разница? — беспечно махнул рукой Свешников.

Он прикинулся простаком, хотя сразу вспомнил, что фиолетовые будто бы не выцветают со временем, отчего одни только и годятся для бумаг с грифом «Хранить вечно» и, как он заподозрил, — для судебных экспертиз в будущем; такое объяснение не вызвало у него светлых чувств.

— Беда в том, — продолжал он, — что писать другими ручками я почти не умею: получаются сущие иероглифы. Фиолетовыми чернилами я писал, знаете, только в начальной школе, когда макал пёрышко номер восемьдесят шесть в чернильницу на парте...

— Так положено.

— Чем синие хуже? Да у меня от других и ручка засоряется. Такой тонкий механизм. И объясните наконец, почему так важен цвет. Ведь главное — содержание и подпись, верно? Нет, как хотите, но я напишу своим пером.

Угадав возможность новой отсрочки, Свешников не торопился закончить неумное препирательство, и оно продолжалось ещё с десяток минут, пока партиец сам не прервал его на полуслове: вдруг поднялся и ушёл — за ответом ли, за помощью или всё же за чернилами. Ясно было, что передышка будет недолгой, но, к удивлению Дмитрия Алексеевича, сцена не повторилась больше никогда; то ли он, в чём-то провинившись, и в самом деле стал недостойным, то ли его оппоненты поняли, что бессильны перед ним, но только звать его в партию больше не пытались.

— Фантастическая история, — рассказывая потом об этом, разводил он руками.

Рассказал он об этом и на семейном ужине, когда родные Людмилы Родионовны наконец собрались, чтоб увидеть, как она говорила, «своего иностранца». Старший из сыновей, Константин, сочтя сюжет невероятным, осведомился, как в действительности Дмитрий Алексеевич сумел уберечься от порчи. Но тот и сам не знал толком.

— Странно, — проговорил он, — что вдруг вспомнилась эта история. За последний год я, кажется, ни разу не подумал ни о чём подобном. Таких советских понятий, как «КПСС» или, скажем, «соцсоревнование», в человеческом мире просто не существует.

— Быстро же ты отвык, — усомнился Святослав. — Я считал, что такие вещи у нас растворены в крови.

— Растворены, ты прав — и никак не рассосутся. Кое-что, правда, удаётся задержать в печени. В моём случае

виной могут быть простые недоверие и скептицизм: я всерьёз опасаясь, что многие большевистские прелести вовсе не ушли навсегда, а скоро вернуться в лучшем виде. Это не просто предчувствие, а результаты дотошного анализа. С таким настроением я уезжал, с ним и живу там. И не я один: мало кто верит в стабильность, ведь по закону то ли Паркинсона, то ли Мерфи обычно из двух возможных ситуаций реализуется — худшая.

— Это и древние знали, — заметила Людмила Родионова. — Что было, то и будет.

— Верно я сделал, скрывшись. Хотя, если понадобится, они достанут везде.

— С вас и начнут.

— Шуточки...

— Мы всё перебиваем тебя, — спохватилась она.

Но Дмитрий Алексеевич как раз думал, что уже достаточно рассказал сегодня, неприлично затянув монолог. Вместе, во много голосов, за столом почти и не поговорили, а только слушали «своего иностранца», опрометчиво взявшегося рассказывать о стране, которой он ещё не видел и которая не преподнесла красивых сюрпризов, на первый взгляд не дотянув до выношенного им образа заграницы.

Святослав наивно поинтересовался:

— И что же, ты не увидел там разницы с твоей любимой Прибалтикой?

— С нашей, Славик, с нашей любимой... А разница есть, и существенная, главным образом — в длительности воздействия на сознание: прибалтийские впечатления были мимолётны и неповторимы, а останавливать мгновенья я тогда не умел (да и сейчас не научился, но ещё не всё потеряно). Если там попадались какие-то замечательные картины, одна — из Средневековья, вторая — современная, западная, то я изо всех сил старался их запомнить, выучить наизусть, зная, что другие такие же увижу не раньше чем через год, во время нового отпуска, а в ближайшие одиннадцать месяцев мне останется лишь рассматривать снимки. Сейчас же, если нечто подобное

я вижу у немцев, то ни о чём не беспокоюсь, потому что это и завтра никуда не денется, и я сам уже вписан в пейзаж.

— И стал достопримечательностью? — съязвила ма- чеха.

— Перестал ощущать себя инородным телом. Сейчас и здесь, в родной Москве, чувствуется, какой я чужой и лишний — безработный же. В Германии, едва распрямившись после зубрёжки, я вдруг увидел, что нужен самое малое — самому себе, оттого что свободен, переполнен идеями, в том числе и самыми завиральными, и могу сесть за письменный стол, чтобы оформить множественные свои мыслишки в виде, надеюсь, теорий — и никто меня с этого места не прогонит.

— Как же ты свободен, — продолжала она, — если же- нушка вытолкала тебя в командировку — и ты не посмел послушаться?

— Воспротивиться было бы нетрудно, да только русскому человеку надобно всё пощупать своими руками. Раиса, — произнёс он, морщась, оттого что ещё минуту назад вовсе не собирался обсуждать свои семейные дела в каком бы то ни было собрании, хотя бы и на семейном совете, — Раиса просчитывает свои ходы далеко вперёд, этим будто бы делая их верными: ведь жертвы всякий раз сталкиваются с некоей очевидностью. Но — вот где её слабое место — все эти расчёты верны, но прозрачны, это секреты Полишинеля; раскрытые, они мало чего стоят. Наверно, я и сейчас разгадал её хитрости. Чтобы найти этому подтверждение, приходится делать вид, будто я послушен во всём.

— Настолько, что приготовился платить, — напомнил Константин.

Дмитрий Алексеевич и в самом деле искал — и, видимо, нашёл — деньги, но теперь, когда об этом больше не приходилось заботиться, всерьёз задумался о дальнейшем, поняв и этот простейший план: он отдаёт нужную сумму Алику, собираясь продать в счёт долга квартиру, — и не может этого сделать без разрешения второй

собственницы, Раисы. Она в итоге остаётся и с квартирой, и с деньгами, а за всю операцию ответит он, Свешников.

Риск был велик — потому, что в случае проигрыша (Свешников избегал даже про себя называть смерть смертью или убийство — убийством) никто не терял ничего: дети не оставались сиротами и ни одно начатое дело не обрывалось, оттого что не было никаких дел. Самого же его последствия не касались бы.

— Могу и заплатить... но ещё не готов: не хватает куражу. Зато сегодня, когда отпали технические трудности, — он засмеялся, назвав всего лишь техническими трудностями то, что вчера казалось невероятным: получение целого капитала, — сегодня я могу заняться, что называется, обоснованием проекта: просчитать интригу и взвесить итоги.

— Плюнь и возвращайся в Германию.

— Забрав выручку из кассы, — весело предложил Святослав. — Не зря же ты старался.

— Не на что будет её потратить.

— Так ты в самом деле нашёл эту сумму? — встревожилась Людмила. — Ты взял её? Боже, как ты легкомыслен!

— Допустим, я сумею отдать... Впрочем — нет, ещё не взял.

— Не только в этом дело, а в том, что смешно, глупо, даже преступно помогать чужому шалопаю, открыто тебя презирающему. Он боится, что его убьют за долги — ну я не стану говорить правильные слова, что не нужно было их делать, — но зачем влезать в эту историю ещё и тебе? У тебя ещё меньше шансов отдать потом эти бешеные деньги. И не думай, что ты делаешь благородное дело: помочь в несчастье или оплатить ночные похождения шалопая — разные вещи. А уж рисковать жизнью...

— Но он пропадёт.

— Да, чуть не забыла: он ведь звонил, искал тебя, справлялся: где ты, что ты. Много же ему понадобилось времени, чтобы сообразить связаться со мною... Я в точности придерживалась твоих инструкций: мол, ты живёшь

у своего коллеги, иногда позваниваешь, а я... А у меня — своя семья, к которой ты не имеешь никакого отношения, так что не беспокойте меня, сделайте одолжение.

Утром Дмитрий Алексеевич наметил заглянуть в офис Вечеслова (неудобное, наверно, место для встреч, но ему любопытно было) и уже одевался, когда вспомнил о неожиданном письме другого Дмитрия Алексеевича; тот будто бы, прознав о приезде Свешникова, разыскивал его по всему городу — очевидная неправда. Ответить требовалось поскорее (к тому ж местная почта отличалась неповоротливостью), и он отписался наспех:

«Здравствуй, Митя!

Я хотел связаться с тобою чуть позже, быть может — завтра, но ты спровоцировал эту торопливую записку. Мне-то хотелось сочинить нечто пространное, со всеми мелочами и деталями, которые теперь из-за спешки (я опаздываю на деловое свидание) придётся приберечь до встречи. И это — при моих опасениях, что нам не удастся повидаться теперь, когда я особенно нуждаюсь в твоём совете; чужими же советами меня просто завалили, и потому что они, как водится, противоречат один другому, мне остаётся ими только пренебречь и поступить, как скажешь ты.

Закавыка — в Раисе, а точнее — в Алике, которому бандиты будто бы включили некий счётчик. Речь идёт о карточном долге гротескной величины. Я подозреваю, что это фальшивка, но мои догадки пока не подтвердились, а время идёт, и опытные люди предрекают расправу с должником (не достану денег — с Аликом, достану — со мной, если найдут в Европе).

Первый вопрос, приходящий в голову жертве: какая им корысть? Я придумал наивный ответ, но пока не скажу его вслух, а посмотрю, что сочинишь ты. Туда же, то бишь в проигранную голову, попутно приходят и афоризмы типа

“Убитый не проигрывает ничего”. Проигрывает — вдова, которую, впрочем, могут тоже пригласить на сцену — во втором акте. О, лишь сейчас сообразил, что подставляю и её.

Задумайся над этим тезисом, ведь в худшем варианте спектакля нас не станет обоих.

Только сейчас, во время письма, я сообразил, что вдова как раз и будет единственной настоящей жертвой в этой истории. Что касается меня, то я, кажется, утратил инстинкт самосохранения — настолько спокойно я могу размышлять о недолгом будущем. Я торопился оставить хотя бы какой-то след на земле — что ж, он существует: то, что я делал в институте, не прошло даром даже в самом крупном масштабе, хотя об этом извещены лишь немногие, а те обобщения, которые я хранил для себя, они записаны мною и почти готовы к печати, и Мария вкупе с Денисом сумеют опубликовать эти две работы — они знают, как и где, я предупредил. Всё-таки я жил не зря — ради, быть может, именно того, чтобы суметь спокойно поставить точку.

Вообще сожаление в таком деле может быть лишь о том, чего не успел сделать (хотя, казалось бы, и это не смертельно, потому что останутся другие люди с другими заботами, и что с того, что они не узнают обо мне? О чём ещё можно сожалеть перед уходом? Об оставшихся неполученными удовольствиях? Но я уже всё испытал, а если чего-то и не успел увидеть на свете (“увидеть Париж — и умереть...”), то и это важно лишь до момента ухода, ведь увиденного с собой не возьмёшь; если не прочёл каких-то книг, то и это не отразится на посмертном будущем. Только посчитай, сколько их уже прочитано — и что же, так и заниматься подсчётами, прикидывая, сколько концертов можно было б ещё услышать, сколько выпить водки, съесть пирожных, скольких женщин приласкать? Не приласкаешь, но ведь и не узнаешь, что не приласкал. Впрочем, я уже повторяюсь. Главное же то, что жаль лишь того, что не сделано, не оставлено другим. Жаль памяти о себе.

Ну а дальше — как получится.

После окончания всего мы с тобой, надеюсь, найдём, где обменяться наблюдениями, удовлетворяя в числе прочего и чисто академический интерес.

Обратись к Людмиле: она в курсе всего».

— Подписано — и с плеч долой? — спросил Свешников самого себя.

Вопросительную интонацию он выбрал, видимо, неспроста: скоро оказалось, что — не с плеч и не долой: у Вечеслова его ждало новое известие.

В конторе своего друга он был впервые, и многое здесь не сошлось с его представлениями. Сам район обозначался в теперешней прессе не иначе как центральный, но в глазах старого москвича был едва ли не пригородом — во всяком случае, соседствовал с заставой, а то, что Вечеслов именовал офисом, оказалось комнаткой, видимо, выгороженной из квартиры первого этажа, но — с отдельным входом прямо со двора книжного склада.

Постучав пальцем по вывеске, почему-то обещавшей организацию перевозок, Свешников заметил:

— Кто-нибудь подумает, что здесь расположен целый департамент.

— Иной департамент только названием и полезен, — напомнил Денис.

— И ты здесь — в единственном числе?

— Тамара помогает. Приходит вечерами, но ты не поверишь, я постоянно чувствую её присутствие, как — ангела за плечом. И нам вдвоём тут не тесно.

И в самом деле, в скромном пространстве кроме солидного письменного стола посреди комнаты умещался в сторонке ещё и столик поменьше, увенчанный пишущей машинкой.

— Жаль, тут нет телефона, — проследил Денис взгляд Свешникова. — Но можно звонить со двора, со склада. Тамошние ребята даже подзывают на звонки. Вот и сегодня, — нахмурился он, — позвонил Бунчик...

— Ни дня без Бунчика... Вы много общаетесь?

— Слишком. Он стал приносить дурные вести.

— Таких когда-то казнили без суда.

— Не шути. Умер Кулешов.

— Кулеш!...

«И годы будто бы невелики, а черта — вот, подошла вплотную», — подумал Дмитрий Алексеевич.

Только что он виделся почти со всем классом, и всё было в порядке, и мало ли по каким причинам не сумели прийти несколько человек: Генварёв, Кулешов...

— Мы-то считали его самым здоровым из нас, — проговорил он.

— Здоровым?.. Он пил, сильно пил, и всё ему, казалось, было нипочём. Правда, никто пока не скажет, это ли стало причиной... Он иногда «завязывал», держался месяцами... И как раз сейчас был такой, трезвый период. Знаешь, Кулеш из-за этого и с тобой не стал встречаться, не пришёл тогда вместе со всеми, побоялся, что — соблазнят. Столько старых приятелей, с которыми долго не виделся: конечно, уговорили бы на самую малую рюмочку. Плюс чаша Грааля...

— Мы, Денис, ещё не старые.

— А помрём — никто не удивится. Инфаркт к тому же дело не старческое.

— Ах, Кулеш, Кулеш...

— Детей не было, жена выдержала с ним года, кажется, три... Безумие: мать его пережила... Дай Бог ей ещё многих лет, но — какая участь! Не вдовство даже, а не знаю что... Сейчас к ней помчался Бунчик.

— Бунчик! И мы?..

— Он хлопочет насчёт всего. А ты не ввязывайся, только помешаешь.

Дмитрий Алексеевич и не стал бы ввязываться, понимая, что не поможет в хлопотах — скорее, сам потребует участия. Спроси его — и он признался бы, что не в силах заставить себя вновь оказаться в конторах, где бесправные люди стареют в очередях, чтобы выпросить милости или заплатить за бесплатное; выправив год назад бумаги на отъезд, он уверовал, что оставил эти тусклые пространства навсегда.

Не сговариваясь с Денисом, Бунчиков потом тоже велел не ввязываться и не мешать, а ждать, пока дадут поручения. Дмитрий Алексеевич не послушался и бездействовал и даже на кладбище поехал не самостоятельно, а вместе с Бунчиковым, на его машине.

Погода все дни до похорон стояла солнечная, и только в самый их час небо нахмурилось и стал сочиться меленький, незрелый дождичек; на кладбище, казалось, нечего было ждать иного. Свешников с грустью подумал, что ему самому, если только в мире не случится катастрофы, не доведётся быть погребённым в родной земле — за тесной оградкой, под дождиком. «Неужели кремируют? — ужаснулся он, неверующий — и всё-таки озабоченный будущим вызовом на Страшный Суд. — А если и нет, то кто присмотрит за могилкой?.. Старые мы, старые, подумать только... Скоро начнётся: станут уходить один за другим... И все там будем», — банально подумал он, недоумевая, отчего этот мотив не звучал на поминках.

«Земля — пухом», — желали покойному (но почему-то — не царствия небесного, заметил он), а после нескольких рюмок беседа стала сбиваться на посторонние темы, и Свешников, не сказавшись, ушёл.

— Куда ты делся? — только через пару дней спросил его по телефону Распопов.

Дмитрий Алексеевич не знал, что ответить.

— Не мешало бы поговорить ещё разок, — продолжал Анатолий.

— Мы в принципе всё решили, не так ли? И назначено число?

— Решили. И — назначено. Однако появились новые обстоятельства, а у меня лично — интересные соображения, и я спешу поделиться, так что не будем, как говорят новые интеллигенты, откладывать долги в ящик (злостная тема, а?). Словом, если ты не занят, я предлагаю встретиться сегодня. На том же месте, в тот же час.

«Откажет, — понял Свешников. — Не даст денег, подлец».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В прошлый раз Дмитрий Алексеевич шёл на встречу с Распоповым, как на деловое свидание, неспособное ни расстроить, ни обрадовать; тем паче не ожидал он и немедленных неприятностей. Самым трудным тогда казалось решиться на унижительную просьбу; попросить денег — это был уже поступок, а о том, что могло случиться после, он не задумывался, как будто ему стала безразлична собственная участь. Но даже и задумавшись, Свешников вывел бы, что, живя теперь в другой стране и, значит, будучи другим человеком, оградил себя от многих дурных вещей. Ему и в самом деле в тот день ещё ничто не грозило, и Распопов, почувствовав, видимо, его равнодушие, повёл себя странно — так, словно им предстояло договориться, самое большее, о ремонте дачного забора или о покупке покрыва для машины, — и важная встреча завершилась в каких-нибудь полчаса.

Сегодня же, когда то, трудное, было позади — один попросил, а другой не отказал, — Свешников, не зная, как объяснить неурочный вызов, нервничал, подозревая, что партнёр приготовил ему скверный сюрприз — например, усугубил условия займа, придумав неподъёмные проценты. Придя первым, он даже хотел быстренько, до прихода Распопова, выпить для успокоения водки — и не решился, подумав, что будет нехорошо, если тот застанет его за выпивкой в одиночку. Впрочем, он мог бы уже заказать всю еду и питьё на двоих, но, не сговорившись заранее о программе, решительно не знал, что попросить — то ли пару рюмок под кильку с луком, то ли достойный обед для двух персон. Сидеть за пустым столом было неловко, и он встал, пару раз обошёл со скучающим видом тесный зал, будто высматривая знакомых; тут, однако, и для прогулок было не место, и ему пришлось вернуться и заказать себе кофе.

Опоздавший Распопов пришёл, вовсе не запыхавшись, — и всё ж извинился, многословно объяснив задержку, и Дмитрий Алексеевич пропустил объяснение мимо ушей.

— Кофейком балуешься... — неодобрительно кивнул Анатолий на его чашку. — Ты герой: я бы давно уже принял граммов сто, чтобы побежало время.

— Скоро и побежит.

— Что тут за народ?

— Да что нам они? Едят...

Свешников ответил — и запнулся, вдруг поняв, что же ещё и в прошлый раз показалось ему необычным: тут — ели. В его устаревшем представлении — или в памяти — рестораны существовали будто бы лишь для кутежей, то есть разврата или баловства, а буднично обедать в них было уделом командированных и мечтою богемы, и сейчас было странно увидеть, что посетители заказывают не вино, а супы да вторые блюда, словно в их конторах вовсе не было своих столовых (впрочем, он быстро сообразил, что и вправду — не было, а вернее — не стало). Его удивило одно — откуда у этого люда деньги: сам он даже в тучные годы не мог бы позволять себе ресторанные обеды; это лишь сегодня для него, с немецкими марками в кармане, всё казалось дешёвым, и нельзя стало не подумать: «Вот бы с моим тамошним пособием да жить в России», — оттого что, пересчитывая на новую валюту свою прошлогоднюю пенсию, Свешников всякий раз получал в итоге всё какую-то чепуху, сорок, а то и (точного курса он не знал) двадцать марок в месяц.

— Одни едят, а иные берегут фигуру, — напомнил он.

— Скажи-ка, и ты помнишь... Эх, видно, спугнули мы девчонок. Никто больше не бережёт, а я тёмные очки надел...

— Не снимай, не снимай: тебе идёт.

— Идёт или нет, а скрывает безобразие, и на снимках мы получимся так прилично, будто все десять лет просидели за одной партой.

— На каких снимках — никто вроде бы не снимает... А с кем, кстати, ты сидел?

Он помнил лишь, что Распопов обитал где-то на камчатке; его соседи в задних рядах были одним кружком, а ученики, сидевшие в середине класса и на первых партах, —

другим, и эти компании не соперничали, а жили каждая сама по себе. Вместе с тем Свешников понимал, что уже не может доверять памяти, особенно — памяти о настроениях, что он сам и товарищи его, конечно же, были далеко не пай-мальчиками и что нелепо было бы искать в мужской школе благочиния и повальной дружбы всех без разбору; две неравные части их класса даже и теперь, по прошествии лет, ещё не слились в его сознании в единую массу, и было странно, что никто больше, одинаково с ним отделившись от школы во времени, не видит, уже возвратным взглядом, то же, что он. Напротив, все они, к месту и нет, твердили, что были дружны, как никто, — столько лет...

— Редко же ты оглядывался на камчатку. Как раз с Кулешом и сидел.

— Царство ему небесное, — выговорил он неловкие на языке, непривычные слова. — Помянем.

— Будем жить, Шандал.

Не поняв, были эти слова пожеланием или внезапным открытием, Дмитрий Алексеевич немедленно обратил их в тост, благо спиртное принесли раньше закусок.

— А ты, я помню верно, сидел с Кимом Юниным, — вернулся к своему Распопов.

— С кем только я не сидел... В первых классах — с Бунчиком, потом — с Волошиным, с Вечесловым, напоследок — с Юниным.

Распопов не держал, конечно, в памяти этих перемещений, и Дмитрий Алексеевич повторил: да, последние два года — с Кимом, и они стали хорошими приятелями, оттого что с кем сидишь, с тем и дружишь...

— С кем сидишь!.. Видать, не в одиночной камере...

Свешников сказал, что да, были приятелями, но вся дружба рухнула, едва их развели разные вузы, в сущности — непохожие миры, которым не было нужды соприкасаться; в школе, перед выпуском, юношам даже не приходило в голову, что можно или что славно было б и дальше учиться вместе. Спустя много лет («Нет — все-все годы, вся жизнь прошла») они встретились неблизкими людьми.

— Глупо, но мне со дня прошлого нашего сбора не даёт покоя новая масть Кима, его белая голова, — со смешком проговорил Дмитрий Алексеевич. — Жаль, что мы не увидались ещё раз: думаю, наваждение прошло бы. А тогда, поверь, я вздрогнул, увидев вместо знакомого парня его негатив. Не удивлюсь, если окажется, что тут не обошлось без чертовщины. Словно он продал душу дьяволу — и всё чёрное в нём стало белым, ну и наоборот, только снаружи этого не видно. Понятно, дело не во внешности, тут гораздо серьезнее: Юнин мечтал стать писателем — помнишь, как он читал в классе свои стихи? — а теперь я поинтересовался его литературными успехами — и он как будто даже не сразу понял, о чём его спрашивают, а потом лишь фыркнул. Презрительно фыркнул.

— О негативе ты уже говорил недавно в этом же кабаке.

— По другому поводу... Только не торопись, не торопись, я давно усвоил, что за мужским столом любой разговор в конце концов всегда переходит на женщин. Но не с первой же рюмки.

— Давай выпьем по второй, — оживился Анатолий.

— Честно говоря, я собирался поговорить о другом.

— Ты заговорил — о Киме. Послушать тебя, так пове-ришь, что держись вы и дальше вместе, он стал бы чуть ли не Иисусом Христом...

— Нет, он не мог бы.

— Вот видишь... — с непонятной укоризною выговорил Распопов.

— Ким когда-то загорался, говоря о высоком призвании, а теперь, стоило о том напомнить, соорил гримасу, будто дорос до куда более важных дел, нежели стишки: его, мол, ждали увидеть нищим писцом, а он обернулся коммивояжёром.

— Надо же мужику кормить семью.

— На мой взгляд, хорошо бы прежде достичь высот...

— Это всё теория.

— А на практике — порошковые сливки... Кстати, где там наши салаты?

— Как же ты не научился у фрицев пить, не закусывая?

— Какой абсурд — русскому человеку учиться пить у иностранцев! — серьёзно ответил Свешников, вспоминая частые пирушки на курсах, где трое немцев-переселенцев из Казахстана и Поволжья, молодые рабочие, придумали отмечать дни рождения каждого из соучеников всей группой; в ней занимались два десятка человек, и за полгода учёбы мог бы найтись не один повод для празднования; на деле нашлось даже — тринадцать, чёртова дюжина. Собирались обычно прямо в классе, после занятий, непременно приглашая к столу и учителей; те соглашались легко, быстро усвоили русскую манеру пить стопками и закусывать то огурчиком, то селёдкой, и кто-то заметил: «Они научились у нас этому лучше, чем мы у них — языку».

Свешников у них как следует и не научился.

— У нас ты был почти отличником, — напомнил Распопов.

— Повезло, что только «почти». Иначе моя карьера рухнула бы. Представь себе, в нашем вузе на некоторые специальности избегали брать медалистов — считая, наверно, что послушные умы своего пороха не изобретут.

— Ты у нас, выходит, непослушный. А ведь мы с тобой никогда не выпивали вот так, один на один.

— Разве мы, кто-нибудь, пили в школе?

— Ну кто как... Ты и я — мы были в разных компаниях. Минуту назад ты вспоминал, кто с кем сидел, так вот, не было случая, чтобы кто-нибудь с первой парты пересел на последнюю, и мы там, на камчатке, оставались даже не просто своей компанией, а — дворовой командой. Вспомни, ведь у нас там совсем случайно собралась кучка ребят не только из одного переулка, а — из одного двора. Мы дружили чуть ли не с пелёнок. По крайней мере — с манной каши...

«Ни до чего такого не было мне дела», — подумав так, Дмитрий Алексеевич решил, что — выиграл; участие в чём-то, придуманном другими, просто за компанию

(но — в юности же, когда происходящее с тобою прекрасно, но — в юности, вместе с которой уходят и преувеличенные беды), в совместных приключениях и авантюрах, какие при взгляде из старости не хочется порицать, — ничто подобное его не затронуло.

Главное, что никакие капитаны никаких дворовых команд не звали его в свои игры, а значит, и не командовали им, и он так и прожил школьником сам по себе, не осознав везения. Прежде Свешникову не приходило в голову, что его судьба определена ничтожной случайностью — тем, за какую парту посадила его, первоклашку, учительница; теперь об этом уже можно стало говорить спокойно, особенно если называть старые вещи своими именами (за незнанием иных: человеческая речь с приходом смутных времён постепенно опростилась так, что всякому после многих лет вернувшемуся домой страннику пришлось бы обзаводиться разговорником). В наши дни слово «команда» ещё никуда не делось, но пришла пора «капитана» заменить на «лидера», и в уме Дмитрия Алексеевича это слово, как чужая кличка, так не вязалось с обликом тогдашнего вожака камчадалов, что удобнее было счесть, будто такого предводителя, быть может, и не существовало в природе: группка подростков вполне способна была прожить свои десять лет и без него; тут даже не имело смысла говорить о коллективном разуме, скорее присущем муравейнику, нежели нескольким школярам. Что-то у Дмитрия Алексеевича тут не сошлось: эти школяры, отказавшись от вожакого, быть может, и прожили бы общим умом, копируя, каждый, движения соседа, то есть неведомо чьи изначально, но коли всякая копия есть всего лишь отражение оригинала, то в начале цепочки подражаний всё равно должен был бы найтись кто-то один, придумавший первый жест или клич, и окажись он, муравьиный царь, поблизости — не укрылся бы за многочисленными фигурами: вся команда просматривалась насквозь. Она редела, как роща осенью (но ведь и годы шли), предлагая вакансии для не входивших в неё прежде: соперников, судей, зрителей.

Свешников пока ещё держался поодаль: увиденные им расположились, на его нынешний вкус иностранца, слишком беспорядочно, и новые соседства стали необъяснимы, и действующие лица то и дело принимались расходиться в пространстве. Перед глазами оживала картинка из молодёжного журнала: космонавты, рассыпанные из корабля, разлетаются в ночи в разные стороны: куда кто толкнулся, туда и полетел, не умея изменить орбиту. Тем не менее пути где-то сходились.

— ...и совсем неожиданно не оказалось ни одного, — услышал он сетования Распопова.

Тот, видимо, говорил уже долго, и Дмитрий Алексеевич, хотя наверняка пропустил что-то важное, всё же предпочёл не справляться, а закончить своё:

— Старик Лобачевский прав: разница в конце концов стирается...

— Какой Лобачевский? О чём ты?

— Извини, я отвлёкся, — сконфузился он. — Но о чём — ты?

— Интересная, однако, история: у нас серьёзные дела, а ты вдруг размечтался. Рассказывал же я вот что: никто об этом не говорил, а тут обнаружилось (нет, не случайно, а потому, что я искал, с кем вести дела, кому можно доверять — нашим ребятам, кому ж ещё), так вот, оказалось, что никто из нашего выпуска — из обоих классов — не пошёл на юридический. А ведь теперь как хорошо было бы иметь под рукой верного адвоката!

— Постой, зачем мне адвокат?

— Да не тебе, не тебе, ты всё прослушал. Кстати, я оговорился: иметь верного — юриста. Когда занимаешься бизнесом, нужно хорошо ориентироваться в правовых вопросах. Многие ещё безграмотны в этом отношении — и надо успеть их обыграть.

— Правовая грамотность, Толя, полезна — в правовом государстве...

— Стоп, стоп! — всполошился Распопов. — Чур, за столом о политике не говорить.

— Раньше, когда о политике вообще не говорили вслух, мы следовали чуть-чуть другому правилу: за столом не говорить — о работе: у каждого была — своя, ни для кого другого не интересная.

— Работа разная, а теперь пенсия — одинаковая? — с насмешкою отозвался Распопов. — Я-то старался, старался в последнее время, чтобы средняя зарплата получилась, знаешь, с нулями на конце. А оказалось, что есть некий максимум пенсии, выше которого не прыгнешь. Сам себе я насчитал одно, а бухгалтерия насчитала — другое, поменьше, и уже ничего не попишешь. Рекомендуют ждать поправок к закону.

— Похоже, на самом деле тебя это не очень волнует, а?

— Меня?.. Живи я лишь на пенсию, эта разница была бы, мягко говоря, обидной. Заранее это мало кого особенно волновало, каждый надеялся на неведомые исключения из правил, но когда всем стукнуло по шестьдесят... Хорошо, что у меня есть и другие источники. А возьми-ка наших отличников: все они в СССР достигли было многого, и я им завидовал, но тут, при новой жизни, встречаю на Арбате Шурика Украева — он ведь и профессор, и доктор наук, и лауреат, — так вот, остановились поболтать, и я слышу, что Лёнька Левинсон написал книжку будто бы о нашем классе и он, Шурик, как раз идёт в книжный магазин, чтобы полистать это самое сочинение. Но — не купить, потому что книги ему — лауреату! — теперь не по карману, и он копейки считает. Вот и машину продал...

— Как и я.

— Ты с собой не равняй: ему-то податься некуда. У нас пенсионеру только и можно, что устроиться сторожем, вот как Бунчик, или торговать возле метро мелочишкой. Никто из них так, как мы сейчас, в кабаке не рассядется — о, знали б они, увидели бы нас — как позавидовали бы!

Свешникова покорило от этих слов, хотя он и наслаждался тем, как и что им подавали — никаких, впрочем, изысков; им наконец принесли селёдку с разваристой

картошкой, подо что немедленно было выпито по второй рюмке, и салаты, самые обычные, однако названные теперь на французский манер — тем и соблазнившие.

— Как раз мне-то и некуда податься, — после долгой паузы проговорил Свешников. — Не далее как нынче утром ни с того ни с сего мне представилось, — я не спал, но увидел именно, как во сне, — что мы с тобой не только обо всём уже договорились, но и дело сделали, и забыли о нём, и я не отдал тебе долг, и меня ищут некие джентльмены в плащах с поднятыми воротниками. Наваждение это, сон этот прошёл, но я до сих пор не могу расстаться с уверенностью, что не вернул деньги — и не верну, за неимением, и мне где-нибудь на Патриарших прудах сунут под рёбра ножичек. Сел на скамеечку — и не встал.

— Э, брат, с тобой стало как-то сложно, — протянул Анатолий, безуспешно пытаясь вытрясти соль из солонки. — Смотри, она же там есть, а — не идёт.

— Хуже, когда нету, а идёт.

— Со своими видениями ты сильно забегаешь вперёд.

— Как ни посмотри, а полезная жизнь иссякла.

— Значит, я помогал, помогал, а мои денежки, мой гонорар — тью-тью? — вывел Распопов, впрочем, заметно не встревожившись, а словно наслаждаясь ситуацией.

Встревожился как раз другой:

— Ты уверял, что — чужие.

— Чудак, я же за тебя поручился, и это не пустяк, — не к месту весело предупредил Распопов. — Хорошо, что я ещё не дал тебе ничего.

— Вот сейчас и в самом деле стало сложно. Пойми, другого варианта у меня нет, хотя с каждым днём я меньше и меньше понимаю, зачем ввязался в это дело.

— Кстати, зачем ты ввязался? Ведь и вправду: никто не понимает. На беду, ты не вспомнил вовремя, что всякое благое деянье наказуемо, и рвёшься совершить... Давай, налей-ка ещё. А твою историю... Я её знаю, от Дениса, и она мне очень не понравилась.

— От Дениса?.. Как он посмел?!

Распопов наконец рассмеялся:

— Ну, ну, не думай, будто мы с ним шептались в уголке, перемывали твои косточки. Просто так пришлось к слову, что он признался, как боится за тебя. И если уж мы собрались всем классом... Это было на поминках, когда ты очень кстати смылся.

С поминоков Дмитрий Алексеевич попытался уйти по-английски, не откланявшись, но вышло неудачно, неуверенное бегство заметили многие, хотя и не подали виду, а на того, кто рванулся задержать беглеца, шикнули: «Оставь. Видишь, человек расстроен?» — что было, конечно, преувеличением, ибо не так уж близко дружил Свешников с Кулешовым, чтобы убиваться пуще прочих. На том всё бы могло успокоиться, если б у Вечеслова не сорвалось с языка, что он опасается, как бы его друг не наделал глупостей, ввязавшись в некую авантюру: для того, мол, и приехал. Публика захотела подробностей, и Денису пришлось поведать то, что знал; с этим и участие Распопова открылось само собою.

— И тут включился коллективный разум, — продолжил за него Дмитрий Алексеевич — машинально, просто потому, что нечто подобное уже обдумывал только что; ум же его был занят другим — попытками понять, как могло случиться, что его близкий друг так легко (не под пытками же) разболтал доверенные секреты.

— Наверно, можно сказать и так, — неуверенно отозвался Анатолий.

— А можно сказать и так, что всё это было моим личным делом, — начал раздражаться Свешников.

— Сам же говоришь: было.

Случалось, кто-нибудь настаивал: «Нет, вы сказали!» — и было не отвертеться, но сейчас он и не собирался противоречить, потому что всё, способное наполнить его существование, когда-то уже произошло и прошло, а немногим оставшимся на завтра, ещё не придуманным мыслям предстояло рассеяться в новом, неверном воздухе; их не удалось бы огласить потому лишь, что там, в чужой дали, он не видел противников в споре, а только — любопытствующих, ради которых не стоило трудиться.

Он говорил бы в пустоту, не дожидаясь ответа и не веря, что следом за нынешним настанет ещё и завтрашний день, и время не кончится, и всегда что-нибудь да будет на свете.

Главное было, однако, не в одних этих неравноценных днях, будь они сочтены или нет, но — в грусти из-за того, что больше не удастся оставить на земле важных следов; казалось, кто-то рассудил, что Дмитрию Алексеевичу довольно и сделанного прежде и что старые отпечатки его башмаков тщательно исследованы и сохранены в гипсовых слепках, в коробках с грифом «Хранить вечно».

— Звучит словно приговор. Вечно!

— Что-то и не слыхал о таких грифах. Это похоже на «Уничтожить перед прочтением». Э, постой, постой, да ты, видать, был здорово засекречен?

— Не более чем...

После паузы Дмитрию Алексеевичу пришлось всё-таки разъяснять:

— Не совсем то, что ты подумал: я ведь не имел дела с железом, с готовыми изделиями, то есть просто не участвовал в каких-то вещественных проектах, и никто не скажет, что вот этот велосипед или вот эта бомба рассчитаны в моей лаборатории: мы как бы лишь изобретали законы природы, часто не зная, какие фокусы будут ими оправданы. Проще говоря, выступали в роли счётной машины: о чужих намерениях не ведали, а какой вопрос зададут, на такой и отвечали. У меня было предостаточно и собственных идей, да всё не выпадало случая их приложить. Только я о другом: важно, что я не занимался прикладными задачами, а уж каковы они могли быть, легко догадаться, судя по тому, что восемьдесят процентов производств в Союзе работало на оборонку.

— И тебя всё-таки выпустили за границу? Сказки какие-то. Другие по десять лет сидели «в откате».

— Да, это выглядит, как научная фантастика, но так уж сошлись обстоятельства, что в результате общей чехарды — перестройки, разоружения, глупых рассекречиваний, — я вдруг стал чист, как младенец. Тему, которую

мы, как говорится, обслуживали, её мало того что раскритиковали — а тут же буквально замусолили на международных конференциях — в Нью-Йорке, в Торонто, в Париже, далее — везде... От всего остался закон природы. И я — как младенец...

— Если так смотреть, то я, наверно, вообще не достиг ясельного возраста, — счастливо засмеялся Распопов. — Свободен? Да никаких преград... Я давно уже мотаюсь по командировкам — чего только мы не строили за границей! — сначала, понятно, не дальше ГДР, но потом — и в капстранах. Тем и жили: сам понимаешь, отовсюду было что привезти домой, даже от китайцев. Кстати, помнишь, мы как раз заканчивали школу, когда в продаже появились китайские плащи? Синие китайские плащи? Мы считали это криком моды. Ты стал носить одним из первых — и все завидовали.

— Какие, однако, ты помнишь подробности!

Удивление вышло наигранным, и Дмитрий Алексеевич осёкся, оттого что, оказывается, помнил и сам, как старшеклассники, ещё недавно довольные бумазейными курточками, а то и донашивавшие отцовские вещи, вдруг стали обращать внимание на одежду других и даже стараться хотя бы в чём-то уподобиться стилистам; нарядиться одновременно и в светлый пиджак, и в брусничную, с белой строчечкой, рубашку, и в башмаки на толстом каучуке не удавалось никому, зато почти все обзавелись отчаянными белыми галстуками (пусть и не с американскими обезьянами, а всё ж — с китайскими драконами) из магазина в Столешниковом переулке. Теперь они уже замечали, что многие учителя, чтобы не испачкаться мелом, набрасывают поверх костюмов сатиновые халаты, как у фабричных рабочих, и среди них выделяется лишь молодая физичка в тяжёлом, подчёркивающем формы, вязаном платье; для школьников Зинаида Петровна была идеалом женщины.

— Зитта! — причмокнув, вспомнил Распопов её прозвище.

— Она жива ль, не знаешь?

— Ты что-то слышал?

— Нет, к счастью. Просто мы с тобой дожили до таких лет, когда все, кто старше нас, относятся к группе риска. А Зитта — она старше лет на десять или пятнадцать. Тогда была — вдвое. Теперь и мы... Только приехав, я хотел сразу обзвонить кое-кого из ребят — и, веришь ли, побоялся: а вдруг с человеком что-то случилось? Я кое-как связывался весь год с одним лишь Вечесловым — вот у него и выспросил, всё ли со всеми ль в порядке. О Зитте же сейчас просто пришлось к слову: её муж был каким-то спортивным функционером, и ты мог его знать.

— Был да сплыл?.. Нет, я не встречал такого. У нас слишком много народу — и все играют во что-то, да не вместе, а одни — в городки, другие — в шахматы...

— Тогда уж — в карты? И кстати, вернёмся же к ним, наконец: насколько я понял, вы обсудили всем классом...

— ...и, заметь, осудили. Не обессудь. Смотри, вот и срифмовалось...

Каламбура Свешников не оценил, а только задумался. Не могло же случиться так, что хорошие знакомые, уйма народу, узнав о его трудностях, лишь посокрушались — и разошлись. Распопов сказал «осудили», — и Дмитрий Алексеевич, в первую минуту встревожившись, именно от этого слова и стал понемногу успокаиваться и всё пытался принизить в уме прошедшее собрание, равняя его с наивной комсомольской игрою из книжек, вроде суда над Евгением Онегиным. Тем не менее Свешников ожидал абсурдных осложнений, подозревая, что одноклассники почувствовали: он — не наш; они могли понимать его, сочувствовать или завидовать, но — наблюдая уже со стороны, оттого что воспоминания больше не получалось соотнести с действительностью.

— Разве — судили? Как это? И как же они — вы — могли судить меня в моё отсутствие? — возмутился Дмитрий Алексеевич. — Не зная подоплёки?

— Знай я её раньше — вообще не связывался бы...

— Что, теперь уже — поздно? — с надеждою поинтересовался Свешников.

— Нам поначалу даже интересней было — без тебя, потому что пришлось кое-что присочинить, пофантазировать, пока окончательно не раскололся Денис, да всё равно — поговорили и разошлись, а вот мне поручили продолжить.

— С какой стати — тебе?

— Я сам намекнул... С той стати, что без меня пришлось бы тебе отбывать на свою Неметчину несолоно хлебавши. Ты всё секретничал, а надо было бы довериться. Всё равно сейчас о твоём деле я знаю уже больше тебя.

— Вижу, ребята поупражнялись в островах в мой адрес.

— Я бы не стал так говорить, — посерьёзnel Распов. — Они справедливо решили, что ты повёл себя до безобразия безрассудно, как мальчишка.

— И были правы.

— Так какого лешего ты ломаешь комедию?

— Я ещё не укрепился в подозрениях.

— Какой же ты дурак! — всплеснул руками Распов. — Только что-то заподозрил — и уже примчался в Москву — для того, по сути, чтобы за свой счёт подыграть начинающим мошенникам. А ещё — чтобы отстоять свой глупый принцип, рискуя при этом головой. Ах, какая романтика! Да ты просто не понял, чем рискуешь...

— Разве понял — ты?

— Не понял, а знал, допустим, с первого дня и пытался исподволь тебе внушить... Теперь же, благодаря чистой случайности, узнал ещё и другое... Не улыбайся, мне и в самом деле помог случай. Да, да, поверь, очень многое начинается с невероятных происшествий. Живёт человек, живёт, а потом откуда ни возьмись — приключение. У него с перепугу мысль раз — и скакнёт в неожиданную сторону. Наверно, можно найти много примеров того, как из-за пустяка...

— Рушились империи?

— Смейся, смейся, только ведь — и рушились. Ну у нас сегодня вышло до смешного просто — оттого что угораздило же твоего пасынка поселиться не так уж далеко

от нашей школы. Вспомни, мальчишками мы считали, что весь район принадлежит нам.

— Проходные дворы...

— Да уж, никто не знал их лучше. Дело, правда, не во входах и выходах, а в том, что люди знали друг друга. И нас знали. И — мы. И я до сих пор в курсе, кто в нашей округе с кем, когда и как. Вдобавок, ещё и сегодня можно о ком-то порасспрашивать старожилов, что я и сделал — правда, не нарочно. Просто в моём бывшем дворе старики (ах да, мы и сами — пенсионеры), так вот, старики забивали козла, я подсел к ним, ну и пошло, слово за слово, и вот тут, смотрю, стало проступать что-то знакомое. Я, правда, не сразу врубился... А когда всё сошлось, сам себе не поверил: случайно — и такая удача! Не знаю уж, с кем поначалу играл твой парень, наверно — с однокурсниками, в общежитии, да только потом кто-то свёл его с компанией из нашего квартала. Вот тебе и случай. Кстати, как говорится в кино, я свои источники информации не раскрываю, да они тебе и ни к чему. Главное, живи твой Алик в другом районе, я бы не нашёл, что делать.

— Ты знаешь этих ребят поимённо? — насторожился Дмитрий Алексеевич.

— Главное — чтобы они меня знали. Шутка. В действительности же... Да, мне показали, с кем и когда играл твой Алик и кто кому проигрывал. Есть там такой Микула... Подробности неинтересны, а для тебя важно вот что: играют в этой компании скучно, робко и хотя жульничают, естественно, а крупной игры всё-таки избегают. Твой герой и вправду проигрался, да оказалось, что речь идёт о суммах вовсе не астрономических, а сравнимых, скажем, с зарплатой инженера. Тоже, конечно, деньги, но — всякий может пережить.

«Из-за этого уже не убьют», — неуверенно предположил Дмитрий Алексеевич; ему необходимо было произнести это про себя раньше, чем произнёс другое, что убивают и за меньшее и что он ещё не знает, какие доказательства добыл Распопов — и добыл ли. Так же, как ему

подозрителен был проигрыш пасынка, так теперь стала подозрительной быстрота, с какою одноклассник докопался до сути. «Раиса, однако, теряет квалификацию, — продолжил он про себя. — До сих пор она продумывала свои пакости куда тщательнее, так что было не подкопаться, а тут ей не пришло в голову, что надёжнее было бы сочинить историю с начала до конца (и тогда — поди проверить), чем подправлять известные факты. — И ещё раз повторил понравившееся: — уже не убьют», — имея теперь в виду не Алика, как поначалу, а одного себя.

— Парень ждёт от меня большего взноса. Да ты знаешь, — неуверенно выговорил он.

— Пошли его подальше, — с презрительной миной посоветовал Распопов, — и он, я же тебе сказал, легко это переживёт. Но... но есть одно примечание: компания, о которой я сказал, не просто картёжная, но и блатная, это я верно знаю. И много или мало, но Алик всё-таки им должен. Если кто-то из них прознает о твоих телодвижениях... Словом, будь осторожен. И к себе в дом не пускай.

— Я будто бы пообещал ему что-то дать.

— Как ты мог обещать — нет, сколько же ты мог им пообещать? Та сумма, что ты назвал — ведь у тебя и нет, и не было, а главное — и не будет таких денег...

Дмитрий Алексеевич, ещё более неуверенно, напомнил о недавнем уговоре, но Распопов только развёл руками: мол, бывшие соученики постановили на своём сборе: Шандалу, и без того наделавшему глупостей, денег не давать — завязнет и пропадёт.

Собираясь в Москву, Дмитрий Алексеевич боялся не справиться там с непривычной праздностью — быть туристом в родном городе, стараясь никому не помешать своим пустым присутствием. На самом же деле ему пришлось справляться как раз с нехваткой времени, текущего словно в двух руслах: в одном истекала лишённая

острых приключений случайная побывка, а в другое, тесное, подкидывал камней Алик, и требовалось или помочь ему, или защититься от него. Продолжительность первого была подсчитана заранее, так что и число стояло в обратном билете, а погружаясь во второе, он даже не всякий раз сверялся с календарём, упустив из виду, что обоим течениям предстоит, словно по милости Лобачевского, прийти в одно место.

Так или иначе, последний разговор с Аликом откладывать было уже нельзя.

— Надо поговорить о деле, — сказал Дмитрий Алексеевич по телефону.

— Наконец-то! — обрадовался Алик. — Давай я приеду хоть сейчас, только скажи куда. Ты, видно, хочешь — у себя?

— «У себя», милый мой, будет далековато. И тебе понадобится виза.

— Я — не в этом смысле...

Алик замолчал, и Дмитрий Алексеевич, подумав, что теперь тот может пригласить его снова в Кисловский переулок, чего уж никак не хотелось, предложил, опережая:

— Придётся сойтись на ничьей земле.

— Сойтись — в поединке?

Выбрать нейтральную территорию Свешникову было непросто; когда-то он назначал деловые встречи в просторном вестибюле гостиницы «Москва», где для беседы можно было удобно устроиться в креслах, но порядки изменились, и нынешние швейцары вряд ли допустили бы такую вольность. Оставались ещё кафе и рестораны, но тут он был больше не знаток.

— Пойди в «Шоколадницу», — накануне посоветовал Вечеслов. — Смирное заведение.

— Ты всё шутишь? Кушать шоколадки — дело дамское. Да и само место одинаково неудобно для обоих. Если помнишь, Замоскворечье у нас, в школе, и Москвой-то не считалось. Ребята редко хаживали туда.

— А каток в Парке культуры? — напомнил Вечеслов.

— О да, да, там-то собиралась вся юная Москва.

Свешников хорошо помнил обычную для пятидесятих лет картину вечернего метро, заполненного молодёжью с неуклюжими фибровыми чемоданчиками; ему самому приходилось носить свои коньки — беговые, великоватые для такой упаковки, — просто в руках, но в этом как раз был свой шик.

— А наши потомки знают, что это — историческое место, — продолжил он, — где ты познакомился с Тamarой.

— Всего-то пригласил девушку сделать круг по набережной — и чем это кончилось?

— Для меня на сей раз непременно кончится как-то иначе, — с усмешкой заверил Дмитрий Алексеевич. — Уже всё равно как. Чёрт меня дёрнул...

— Теперь осталось всего ничего, — проговорил Вечеслов, понимая, что осталось самое трудное. — Жаль, я не увижу этот твой сеанс чёрной магии с разоблачением.

Свешников развёл руками — мол, ничего не поделаешь, а жаль, — хотя понимал, что его только стеснили бы посвящённые в дело свидетели; обстановка людного кафе, где почти каждая пара занята собственной сокровенной беседой, подходила как нельзя лучше.

Свободный столик он увидел сразу, близко от входа (и заметил, что на сквозняке). Заскучав, отсюда можно было бы в два шага выйти на улицу; зачем бы это ему вдруг понадобилось, Свешников думать не стал, а только подивился тому, как живучи бывают мальчишеские странности.

Алик между тем запаздывал. Поначалу это даже позабавило Дмитрия Алексеевича, считавшего, что юноше, ожидающему получить, быть может — немедленно, очень большие деньги и тем избежать бандитской расправы, следовало бы, нервничая, примчаться на встречу загодя. Но прошло пять, десять лишних минут, и он начал раздражаться (хотя, наверно, вздохнул бы с облегчением, если бы пасынок не пришёл вовсе), а когда истекла двадцатая, встал, чтоб уйти: так долго, по его разумению, можно было ждать только женщину. («Так отчего ж я её не жду? Отчего же сам постарался, чтобы не ждать?»

Как же так вышло, что Маруся — там, а я здесь один и занимаюсь некрасивым делом, которое — не долг и уж тем более не развлечение?»)

Случайно задев, он уронил вазочку с цветком на своём столе — едва перехватил на самом краю, когда она собралась скатиться на пол — и тут уже не сдержался:

— Что он себе позволяет? Можно подумать, будто ему не нужны деньги! — вырвалось у Свешникова, и проходившая мимо девушка рассмеялась:

— Что, у вас — пачка в кармане и некому отдать? Да я возьму, сколько хотите.

— Если останутся...

Девушка, помахав рукой, поспешила куда-то в дальний угол зала, вовремя уступив позицию наконец появившемуся Алику.

— У тебя хороший вкус, — с ехидцей похвалил тот отчима. — Кто это?

— Увы, я не поинтересовался.

— Так не позвать ли её за наш стол? Она, я вижу, только с подружкой.

Нечто похожее было недавно с участием Распопова: тот расстроился, когда не удалось продолжить знакомство с двумя женщинами, чёрной и белой, как шашки у разных игроков; нынешняя, русая, была им не в масть.

— Как хочешь, — проговорил Дмитрий Алексеевич, — да только она стеснит нас: придётся изобретать намёки да аллегии. Хотя, если посвятить её в детали...

— Её? Ты меня разыгрываешь?

— Как раз о розыгрыше мы сегодня ещё поговорим: богатая и живая тема. К слову, Раиса не звонила в эти дни, пока я здесь?

— Пару раз... Да, верно: два или три раза.

— Разорительная штука эти звонки, — посочувствовал Свешников.

— Нет же ничего другого. Сам знаешь, какая тут почта. Я читал, на одной свалке нашли мешок недоставленных писем — представляешь? Хоть нанимай нарочных...

«Вот я и нанял сам себя, — согласился в уме Дмитрий Алексеевич: никто бы другой не взялся быть гонцом с дурной вестью — во времена оны таких убивали, не спросясь». Новые законы этим не грозили, но Распопов, зачастивший в последнее время со звонками, советовал быть настороже: неизвестно было, как поведёт себя Алик, вдруг узнав, что теряет добычу. Свешникову оставалось лишь удивляться тому, как наивно сам он собирался тут действовать: ведь всего ещё пару лет назад, на службе, он не позволял себе приступить к новой работе, не разобрав сперва по косточкам задание, не просчитав всё, что можно, от начала до конца, а потом — от конца до начала. Из прежних своих качеств он сегодня узнавал в себе одну лишь подозрительность, да и то направленную куда-то в сторону: его смущала та лёгкость, с какою Распопов разобрался в деле — не только до странности быстро разыскал компанию картёжников, с адресами и кличками, но и точно теперь знал, кто из них, когда и сколько выиграл. Дмитрий Алексеевич всё задумывался, кем же стал этот его школьный товарищ, но не находил ответа, а только больше убеждался, что того стоит слушать и в дальнейшем: Распопов понимал всю ситуацию и — пугал; приходилось верить, что — не без основания. Конечно, и без того было ясно, что на встрече с Аликом надо держать ухо востро, но он убеждал, что нужно поберечься и после, особенно при отъезде, на вокзале, и составил замысловатый план проводов; такая конспирация показалась Свешникову смешной, но Анатолий был серьёзен: «Ты имеешь дело со шпаной».

Алик за столом не выказывал нетерпения, и Дмитрий Алексеевич посмеивался: «А что если я не заговорю о деньгах, неужели так и разойдёмся? Ограничимся блинчиками с шоколадом?» Молодой человек, похоже, огорчился тем лишь, что не остановил девушку, о чём-то говорившую с его отчимом, и всё высматривал её в зале.

— Ты часто бываешь здесь? — поинтересовался Алик, а услышав, что — никогда, разочарованно заметил:

— Ведёшь себя, точно завсегдадай. Заигрываешь с девочками...

— Настала пора, — засмеялся Дмитрий Алексеевич. — Это, увы, факт: чем больше старею, тем приветливей и снисходительнее ко мне становятся девушки.

— Видят в тебе богатенького папика.

— Положим, увидеть во мне богатенького трудно. Я и сам бы хотел. Нет, они, скорее, уже не подозревают во мне охотника, словно я больше не опасен, и оттого не стесняются удружить, сделать приятное, лишний раз улыбнуться, выполнить пустяковую просьбу...

— Это — в Германии? Белокурые Гретхен?

— Нет, здесь. Я ведь не говорю по-немецки. В отличие от Раисы, которая на экзамене получила высший балл. Да, представь, для меня полгода на курсах пропали даром. Тому есть много причин, включая и моё непредвиденное неприятие языка: я то и дело сравниваю его с английским, и тот обычно выигрывает.

— Дело вкуса.

— Мой — ты только что хвалил, по другому поводу, а вкус, если он плох или хорош, то — во всём. Согласен: у меня — дурной. Но только я и в нашем отвлечённом вопросе нашёл союзника — Марка Твена. Мне обычно возражают: мол, как я могу судить о предмете, будучи мало с ним знаком, но ведь на самом деле как раз первый взгляд и выхватывает то, что противоречит либо твоим привычкам, либо принятому порядку, а позже чем дольше смотришь, тем меньше бросаются в глаза странные тебе места: их становится скучно замечать.

Дмитрий Алексеевич сделал паузу, припомнив, как совсем недавно (но в другой действительности) говорил о том же с Бецалиным, и тот размышлял о реформе в чужих владениях; препятствием тот считал невозможность уговорить немецкого человека усомниться хотя бы в каких-нибудь записанных ранее правилах. «Это губительно и для наук, — согласился с ним Дмитрий Алексеевич, — ведь чтобы открыть новые законы, приходится первым делом усомниться в старых. Можно, конечно, буквально

молиться на то, что коллеги успели занести на скрижали, но это уже остановка всякого движения. Не покусившись на основы, новым гениям великих открытий не сделать: пороха — не изобрести». — «Изобрели же!» — вскричал Бецалин. «Китайцы. А монах Бертольд Шварц всего лишь помешивал в ступочке разные соусы, надеясь, что из чего-нибудь да получится что-то: золотишко. И однажды — рвануло!» — «А итог — грандиозная революция в военном деле», — продолжал возражать Бецалин. «Как и любая революция, эта лишь умножила число трупов, — напомнил Свешников. — Пусть всё остаётся как есть?»

— Вот я ворчу, — сказал Свешников Алику, — а на самом деле лучше ничего не трогать. Ведь стоит пройти желанной нами, чужестранцами, реформе правописания, как сотни тысяч, да что там — миллионы людей окажутся безграмотными.

— Так уж и желанной?

— Нами. Я подчеркнул: нами. Профанами, которым с непривычки многое в чужой речи кажется нелепым, а то и лишним: переведи любой немецкий текст на русский, подсчитай буквы — и увидишь, что он станет вдвое короче. Я ничего не смею утверждать, но, например, никак не могу представить себе мирную сценку, когда немецкие девчонки, сойдясь, щебечут о милых пустячках: невозможно легко «щебетать», одновременно соображая, как расставить во фразе громоздкие конструкции. Они и словечка не скажут в простоте, и спроси одну из легкомысленных будто бы гимназисточек, какой, милая, у нас год на дворе, так она вместо «девяносто седьмого» непременно выдаст: «Тысяча девятьсот девяносто седьмой». Скучно. До того скучно, что мне, прости, порою мнится, будто кое-что у этих дев устроено по-другому, нежели у наших.

Алик хохотнул, и Свешников, угадывая его реплику, сухо продолжил:

— Что же до моего неуспеха... Конечно, стыдно признаваться в собственной неспособности, только ведь известен пример, который что-то оправдывает: Набоков, прожив в Берлине пятнадцать лет, язык так и не освоил.

— У тебя свои знакомые, у меня — свои.

— С этим не поспоришь. Не печалюсь же я от незнакомства с каким-нибудь Микулой.

— Как ты сказал? С Микулой!

— Почему бы и нет? Хоть с кем. — Дмитрий Алексеевич, только что нервничавший из-за неизбежности ссоры, теперь откровенно забавлялся: — Мне достаточно своего круга, — пояснил он.

— Отчего же — с Микулой?

— К слову пришлось.

— Нет, почему ты так сказал? И, стой, эта наша внеплановая встреча — к чему она вообще? Или ты уже всё... оформил?

— Что тут оформлять? Ты и сам справишься, я тут ни при чём. Ты всё-таки и зарабатываешь что-то, и плату за квартиру, от жильцов, нам пока не отдаёшь. Неужели тебе не набрать... — и Дмитрий Алексеевич назвал известную ему сумму.

— Нет, что ты, намного больше, — побледнев, возразил Алик. — Ещё минимум два нуля!

— Ну, это от лукавого. Видишь ли, я знаю многое — у тебя только что был случай это заметить. И если угодно, вот второй случай: как и обещал, напоминаю о розыгрыше.

— Какой розыгрыш? Дело серьёзное.

— Куда уж серьёзнее, только я им больше не занимаюсь. Ради того, чтобы известить тебя об этом, я и назначил встречу. По телефону радостное известие прозвучало бы неопределённо, а здесь я могу сказать твёрдо: ничем не могу тебе помочь. Очень жаль...

— Жаль, жаль! Ты обещал мне деньги! — вскричал Алик, ударив кулаком по столу.

На них с интересом оглянулись.

— Положим, твёрдо я ничего не обещал, только хотел помочь, а потом вдруг увидел, что помогать, собственно, не в чем. Ты — не в беде, так что играй дальше без меня.

— Издевательство какое-то! — взорвался Алик, отодвигая свой стул.

— Что ты встаёшь? — удержал Свешников юношу, глянув на часы. — Посиди, нам ещё не всё принесли. Хотя мы и так не засидимся: слишком долго я тебя прождал.

Алик медленно опустился на место.

— Что же, согласимся, что розыгрыш не удался? Видно, автора подвели чувства юмора и меры, — сухо проговорил Свешников. — Честно говоря, я собирался начать помягче, да уж так речь повернула... Итак, посмотрим, что мы имеем: счётчик ничего не считает и не начинал считать, проценты не растут, дамы не просят алиментов и так далее. Задача у меня была — сделать, чтобы ты не волновался, так вот, я своего добился: ты можешь спать спокойно, счётчик ради таких копеек, какие ты проиграл, не включают.

— Копеек?!

— О, ты всё ещё помнишь о пропавших двух нулях? Забудь, их не было. И давай не будем уточнять, как они возникли: поверь, мы оба знаем это, пожалуй, одинаково хорошо. Или даже: я знаю больше. Откуда? Не стоит удивляться: я старый москвич — представить только, я прожил здесь шестьдесят лет — и могу знать всё и обо всех. Не так ли? Или — многое о многих, и знаю, чего и от кого из этих многих ожидать. Правда, сейчас я просчитался, не думал, что ваша операция подготовлена так небрежно.

— Какая операция? Никакой операции...

— Извини — розыгрыш. Тем более что я через неделю уезжаю, и хорошо, что мы с тобой больше не связаны расчётами.

До его отъезда оставалось меньше двух суток.

— Как же не связаны, если у меня вымогают дикие деньги? Меня могут убить!

— Извини, я повторяюсь, но разве ты не понял, что я знаю истинную сумму? Вовсе не дикую, но и не такую, чтобы мне сию секунду вытащить из кармана наличные. Да и с какой стати — мне? Решение может быть только одно: проиграл — выкручивайся, только не лги. Вопрос, мне кажется, закрыт...

— Я рассчитывал на эти деньги.

— Я тоже.

Алик не улыбнулся.

— Я думал, ты как-то всё устроил, — проговорил он нерешительно, словно ещё на что-то надеясь.

— Вот как интересно всё обернулось: никто с тебя ничего особенного не требовал, зато меня и в самом деле, достань я эти деньги, могли бы поставить, как ты выражаешься, «на счётчик», уже другие, мои кредиторы, и тебе хорошо было известно — просчитано, что я никогда не сумел бы расплатиться. Просто замечательно, что ты смел рассчитывать на такой исход. Но теперь... теперь планы придётся пересмотреть.

— Так ты всё-таки отдашь мне деньги?

— Дашь или отдашь... Ты ещё спрашиваешь? За материальной помощью тебе логичнее было бы обратиться к матери... Но постой, что это?

В дверях кафе, пропуская выходящую парочку, замешкался Бунчик.

— Какими судьбами? — удивился Дмитрий Алексеевич, вставая ему навстречу и невольно припоминая череду совпадений, случившихся в последние дни.

— Проходил мимо и увидел тебя в окно. У меня машина тут за углом, у аптеки. Если ты выйдешь скоро, могу подвезти.

— Собственно, мы как раз думаем, не закончить ли. Но коли уж ты приехал, то нам просто так разминуться нельзя: садись, присоединяйся, и — продолжим.

— Я — за рулём.

— Мы так ничего и не решим? — вырвалось у Алика. — Условились же — наедине...

— Извини. Таков уж случай... Да ведь и решили уже... До сих пор у меня не было нужной информации, одни подозрения да дедукция, но лишь обнаружили факты, как всё встало с головы на ноги — для меня изменилось будто бы к лучшему. Тебе же ни доигрывать эту партию, ни начинать новую вовсе нет смысла, тут — верный мат. Это — во-первых. А во-вторых, мы с Бун... с Павлом знакомы

больше полувека — какие могут быть от него секреты? Он ещё и дельным советом поможет.

— Уже помог, как я вижу, — огрызнулся Алик.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Смешно, конечно, а только будь моя воля, я вернулась бы прямо сейчас, — проговорила Ирма, неожиданно громко. — От всех пересадок у меня рябь в голове.

— Воля, положим, как раз твоя, — напомнила Мария. — А что до ряби, то обратный путь будет не лучше.

Они стояли в начале перрона большого вокзала, вглядываясь в лица прохожих: Мария — бесполезно, оттого что не знала, кого искать; какой-то портрет, конечно, сам собою составилась в её воображении, но она могла бы придумать ещё тысячи столь же неверных

— Не должна я была бы сюда мчаться, — не унималась Ирма. — Не я должна бы... Сидела б у себя на койке да ждала, ждала... Не девичье это дело...

— У мужней жены дела, видимо, другие. У тебя же вышло прямо по Алексею Толстому: если Гора не идёт к Агриппине, то Агриппина идёт к Горе.

«Какая уж тут может быть гора? — немедленно возразила Мария самой себе, продолжая высматривать в толпе тощего очкарика в ковбойке; отчего-то важно было увидеть его первой. — И какая глупость, что я тут стою». Теперь вся их совместная поездка казалась ей нелепой: Ирма — не школьница же — могла прекрасно справиться и без суфлёра и провожатой, да и ехала бы, скорее всего, не одна, нашёлся же им сегодня попутчик: едва женщины отошли от билетной кассы, как незнакомый юноша с лёгким рюкзаком, наверняка слышавший их переговоры с кассиром, поинтересовался, не в Кёльн ли они едут, и, получив ответ, что — да и что их всего двое, попросился в компанию; Марии пришлось объяснить свой спутнице, что мальчик просто хочет войти в долю, что здесь так принято.

— Вот, вот он! — обрадовалась Ирма.

Мария не поняла, кого и где та наконец увидела, к тому же теперь ей застил вид неудобно задержавшийся перед глазами рослый, спортивного вида мужчина.

— Я вас не узнала, — насмешливо призналась она, когда тот наконец выпустил из объятий жену.

Марк посмотрел на неё с недоумением:

— Мы знакомы?

— Когда Ирма рассказывала о вас, я в уме видела совсем другого.

— Ну, женщины всегда в уме видят совсем другого.

— У меня не нашлось ни одной твоей фотки, — пожаловалась Ирма. — Хотела было показать Маше — и... как будто ты сбежал, нарочно уничтожив всю память. Из-за этого я даже не верила, что мы вообще когда-нибудь снова встретимся.

«Как и я с Митей?..»

— Эта самая память спокойно пролежала в моём багаже. Ты сама собирала вещи — и увлеклась. Там ничто не пропало — ни картинки, ни записочки, — да что сегодня от этого проку? Вот мы стоим, живые, можно потрогать.

— А можно и тронуться, — напомнила Мария, — дальше.

— В каком-то смысле... я бы не торопился.

Нужно было торопиться покинуть вокзал, чтобы разойтись кто куда: Мария остро почувствовала себя третьей лишней и только ещё не решила, под каким предлогом и в какую сторону сбежать. «Теперь каждый — по личному плану», — сказал бы Свешников, но в том и была трудность, что заранее не составилось никакого плана; плохо представляя себя в роли одинокой туристки, она поленилась разузнать, чем кроме знаменитого собора любопытен этот город.

— Кто куда, а начнём — с собора, — решительно известила Марк. — Почему? Это элементарно: стоит выйти на улицу — и вот он. Понятно, что все начинают с него. Невозможно ни промахнуться, ни избежать. А вот потом... Вы, подозреваю, проголодались в дороге? Так вот, у меня дома кое-что приготовлено, да туда, честно говоря,

далековато ехать: не стоит тратить время на дорогу туда, обратно, снова туда... Давайте пока перекусим в городе...

— А я бы просто побродила по улицам: кто знает, попаду ли сюда ещё когда-нибудь, — возразила Мария. — Лучше сделаем так: сейчас я вас оставляю, а на вечер — условимся.

Они условились — и разошлись было, — и, тем не менее, скоро все трое оказались за одним столом в маленьком кафе, чуть в стороне от людного центра.

— Нет, положительно нам не уйти друг от друга, — с усмешкой воскликнул Марк.

— Судьба, — согласилась Мария.

Застольный разговор, однако, не клеился: Марк без остановки рассказывал всё, что знал о соборе, Ирма явно думала о чём-то своём, а Мария, лишняя, ждала случая уйти.

Наконец сообразив, что его не слушают, Марк переменил тему:

— Давай, Ира, о тебе. Смотри, ты уже одной ногой в Кёльне. Но я всё думал: вот, трудности позади, ты приедешь — и чем ты займёшься? Ты решила?

Поёжившись от его почти официального тона, Мария ответила вместо Ирмы:

— Разве это главное? А чем бы она могла заняться, если бы вы приехали, как и положено, вместе? Или даже — чем бы она могла заняться, оставшись в гёдеэрии? Ответ один: тем же самым. Да чем бы ни занялась... Ведь вы снова будете вместе.

— Вместе? Не то слово. Я целыми днями буду пропадать на работе, а Ира...

— Так живут многие — и счастливы. Жена в конце концов тоже найдёт себе занятие — ну, скажем, будет преподавать язык новым эмигрантам.

— Неблагодарное занятие, — сухо заметил Марк.

Ирма слушала их диалог, словно посторонняя. Заговорив, ей пришлось бы спросить, отчего её будущая занятость оказалась важнее самого переезда, в неизбежности которого она вдруг усомнилась.

— Ну что вы, господа, о чём мы говорим? — вставая с места, сказала Мария. — Давайте так, с налёту, не будем — о серьёзном. Поговорите вдвоём, а потом, вечером... Собственно именно решать всё равно нечего: вы уже запустили машину, а эта машина — вы ещё не знаете — её не остановить. Процесс пошёл, и можно только прояснить, что к чему, и подправить старые планы.

— Но куда же вы? — словно пытаясь задержать, протянул к ней руку Марк.

— Мы ведь договаривались: кофе, бутерброд — и я исчезну. Побудьте вместе.

Поспешно простившись, она вышла, толком не зная, в какую сторону податься для начала. Ноги сами вывели к реке, совсем здесь близкой, и всего лишь вдохнув свежий воздух, Мария почувствовала странное в первый момент облегчение — как если бы услышала от некоего бывалого спутника, что странствие закончилось. Сегодня у неё словно не могло найтись иной цели, кроме напрасного достижения преграды, за которой, на другом берегу, видимо, не скрывалось ничего нескудного, но без которой многое теряло смысл. В её представлении всякому городу следовало стоять на реке, и большому городу — на большой, судоходной, и к тому, где сейчас жили они с Ирмой, Мария относилась, пожалуй, с сочувствием, оттого что через него протекал лишь единственный жалкий ручей шириной в пару метров, годный разве что для детских забав с бумажными корабликами. («Внуки могли бы...» — мелькнула мысль, обычно отгоняемая: что там внуки, когда не стало дочери, едва успевшей повзрослеть.) Бродя наугад, Мария только к реке и могла прийти: ей казалось настоящим законом природы то, что в любом городе, стоящем у воды, праздные приезжие неизбежно именно к ней и выходят, даже против желания. Здесь же река была — легендарный Рейн! (Пусть легендарный, великий, но только что в кафе кто-то из компании пошутил без почтения: слово «одеколон», переведи его на русский, окажется просто «кёльнской водою» — так вот что, значит, течёт в Рейне!) То, о чём она старалась не подумать,

теперь, коли вспомнилось невзначай, уже не могло уйти бесследно, и Мария вздохнула: нельзя было ни убежать от воспоминаний, те никуда не делись и в чужой земле, ни удалить больные места, оттого что больным было — каждое; она оставила московскую квартиру, в которой её девочка прожила свою четверть века, оставила и город, переполненный следами той (вот здесь её Наташа проходила ежедневно, здесь училась, вот окно её класса, в этой коммисионке купила за бесценок шикарное, какого ещё ни на ком не видела, пальто, а вот здесь она в последний раз была в театре, и вышло так, что вообще — в последний раз).

Тогда, перед спектаклем, дочь объяснила: «Вдохнуть напоследок...», и Мария невпопад, даже и потом не узнав, почему — напоследок, отозвалась: «И задержать дыхание».

«Дети должны жить со взрослыми», — часто говорила она себе, хотя и отпускала дочь как раз в жизнь взрослых. Сегодня то же повторялось короче: «Дети должны жить...»

Сложись иначе, они бы приехали сюда вместе, и одна из них непременно сказала бы (любой эмигрант хоть раз да произносил подобную банальность): «А думала ль ты когда-нибудь, что мы будем вместе прогуливаться вдоль Рейна?» или, быть может, в другое время: «...что мы с тобою будем преспокойно пить кофе в Париже?.. в Венеции?..» Нет, сложись иначе, они бы в той стране и не мечтали об удовольствиях, каких, по-видимости, попросту не существует на свете, но и не узнали бы, какое счастье было им жить вдвоём в своей старой квартире. Мария снова повторила, вслух, эту фразу, невольно оборвав и её: «Какое счастье — жить...»

До сих пор Мария, толком не искав, ещё не придумала себе места, где поселится теперь уже навсегда, и не придумывала, оттого что все они одинаково сулили ей одиночество, от которого всё равно не скрыться ни в каком далеке. В Москве ей казалось, что если переменить обстоятельства бытия, то, может статься, и горе постепенно завянет в бытовой суете среди незнакомцев, о нём

не ведающих, затихнет где-то в глубинах (но не забудется же?), однако пока выходило иначе: в германском общежитии у всех были одни и те же заботы по устройству, и тут уже мудрено было не сблизиться с соседями, даже и приказав себе: молчи. Иные — откровенничали, но Мария в новой людской тесноте так и не рассталась с привезёнными из дома горестными раздумьями, теперь уже и не стеснёнными.

Словно и в самом деле задержав дыхание, она таилась ото всех, сама сначала не понимая, почему и зачем, и скоро согласившись, что — напрасно; однако время открыться уходило дальше и дальше; каждый её секрет, немного пожив на свете, давал жизнь новому, они как-то сплетались, и если бы вдруг открылся один, то за ним мог тотчас рухнуть и другой, и так пошло бы по цепочке, вплоть до полного разоблачения. Наверно, тогда ей стало бы легче, да трудно было начать, и никто не знал ничего о ней, даже Свешников (Марии казалось, что он о чём-то догадывался, но скорее уж — о фиктивном браке, а не о дочери); с ним давно следовало бы объясниться, однако, пока она колебалась, он уехал, так ненужно уехал, что ей казалось, будто и не вернётся. Вспомнив сказанное сегодня Ирме, она подумала, что и впрямь Агриппине надобно самой идти к Горе — но не возвращаться же ей в Россию...

— Да, Дмитрий, Дмитрий, никто больше, — произнесла она вслух, повернув от реки.

Она так вжилась в свою оторванность ото всех, будто бы не знающих горя, что, встретив в Германии Свешникова, не осознала, какой это подарок для неё. Она была готова и в нём увидеть чужого; почувствовав это, он был сдержан, и много позже Мария в мыслях пеняла ему за то, что он деликатно не спрашивал ни о чём серьёзном (спросил однажды, но она упустила момент, ответив невпопад).

Представив себе прогулку с дочерью по берегу Рейна, она прикрыла на мгновение глаза — и увидела, что это Свешников идёт рядом по набережной; в последующих галлюцинациях она пила с ним кофе в Риме и в Венеции,

за столиком на набережной, над водой, хотя сама по себе тёмная вода не влекла её.

— Простите, — произнёс кто-то над самым ухом.

Вздрогнув, Мария обернулась и увидела давешнего попутчика, так и не снявшего с плеч свой рюкзак. Ей стало неловко, оттого что юноша застал её за разговором с самой собою. К счастью, она говорила по-русски, и он не знал о чём.

— Мы уже попрощались, — напомнила она.

— Простите, — повторил он. — Я ещё не добрался до места.

— А я бреду наугад.

— Значит, мы пока идём в одну сторону. Через квартал я сверну на другую улицу — видите тот угол, где остановилось такси? — а вам будет интереснее пойти прямо. Но вы — в одиночку? А ваша подруга — она встретилась с мужем?

— Я их оставила до ночи... Не знаю, как им помочь.

— Каждый должен разобраться сам.

— Не каждый способен, — возразила Мария.

Довольная тем, что её не заставили исказить свой продуманный вид, влезая в хозяйские тапочки (провинциальная эпидемия, от которой она уберегалась лишь с трудом), Мария огляделась. Квартира состояла из единственной комнаты без двери, соединённой с кухней (кухней — с окном, отметила она, навидавшаяся в своём городе тёмных, как чуланы) и условной прихожей. Одежда, книги, посуда были разложены, развешаны, расставлены так аккуратно, словно заняли чужие места, и с первого взгляда на них в голову приходила единственная мысль: «Ещё бы ему не прибраться к приезду жены!»

— Хорошо нагулялась? — ещё у дверей, словно боясь, что помешают, зачастила Ирма. — А мы с Мариком далеко не пошли, как-то не получилось, и всё-таки послушай —

потрясающее впечатление: это же не просто другой город, а совсем другая страна.

— Я всё думала, как бы чего-то не упустить... Даже не зашла ни в один магазин. Ты хорошо сказала насчёт другой страны.

— Ах, теперь я вижу, что мне бы нужно было примчаться сюда прямо в первый день...

Едва не заметив вслух, что примчаться первым более пристало бы Марку, Мария всё же продолжила своё безобидное:

— Местные даже одеваются иначе... вообще всё славно и ново, но...

— Но?

— Нет, нет, никаких оговорок... Просто вспомнилось, что давным-давно я уже испытала нечто подобное. Это было ещё в институте: я получила пару по математике — и решила, что теперь до конца дней... Только не знала, что же такое придётся терпеть до конца дней, и как раз это было страшно. Меня могли отчислить из вуза, пришлось бы устраиваться на работу, и мне бы досталась, конечно, с моим везением, самая недостойная — чистить конюшни, — а там, раз уж пошла чёрная полоса, пережить и ещё какое-нибудь падение, о котором нельзя, стыдно будет рассказать и от которого мне не оправиться уже никогда, а так и жить с позором; но это всё — конкретные, а значит — преодолимые вещи. Мучило же меня ощущение непоправимости, словно со мной сделалась страшная гадость, от которой нельзя отмыться, и выхода нет, я так и останусь недочеловеком, и судьба повернулась непоправимо. Однако нужно было готовиться к пересдаче, и я занималась как сумасшедшая, когда другие студенты ходили в кино, назначали свидания, ездили на пляж и загорали... С ощущением непоправимости прошли многие недели, пока я не пересдала экзамен, и тогда, в первые же часы, меня ослепил внезапно изменившийся мир, и не понять было, за что мне теперь такое счастье, такое ощущение — внезапного помилования. Я стала свободной, как никогда прежде, я могла просто выйти на улицу

и идти куда глаза глядят, и всё вокруг было прекрасно — как сегодня. Так хорошо стало сегодня, оттого что я до сих пор была угнетена чем-то, а теперь попала в новую страну, и там открылись новые пейзажи, и попались новые люди, и мне дали право поступать как угодно.

После паузы она добавила:

— Странно, что ничего подобного не произошло, когда я пересекла советскую границу.

— Тогда ты, видно, перенервничала... Да что же мы топчемся у дверей? — спохватилась Ирма. — Мы тебя ждали, так давай, сразу садись за стол.

Хотя днём Мария попросила не ждать её, стол всё-таки был накрыт на троих: закуски — все из магазина, ничего приготовленного своими руками, но — и бутылка вина, и конфеты: чем бы ещё мог удивить гостей одинокий мужчина? Он, однако, предупредил, что собирается жарить мясо (Ирма, зная его способности, насмешливо фыркнула, а он потом всё-таки поджарил — и неплохо).

— К столу, к столу, — поторопил он, и Марии, уже перекусившей по пути, стало неловко.

Усадив подругу, Ирма поспешила первой поднять стакан:

— Со свиданьем!

— За вашу встречу, — поддержала Мария. — Свидание, признаться, не из простых.

Марк не к месту пожал плечами, но потом кивнул и выпил, а выпив — посетовал:

— Я было приготовил настоящую речь по такому случаю...

— Ой, извини, я врезалась... Давай тогда сделаем вид, что сейчас была только репетиция, приготовительный тост, — послушно отреклась Ирма. — В этом нет ничего особенного, ведь точно так сперва провожают старый год и лишь потом, под бой часов, пьют за новый и кричат «Ура!», правда?

— Ура, — согласилась Мария. — У вас-то скоро начнётся даже не новый год, а вообще — второй медовый месяц, новое время, небывалые дни. Впору ввести иное летоисчисление.

«У меня оно всё равно — своё», — напомнила она себе.

От привычки к одиночеству ей казалось, что в другом, освоённом остальным человечеством веке она уже не будет собою — и не выживет.

— И без того на земле идут разные годы: иудейские и... светские, — заметил Марк.

— Вот-вот: прибавится ещё и ваш собственный календарь — хотя это никого и не ошеломит. Кстати, что за публика здесь — много ль наших?

— Я мало с кем общаюсь, — уклонился он. — Что можно сказать?.. Наверно, наших много: тут выходит газета на русском языке, даже с литературным приложением... Кто-то же её читает... Есть, я слышал, русские художники, целая группа. Вот уж кого не должен смущать языковой барьер. А о других, пожалуй, и сказать нечего, я ведь, повторяю, мало с кем общаюсь.

— Ирма это поправит. Переедет и поправит.

Марк, показалось, не только сомневался в успехе переезда, но едва не сказал это вслух, уже открыл рот и, спохватившись, попытался то ли резко оборвать, то ли перебить самого себя какой-нибудь неожиданной репликой, да, не успев выбрать, ответил путаным бормотанием, в котором обе женщины разобрали только первые слова — о том, что лучше не развращать себя пустыми мечтами и надеждами, а жить как живётся.

Мария удивлённо уставилась на него:

— Да ведь, как я понимаю, дело уже решено и движется по каким только можно инстанциям. Тут не принято скакать через ступеньку, и вам нечего волноваться, просто наберитесь терпения. Вы — законная семья, и вопросов не будет.

— Даже я знаю, — поддержала Ирма, — как часто женятся понарошку, лишь бы вырваться из Союза.

— Фиктивный брак изобрели не вчера, — пренебрежительно заметил Марк. — Это чужой случай — то, о чём вы обе говорите. Многие расписывались — лишь бы вырваться, и у них обязательно что-нибудь оказывалось нечестно. А мы с Ирмой поженились так давно, что и забыли когда...

— Вот у кого девичья память! Мы отмечаем каждую годовщину.

— ...и сегодня это мало кого интересует, потому что мы всё равно уже и уехали, и приехали, и будем жить. Вопрос — как и где. Куда уезжать — было почти безразлично, мы дома не слишком разбирались, главное было — попасть за бугор, а стоило в самом деле попасть — и каждый начал привередничать и сравнивать один сладкий пирог с другим.

— Что, вам и здесь не по душе? — испуганно спросила Мария.

— Не мне — Ирме. Она ждала чего-то другого. Вдобавок нам не так просто договориться: наши варианты просто-напросто исключают друг друга.

— Как у классика: «Запад есть Запад и Восток есть Восток, и вместе им не сойтись»? Англичане это понимали. Да понимают и сейчас, только не говорят вслух. А коли что-то единожды сказано, да не оспорено, то вот вам и закон, на который можно сослаться.

— Нам бы лучше помалкивать.

— А Ирма... она же в конце концов переберётся к вам?

— И потеряет пособие. Из-за работающего мужа.

«Ничего не скажешь, уважительная причина, — посмеялась про себя Мария. — А я-то сочла, будто он лишь потому не обезумел от счастья, встретив жену, что этим расстроилась какая-то любовная интрижка! Да, тогда ещё можно было бы надеяться на самые разные исходы: новые увлечения часто недолговечны. Как и дорожные романы, увы».

То, о чём она вспомнила, ещё не завершилось никак, и ей казалось, что и не могло завершиться, оттого что ближайшее будущее представлялось совсем книжно: она видела себя участницей неведомого спектакля, задержавшейся на сцене, когда все ушли и вот-вот должен погаснуть свет. В полной темноте бесполезно было угадывать предметы, хотя бы — пустые кресла партера, хотя бы их острые углы: темноте могла соответствовать одна крошечная пустота, столь бесспорная, что даже последнему

оставшемуся на подмостках человеку (но это же была она, Мария!) оставалось ощутить не себя, заблудившегося без фонарика или свечи, а — свою бестелесность, своё отсутствие во мраке; она не видела бы вокруг — оттого и не существовала б; это походило на игру младенца в прятки: тот, кто невидим или кто сам не видит других, словно малышка, прикрывшая ладошкой глаза и уверенная, что так спряталась — вот и не существует в мире.

Мария уже не могла остановиться и погасить в воображении чёрную картинку, придуманная пустота могла наполнять и что-нибудь вовсе неведомое; во мраке легко было ошибиться, не распознав, например, корабельного трюма, не поняв, что только в плавании можно спастись, цепляясь внутри жестяной коробки друг за дружку и так сохраняя представление пусть и не о странах света, а хотя б о том, где теперь оказался верх, а где — низ.

— То, что вас беспокоит, — обратилась она к Марку, — это, как говорится, технические трудности, а они так или иначе преодолимы. Надо понять другое: нам повезло попасть на борт ковчега, и мы вынуждены оставаться вместе, пока не причалим.

— То есть соблюдать правило «всякой твари по паре»? Но ведь заметьте — твари. А главное — не написано, не разбежались ли наши твари в разные стороны, едва ступив на сушу с её соблазнами.

Жена поняла его так:

— Тебя уже соблазнили...

— Ну знаете, — фыркнула Мария, — чтобы разбежаться, надо ещё узреть простор.

— Вы что же, одна здесь? — вдруг спросил Марк.

— Не совсем, — замялась она; в конце концов ей пришлось сочинить: — Одной тут побыть не дают... Ну ладно, вы ведь не о том спрашиваете. У меня так случилось, что я встретила здесь старого друга (Ирма с ним не знакома, он в отъезде), — и, знаете, ощущение было такое, будто я вернулась в Москву, будто и не оставляла старого дома. И будто стоит выйти на улицу, как навстречу попадётся ещё кто-то из своих.

— С нашими сородичами тут, наверно, случается много странного.

— Скорее, много сложного.

— Вы ведь не еврейка?

— Я же говорю, всё не так просто.

— Или всё — просто не так.

Мария подумала, что это никакая не шутка, и что в самом деле уже очень многое сделано не так, как стоило б, и ей пора наконец выбрать дорожку в сторону; наверно, считала она, если покинуть гэдээровские пределы, что-то пойдёт иначе, но как именно и отчего иначе, этого она пока не понимала, а верила, что там станут открываться и другие страны, и вспомнила, как Свешников мечтал увидеть Париж; чтобы это сбылось, ему следовало вернуться, и Мария была согласна поступать так, как он распорядится по приезде. Ждать осталось совсем немного: день она знала, сама же брала ему билет.

Потом у неё наконец могла начаться устроенная жизнь.

«Боже, — подумала она, — я не представляю, как мне готовиться».

— Пока вы размышляете, — сказал ей Марк, — глядишь, начнутся перемены и на востоке.

— Не так скоро, — возразила она. — Моисей, выводя свой народ из Египта, кружил по пустыне сорок лет, пока не умерли все, кто помнил рабство.

— Теперь живут дольше.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Здравствуй, Митя! — перед отъездом (домой? можно ли — так?) написал он. — Жаль, что мы разминулись (видишь, получилась прямо строка из романа: “Жаль, что мы нелепо разминулись...”). Да, случайность — но разве они всегда нелепы? В нашем случае — определённо: мы перепесывались через пол-Европы, а когда я приехал в Москву, тебя здесь не оказалось. Ждать лишнюю неделю до твоего

возвращения нельзя. В нашей невстрече виноват, конечно, я, свалившийся как снег на голову, без предупреждения, а вдобавок ещё и не открывший по приезду своих координат... Но ведь и догадаться можно было.

Я уезжаю — самое время поговорить. Собеседников, подобных тебе, мне не хватает, и это письмо — повод не для излияния восторгов от родных мест, а для спокойной оценки собственного поступка.

Нынешнюю неудачу можно было бы объяснить малостью срока, а значит — неизбежной суетою, вынуждавшей едва ли не одновременно с кем-то встречаться, что-то покупать, пропадать в каком-нибудь казённом присутствии и так далее. Но нет, вспомни, как мы говорили: уважительная причина не может служить оправданием. Не говоря уж о том, что нет у меня таких дел, какими я не посмел бы манкировать ради встречи с тобой, перенося, допустим, с утра на вечер или наоборот. Увы, так и не возникло нужды переносить.

Конечно, письмо может быть подробней устного рассказа, да слово выглядит на бумаге категорически, я же нынче смущён как раз обратным — неопределённостью своих пяти чувств — и боюсь, объясняя пользу приезда, запутаться в письменном монологе, не услышав вовремя твоих прекословий.

Ни в каких планах не было этой поездки в Москву — и вдруг я снялся и поехал, едва ли не с радостью. Не знаю, что меня погнало. Неужели — ностальгия? До сих пор, до последнего дня, я не замечал её симптомов, ведь во всей России у меня не осталось дома. В старых моих стенах живут чужие, и при нужде вернуться в советские пределы я предпочёл бы Рижское взморье, а не Тверскую — пусть лишь ради любимых ландшафтов или ради крохотного кафе близ Буддури, в котором старая сосна растёт сквозь крышу.

Ладно бы я хотел повидаться со своими... Но у меня в Москве нет родни, а по-настоящему близкий человек — это мачеха, иная кровь. Настолько близкий, что в прежнее время она бы сама помчалась мне навстречу, хотя бы

в ту же Юрмалу. В прежнее время. А теперь, чтобы попасть туда, нам обоим нужны визы...

Впрочем, в действительности импульс у меня был другой.

Я ждал, ждал резких шагов Раисы (сделав однажды доброе дело, она непременно должна была б его уравновесить), и дождался, и сделал вид, что ничего не заподозрил. Её план был наивен — я не узнавал её, холодную и точную, но не мог не подыграть ей — не забывая, чем ей обязан, как много она сделала для меня, пусть и без риска или затрат. Теперь мне пришлось поспешать и много движений сделать наугад, без толкового мужского совета. Я играл по наитию и теперь стараюсь не припоминать подробностей, удобно считая, что обязан успехом только случаю.

Как оказалось, я рисковал».

«Оказалось?» — посмеялась бы, прочтя это, Мария, помнившая, как Свешников обычно заботился о мельчайших мелочах, и уверенная в том, что никакой риск не станет для него неожиданным. Между тем о сути дела ей было известно одно то, что он спешит в Москву на помощь пасынку, запутавшемуся в расчётах; какого рода была эта путаница и как были велики цифры, если для арифметических действий с ними понадобилось пересекать границу, приходилось только догадываться, и это изрядно волновало её, знавшую, чем чреваты денежные операции в нынешней России.

Дмитрий Алексеевич старательно не отвечал на прямые вопросы, но Мария уже научилась понимать его недоговорки; напротив, теперь затруднялся он — таить от неё задние мысли.

После потери дочери ей нередко мерещились катастрофы; она будто бы лучше других стала чувствовать опасность, а случалось, что и воображать её. Едва поняв, что Дмитрию Алексеевичу предстоит не просто утешать набедокурившего мальчугана, а иметь дело с неким невозможным долгом, она мгновенно представила себе целый набор воровских сюжетов от мордобоя до перестрелки. Как она и ожидала, отговорить Свешникова от поездки не удалось; Впрочем, его доводы она знала наперёд. «Человек почти

никогда не узнаёт об убийстве себя», — сказал он ей недавно, в отвлечённом разговоре (она крепко запомнила фразу, согласившись, что имеют значение только чужие смерти, а потом, про себя, — что дочка не ведаёт о пережитом ею, Марией, ужасе). Он же, продолжая невесёлую тему, напомнил и о том, что у него не осталось родных: исчезни, кто бы стал по нему убиваться? Ему, наверно, и в голову не пришло, что так можно обидеть Марию.

«Какие деньги? У меня, ты ведь знаешь, их нет», — отговаривался Дмитрий Алексеевич, и Мария пыталась толковать: «Это-то и страшно».

И всё-таки он пропал. Связи с ним не было (и не следовало быть, он не назвал никаких телефонных номеров, чтобы никто не тратился попусту), но всё же дурные сны не посещали Марию, да и криминальные сценарии слагались не сами собою, а возникали в уме лишь при нарочном усилии; потом, правда, их приходилось чем-то вытеснять. Для того она и вызвалась провожать в Кёльн юную соседку (стараясь уверить себя, будто едет не для того, чтобы отвлечься, а из сочувствия ей). При этом ей казалось, будто сама она никак не действовала, а стала тенью, отбрасываемой для её же, тени, удовольствия. Что или кто её отбрасывал — вопрос посторонний; тем более неважно было, откуда падал свет. Важным было единственное несоответствие: Свешников часто, говоря о задуманных трудах, сокрушался, что взялся за них слишком поздно (а ведь лучше было бы посчитать, что — вовремя, потому что впереди маячили многие тягучие годы — по немецким меркам он ещё нескольких лет не дотянул до пенсии, не говоря уж о достижении некой средней в этих краях черты земного бытия), и всё-таки в порыве какой-то ложной самоотверженности ввязался в очевидную авантюру, которая не просто оторвала его от работы, но и могла кончиться бог знает (но даже и Мария — подозревала) чем.

Наверно, ввязаться в сомнительную историю ему, уверенному в решениях, было проще, чем она думала, — из-за одиночества. Его родных давно не было на свете — кто бы

стал по нему убиваться? Марию, не приходившуюся ему родней и ещё не смевшую назваться женою, он мог и не принимать в расчёт.

Ни родней, ни ровней — иногда думала она, ничего будто бы не совершившая в прошлой жизни. Много было, на её взгляд, завещано мужчинам; никто не запрещал с ними тягаться, только она и единственную дочь растила, да не уберегла.

Ни — женой.

Она всё ж оставалась не одна. Никто не был в родстве со Свешниковым, а у Марии в России жили родственники, сёстры Нина и Таня, пусть и проведшие свою жизнь не рядом с нею, а в нестоличных городах, на её взгляд — в такой скучной дали, что даже в какой-нибудь беде и то она, москвичка, наверно, не решилась бы съехаться ни с одной из них и лишь иногда словно соглашалась с невидимым спорщиком: «Ну да, конечно, Чехов жил в Таганроге, и это ему не помешало...» Беда не заставила себя ждать, но Мария и тогда не снялась с места, словно могла существовать только в большом, шумном городе. Она так и пропадала в опустевшей квартире, где каждая мелочь напоминала о былом домашнем счастье.

Вслух, знакомым, она нехотя говорила, что хотела б убежать куда глаза глядят, а в действительности шло долгое время, а глазам глядеть всё было некуда; смириться, однако, она себе не позволяла, а по-прежнему искала хотя бы какую-то дорожку — тщетно, пока вдруг та не открылась сама. Упускать случай было страшно, и она, долго не раздумывая, пустилась по ней прочь.

До возвращения в Германию оставалось всего ничего, и он уже никуда не выходил, а второй вечер подряд чаёвничал с мачехой, отвлекаясь лишь на телефон: разговоров за год было пропущено немало, и он всё не мог наверстать. В предпоследний день позвонил и Распопов.

— Мы с тобой, — не удержался Дмитрий Алексеевич, — за эти дни наговорили больше, чем за десять лет школы.

От других он выслушивал пожелания доброго пути, прочие напутствия и обещания прийти попрощаться на перроне, но этот звонок — встревожил: не выкинул ли чего Алик? И в самом деле, о нём и пошла речь — не о том, правда, какую новую штуку тот придумал напоследок, а о том, к чему стоит быть готовым. Распопов всё удивлялся, как это способный юноша до сих пор не выследил своего отчима, — это была лёгкая задача, — и сегодня не просто хотел предупредить, а даже придумал целый сценарий тайного отъезда с отправкой чемодана заранее, на одной машине, а самого пассажира — на другой и в другое время, чтобы тот вышел из подъезда налегке, словно ненадолго.

— Что за детские игры? — рассмеялся Свешников.

Приятель, однако, был серьёзен:

— Эти ребята давно не пионеры, а неумная дворовая шпана в расцвете сил. Не уголовники, упаси Бог, а именно молодая шпана, какой силёнку девать некуда, а закон не писан. Можно сказать, самостоятельный народ. Они ещё и других учат жизни — твоего родственничка, например. Тебе с ним хорошо бы разойтись по-джентльменски — надо же держать удар, — но вот этого-то дружки твоему парню и не посоветуют. Они понимают одно: добычу надо рвать зубами, и теперь им надо поймать хоть что-то: если не рубль отнять, так хоть морду набить.

— Только ведь нету никакой добычи.

— А кто в этом виноват? Свешников и виноват: оставил без куска — его и наказать!

— Да теперь поздно уже...

— Никогда не поздно. Но ты, я слышу, вроде бы улыбаешься — думаешь, я шутки шучу?

— Несколько лет назад я так бы и подумал. А теперь... Может стать, ты и прав.

Распопов, словно не заметив эту капитуляцию, продолжил без паузы:

— Я попробую как-то успокоить эту шайку, у меня, ты помнишь, случайно нашлись ниточки, за которые будет интересно подёргать, но — не сегодня и не завтра.

— Поиграем в казаков-разбойников? Или в сыщиков и воров? И ты, как я понял, хочешь скрытно отвезти меня к поезду? Идея хороша, мотивация — спорная, но за помощь спасибо, и — не будем же мы пререкаться. Просто я привык обходиться сам.

— Дело, чувак, к старости.

— Спасибо, ты напомнил вовремя.

Тут позвонили в дверь. Хозяйка дома никого не ждала, и открывать пошёл Дмитрий Алексеевич. Гость и в самом деле был к нему — Денис Вечеслов.

— Прихожу домой, — ещё в передней принялся объяснять тот, — телефон не работает, Томка температурит... Словом, извини, что без звонка...

— Без звонка, а — кстати, — успокоила Людмила Родионовна — и запнулась, не зная, как теперь нужно обращаться к этому немолодому мужчине, с которым когда-то, десятилетия назад, была, конечно, на «ты», как и со всеми мальчиками из Митинового класса, захаживавшими в дом.

— Вы, — решила наконец она, — сделаете доброе дело: разрушите наши посиделки, не то мы устроили совсем уже стариковскую идиллию: чай, вареньице... Мите, бедному, и выпить не с кем.

— Ну, в этом я всегда пособлю. А что же вы сами не составите ему компанию?

— Сегодня — нет, сегодня не составлю: не буду вам мешать, а лягу пораньше.

— Устали вы от постояльца...

Она только улыбнулась.

Мужчины тоже промолчали, и ей пришлось попросить Дмитрия Алексеевича прибавить звук в магнитофоне, приглушённый было из-за телефонного разговора.

— Ну, Митя, где бы ни жил, не обходится без джаза, — заметил Вечеслов.

— Но и я тоже, и я, — совсем по-детски воскликнула Людмила Родионовна. — Митя, когда переехал на юго-запад,

оставил здесь много своих старых плёнок. Мне бы хватило их с лихвой, но он потом приносил ещё и ещё — от щедрот новых знакомых — дипломатов, которые могли привозить пластинки... От-ту-да!

— Знакомые дипломаты — не у меня, не мои, — поправил Дмитрий Алексеевич. — Была целая цепочка...

— Преступная, заметьте, цепочка, — подняв вверх палец, со смешком заметил Вечеслов.

— Так вот, получилась такая связь: я переписывал музыку у своего товарища, Генриха, тот, по нечаянному соседству — у известного всей Москве Серёжи Родина, и вот Родин, наконец, был вхож в дом некоего посла, часто присылавшего джазовые пластинки сыну.

Вечеслов напомнил, что к этой цепочке пристал сбоку и он.

— Боже, это кому я принялась было рассказывать? — всплеснула руками Людмила Родионовна. — Конечно же, вы знаете эти сложности лучше других.

— Всегда все знают всё, — засмеялся Дмитрий Алексеевич. — Знают, да забывают, забывают, и тогда бывает хорошо об этом забытом поговорить: а вдруг всплывёт что-то неожиданное... Ведь так часто будто бы и всё помнишь, а не можешь отделаться от ощущения, что чего-то недопонимаешь — чего-то такого, что мысленно учитываешь, на уровне интуиции, да только не можешь описать понятной всем формулой. А потом случайно ловишь какое-то словечко, которое только что сам же и проговорил, и видишь: в нём-то и скрыта суть, и теперь ты способен объяснить многое, что ускользало.

— И сейчас ты его поймал, — устало предположила Людмила Родионовна.

— Поймал. Что-то здесь было не то, не так, и вдруг я понял: они забыли джаз! Они — никто — не помнят!

— Они?

— Наши с Денисом одноклассники. Все мы в школе бредили одним и тем же так неистово, что казалось — до конца жизни.

«Все мы», — повторил он про себя, вспомнив, как несколько дней назад на общей встрече пытался заговорить о старом джазе то с одним, то с другим из товарищей — и никто не поддержал, словно он пытался заинтересовать выросших детей играми в песочнице.

— Вы были одержимы, видя перед собой запретный плод. Не потому, что он сладок, а потому, что — запрещен. Вам, конечно, хотелось искоренить все несправедливости на свете, а победа над этой обещала ещё и доступ ко многим удовольствиям.

— Какие тогда были из нас борцы за правду?..

— У вас вообще не было особенных целей. Вам (да и мне, и моему поколению, я же недалеко от вас ушла) хотелось, наверно, просто изменить образ жизни, жить как-то не так, как родители.

— Боюсь, что все дети всегда мечтали превзойти всех на свете, стать самыми-самыми.

— Как же мы состарились! — проговорил Вечеслов.

— И не замечаем, — согласился Дмитрий Алексеевич. — Едва я приехал в Москву, как сразу вспомнилась вся наша музыка, а в первую очередь, совсем к месту — Дорис Дэй с её «Sentimental Journey». Когда-то я не понимал, что же это такое — сентиментальное путешествие, решил — свадебное, и только позже разобрал текст и узнал: возвращение в свой дом. Как у меня сейчас. Я хотел было рассказать об этом нашим ребятам, да им было не до того. Я смотрел на них и думал: на вечеринках, на празднествах — кто из них ещё танцует? Под наш добрый джаз?

— Изменился и джаз.

— А я всё слушаю тот, старый.

Свои кассеты Дмитрий Алексеевич увёз в одной из коробок с книгами, до сих пор ещё не распечатанной в ожидании неизбежного переезда куда-нибудь дальше, и давно уже не слышал любимых мелодий. Поселившись в Европе, которая во взгляде из-за советского занавеса виделась джазовой стороной, он разочаровался: немецкие бюргеры исправно посещали симфонические концерты,

а лёгкая музыка по радио отдавала то сельской плясовой с ритмом «раз-два, раз-два», то просто маршем; больше выбирать было не из чего.

— Ты говорил — счастье, что мы консервативны, — напомнил Вечеслов.

— Но не навсегда. Есть точка, где всё пересекается.

— Точка отсутствия вкуса?

— В том числе.

— Её ставят при рождении, — усмехнулся Вечеслов, вставая, чтобы пропустить к двери Людмилу Родионовну.

Дом показался особенно пустым, как дача в октябре. Дмитрий Алексеевич не раз приходил вечерами раньше мачехи, пропадавшей на презентациях, премьерах, просмотрах, — и непременно дожидался её, чтобы на сон грядущий узнать столичные новости. Сегодня ему впервые предстояло ночевать одному (да и как ночевать, когда уже занимался рассвет?); наверно, он и не заснул бы, а коли так — сделал обратное: сварил кофе и достал из шкафа книгу — такую, в которую можно с удовольствием войти с любой страницы, то есть читаную-перечитаную; ему приглянулся Пруст, однако и тот не шёл на ум: глаза честно бегали по строчкам, а вникнуть в текст не получалось, Дмитрий Алексеевич всё думал о своём — и тут вспомнил, что вчера не закончил письма.

«Как оказалось, я рисковал», — прочёл он у себя. Сегодня об этом уже не хотелось думать.

«Письмо пришлось отложить, — начал он с новой страницы. — Перед близким отъездом набралась уйма мелких дел, надо было успеть с ними разобраться, так что я крутился как мог — и вдруг мои хлопоты остановились.

Оставшись один в доме, я наконец подошёл к письменному столу, но продолжить прежнее оказалось невозможно: прошла, казалось, целая жизнь и я потерял мысль.

Сегодня я не сомкнул глаз. Денис просидел допоздна, мы вспоминали, чем жили в юности и чем теперь не живём, — и так простились, видимо, надолго. Я проводил его до Тверской, и мы с грустью посмотрели на давно опустевший “Бродвей”, о котором никто до сих пор не написал книги. А ведь тут проходила юность нашего поколения: на этих тротуарах не просто прогуливались (“прошвыривались”) вечерами, раскланиваясь чуть ли не с каждым пятым, и знакомились, и делали предложения, разводились, кто-то кому-то бил морду, а кто-то, если в кармане оказывалась хотя бы десятка (сэкономленная за неделю сдача из булочной), сворачивал в коктейль-холл.

За вечер мы переворошили многое. Воспоминаний было вдоволь и на вечеринке старых школяров, но тут мы вдвоём наговорили столько о том и о сём, начиная одну за другой новые темы и не ставя точек, что лишь на завершение этих брошенных фраз нам понадобилось бы, наверно, несколько дней (Козьма Прутков, если помнишь, заметил: единожды начавши, трудно кончить беседовать с вернувшимся из похода другом). Денис было обмолвился, что наконец-то, мы давно не говорили по душам, и я пресёк его старой шуткою: “Это — только с твоей стороны: тебе хорошо, у тебя есть душа”, — что и подсказало новую тему. Он вдруг определил: эмиграция — это переселение душ. С этим не поспоришь, если речь идёт о единицах людской массы, как у Гоголя (и в самом деле, чиновники в гэдээрии относятся к нам, как к безликим эмигрантским единицам, не интересуясь, кто ты, что ты); в другом же случае имеется в виду, быть может, реинкарнация духовного существа, изгнанного из старого дома, в котором все были живы.

Шутки шутками, а второй смысл мне ближе, хотя ещё недавно, в советском воздухе, подобное не приходило в голову. В новой действительности, тем более — в новом ходе времени приходится удивляться многим вещам, мною прежде не объяснённым, например — самому факту бытия. Если вдуматься, уже то, что я существую — феноменально. Я есть в мире, и это — чудо (но то же скажет

и каждый, осмелившийся помыслить). Мы знаем декартово “*Cogito, ergo sum*”*, но из него выводится и обратное: существую — значит, осознаю мир, принимая это как должное. Я живу, вижу мир, населённый другими людьми, и не могу представить себе, как эти другие смотрят на то же самое, а видят не то, что вижу я, в том числе — и меня со стороны, и иные, чем открытый мне, миры, отчего и мыслят иначе, и существуют.

Самое страшное — лишиться памяти: тогда и думать будет не о чем.

Неверно считать, что мыслящие — мы все. Но неспособные думать — разве не мертвецы?

Есть ещё и память вещей (вот что не теряется); здесь, в отцовской квартире, много их напоминают мне: больше — об отце, меньше — о маме, ушедшей слишком рано. На что ни глянь: старая тяжёлая мебель (мамино кресло), прадедов письменный прибор, которым никто уже всерьёз не воспользуется, бронзовая лампа, книги... Какие-то вещички я взял было, переезжая в свой холостяцкий дом на Вернадского, да потом, когда Раиса новой хозяйкою принялась выкидывать будто бы старый хлам, их пришлось, спасая, поспешно вернуть сюда. Людмила и без того собрала целый музей профессора Свешникова; думаю, и её сыновья не подведут. А после меня не останется ничего — так, пара безделушек. То, что я купил на немногие марки государственного пособия, допустим, на блошином рынке, как оказалось, государству же и принадлежит. И только на мои записи никто не посмеет позариться. За этим проследит Мария.

Но что вообще сохранится в России? Это — вопрос. Нынешняя власть установилась, как водится, не навеки, тем более что президент, говорят, не просыхает, и окружение наверняка продумывает варианты перестановки. Трудно угадать, кто его сменит. Генерал Лебедь? Да он, видимо, уже спел свою песню. Помня перипетии последних выборов, я, обыватель, с тревогой гляжу на непуганых

* Я мыслю — значит, существую (*лат.*).

коммунистов: вот кто способен всё вернуть на ржавые, как в Зоне у Стругацких, рельсы. Последствия этого представить нетрудно, особенно — мне, прожившему при диктатуре пролетариата первые шестьдесят лет своей жизни. Народ же ответит самое большое — новыми анекдотами (да и позабытые вернуться), и сажать за них будут — по старому.

Меня в эти дни кое-кто подначивал вернуться: мол, грядут перемены. А мне сдаётся, что как раз от перемен и понадобится укрыться. Где-то, кому-то я ещё пригожусь; да я и сейчас не бездельничаю.

Стыдно признаться, я не обрадовался краткому наезду в родную Москву. Кое-что в ней пропало, что-то, всего за неполный год, выросло или изменилось, но главное — это больше не мой город, и я смотрю на него спокойными глазами.

Где теперь предстоит поселиться, ещё неизвестно. Места для переселения выбирают не по глобусу, соединив ниточкой две точки: Москва — Германия, далее везде... Новая страна обернулась множеством разных по характеру и воспитанию мест, и то из них, куда меня определили, совсем не конфетка. Мы с Марусей, наверно, постараемся податься куда-нибудь подальше — не ради большего комфорта, а для того, чтобы полнее жить. Находятся новые и новые доводы в пользу такой перемены, и вот — последний: начав свои статьи, я вмиг понял, что не обойдусь без хорошей библиотеки с книгами пусть и не на русском, но тогда — на английском языке; значит, надо бы поискать пристанища в большом университетском городе. Мои “размышлизмы” надобно чем-то подкреплять и сравнивать с чужими, и без книг я живу как бы ещё до начала света, то есть до того, как возникли пространство и время.

Пространство всегда, по незнанию, впечатляет, однако удавалось же в нём перемещаться более или менее произвольно, а во времени... Учёные позволяют себе рассматривать то и другое вместе или будто бы даже одно в другое преобразовывать, но я, земной и приземлённый

человек, мыслю инженерными категориями, отчего совмещаю эти два понятия лишь для оценки пути между пунктами *A* и *B*. Привычная задачка, да может открыться, что для решения полезно бы знать свойства станции назначения: вместо сомнительного послезавтра, на что я было настроился, меня перенесли даже и не во вчера, а в позавчера: мало того что по гэдээровским улицам тархтят пластмассовые машинки, которым далеко даже до “Запорожца”, но и в быту вдруг попадаются совершенно дикие вещи, противные моим предвзятым представлениям о западной культуре; публике не мешало бы перенять у нас кое-какие манеры.

Как бы там ни было, дорогу до намеченного пункта *B* я одолел. Там со мною пока не произошло ничего важного (о встрече с Марусей разговор особый), а последствиям прошлой жизни только ещё предстоит проявиться; скорее уж начнёт меняться образ мыслей — если на него способен повлиять даже переезд с одной квартиры на другую, то чего ожидать от переезда в страну с незнакомым уставом?

Вот о чём я думал, пока брёл от Тверской до подъезда, а когда вошёл в квартиру, стало уже не до “Бродвея” и не до банальной связи всех времён с пространством: сразу после нашего с Денисом ухода Людмила вдруг почувствовала себя так плохо, что не смогла даже добраться до телефона... Когда я вошёл, она полулежала в кресле ещё перед дверьми спальни... Я вызвал скорую — и ждал, и ждал...

Потом все часы смешались.

Я впервые чувствую настоящую боль, осознавая своё одиночество. Мне всегда казалось, что я умру раньше Людмилы, пусть она и старше. А теперь я могу потерять последнюю естественную связь со своей землёй.

Если дела окажутся нехороши, я не смогу вернуться в Германию. Но при этом нельзя не вспомнить и о другой стороне — о стране, которой я служил сорок лет (и много раз слышал о своей незаменимости) и которой стал не нужен; это было последнее унижение, которое я испытал от неё. Нужным я ей никогда не стану.

Итак, представь себе, поверь, я уехал. Это факт, как к нему ни относись. Но я не перестал работать и для начала беру наконец под какой-нибудь обложкой (кажется, даже известно под какой — я закидывал удочку) свои размышления. Болезнь Людмилы задержит меня в Москве, может быть, надолго либо вынудит приезжать ещё и ещё раз, но всё равно я ведь только начинаю жить.

Сейчас ещё очень рано, я не могу позвонить и справиться, как дела у больной, а тогда уже разбудить Константина со Славой и самому снова мчаться в больницу. Я хотел было прикорнуть ненадолго, но вдруг подумал... Ты же знаешь, я никогда не ходил в церковь, а вот сейчас понял, что нужно пойти и поставить свечку за здоровье.

Верно говорят: человек предполагает, а Бог — располагает».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕСОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Глава первая	5
Глава вторая.....	38
Глава третья.....	59
Глава четвёртая	88
Глава пятая	101
Глава шестая	110
Глава седьмая.....	159
Глава восьмая	195
Глава девятая	215
Глава десятая	256

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКИ

Глава первая	275
Глава вторая.....	284
Глава третья.....	291
Глава четвёртая	301
Глава пятая	316
Глава шестая	321
Глава седьмая.....	323
Глава восьмая	347
Глава девятая	361

Глава десятая	376
Глава одиннадцатая.....	382
Глава двенадцатая	402
Глава тринадцатая.....	414
Глава четырнадцатая.....	439
Глава пятнадцатая	451

Литературно-художественное издание
Серия «Время читать!»

Вадим Иванович Фадин

Хор мальчиков

Роман

Редактор

Лариса СПИРИДОНОВА

Художественный редактор

Валерий КАЛЫНЬШ

Корректор

Елена ПЛЁНКИНА

Вёрстка

Светлана СПИРИДОНОВА

16+

Подписано в печать 14.05.2021

Формат 60x90/16.

ООО «Издательство «Время»

117105, Москва, Варшавское шоссе, 3

Телефон (495)954-10-82

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Вадим Фадин, поэт и романист, член ПЕН-клуба, лауреат премии им. М. Алданова, родился в Москве. Там он получил и музыкальное (в знаменитой Гнесинке), и высшее техническое (в Московском авиационном институте) образование, но единственным делом его жизни была литература. Даже романтика лётных испытаний стала всего лишь источником сюжетов для его сочинений.

Перу Фадина принадлежат четыре книги стихов и семь книг прозы,



изданные в Москве и Санкт-Петербурге; его произведения переводились на французский, немецкий и эстонский языки, сам он переводил стихи итальянских и эстонских поэтов.

Вадим Фадин верно служит делу сохранения чистой родной речи, его роман «Рыдание пастухов» отмечен почётным дипломом премии «Серебряная литера» с формулировкой «За трепетное отношение к русскому языку» (2005).